

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

5

1955

---

1955

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 5

Май, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — В сорок пятом, в мае... В новой Германии, стихи	3
ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН — Вперёдсмотрящий, поэма	5
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Бессмертный гарнизон, киносценарий	26
НИКОЛАЙ ДУБОВ — Сирота, повесть. Продолжение	67
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — Беспокойная юность, повесть. Продолжение	96
Н. МЕЛЬНИКОВ — Клава, рассказ	135
<b>ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА</b>	
КАЗИМЕЖ БРАНДЫС (Польша) — Господин с палкой. Перевод с польского Валериана Арцимовича	139
<b>ПРОБЛЕМЫ НАУКИ</b>	
Академик И. АРТОБОЛЕВСКИЙ — Пути новых исканий	146
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</b>	
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1755—1955)	153
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
Д. МЕЛЬНИКОВ, Л. ЧЕРНАЯ — За кулисами войны (К истории одного вероломства)	165
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	179
Р. Фиш. Хватит ли оптимизма? — А. Дирингерова. Первая трибуна. — К. Наумов. Де Фокса и другие... — Б. Розанов. Великие традиции. — И. Бернштейн. Народ не забывает. — В. Стеженский. Приговор бессилия. — Л. Остапов. На распутье. — И. Литвакова. Познавать новое! — Н. Разговоров. Вопросы Груссару.	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
П. ВИКТОРОВ. — Новые главы «Поднятой целины»	211
И. ЛЕЖНЕВ. — Краткость — сестра таланта	218
<b>ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ</b>	
Борис Лавренёв. По поводу пьесы «Сильнее любви». — Н. Грибачёв. По поводу цикла стихов «Земля и небо».	231

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	238
<b>С. Смирнов.</b> Герой и автор. — <b>М. Карпович.</b> Военское мужество. — <b>О. Грудцова.</b> «Мирный город». — <b>Ал. Исбах.</b> Живые страницы. — <b>К. Лапин.</b> «Служили два товарища...» — <b>Подполковник Н. Немиров.</b> Только первый шаг. — <b>В. Тельпугов.</b> Разведка продолжается. — <b>Б. Шиперович.</b> Необходимый справочник. — <b>В. Кутейщикова, Л. Осповат.</b> Рождение эпопеи. — <b>Ю. Манн.</b> Интересный критический очерк.	
<i>Политика и наука</i>	254
<b>В. Дворцов.</b> Американский империализм и германский вопрос. — <b>Б. Шведов.</b> «Чёрная книга» о парижских соглашениях. — <b>А. Козлов.</b> Голос честного художника. — Доктор медицинских наук <b>Г. Пичхелаури.</b> Медицина в жизни Чехова. — <b>Л. Архангельский.</b> Увлекательные книги. — <b>Ю. Давыдов.</b> Русский флотовец адмирал Бугаков. — Кандидат экономических наук <b>Д. Валентей.</b> «Да будет хлеб!»	
<b>РЕПЛИКИ</b>	266
<b>Елена Успенская, Лев Ошанин.</b> Как готовить журналистов? — <b>Сергей Герасимов.</b> Да, это реализм. — <b>В. Финк.</b> В связи с постановкой «Шуралэ». — <b>Вадим Лукашевич.</b> Художественная открытка — <b>Михаил Матусовский.</b> Писатели у колхозников. — <b>Г. Рыклин, Арк. Васильев, И. Рябов.</b> Одиночество «Крокодила».	
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	271

---

---

---

## ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

★

### В СОРОК ПЯТОМ, В МАЕ...

В сорок пятом, в мае, вопреки уставу  
Караульной службы,  
Мы салютом личным подтвердили славу  
Русского оружия:

Кто палил во тьму небес из пистолета,  
Кто из автомата.  
На берлинской автостраде было это,  
Помните, ребята?

Быстрой трассой в небо уходили пули  
И во мгле светились.  
И они на землю больше не вернулись,  
В звёзды превратились.

И поныне мир наполнен красотой  
Той весенней ночи.  
...Горе тем, кто это небо золотое  
Сделать чёрным хочет.

Но стоят на страже люди всей планеты,  
И неодолимы  
Звёзды, что салютом грозным в честь Победы  
Над землёй зажгли мы.

### В НОВОЙ ГЕРМАНИИ

Я нынче гость немецкого народа.  
Войне отдав почти четыре года  
И без остатка молодость свою,  
Стою с немецкими друзьями рядом,  
В их лица всматриваюсь долгим взглядом  
И с ними Гимн трудящихся пою.

Два языка, сливаясь в этом пенье,  
Исполненном особого значенья,  
Над улицей отстроенной летят,  
И, как спасённый, а не побеждённый,  
Народ немецкий, заново рождённый,  
Поёт на свой неповторимый лад.

И вижу я, что искренни, надёжны  
Колонны синеблузой молодёжи,  
И женщины, проклявшие войну,  
И старики, что Тельмана видали  
И смотрят ныне в яростной печали  
На разделённую свою страну.

И глазу я своей рукой неловкой  
Детей немецких русые головки,  
И в сердце новый закипает стих.  
Нет, я не оскорбляю память павших,  
Расстрелянных и без вести пропавших  
Товарищей, ровесников моих.

Ведь и тогда, когда земля горела,  
Мы видели сквозь чёрный круг прицела  
Германию не мёртвой, а такой,  
Какой её сегодня строят люди,  
Какой и вся она — я верю — будет.  
И мы поём: «Воспрянет род людской!»



---

ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН

★

## ВПЕРЕДСМОТРАЩИЙ

*Поэма*

1

Случилось это в сентябре  
в тылу врага...  
Ещё над морем на заре  
дымились берега,  
ещё солёных волн клубок  
не заливал причал,  
ещё не сдавшийся дубок  
зелёный лист качал,  
ещё я полз, ещё я жил,  
зажав набухший бинт...  
А Безбородько доложил  
о том, что я убит,  
что похоронен у бугра,  
близ обгоревших пней,  
что надо мною явора  
стоят ворон черней,  
что восемь пуговиц морских  
да смертный медальон —  
всё, что осталось от моих  
случайных похорон.

...Разведчики почти всегда  
не все приходят в срок.  
Но если явная беда  
шагнёт на их порог  
и если точно не дано  
тебя дождаться им —  
как трудно есть и пить вино  
товарищам твоим,  
снимать твой вещмешок с ремня  
и скатывать постель,  
прощальных слов не оброня,  
ждать несколько недель.  
Но на войне всему свой час,  
не хочется, но верь...  
Вошла беда, не постучась,  
открыла настежь дверь.  
И вот уже за нею вслед  
идёт другой рассвет,









беда вошла в дома.  
 .....  
 ...Я знал по сказкам древних дней  
 про мёртвые сады,  
 про горечь сохшихся корней  
 и жизнь живой воды  
 и знал, ценой какой беды,  
 зажав в руке наган,  
 мой дед пронёс глоток воды  
 в песках Такламакан.  
 И сам я  
     в мареве,  
                 сквозь сон,  
 лишь с помощью друзей  
 прошёл столбы запретных зон  
 «Семи Колодезей»<sup>1</sup>.  
 А здесь,  
     насколько хватит глаз,  
 колышется вода.  
 Приди,  
     нагнись —  
                 и сотню раз  
 пригубишь без труда.  
 В пол-лодочки сложи ладонь,  
 черпни на полный взмах —  
 и под тобой гривастый конь  
 рванётся в стремянах.  
 Но та вода —  
     не для питья.  
 Тот конь —  
     не для езды.  
 Лишь здесь,  
     у моря,  
                 понял я,  
 что значит «нет воды».

## 5

Перед отправкой,  
 примерно в час,  
 нас вызвали в штаб.  
 У штабных дверей  
 два адъютанта ждали нас  
 и торопили: скорей!  
 В затылок один одному дыша,  
 по лестницам,  
                 вверх, к нему.  
 И замерла под фланелькой душа,  
 услышав команду:  
 — Входить не спеша,  
                 спокойно, по одному.  
 И всё же мы столпились в дверях.  
 Командующий:  
     — А вы бы прошли! —

<sup>1</sup> Название села под Керчью, в котором в период боёв гитлеровцами были отражены колодцы.

В окнах покачивались на якорях  
тяжёлые корабли.

И так потянуло опять туда,  
море — чуть ли не за стеной...

— Так вот, Одессе нужна вода,  
вода — любой ценой.

Вы долго прощупывали пути,  
выверяли

каждый шаг.

Сегодня под утро, часам к пяти,

когда сменит наряды враг,

нужно будет убрать патрули,

блокировать будку шесть

и пустить движок.

Вопросы есть?

Всё возможное мы учли.

Кто робеет —

пусть остаётся тут..

Можно идти не всем.

Что? —

Мы молчим.

— Люди воду ждут... —

Он встал,

походил,

сел.

— Курите? —

Мы молчим.

Зажёт

спичку и погасил.

— Итак, когда будет пущен движок,

не распыляя сил,

вести отрядом бой у движка

до подхода патрульных рот —

и в дорогу...

.....

Дорога назад далека

всем ушедшим вперёд.

## 6

Итак, пора!

С приходом темноты

подъедут к нам закрытые машины.

Опять лиман,

опять стрельба по звуку,

и каждый куст похож на часового.

Всё как обычно.

Только слишком долго

Мамедка спит

и дольше, чем всегда,

у зеркала простаивает Анка.

Она красивая.

Матросам очень жаль,

что нужно ей весь день казаться немкой

и быть с Олегом

дольше, чем всегда.

Они пойдут сегодня в первой паре  
и будут открывать нам путь к Днестру.  
Мы много курим,

мало говорим.

У Гуры сын родился в Ольховатке,  
но в этот день  
нельзя не только выпить,  
но даже прочитать письмо друзьям.  
Своё — потом,

сегодня — только наше.

Сегодня нашим вылазкам — конец.  
Конец прикидкам, поискам, расчётам.  
Час выверен,  
патрульные известны,  
число их, место, смена и маршрут  
значками обозначены на карте.  
А в сторону Днестра идёт стрела,  
прямая, как задача возвратиться.

## 7

У калины не ломан куст,  
у малины не давлен сок.  
Житный колос высок да густ,  
а его густота — не в срок.  
Перевязанные бинтом,  
за хозяйскою добротой  
шли не сватами люди в дом,  
а солдатами на постой.  
И по хатам не жгли огни,  
а над плоскою каганца  
подпоясывались ремни,  
целовались —

и в ночь с крыльца,  
в ночь, откуда ползли слова:  
— Кто не вышел —

иди!

Пора! —  
Кони цокают у двора.  
На берёзах горит кора,  
а над всем:  
«Говорит Москва».

У Ивана родился сын,  
Стёпка Гура, рыбацкий внук.  
Из корзинки и двух холстин  
(время было одних разлук)  
люльку внуку пристроил дед,  
дров нанёс, починил плетень  
и ушёл...

В лес тянулся след.

А невестки косая тень :  
всё стояла в окне до утра,  
а по хатам ползли слова:  
— Кто не вышел —

иди!

Пора!

На берёзах горит кора,  
а над всем:  
    «Говорит Москва!»

## 8

...Выходили с разных сторон,  
подползали к мосткам,  
сталь курка поджимает патрон,  
и черствеет рука.  
Чей-то окрик...

    Взошла луна,  
и светло, как днём.  
Видим:

    Анка стоит.

        Она  
с офицером вдвоём.  
Он пошатывается. В руке  
офицера — стек.  
Это значит: «Иду к реке,  
прикрывай, Олег».  
Снова окрик.

    Ответ.

        Вдали  
анкин звонкий смех...  
Мимò нас прошли патрули,  
а земля как мех.  
Полежать бы...  
Да кровь в висках горяча.  
Два прыжка,  
        два броска,  
два удара с плеча...  
А в ста метрах от нас,

        а там,

возле будки шесть,  
проверяются паспорта,  
отдаётся честь.  
Зажигается спичка, и  
кто-то: «Bitte schön!»<sup>1</sup>  
...Почему ж не идут свои?  
Офицер смущён.  
Он на Анку взглянул:

        мол, что ж,

не пора ль решить?  
...Тонко свистнул мамедкин нож,  
патрулям — не житьь...

...В будке шесть — пять топчанов в ряд.  
Полумрак.

    Тишина.

Нам команда:  
— Убрать наряд!

.....  
В небе синие звёзды горят.  
Сонной уткой — луна.

<sup>1</sup> Пожалуйста! (нем.)

## 9

...Два шага пути до воды,  
 два шага пути.  
 Вот она — к ней ведут следы,  
 к ней уже не ползти.  
 Вот она — каплей на губе,  
 полный проворот —  
 и пойдёт вода по трубе,  
 и пойдёт.  
 И её уже не вернуть,  
 а потом  
 кто-то сможет к воде прильнуть  
 жадным ртом  
 и, поднявшись, опять пойти  
 на врага.  
 Два шага пути  
 до воды —

два шага.

...Гура пробовал так и сяк—  
 не открыть секрет.  
 Скоро утро разгонит мрак,  
 а воды всё нет.  
 Скоро смена придёт сюда —  
 недалёк рассвет.  
 Где-то дышит в трубе вода,  
 а воды всё нет.  
 Нет и нет, хоть чужих зови,  
 хоть кричи.  
 У Ивана пальцы в крови.  
 И ключи  
 поджимают гайки движка.  
 А движок  
 хоть погнал бы воды два глотка,  
 хоть глоток!

. . . . .

А в Одессе во всех домах,  
 как во сне,  
 ждут, когда застучит впотьмах,  
 в тишине  
 из открытых кранов струя,  
 в светлых брызгах вся,  
 и качнутся кастрюль края  
 полнотой кося...  
 Ждут, когда будут тыщи рук  
 в каплях, как в росе.  
 И от этой радости вдруг  
 улыбнутся все.  
 ...Потянуло из-за бугра  
 холодком.  
 — Не пора ли, Иван?  
 — Пора...  
     Ты о ком?  
 — Я о наших,  
     уже заря...  
 — Контакт...



стрелки — нашей судьбы часовые.  
 Лишь бы вновь задышали  
 упорно молчащие трубы.  
 Вновь качнулся движок,  
 заходило железное тело,  
 и откуда-то снизу,  
 в движенье своём нарастая,  
 вдруг рванулась вода по трубе,  
 загудела,  
 полилась,  
 понеслась...

И сказал он:  
 — Устал я.  
 Так сидеть бы да слушать.  
 Или ехать да ехать.  
 Время?  
 — Семь.  
 — Впрочем... что торопиться...  
 подождём!  
 — Подождём.  
 Нам теперь не до спеха.

Лица...  
 чаны с водой...  
 материнские лица...

А у ближней дороги,  
 у переднего ската,  
 десять касок  
 и ноги  
 головного солдата.

## 11

Небо осенью выше,  
 печальней, светлее.  
 Лес красивей,  
 особенно ясностью просек.

Так я вижу его и ничуть не жалею,  
 что приходит пора, уносящая росы,  
 что кружится листва,  
 что последняя стая  
 журавлей отлетает, тревогой объята.  
 В этот час, в сыровой земле прорастая,  
 начинают свой путь молодые опята.  
 И не жаль журавлиных протяжных известий.  
 Если осень,  
 пусть осень.

Но только б не рано.  
 Пусть, как в жизни людей,  
 не обычно,  
 не вместе  
 оголяются ветви берёз и каштанов.  
 Но бывает...

орешник — зелёный, зелёный,  
 а негнувшийся дуб — облетевший и чёрный...  
 Что нам гнущихся прутьев земные поклоны!  
 Нам дубы да дубы  
 в вышине непокорной.



Нам сурового кедра янтарные соки,  
 вот того,  
     с побуревшим стволом в два обхвата.  
 Осень!  
     Час листопада под небом высоким.  
 Осень!  
     Первое острое чувство утраты.  
 Дай мне, сердце, бескрайний полёт голубиный,  
 собери все опавшие листья у веток!  
 Облетают рябины,  
     облетают рябины...  
 А к чему мне рябины?  
 Я не про это...

## 12

...Не знаю, сколько длился бой —  
 час или год.  
 Но я увидел над собой  
 зари восход.  
 Услышал, как позвал кулик.  
 Куда? Зачем?  
 Свист мины рядом,  
     чей-то крик  
 и боль в плече.  
 А в сапоге тепло, тепло...  
 Поспать бы час.  
 Вдруг рядом вздох:  
 — Не повезло на этот раз.—  
 Иван меня перевязал,  
 сказал:  
     — Терпи.  
 Стреляй, пока глядят глаза,  
 умрёшь,  
     не спи!  
 А немцы — точно как во сне:  
 в траве, в пыли,  
 тянули щупальца ко мне  
 и всё ползли.  
 И попадало на прицел  
 немало их,  
 но каждый новый офицер  
 вёл в бой других,  
 других,  
     таких же, как и те,  
 что полегли  
 на всех подходах к высоте  
 клочка земли.  
 Но от холма и до реки,  
 от вех до вех  
 ползли зелёные комки  
 упрямо вверх.  
 И вот уже, как ни крути,  
 не продохнуть...  
 Воде в последний раз игти  
 в последний путь.

Уже, тяни иль не тяни,  
 враг — в двух бросках.  
 Везде — они,  
 кругом — они,  
 как боль в висках.  
 А Гура молча снял с ремня  
 все пять гранат  
 и так сказал:

— Прости меня,

я сам бы рад,  
 но мы должны остаться тут,  
 хоть навсегда,  
 чтоб лишних несколько минут  
 текла вода... —  
 Он приготовился к броску,  
 лёг на плечо  
 и долго ждал, сорвав чеку.  
 Бросок... ещё...  
 Ещё бросок —

и снова крик.

Гудит вода.  
 А за рекой зовёт кулик:  
 Зачем? Куда?  
 А Гура тормозит: — Умрёшь,  
 не спи,

нельзя.

Ползи, как можешь,  
 скоро рожь...

— А где друзья?

— Все отошли, кто не убит...

Ну, старина!..

Болят?

Оно всегда болят,  
 когда война.

За большаком — поля, поля...  
 Им нет конца.  
 Несжатым колосом, земля,  
 укрой бойца.  
 За большаком — хлеба, хлеба...  
 Колосьев строй.  
 Казалось, что сама судьба  
 велит: укрой!  
 И нас уводит ясным днём  
 в хлебах по грудь.  
 Но немец нам решил огнём  
 отрезать путь.  
 И по движению руки  
 из-под корней  
 во ржи качнулись языки  
 витых огней  
 и низом,  
 пóкатом пощли,  
 как от косы,  
 не отрываясь от земли,  
 вдоль полосы

кровавой ниточкой в дыму  
полукольцом.

А мины сыпались во тьму  
со всех концов.

А я просил его: — Иван,  
оставь меня!

Мне всё равно здесь...

что от ран,

что от огня.

А ты успеешь проскочить:

тропа видна.

Оставь меня,

не то у нас — судьба одна.

А он:

— Копай,— кричит,— на треть,

как я, штыком.

Ещё успеешь помереть —

дым далеко. —

Он настелил мне толстый слой

попынь-травы

и, забросав меня землёй

до головы,

укутал голову мою

своим плащом.

А сам, у смерти на краю,

шутил ещё:

— Отличный флотский лидероль<sup>1</sup>.

Горит с трудом.

Ему ничто ни дождь, ни моль,

И мой притом.

А встретимся —

ты плащ вернёшь,

я — твой бушлат. —

И низко наклонившись:

— Что ж, до встречи, брат! —

Бушлатом голову накрыв,

в огонь —

как в ночь с моста.

А рядом — взрыв.

Ещё раз — взрыв.

И пустота.

...И нет ни немцев, ни огня,

и не болит плечо.

...Может, не было этого дня,

может, я прочёл

про такое же у людей, у других.

Может, всё это только стих,

просто стих...

Нет, не выдумка то,

у Донца,

где курган...

В Ольховатке растёт без отца

мальчуган.

<sup>1</sup> Имеются в виду флотские лидерольевые плащи.

В Ольховатке живёт вдова  
одна навсегда.  
Потому что в Одессу в то утро по трубам  
пошла вода...

## 13

Холмы земли  
и дно морей  
хранят печаль войны.  
О, сколько тысяч матерей  
забыли цвет весны!  
О, сколько тысяч сыновей  
обратно не пришли!  
Об этом знает  
дно морей,  
холмы земли.  
...Бедой не вылечить беду,  
огонь не сжечь огнём,  
но то не вдовы ли идут,  
затянуты ремнём,  
следы ль не материнских ног  
в кирзовых сапогах  
в краю продымленных дорог  
впечатаны в снегах?!  
Да, это, не дождавшись нас,  
считая веком дни,  
пошли навстречу нам они  
в суровый час...

Мама! Ты ведь боялась одна  
ночью стоять у плиты,  
ты ведь стара уже,  
ты больна.

Мама!

Куда же ты?  
Разве не трут тебе сапоги,  
не тяжела шинель?!  
В зимнюю ночь не видать ни зги,  
если метёт метель.  
Слышишь, как мучается зима  
в стынувших проводах.  
Кружится белая кутерьма  
в скользких ладонях льда,  
кружится,  
путает все пути,  
кутает тьмой края...  
Как же смогла ты в ту ночь дойти,  
мама моя?..

## 14

В чём стояла, в том и вышла...  
Тихо скрипнули перила.  
Так беззвучно, так неслышно  
дверь на улицу открыла,  
захлебнулась свежим ветром  
и шагнула, еле-еле...

Сколько тысяч километров  
ты считаешь с той метели,  
с той зимы, когда с рассветом  
без платка,

        в снегу по пояс,  
не сказав отцу об этом,  
села ты в солдатский поезд.  
...Всё, что было, в перестуке  
дни за днями отсказали...

Жив ли тот солдат, что руки  
отогрел ей на вокзале?

Жив ли тот комвзвод,        что чаем  
напоил её в дороге?

...Вдоль перрона плыл, качаясь,  
дым махорки,

        гул тревоги.

Люди шли

        и с ходу,

        с марша

молча —

        в эшелон резервный...

И никто рукой не машет  
уходящей в сорок первый.

Только вдруг рванулся косо  
человек в фуражке алой...

И пошли считать колёса  
перепутанные шпалы.

И пошло качать вагоны:  
назначенье... фронт... санпоезд...

тупики

        и перегоны,

третий пояс,

        первый пояс.

А колёса в такт единый:

нету сына, нету сына...

...А я был жив.

        Как знать, что берегло  
солдатские шаги в дыму сражений?!

Здесь нет знакомств

        и личных одолжений,

здесь, если пуля мимо, — повезло.

Здесь в поголовной близости смертельной

такою дружбой мечены пути,

что лучше уж обратно не прийти,

чем выжить от товарищей отдельно.

А если места мало на двоих

в окопе, наспех вырытом штыками,

и, хоть бы с обожжёнными руками,

не он, а ты —

        «оставшийся в живых»?

И кажется, что некуда спешить,

а под тобой земля —

        сгоревшей коркой?

Где силы взять?

Но, как это ни горько,  
один иди,  
но ты обязан жить.  
Дойдешь до наших —  
сотня пуль по немцам.  
Не сможешь —  
ты закончишь жизнь свою,  
как он, твой друг,  
всем существом,  
всем сердцем  
не дотянувший до своих в бою.

...Я полз,  
катился,  
полз,  
и каждый крик,  
неслышный крик,  
стекал холодным потом.  
Но, весь в бинтах, я медленно работал,  
упрямо продвигаясь напрямик  
по житу,  
полям,  
в репьях,  
в золе,  
по кочкам,  
по березняку,  
по травам,  
то прижимаясь к выцветшей земле,  
то припадая к высохшим канавам.  
Всё полз и полз на каменных руках  
на кладбище,  
туда,  
где за кустами  
луне и той тревожно в облаках  
всходить над распростёртыми крестами.

## 15

— Анфимьевна, Анфимьевна!  
Там кто стоит за лавкою?  
— То я стою.  
— Анфимьевна!  
Опять собаки гавкают?  
Опять в дыму и трещинах  
горит земля просохшая,  
как будто выйти просятся  
на волю все усопшие.  
Анфимьевна!  
Мне кажется:  
то всё плыву куда-то я,  
твоей травой укутанный,  
и пахнет свежей мятою,  
то с каменной оградой  
лечу —  
и стынут волосы.  
Всё падаю и падаю,

хочу кричать —  
нет голоса.

А уши молоточками  
постукивают звонкими,  
свои мне пальцы кажутся  
то толстыми, то тонкими.  
И всё Иван мне видится,  
стоит, глядит в глаза мои.  
Сиди со мной, Анфимьевна,  
побудь немножко мамою...

## 16

Триста метров рожью до бугра,  
а оттуда низом — метров двадцать.  
Вот и всё, что прожил он с утра.  
Всё...

Уже не крикнуть,  
не подняться.

Две воронки рядом...  
С высоты  
тускло солнце светит в небе хмуром...  
Рожь горящая!

Хотя бы ты  
не коснулась в это утро Гуры!  
...Догорела рожь...

Прошли дожди...

И сменился день,  
сменилась ночь.

Он не знал про это.  
Впереди  
было то, чему нельзя помочь.  
Но беда приходит не одна.  
Мой бушлат, что взял с собою он,  
как на грех, сберёг в комке сукна  
гильзу, где хранил я медальон.  
Совість партизанская чиста:  
что нашли во ржи, то принесли.  
Строчки похоронного листа  
заживо меня не погребли.  
Но когда я замер у звонка,  
думая, что лучше постучать...  
кажется, прождавшая века,  
всё ещё ждала другая мать.

## 17

Я о мае.  
Я о том, что мы  
оплатили праздник свой сполна...  
После затянувшейся зимы  
так приходит тёплая весна  
в солнце и в слезах...

И всё равно

май  
есть май.  
Хоть будет вечно свят,

навсегда ушедший в бой солдат,  
тот,  
кому вернуться не дано.

• • • • •

В Ольховатке восемьсот дворов,  
в Ольховатке слишком много вдов.  
В каждой третьей хате со стены  
смотрит тот,

кто не пришёл с войны.  
И не в том печаль,

не в том тоска,  
что черствея рука без мужика,  
что длинней пила,

что крепче дуб,  
что чинить пора б криничный сруб.

Тяжела не вдовья канитель...

Белая, высокая постель.

Сон под праздник.

Холод первых рос.  
Плотный узел чёрных вдовьих кос...

## 18

Стёпке в сентябре тринадцать лет.  
У него забот не перечесть.  
У него совсем четвёрок нет  
и свой собственный козлёнок есть.  
Он гуляет, важный, на дворе  
и ещё пока совсем ручной.  
Стёпке подарили в сентябре  
парусник с весло величиной.  
У него свой боцманский свисток,  
и, хоть расстоянья велики,  
лично к Стёпке на предельный срок  
приезжали в отпуск моряки.  
Моряки ходили с ним в кино,  
запускали змея, сбили плот.  
И казалось Стёпке, что давно  
у него знакомых — целый флот.  
А однажды в зеркальце тайком,  
зажигая нитку каганца,  
он себя увидел моряком  
в мичманке погибшего отца.

## 19

Казалось, тысячи ночей —  
я не считал —  
прошли с тех пор,  
как без вмешательства врачей  
я спал спокойно.  
Кроме гор,  
где, величавы и густы,  
цепляясь за крутой карниз,  
висят над пропастью кусты  
и не боятся глянуть вниз,  
мне часто снилась ширь морей —



раздолье тяжких якорей,  
 да синь — без края, без границ,  
 да море в пене белых птиц,  
 да тропка, что ведёт домой.  
 Нет больше пены за кормой,  
 нет ни тревог, ни вахт, ни мин.  
 Теперь ты самый старший чин.  
 Налево — сонный луч в окне,  
 направо — зайчик на стене,  
 и, улыбнувшись, скажешь: да,  
 не зря есть планки в три ряда!

. . . . .  
 Как я спокойно жил в те дни,  
 как будто панцырь вдруг надел,  
 как будто кто-то подменил  
 меня на несколько недель.  
 Как будто за меня музей  
 сраженья в памяти хранил,  
 как будто не было друзей,  
 которых я похоронил,  
 как будто не было войны,  
 как будто не было беды,  
 как будто больше не видны  
 рубцов запёкшихся следы.

...Приехал к матери, давно  
 задумав дома побывать.  
 Пришёл: фанерное окно,  
 клетушка — печка да кровать.  
 — Что ж, мы ведь из огня — домой,  
 и всё, что нажито, — на нас.  
 Была б машина да каркас,  
 да курс прямой, —  
 так я сказал ей. Снял шинель,  
 в печурку подложил дрова.  
 Поцеловал. Нашёл слова.  
 Как в детстве, сел к ней на постель.

А сам себе потом:

«Ну как?»

А что ж, ещё в золе земля...»

И мне припомнился моряк —  
 «вперёдсмотрящий» корабля.  
 Не зря он, высланный вперёд,  
 просматривает каждый шаг.  
 Он как живой громоотвод,  
 нет,

он как корабельный флаг.

Как совесть наша

и как честь,

к весне шагнувший за февраль.  
 Ему дано в штормах прочесть  
 метель и солнечную даль.

...Мы не снимали кителя.  
 Мы навсегда несём с собой  
 и трудный мир, и вечный бой,

холмы твоей тоски, земля,  
и неба выпел голубой.  
Порой мне кажется теперь,  
что ты придёшь, откроешь дверь,  
опять протянешь руку мне,  
поправишь кортик на ремне  
и сядешь рядом. А потом  
потребуешь отчёт о том,  
что сделал я, живой,  
как жил,  
чем больше жизни дорожил.  
Что ж! Раз уж я пришёл, не ты —  
мне отвечать за всё сполна.  
Так пусть же до конца чисты  
хранятся наши ордена.  
Пусть, как и в прежние года,  
нам каждый час, как жизнь, прожить,  
как воду людям дать, когда  
уже почти не просят пить.

### ЭПИЛОГ

Когда победу праздновало небо,  
цветистыми ракетами пыля,  
прикрыв могилы шапкой ковыля,  
впервые потучневшая от хлеба,  
уже от солнца щурилась земля.  
Черна от пепла и красна от маков,  
зелёная от нетерпенья трав,  
лугами росными своих сынов оплавав,  
она лежала, жизнью смерть поправ,—  
от северосибирских переправ  
до самых новых пограничных знаков.  
...В те дни бойцам, покончившим с войной,  
своя земля была вдвойне родной.  
Как никогда понятная, до боли,  
она была дорогою домой,  
не той, что горько тает за кормой,  
а той, что властно тянет выйти в поле.  
...Нам рук натруженных не занимать.  
Не нас учить, как обнимают мать.  
Мы надышались всласть госпиталями,  
мы настучались вдоволь костылями.  
Так как же нам теперь не понимать  
земную радость всходов над полями!

Май месяц... Мирной ночи высота.  
Весенней звёздной ночи чистота.  
Качаясь в грозных люльках, спят торпеды.  
Но пусть их снова не разбудят беды —  
счёт мирных лет ведём мы неспроста  
по летоисчислению  
от победы.



---

---

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

★

## БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН

*Киносценарий*

**В**о весь экран тёмное, бронзовое, застывшее лицо раненого солдата в надвинутой поверх бинтов пилотке. Шаг за шагом отступая назад, мы сначала видим его бронзовые плечи, тяжёлые натруженные руки, сжимающие винтовку, потом всю фигуру в бронзовых стоптанных сапогах и, наконец, весь памятник — кусок мощной крепостной стены за спиной солдата и уходящие влево и вправо серые гранитные плиты братских могил.

— Эта повесть посвящается вам...— говорит за кадром мужской голос.

И мы видим тех, о ком он говорит.

— ...вам, которым сейчас восемнадцать, вам, которые кончают школы и вступают в жизнь, идут в университеты и на заводы, едут на целинные земли и на зимовки, вам, которые должны быть готовы не только строить будущее, но и воевать за него, вам, которые были детьми, когда началась эта повесть, вам, ради счастья которых отдали свою жизнь герои этой повести, вам посвящается она!

И пока мы слышим эти последние слова, перед нашими глазами проходят величественные памятники Победы в Трептов-парке в Берлине, на горе Геллерт в Будапеште, у моста Понятовского в Варшаве, монументы на Мамаевом кургане, в Корсуне, на Курской дуге и скромные пирамидки со звёздами, затерянные среди необъятных полей нашей Родины.

— Помните об этом, когда вы будете поднимать бескрайние земли Казахстана. Помните об этом, когда вы будете спускать на воду корабли и перекрывать русла рек. Помните об этом, когда вы, обнявшись, счастливые, будете идти рядом, накрывшись одним пиджаком, и тихо повторять: «Люблю тебя...»

Мы видим надпись на цоколе памятника:

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПОГИБШИМ ПРИ ОБОРОНЕ  
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 22 ИЮНЯ — 20 ИЮЛЯ 1941 года»

И сразу перед нашими глазами возникают руины Брестской крепости.

— Помните эти валы и бастионы,— говорит голос,— эти стены Брестской цитадели, эти форты — Западный и Восточный, эту землю, где камень, железо и кровь смешались так, что их никогда уже не разнять, эту пограничную землю, где, с первого же дня войны отрезанные от всего света, люди месяц дрались до последнего патрона, до последнего дыхания, дрались во имя того, чтобы через четыре года это знамя...

На экране — знамя.

— ...взвилось над фашистским рейхстагом...

На экране, на фоне разрушенного, дымного Берлина,— флаг над рейхстагом.

— Эта повесть началась 22 июня 1941 года, но мы начнём её не с первой, а с последней страницы...

Майский вечер. По шоссе, мимо колонны догорающих на обочине немецких бронетранспортёров и грузовиков идут наши танки. Головной танк останавливается у столба с немецкими надписями. Стрелка, указывающая назад, — Берлин, 60 километров; стрелка, указывающая вперёд, — Луккенвальде, 42 километра; стрелка, указывающая налево, — Грюнесдорф, 8 километров.

Танк сворачивает налево, на узкую лесную дорогу.

— Лётчики доложили, что лагерь где-то здесь, — говорит полковник-танкист, обращаясь к стоящему с ним рядом в открытой башне башенному стрелку и делая ногтем пометку на карте.

Танки идут через глухой лес. Головной танк останавливается у новой развилки, на этот раз без всяких указателей.

Полковник, сверив карту с местностью, нагибается, отдаёт приказание водителю, и танки снова сворачивают налево.

— До тысячи пленных! — говорит полковник. — Как бы не перебили. Только б успеть!

Танк вылетает на открывшуюся посреди леса большую поляну. Повсюду следы вырубки, торчат пни, впереди виден квадрат лагеря, по углам — сторожевые вышки. Между ними — несколько рядов колючей проволоки.

Танк, не снижая скорости, мчится к центральным воротам лагеря, по сторонам которых тянутся два низких длинных барака.

Ворота лагеря всё ближе и ближе; они открыты, в них стоит толпа людей — оборванные фигуры, измождённые лица.

— Ничего не понимаю! — вглядываясь, говорит полковник.

Танки останавливаются. Наступает мгновенная тишина. И в этой тишине несколько человек с автоматами в руках, стоящих впереди толпы, дают залп в воздух.

— Ничего не понимаю, — повторяет полковник, вылезая из танка.

Следом за ним вылезают другие танкисты и идут навстречу толпе.

Впереди толпы идёт рослый бородатый человек, худой, измождённый, в рваных брезентовых штанах и в таком же рваном красноармейском ватнике, подпоясанном немецким форменным ремнём. Левая рука подвязана грязным платком за шею. Голова наискось обмотана тряпкой с проступающими тёмными пятнами крови. В правой руке он держит немецкий автомат.

— Докладываю: сегодня утром освободили сами себя. После боя в лагере осталось двести семнадцать живых, — говорит он, останавливаясь перед полковником. — Остальные...

Губы бородатого вздрагивают.

— ...остальные легли в бою, — уже твёрже повторяет он. — Но зато этих шкур, — с ненавистью кивает он на стоящего между двумя освобождёнными пленными эсэсовского офицера, — всех перебили. Только одного — вам показать — оставили!

Короткое молчание.

— Значит, погоны у вас теперь... — глядя на полковника, медленно говорит бородатый. — Здравствуйте, дорогие товарищи!

По щекам его текут слёзы. Полковник обнимает его. И сразу, как будто лопнула общая напряжённость, люди бросаются друг к другу, хватают друг друга в объятия, целуются, говорят, кричат что-то громкое, счастливое, сбивчивое.

Двое пленных с автоматами, стоявшие возле эсэсовца, на мгновение забыв о нём, тоже бросаются к своим. Эсэсовский офицер стоит молча,

капли холодного пота текут у него по лбу. Скулы дёргаются. Он смотрит на всё происходящее вокруг него и вдруг, не выдержав, кричит:

— Erschiessen sie mich! <sup>1</sup>

Полковник, выпустив из объятий бородатого, поворачивается к фашисту.

— Что он говорит? — спрашивает полковник.

— Просит, чтобы расстреляли. Боится, шкура, что мы его, перед тем как расстрелять, через мясорубку пропустим. За все грехи! Подальше от нас на небо просится. Не выйдет! Он ещё вас на экскурсию сводит, покажет вам, где и что они тут с нами делали. Где свои вакцины на нас пробовали, где вешали, где жгли, где живьём закапывали...

Бородатый подходит вплотную к эсэсовцу. Говорит со спокойной ненавистью:

— Gleich werden Sie, Herr Kommandant, eine Exkursion durch das Lager führen <sup>2</sup>.

— Nein! — кричит эсэсовец. — Nein! Erschiessen sie mich! <sup>3</sup>

— Не хочет экскурсоводом быть, — поворачивается бородатый к полковнику. — Нервы слабые. Одолжили бы, товарищ полковник, тридцать-четвёрочку!

— Зачем? — спрашивает полковник.

— Стереть его с лица земли! — говорит бородатый, сопровождая слова выразительным жестом здоровой руки.

— Без суда не будем, — твёрдо говорит полковник. Они долго смотрят в глаза друг другу.

— Тогда заберите его от нас, пока цел, — говорит бородатый. — Сдаю живого, — он повышает голос, — здорового! Нашей кровью вскормленно-го... Берите!.. Судите!.. Прокуроры потребуются... — он показывает на окружающих его освобождённых пленных — ...прокуроров найдём. Адвокаты понадобятся — не обещаю!

Двое танкистов по знаку полковника становятся по сторонам эсэсовца и уводят его. Ненавидящим взглядом проводив эсэсовца, бородатый поворачивается к полковнику и говорит задумчиво и скорбно, без укоризны, но с горечью:

— Эх, попали вы сюда со своими тридцатьчетвёрками на неделю раньше, много наших людей в живых бы осталось!

Ночь. Внутренность немецкого комендантского барака. Разбитые окна. Слабый свет маленькой лампочки, работающей от движка. Посреди комнаты, за столом, сидят полковник, танкисты, бородатый и ещё несколько освобождённых. На столе — хлеб, сало, тарелки с мясными консервами, кружки.

— Да, — говорит бородатый, продолжая начатый разговор и незаметно для себя отщипывая корку хлеба. Он хочет положить её в рот, но останавливается, кладёт обратно на стол и, встретившись взглядом со своим товарищем, жующим кусок хлеба, приказывает: — Прекрати, Билибин, умрёшь с отвычки. Прекрати, говорю!

И, подчинившись приказу бородатого, человек кладёт хлеб на стол.

— Поднялись на рассвете, — продолжает рассказ бородатый, — одни на проволоку легли, другие по их телам через проволоку, третьи — под автоматы... Своими телами дула закрыли...

— Как Матросов, — говорит один из танкистов.

— Что? — спрашивает бородатый.

<sup>1</sup> Расстреляйте меня!

<sup>2</sup> Сейчас вы, господин комендант, проведёте экскурсию по лагерю.

<sup>3</sup> Нет! Нет! Расстреляйте меня!

— Я говорю — как Матросов...

Полковник смотрит на бородатого.

— Вы этого подвига не знаете, был такой Матросов...

— Да, этого мы не знаем, многого не знаем. Четыре года в плену.

Он долго смотрит на полковника.

— Значит, трудно меня узнать, Пётр Фомич, а?

Полковник долго, в упор смотрит на него. Закрывает глаза рукой, открывает, снова смотрит и наконец спрашивает неуверенно, как о чём-то невозможном, несбыточном:

— Батурин?

Отодвинув скамейку, не отводя взгляда от бородатого, полковник идёт к нему, огибая стол. Подойдя, обнимает его, потом кладёт ему руки на плечи и, отодвинув от себя, говорит удивлённо:

— Батурин!.. Считал, что убит.

— А я считал — ты убит! — просто говорит Батурин. — А они, — кивает он на стену барака, где ещё висят обрывки фашистских плакатов, — считали, что все мы будем убитые! А мы не убитые, мы живые!

— Неужели это ты? — снова говорит полковник. — Батурин!

— Я, Батурин!..

— Батурин! — говорит широкоплечий военный, стоя спиной к нам перед домом общежития начсостава в Брестской крепости.

— Я, Батурин! — доносится весёлый голос, и в окне второго этажа, в галифе и подтяжках поверх белоснежной нательной рубашки, появляется мужчина лет тридцати пяти, в котором почти невозможно узнать того бородатого, измождённого человека, которого мы только что видели в лагере военнопленных.

— Сейчас, Пётр Фомич, последние сборы.

Жена Батурина подходит сзади и кладёт ему руки на плечи.

— Он у меня, как невеста, собирается, Пётр Фомич, — говорит она. — Шесть рубаш, три галстука ему нагладила. Такой парад, что боюсь на курорт отпускать. А ну как уедет, да не вернётся!

— За час соберётесь? — спрашивает стоящий внизу военный.

В окне появляется лицо немолодой, похожей на Батурина женщины. Через плечо у неё полотенце, на носу — очки, в руке — иголка.

— Не управится, — говорит она. — Две хозяйки сразу собирают. Одна укладывает, другая перекладывает.

— А вы с папой на вокзал на «эмке» поедете? — возникая в окне рядом с отцом и матерью, спрашивает сын Батурина, Коля, тринадцатилетний подросток.

— Допустим, — говорит военный, стоящий внизу.

— А меня возьмёте? — раздаётся голос из глубины комнаты.

Батурин поворачивается, нагибается и снова появляется в окне, держа на руках четырёхлетнюю дочь.

— Всех заберу! Через час буду ждать в машине у ворот, — говорит военный внизу и оглядывается на проходящего мимо немолодого усатого старшину с фотоаппаратом и складным штативом, висящим на ремешке через плечо.

— Здравия желаю, товарищ батальонный комиссар, — приветствует его старшина.

— Здравствуйте, товарищ Кухарьков, — говорит батальонный комиссар, в котором мы узнаём полковника-танкиста. — Задержитесь-ка, снимите командира полка перед отпуском, в кругу семьи.

— Есть, снять товарища майора в кругу семьи, товарищ батальонный комиссар, — говорит старшина, улыбаясь и берясь за свой складной штатив.

— Да не буду я сниматься, — говорит пожилая женщина. — Что это вдруг в окне, как в кукольном театре!

— Ну вот, вы даже сняться со мной не хотите, — полушутя, полусерьёзно замечает жена Батурина.

— Ладно, ладно... — Батурин удерживает мать за плечи.

— Дай хоть полотенце-то скину, — ворчит мать.

— И очки уж заодно! — говорит жена Батурина.

Свекровь, покосившись на неё, с недовольным видом снимает очки.

— Подержи, — протягивает она их внуку, который сразу же цепляет очки на нос.

— Готово, — говорит старшина. — К завтрашнему дню проявлю и напечатаю.

— Значит, через час? Могу на вас положиться, товарищ Батурина? — с нарочитой строгостью спрашивает батальонный комиссар.

— Так точно, товарищ Кондратьев! В двадцать ноль ноль будем у ворот, как из пушки, — в тон ему, улыбаясь, говорит жена Батурина.

Помахав рукой, Кондратьев идёт вдоль дома и останавливается у одного из окон нижнего этажа.

— Товарищ военврач, а товарищ военврач!

— Ну, чего тебе, батальонный комиссар? — говорит, отдёргивая в окне занавеску, жена Кондратьева, Александра Петровна, женщина лет под сорок, спокойная, немного даже ленивая на вид, в гимнастёрке, не застёгнутой на верхний крючок.

— А вы застегнитесь, товарищ военврач, когда говорите со старшим начальником.

Женщина лениво застёгивает крючок.

— Ну, застегнулась, что дальше?

— Через час еду в лагерь. Имею свободное время. Может, посидим в садике?

— Сейчас выйду.

Кондратьев не спеша пересекает дорогу, отделяющую дом от небольшого, разбитого перед ним садика. Мимо комиссара проходят четверо бойцов, несущих на плечах новенького спортивного коня. Продолжая нести коня, они приветствуют Кондратьева, но это у них выходит не особенно ловко.

— Получили? — спрашивает Кондратьев.

— Так точно, получили, — с облегчением ставя на дорогу коня, говорит боец, у которого волосы подстрижены под машинку, но впереди оставлен небольшой, неположенный по правилам чубчик.

— Что-то я замечаю — как-то странно стригут вас, Гоголев, — говорит комиссар. — За девушкой, что ли, ухаживаете, а?

Гоголев молчит.

— Это его парикмахер под бокс из уважения — как первого спортсмена! — приходя на помощь товарищу, бойко отвечает маленький белобрысый боец с озорными глазами. — Рука, говорит, не поднимается.

— Первый спортсмен? — переспрашивает Кондратьев. — А ну, давайте через коня, покажите!

Гоголев легко перелетает через коня туда и обратно и встаёт по стойке «смирно».

— Так, говорите, у парикмахера рука не поднимается? — обращается батальонный комиссар к белобрысому красноармейцу. — А, Бугорок?

— Так точно!

— Ну и у меня не поднимается. Ладно. Идите.

Бойцы поднимают на плечи коня и скрываются за углом дома.

Войдя в садик, Кондратьев садится на скамейку и вынимает из планшета «Правду».

Через его плечо мы видим первую страницу газеты. Число: 21 июня 1941 года. Заголовок передовой: «Вырастить и без потерь собрать богатый урожай». Под ней Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания «Заслуженного учителя» учителям Марийской АССР. Кондратьев разворачивает газету. Мелькают заголовки: «Война в Африке и на Средиземном море», «Подробности последних боёв в Ливии», «Военные действия в Сирии», «Английское наступление на Дамаск».

— Довольно политикой заниматься,— говорит жена Кондратьева, подходя к мужу, беря у него из рук газету и складывая её.— Скажи лучше, как по-твоему, любит ли он её?

— Кто «он», кого «её»? — не слишком искренне спрашивает Кондратьев.

— Твой Гоголев нашу Варвару.

— А почему он мой?

— Потому что в твоём полку служит.

— Что же, по службе к нему претензий не имею. Если бы остался на сверхсрочную, стал бы хорошим командиром. Но, кажется, собирается в вуз.

— Варвара тоже собирается в вуз,— всё ещё лениво, но уже накаляясь, говорит Александра Петровна.— Что это за сватовство глупое в такие годы...

— А я вот одно сватовство припоминаю аккурат в такие годы: ей восемнадцать было, а ему — двадцать. Глупо мы с тобой сделали, что тогда поженились, да?

— Что ты сравниваешь? — укоризненно отвечает Александра Петровна.— Мы же тогда с тобой взрослые люди были, а они дети!..

— А им тоже, наверно, сейчас кажется, что они взрослые люди,— говорит Кондратьев.

— Вот именно — кажется! — с сердцем говорит Александра Петровна.— Поговори с ней сегодня. Не езжай в лагерь!

— Не могу, Саша,— говорит Кондратьев и смотрит на дорогу, по которой в походном строю движется батальон.— Вот уже и второй батальон вытягивается. Завтра — отдых, послезавтра — смотр техники. Ночью съезжу, посмотрю, как всё организовано.

— Только тебя там и ждут, в ночь под воскресенье!

— А я как раз и поеду, когда не ждут!

— На всё время есть, кроме семьи!

— Типичная фраза жены политработника сороковых годов двадцатого столетия,— улыбаясь, говорит Кондратьев.

— Варвара! — кричит Александра Петровна.— Варвара!

Уже побужавшая было к парадному девушка недовольно спрашивает:

— Что?

— Поди сюда!

Девушка подходит к штакетной ограде садика. У неё круглое, полудетское, сейчас очень сердитое лицо.

— Мне некогда, я в город иду. Я только забежала косынку взять.

— А я тебе увольнительную записку в город давал? — спрашивает Кондратьев.

— А я не твой боец!

— Ты-то не мой боец,— говорит Кондратьев,— а будешь дерзить — кому-нибудь из моих бойцов увольнительной в город не дам!

— Кому? — краснеет Варя.

— Я уж знаю кому,— говорит Кондратьев и, показав рукой на чубчик, добавляет: — Идите, можете быть свободной.



Варя, в растерянности постояв секунду и повернувшись на одной ноге, убегает в дом.

— Как всегда,— говорит Александра Петровна,— вместо серьёзного разговора...— и она, махнув рукой, поднимается со скамейки.

— А если он мне нравится? — расставив руки и загораживая дорогу жене, спрашивает Кондратьев.— А если он мне меня самого в двадцать лет напоминает?

— Ну, и ничего хорошего! — отрезает Александра Петровна.

Дорога, ведущая из центра цитадели к Северным воротам, обсаженная по краям старыми липами. По дороге идут Батурин, его жена Мария Николаевна и Леночка, которую они ведут за руки.

Впереди с независимым видом, насвистывая, с небольшим отцовским чемоданчиком в руках идёт Коля.

— Ну вот,— говорит Мария Николаевна,— две бабы собирали тебе чемодан, три раза перессорились, а в итоге ты всё вытряхнул! Почему у Кондратьевых в семье никто ни с кем не ссорится? А у нас — как на вулкане!

— Ах, Маша, Маша,— говорит Батурин,— и прекрасно они ссорятся и мирятся, всё как у нас.

— Значит, тоже плохо.

— Нет,— говорит Батурин,— значит, тоже хорошо. Если бы не Ленка, взял бы расцеловал тебя посреди дороги.

Мария Николаевна останавливается.

— Дома твоя мама мешала, теперь Лена мешает...

— Почему мешает?

— А не мешает, так поцелуй.

Батурин делает движение, чтобы обнять жену, но в это время на встречу им из ворот выезжает походная кухня.

— Но! — кричит ездовой и, заметив Батурина, поворачивает к нему голову.— Здравия желаю, товарищ майор!

Батурин отдаёт честь, поворачивается к Марии Николаевне, но вслед за кухней выезжает ещё несколько повозок.

— Ну вот,— улыбнувшись, говорит Мария Николаевна.— Теперь бойцы помешали!

Посмотрев друг на друга, они оба смеются и проходят через ворота, мимо часового.

За воротами — зеленеющие буйной травой старые валы, могучие липы, вековые вербы.

Сидя в своей «эмке», Кондратьев уже поджидает Батурина. Коля, размахивая чемоданом, бежит к машине, открывает дверцу, ставит внутрь чемодан.

— Мама, а мы поедем? — спрашивает Леночка.

— Нет,— говорит Мария Николаевна.— Папа поедет, а ты ему ручкой помашешь. На тебе платочек.

Она вынимает из кармана платок и даёт Леночке.

— Дядя Петя,— говорит Коля, обращаясь к Кондратьеву.— Можно с вами?

— Как отцова воля,— говорит Кондратьев.

— Можно вас на минуту? — говорит Батурин сыну.

Коля подходит к отцу.

— Слушай, солдат,— тихо говорит Батурин.— Видишь, какая мать весёлая?

— Вижу,— недоумевающе отвечает мальчик.

— Это она для виду. А на самом деле не любит, когда уезжаю. Понятно?

— Понятно.

— Есть просьба: оставайся, солдат, посиди сегодня с ней.

Коля мнётся.

— Неохота?

— Неохота,— вздыхая, говорит Коля.

— Но служба,— говорит Батури.

— Служба,— вздыхая, подтверждает Коля.

— Держи...— протягивает ему руку Батури.

Коля хмуро пожимает её.

— Что, не поедешь отца провожать, остаться решил? — спрашивает Мария Николаевна.

— Решил,— хмуро говорит Коля. И добавляет после паузы: — Целуйтесь уж. Видите, Пётр Фомич ждёт.

— Ну, раз получено приказание,— улыбается Батури и, обняв, крепко целует жену и сидящую у неё на руках дочь. Потом, искоса глянув на сына, полусхотливо, полусерьёзно козыряет ему.— Разрешите отбыть?

— Можете быть свободным,— говорит Коля, очевидно, повторяя давнишнюю игру с отцом.

Батури садится в машину.

Машина трогается. Батури, обернувшись, смотрит назад. Он видит всё удаляющиеся крепостные ворота и стоящих около них женщину с девочкой на руках и независимо засунувшего руки в карманы подростка.

Машина едет вдоль валов и старых крепостных сооружений.

Тёплый летний вечер. Красноармейцы купают в канале лошадей, слышны всплески воды, крики, хохот.

В одном из окон крепости сидит боец и тренькает на балалайке.

— Конечно,— говорит Батури,— при нынешней военной технике это просто казармы — и всё. Но строили солидно. Во времена Николая Первого была первоклассная крепость. Останови-ка на минуту машину!

Кондратьев останавливает машину.

— И мотор выключи.

Батури открывает дверцу машины.

— Пятьсот метров до немцев, а тишина какая! — говорит он и, хлопнув дверцу машины, задумчиво добавляет: — Сам понимаю, что глупо, а не лежит душа в отпуск ехать. Червяк точит. Где ты больше будешь, в лагерях или в крепости?

— В лагерях,— нажимая на стартер, говорит Кондратьев.— Сам знаешь, в крепости у нас с тобой всего ничего осталось. Поезжай! Раз отпускной билет в кармане, надо ехать. Ты вернёшься — я поеду. Может, даже всей семьёй...— заканчивает он, неожиданно вздохнув.

— Чего вздыхаешь? — спрашивает Батури.

— Варвара у меня замуж собралась.

— За кого?

— За Гоголева, из второй роты. Осенью службу кончает. Предлагает руку и сердце.

— Как бы не увёл, хлопец боевой,— улыбается Батури.

Машина въезжает в город.

— Стой,— говорит Батури.— Мне тут до вокзала два шага.— И, выйдя из машины и взяв чемодан, крепко жмёт руку Кондратьеву.

— Забудь про полк, отдыхай! — говорит Кондратьев.

Машина отъезжает. Батури сворачивает за угол с чемоданом в руках.

Ночь. Между двумя рядами палаток, негромко разговаривая, идут Кондратьев и сопровождающий его дежурный по лагерю.

— Линейка плохо расчищена — расчистить!

— Будет исполнено, — говорит дежурный.

Они подходят к стоящей у крайней палатки машине.

— Заночевали бы, товарищ комиссар полка? — спрашивает дежурный.

— Не могу. Третьи сутки обещаю заехать к начальнику погранзащиты. Желаю здравствовать!

Ночь. Машина идёт по дороге вдоль чернеющих сбоку валов крепости, проезжает через мост, углубляется в лес.

В свете фар виден шлагбаум и будка.

К машине подходит пограничник.

— К капитану Кудинову, — говорит Кондратьев и показывает удостоверение.

Пограничник поднимает шлагбаум.

Комната в первом этаже пограничной заставы. Светает. У окна, за канцелярским столом, сидят начальник заставы капитан Кудинов и Кондратьев.

— Давно к нам не заглядывали, — говорит Кудинов.

— Да что ж к вам заглядывать? У вас тишина.

Оба прислушиваются. И в самом деле стоит удивительная тишина.

— А наряды всё же посылаете усиленные? — спрашивает Кондратьев.

— А наряды всё же посылаем усиленные, — повторяет Кудинов. — Вот и ещё одна ночь прошла.

— Ночи считаете? — говорит Кондратьев.

— Такая наша служба, — отвечает Кудинов. — Батулин уехал?

— Уехал, — говорит Кондратьев, поднимаясь. — Сейчас, наверно, уже к Минску подъезжает. А послезавтра будет в Сочи.

Оглушительный взрыв, второй, третий... Взрывы сливаются в сплошной гул.

— Провокация, — хватаясь за телефонную трубку, говорит Кудинов.

Опушка леса. Открытая поляна, по другую сторону которой, за низкой каменной оградой, видно здание заставы.

Вокруг заставы рвутся снаряды. На опушке леса, спиной к нам, залегли готовящиеся к атаке фашисты.

Грохот артиллерии стихает. Немецкий офицер, вскочив, подаёт команду. Немцы бегут через поляну.

Из-за каменной ограды, из окон заставы начинают строчить два пулемёта, щёлкают винтовочные выстрелы. Атакующие падают, залегают, отползают назад.

Немецкий офицер в наспех вырытом полуокочке лихорадочно выкрикивает в телефонную трубку артиллерийские команды.

И вокруг заставы опять рвутся снаряды.

После нескольких залпов немцы снова идут в атаку. И снова частые щелчки выстрелов со стороны заставы, и снова строчит, теперь уже один, пулемёт, и падают, залегают, отползают назад атакующие.

Продираясь сквозь заросли, немцы выкатывают на опушку леса два орудия и устанавливают их на прямую наводку.

Раздаётся команда: «Огонь!»

Теперь мы внутри заставы, вернее, внутри того, что осталось от неё. Угол стены. Полуразбитые оконные проёмы. Возле одного из них — Кудинов. У другого — боец-пограничник, у третьего — Кондратьев.

Ближкий разрыв, от которого содрогается всё здание.

— Сейчас в атаку пойдут,— хрипло говорит Кондратьев.— Гранаты все?

— Все, товарищ комиссар,— отвечает боец-пограничник.

Снова разрыв.

— Сейчас пойдут,— подтверждает Кудинов.— Не горячись, комиссар. Посчитай патроны, последний себе оставь.

У Кондратьева на камнях рядом с винтовкой лежит пистолет «ТТ». Вынув обойму и сосчитав патроны, он снова вставляет обойму. Потом берётся за винтовку и, секунду помедлив, стреляет.

— Поспешил — людей насмешил,— говорит боец-пограничник, видя, как ничком валится вниз пытавшийся перелезть через стену немец.

Грохот новых разрывов. Часть стены валится внутрь здания. Кудинов бросается на пол, а когда поднимается, то видит, что на ногах остался он один: бойца-пограничника не видно, а Кондратьев лежит неподвижно, наполювину заваленный осыпавшимся кирпичом.

— Эй, комиссар! — кричит Кудинов и, взяв Кондратьева за плечи, пытается приподнять.

За стеной автоматная очередь. Кудинов бросается к оконному проёму и начинает яростно стрелять: сначала из своей винтовки, потом из лежащей рядом винтовки Кондратьева, потом выпускает обойму из пистолета Кондратьева и, наконец, вырвав из-за пазухи наган, стреляет из него раз, другой, третий, четвёртый, пятый, шестой... Последнюю — седьмую — пулю коротко, без колебаний, приложив наган к виску, Кудинов пускает себе в голову и падает лицом вниз в ту самую секунду, когда внутрь здания прыгает, появившись над ним в проломе, первый фашистский автоматчик.

Вечер. Автоматчики подводят группу пленных к мосту через Буг. Пленных немного — человек десять. Все они в растерзанном виде, без сапог, в гимнастёрках без поясов. Среди пленных — пограничник, которого мы видели на заставе, военврач с кровавым выдавленным глазом, в очках с разбитыми стёклами, и Кондратьев.

Вид его страшен: голова разбита, вместо губ — чёрная запёкшаяся масса.

Группу пленных замыкают два бойца, опираясь на плечи которых и волоча раненую ногу с трудом ковыляет третий.

— Как они вас взяли? — тихо спрашивает военврач Кондратьева.

— Завалило,— злым, заикающимся шёпотом отвечает Кондратьев; голос его почти невозможно узнать.— Сознание потерял, как институтка, застрелиться и то не успел!.. Плавать умеете?

— Нет,— говорит военврач.

Кондратьев оглядывается назад, потом чуть-чуть подаётся вперёд, надвигаясь на идущих впереди бойцов.

— Плавать умеете?

— Ну? — тихо спрашивает один из них.

— Тогда за мной. Передай вперёд.

Пленные с конвоирами подходят к середине моста.

Кондратьев смотрит вниз. Далеко внизу течёт медленная вода Буга.

Не поворачивая головы, только скосив глаза сначала направо, потом налево, Кондратьев оценивает обстановку и с криком «За мной!», неожиданно сильным ударом свалив шедшего рядом с ним автоматчика, вспрыгивает на перила и бросается в воду.

Идущий впереди боец схватывается с немцем; оба держатся за автомат, и каждый тянет его к себе, а в это время пограничник и двое других

бойцов прыгают в реку. Немецкие автоматчики, кинувшись к перилам, начинают стрелять в воду.

Мы видим голову Кондратьева; он ныряет, снова показывается, снова ныряет. Выныривает очень далеко, потом ещё дальше.

Над рекой тянется вечерняя дымка. Слышны всё новые и новые выстрелы с моста, с западного берега...

Кондратьев, обессиленный, ощупывая простреленное плечо и руку, выползает на берег, заросший густым ивняком.

Далеко на горизонте виден мост, а за ним, ещё дальше,— Брестская крепость и над нею густой чёрный дым.

На экране усталое, мокрое, окровавленное лицо Кондратьева.

— Такой в последний раз я видел нашу Брестскую крепость,— говорит полковник Кондратьев, сидя напротив Батурина за столом в концлагере.— Это было часов в десять вечера, через сутки после того, как ты отсюда уехал!

— А я не уехал,— глядя ему в глаза, говорит Батурин.

— Чёрт вас знает, извините за выражение,— сердито и в то же время весело говорит Батурин военному коменданту, стоя на перроне и глядя в хвост отошедшему поезду.— Обещаете броню — не даёте. Потом говорите, что устроите без брони,— не устраиваете!

— Завтра всё будет, товарищ майор!

— Ещё бы завтра не было! В наказание чемодан до завтра оставляю у вас,— говорит Батурин. И, поставив чемодан к ногам военного коменданта, отковыряв, уходит.

Вечерний Брест. Слышна музыка, доносящаяся из городского сада. По обсаженным деревьями улицам идёт нарядная субботняя толпа. То там, то тут видны военные с девушками.

Батурин едет на старомодной извозчицкой пролётке. На козлах — старый извозчик. Лениво похлопывая кнутом, он, полуобернувшись, разговаривает с Батуриным.

— Стоишь, стоишь у вокзала,— говорит извозчик,— пока кто-нибудь наймёт. А товарищи офицеры совсем редко нанимают. Извините, пожалуйста!

— Чего ж извинять,— говорит Батурин.— Жалованье не такое, чтобы каждый день на ваших рысках разъезжать.

— А при пане Пилсудском и при пане Рыдз-Смиглы паны офицеры, бывало, сядут и сразу — «Гони!»

— Так то паны,— улыбается Батурин,— а мы люди трудовые.

В это время они проезжают мимо ворот городского сада, и Батурин замечает стоящую в полутьме парочку. Вглядевшись, он мягко трогает за плечо извозчика. Пролётка подъезжает к тротуару.

Батурин смотрит на парочку, потом на висящие над входом в городской сад часы, на которых ровно одиннадцать, и говорит громко и насмешливо:

— Отпустили бы парня, Варвара Петровна! Если ему теперь даже всю дорогу бежать, и то к поверке минут на пять опоздает. Пожалели бы, а?

Молодые люди, стоявшие, держась за руки, вздрагивают и отрываются друг от друга. Это Гоголев и Варя.

— Вас, Гоголев, я, на ваше счастье, не заметил. А тебя, Варвара Петровна, отец наказал домой доставить. Уже целый час по городу езжу, тебя ищу. Садись. Не размышляй!

Варя растерянно поворачивается к Гоголеву, но тот делает единственное, что мыслимо в его положении: стоит, вытянувшись, не произнося ни слова.

Тогда Варя, гневно взглянув на него, садится в пролётку рядом с Батуриным.

— Правда? Папа сказал? — спрашивает она, когда они отъезжают несколько шагов.

— Пошутил, — говорит Батурин. — Для облегчения твоего положения.

Варя оборачивается, пытаясь увидеть Гоголева. Но его уже нет.

— Вывалишься, — замечает Батурин.

Варя сердито смотрит на него.

— А ты на меня не сердись и на своего солдата не сердись. На себя сердись!

— Почему это на себя? — дерзко спрашивает Варя.

— А чего ты от него ждала? Чтобы он мне отказался подчиниться? У него увольнительная и так просрочена. Сейчас бежит, верно, бедный, во все лопатки. Вижу, с самого начала не бережешь своего солдата. Плохая жена ему будешь.

— Это мы ещё посмотрим, — попрежнему дерзко, но несколько смущённо говорит Варя, снова оборачиваясь назад.

— Нечего и смотреть. Вперёд смотри.

— А чего там? — вглядывается Варя.

— Жизнь, — говорит Батурин.

— Какая?

— Ваша.

Варя, откинувшись на сиденье и запрокинув голову, задумчиво смотрит в звёздное небо...

Маленькая комнатка старшины Кухарькова при казарме. Мощные старинные своды, окна, похожие на амбразуры.

У стола, рядом с которым стоит аккуратно заправленная солдатская койка, Кухарьков и рослый, угрюмый на вид, не улыбочивый и поэтому кажущийся старше своих лет боец Дёмин занимаются промывкой фотоснимков.

— Полегче води, — говорит Кухарьков. — А эту можно на стекло!

На столе стоит прислонённое к стене стекло, к которому прилеплено уже несколько фотографий.

— Руки у тебя тяжёлые для фотодела, — говорит Кухарьков, посмотрев на громадные руки Дёмина. — Однако ты аккуратный.

Дёмин продолжает молча промывать фотографии, осторожно двигая своими здоровенными пальцами.

— И всё тебе знать надо. Это я одобряю, — продолжает Кухарьков свой невольный монолог, прилепляя на стекло ещё одну фотографию.

Дверь открывается, и входит комсорг роты сержант Мирзоян с повязкой дежурного на рукаве. Он невысокий, плотный, очень широкий в плечах.

— Товарищ старшина, — докладывает дежурный по роте сержант Мирзоян. — Боец Гоголев из городского отпуска опоздал!

За спиной Мирзояна видна голова Гоголева.

— А ну, зайдите, Гоголев, — говорит Кухарьков. — Опять опоздали?

— Больше не повторится, товарищ старшина, — вытягивается Гоголев.

— Вот другие старшины вас, одноклассников, с образованием, поедом едят, а? — поворачивается Кухарьков к Мирзояну.

— Бывает, товарищ старшина!

— А я не ем,— продолжает Кухарьков,— я добрый к вам. Всё-таки, думаю, люди с образованием, должны сами понимать. А вы пользуетесь моей добротой. Пользуетесь или нет?

Гоголев молчит.

— Да ты правду ответь, что глаза пялишь?

— Пользуемся, товарищ старшина,— смущённый неожиданным поворотом разговора, говорит Гоголев.

— И не стыдно?

— Стыдно, товарищ старшина.

— Тогда идите спать,— говорит Кухарьков.

Гоголев выходит.

— Как на дежурстве, всё в порядке? — спрашивает Кухарьков Мирзояна.

— Так точно, всё в порядке, товарищ старшина.

— Конспекты свои сидишь читаешь?

— Читаю понемногу,— в том же неофициальном тоне отвечает Мирзоян.

— Ну, иди, читай.

Мирзоян поворачивается и уходит.

— Сейчас комсорг, а осенью экзамен в политическое училище сдаст,— говорит Кухарьков, снова оставшись вдвоём с Дёминым.— И политруком будет. А я как есть старшина, так и буду старшиной. Самый старый старшина во всей дивизии. Однако привык,— задумчиво добавляет он после паузы.— На сверхсрочную останешься? — обращается он к Дёмину.

— Нет,— впервые за всё время откликается Дёмин.

— А почему?

— В МТС механиком пойду.

— Ну, какой ты ещё механик?

— Буду,— односложно отвечает Дёмин.

— А подробнее? — спрашивает Кухарьков.

— Выучусь,— отвечает Дёмин.

— За что я тебя люблю, Дёмин,— за неразговорчивость. Сутки с тобой можно говорить — и ни разу не перебеёшь.

Дверь открывается. В комнату входит Батурин.

Кухарьков мгновенно вытягивается. Сейчас он тот безукоризненный службист, каким привык быть перед лицом начальства.

— Товарищ...— начинает Кухарьков.

— Отставить,— говорит Батурин.— Не уехал сегодня, места не достал. Зашёл к вам на огонёк.

— Товарищ майор, разрешите обратиться к красноармейцу Дёмину?

— Обращайтесь!

— Товарищ Дёмин, можете идти! — говорит Кухарьков Дёмину.

Дёмин секунду растерянно смотрит на свои мокрые руки, потом, решительно вытянув их по швам, поворачивается и уходит.

— Знает службу,— говорит Кухарьков вслед Дёмину и пододвигает Батурину стул.

— Как в казарме, всё в порядке? — садясь, говорит Батурин.

— Служба идёт, товарищ майор. Солдат спит, а служба идёт,— продолжая стоять, говорит Кухарьков.

— Садитесь, Кухарьков.

Кухарьков присаживается.

— Уже и отпускной билет в кармане,— говорит Батурин,— а всё душа от полка оторваться не может.

— Вполне понятно, товарищ майор,— отбросив субординацию, говорит Кухарьков, не только как равный равному, но даже как старший по возрасту — младшему.— Кто, как вы, из полковых воспитанников до

командиров полка дошёл, тот всю службу на себе испытал. А служба — она длинная! Кто думает в неё только войти и выйти — тот ещё не солдат, тот её душу не понял! А вы душу службы понимаете.

— Ну, давай, давай, ещё похвали. А я послушаю,— улыбнувшись, говорит Батурин.

— А что мне вас хвалить, товарищ майор? Я вас знаю, как и вы меня.

— Спит, значит, солдат, а служба идёт? — говорит Батурин.

— Так точно, товарищ майор, идёт!

— Пойдёмте в казарму, посмотрим, как она идёт.

Батурин встаёт, и Кухарьков, сразу переменявшись, вскакивает, как на пружинах, и, сдёрнув с вешалки пилотку, одним точным движением надевает её на два пальца от бровей.

Казарма. Длинный крепостной каземат. Сквозь амбразуры ярко светит луна, бросая блики на койки, на спящих бойцов.

У входа в казарму, за столом дежурного, сидит Мирзоян и, разложив вокруг себя тетради и навалившись грудью на стол, что-то переписывает. Потом начинает клевать носом.

— Федя, а Федя,— слышится шёпот в глубине казармы.

— Ну, что?

Теперь мы видим обоих разговаривающих. Это лежащие на соседних койках лицом друг к другу Гоголев и Бугорок.

— Доложил всё-таки Мирзоян. Вот чёрт занудливый!

— А что ему было делать — служба,— отвечает Бугорок.

— Хоть бы майор зашёл, дал ему самому за конспекты на дежурстве!

— Ничего ему за это от майора не будет,— убеждённо говорит Бугорок.

— Майор меня сегодня с Варей застал у городского сада. Говорит: считайте, что я, на ваше счастье, вас не видел.

— А Варя чего?

— Так на меня поглядела, как будто ошпарила. Как будто я мог при майоре взять её под ручку, повернуться и уйти.

— Глупые они,— убеждённо говорит Бугорок.

— Кто?

— Да все они! Дала согласие?

— Дала.

В дверях казармы появляются Батурин и Кухарьков, и, словно шестым чувством предугадав их приближение, Мирзоян в ту же секунду вскакивает из-за стола.

Батурин прикладывает палец к губам, и Мирзоян свистящим шёпотом рапортует, что за время его дежурства в роте ничего не произошло.

— Пройдём,— вполголоса говорит Батурин Кухарькову, и они тихо идут вдоль коек. Слышно дыхание, лёгкое похрапывание, чей-то вдруг оборвавшийся шёпот.

Вот они проходят мимо притворившихся спящими Бугорка и Гоголева. На полсекунды задержавшись возле них, Батурин понимающе усмехается и идёт дальше.

И снова слева и справа солдатские койки, молодые стриженные головы на подушках, серые одеяла, аккуратно сложенное обмундирование, портянки на сапогах.

Батурин идёт между койками, как человек, бесконечно привыкший ко всему этому и в то же время любящий это, идёт с выражением лица одновременно строгим и задумчивым. Кто знает — может быть, его собственная солдатская двадцатилетняя жизнь проходит сейчас перед его глазами.



Они доходят до конца каземата, и Батурин, обернувшись и посмотрев на ряды коек с неподвижно лежащими, разметававшимися на них солдатами, задумчиво обращается к Кухарькову:

— Значит, солдаты спят, а служба идёт?

— Идёт, товарищ майор.

— Спят солдаты,— задумчиво и ласково повторяет Батурин.

Ночь. Батурин идёт по крепости. Слышны его гулкие в ночном безмолвии шаги. Подходя к дому общежития начсостава, он встречает тихо гуляющую в обнимку пару — высокого капитана-артиллериста с молодой, полной, милостивой женщиной.

— Привет молодожёнам! Полуночищаете? — спрашивает Батурин.

— А зачем же иначе замуж выходить? — улыбается в ответ женщина и, теснее прижавшись к мужу, проходит мимо Батурина.

В нижнем этаже дома светится единственное окно. Батурин подходит к этому окну, тихонько заглядывает в него.

За столом, обложив себя книгами, ожесточённо поскрипывает пером маленький бритоголовый старший политрук в расстёгнутой гимнастёрке.

— Заочному академику почёт и уважение,— говорит Батурин.

— Ты же уехал... — поднимая голову от тетради и удивлённо глядя на Батурина, говорит политрук.

— А это не я. Это тебе мерещится — заучился! Складывай книжки да ложись спать, а то ещё и не такое почудится! — и Батурин, помахав на прощание рукой удивлённому политруку, отходит от окна, огибает угол дома и останавливается под своими окнами. Подняв с земли камешек, швыряет его в окно. Тишина. Батурин бросает второй камешек.

— Что такое? — спрашивает Мария Николаевна, появляясь в окне в косынке, накинута на плечи поверх ночной сорочки.

— Гражданка, у вас, говорят, муж уехал? — меняя голос, говорит Батурин.

— Что за глупости! — сердится Мария Николаевна.

— Тише, тише,— говорит Батурин,— это я!

— Ваня! — удивлённо ахает Мария Николаевна.

— Обрадовалась?

— Ага! — всё так же растерянно говорит Мария Николаевна.

— Вернулся с курорта. Два кило прибавил, посвежел, загорел, как находишь?

— Брось ты глупости!

— Билета не достал, завтра поеду. Как — домой пустишь?

— Сейчас открою,— говорит Мария Николаевна.

Освещённое луной окно. На подоконнике рядом сидят Мария Николаевна и Батурин. Оба молчат. Смотрят на небо, на звёзды.

— Хорошо,— говорит Батурин.

— Ваня!

— Что?

— А мамы нет.

— Ну?

— И Лены нет.

— Ну?

— И Кольки нет. И повозочные навстречу не едут...

— И никто не мешает,— в тон ей говорит Батурин и, повернув её лицо к себе, коротко и крепко целует её в губы.

— Тихо-то как! — говорит Мария Николаевна.

По небу медленно, заслоня луну, движутся облака...

Спящая казарма. Лица солдат — Дёмина, Бугорка, лицо Гоголева, лежащего на спине с открытыми глазами.

Комната Кухарькова. Койка, рядом с ней на табурете — идеально сложенное обмундирование. Лицо Кухарькова, спящего так, как будто он вытянулся по стойке «смирно».

Комната старшего политрука Руденко. Он, потянувшись, закрывает книгу, складывает тетради и, посмотрев в окно, гасит настольную лампу.

Варя, накрывшись до плеч лёгким пикейным одеялом и подвернув его под себя, уткнувшись локтями в подушку, читает в постели «Анну Каренину».

Сильный взрыв. Задребезжав, лопаются стёкла. Испуганная Варя, завернувшись в одеяло, прижав обе руки к груди, садится на кровати. Сотрясая комнату, один за другим раздаются ещё несколько взрывов.

Ворота, возле которых ещё недавно Батурич прощался с женой, сыном и дочерью. Рядом с воротами — дымящаяся воронка. Поодаль — вторая. Надо всем стоит облако дыма и каменной пыли. Слышится трескотня перестрелки и продолжающийся грохот разрывов. Через ворота во внутренний двор цитадели на большой скорости влетают один за другим три немецких танка и исчезают из нашего поля зрения.

Вслед за танками в ворота врываются немецкие пехотинцы. Часть из них, рассыпаясь, бежит по открытому месту в глубину двора цитадели, часть перебегает вдоль стен.

Немецкий майор, стоя в воротах, отдаёт распоряжения.

И вдруг мы видим по его лицу, что произошло что-то неожиданное.

Короткое замешательство. А в следующую секунду...

Мы видим первую цепь наших бойцов, идущих в контратаку на немцев. Люди выбегают из дверей казарм, прыгают из окон первого этажа. А из окон второго этажа, поддерживая атаку, уже стреляют наши станковые и ручные пулемёты.

Красноармейцы идут в атаку кто в чём: одни в полном обмундировании, другие в нательных рубашках, босиком.

Среди атакующих — Батурич с винтовкой наперевес, Руденко, Кухарьков, Гоголев, Бугорок, Мирзоян. Слышится всё громче раскатывающееся по крепости хриплое «ура!».

Эти люди идут в первую в своей жизни атаку. Она неожиданна для них самих, потому что для них неожиданно всё немецкое нападение. Но она ещё более неожиданна для немцев, которые, ворвавшись в цитадель, чувствовали себя уже победителями.

Немцы стреляют. Падает один боец, другой, третий... Но остальные бегут вперёд, перегоняя друг друга. Ещё секунда — и они сходятся с немцами в рукопашной схватке.

Теперь мы видим танки, которые, обогнув стоящий в центре цитадели старинный костёл, выходят в западную часть крепости, всаживая снаряд за снарядом в стены казарм, в двери, в окна. Из окон по ним ведут винтовочный огонь. Но танки, оставаясь неуязвимыми, продолжают стрелять. Вот в них швырнули гранаты — из одного окна, из другого... Но танки держатся слишком далеко от стен, и потому они недосыгаемы.

Несколько бойцов под командой долговязого капитана-артиллериста на руках вкатывают через порог одного из казематов 45-миллиметровую батальонную пушку. Дуло пушки высовывается из амбразуры.

Танки, огибая цитадель изнутри, подходят всё ближе. Вот они уже в ста двадцати, в ста метрах...

— Огонь! — командует капитан-артиллерист.

Снаряд попадает в боковую броню танка, танк загорается. Второй танк, остановившись, начинает разворачиваться. Пушка делает ещё выстрел. Прямое попадание в башню танка.

Третий танк, отстреливаясь, въезжает задним ходом в широкие, как ворота, двери ближайшей казармы, разворачивается в коридоре, давя, ломая, двигая перед собой солдатские койки, подъезжает к стене и, высунув пушку в окно, начинает стрелять.

Немецкие снаряды врезаются в стену вокруг амбразуры, через которую ведёт огонь наше орудие. Наконец один из снарядов попадает прямо в амбразуру. Широко взмахнув руками, навзничь падает капитан-артиллерист, но его пушка продолжает стрелять.

По внутренней лестнице, ведущей с верхнего этажа казармы в нижний этаж, спускается Дёмин. Заглянув в дверь казармы и увидев танк, он отстёгивает от пояса две гранаты, достаёт из кармана третью; потом, вынув моток телефонного провода, начинает не спеша надёжно связывать рукоятки всех трёх гранат и, только проверив, крепко ли связаны гранаты, входит в казарму.

Внутренность казармы. Танк продолжает стрелять. Дёмин ползёт к танку. До танка остался десяток шагов. Ещё раз попробовав крепость связывающей гранаты проволоки, Дёмин поднимается во весь рост и бросает связку под танк.

Последние мгновения рукопашного боя у ворот крепости.

Немцы отбиваются автоматами и винтовками.

В окнах казарм, над местом схватки, появляются красноармейцы; одни стреляют в немцев, другие прыгают со второго этажа в гущу рукопашной.

Падает на камни немецкий майор. Бой перемещается к самым воротам. Немцы бегут, теснясь в воротах: в полутёмном тоннеле, забитом телами, видны только поднимающиеся приклады и руки, слышны крики, хрип и ругань.

Батурин, вместе с красноармейцами преследуя немцев, выбегает за ворота, но им навстречу к воротам движутся немецкие танки.

— Назад! За ворота! — кричит Батурин и, последним отбежав в глубину ворот и плашмя бросившись на мостовую, швыряет гранату под уже ворвавшийся в ворота немецкий танк.

Танк ещё какую-то долю секунды движется вперёд; кажется, что он сейчас наедет на Батурина и лежащего рядом с ним Гоголева...

Гоголев, приподнявшись на локте, швыряет под танк вторую гранату, и танк, дёрнувшись на одной гусенице, боком застревает в воротах, окончательно загромоздив их собой.

Внешний обвод крепостной стены. Немецкие танки, маневрируя, обстреливают крепость. Под прикрытием их огня немцы поднимаются в атаку, но частая ружейная стрельба и пулемётные очереди из амбразур, из окон казарм кладут атакующих на землю.

Казарма. На нескольких койках и на полу лежат первые раненые. Одного из них перевязывает Александра Петровна.

— Здесь будет командный пункт, — говорит Батурин, входя с винтовкой в одной руке и немецким автоматом — в другой. Винтовку он ставит к стене, автомат с грохотом кладёт на стол. За ним входят Руденко и молоденький младший лейтенант.

— Раненых — всех до одного в подвал! — говорит Батурин Александре Петровне и поворачивается к младшему лейтенанту. — Тишкин, бегом

в западные казармы! Не найдёте старше себя — оставайтесь за старшего и присылайте связных!

— Кухарьков!

— Есть, Кухарьков,— отвечает Кухарьков.

— Сапоги наденьте.

— Есть, надеть сапоги.

— Приведите себя в порядок и доложите о наличии людей.

Младший лейтенант и Кухарьков выходят. Батурин и Руденко секунду молча смотрят друг на друга.

— На первый случай отбились,— вытирая пот, говорит Батурин.— Если б не Гоголев, сделал бы из меня танк лепёшку!

— Какую провокацию устроили! Сволочи, фашисты! — гневно отвечает Руденко.

— Война это, а не провокация! — зло говорит Батурин. — Вытри, у тебя кровь на лице!

Руденко тыльной стороной руки стирает кровь со щеки и подбородка.

— Чужая!

— Чужая, — усмехается Батурин, — а ты всё ещё сомневаешься!

Они оба идут к дверям, сталкиваясь с Гоголевым и Бугорком, которые вносят и кладут на пол тело капитана-артиллериста.

— Убили, — говорит Гоголев.

— Скажи, пожалуйста! — Батурин, сняв фуражку, растерянно стоит над телом капитана.— Начальником штаба хотел назначить!

Гоголев и Бугорок молчат, не зная, что ответить. Батурин, взяв автомат и смаху надвинув на лоб фуражку, молча выходит за дверь, прежде чем Руденко успевает удержать его.

К телу капитана подходит Александра Петровна. Нагнувшись, профессиональным движением оттягивает веки, поднимается и просто говорит:

— Да.

— Вот что, Александра Петровна, — говорит Руденко.— Возьмите-ка двух бойцов и, пока тихо, сходите в общежитие начсостава, соберите там всех женщин и детей — и сюда, в подвал!

Александра Петровна, поглядев на него, говорит сердито:

— Чего это я с бабами буду возиться? У меня раненые ещё не все перевязаны. Пусть бойцы идут!

— Вы правы, — подумав, соглашается Руденко. — Идите, перевязывайте, — и повёртывается к Гоголеву. — Женщин и детей доставить, сопроводить, помочь вещи донести! Пусть заберут постели, одежду, еду. Объясните, что, может, им весь день, до ночи, придётся в подвале просидеть. Пусть учтут.

Бойцы убегают. Александра Петровна поднимает глаза на Руденко.

— Думаете — до ночи? А наши? В лагерях же вся наша дивизия. Она же, наверно, сейчас уже идёт сюда. Там Пётр Фомич, все там...

— Вот именно, что все там! — с досадой говорит Руденко.— А здесь на всю крепость и командиров и политработников, всех вместе, — вот! — Он поднимает растопыренную пятерню. Его взгляд падает на мёртвое тело капитана-артиллериста, и он замолкает, огорчённо махнув рукой.

Дом начсостава. Под маршем каменной лестницы, прижавшись к стене, стоят и сидят женщины, многие с детьми.

Среди женщин — Варя, Анна Ивановна, Мария Николаевна, рядом с ней — Коля и Леночка.

Слышен грохот разрывов.

— Опять начали! Господи боже мой! — всхлипывает жена капитана-артиллериста.

— А вы не ревите, — говорит Мария Николаевна. — Сделайте одолжение. Детей не пугайте.

— Да вы посмотрите, что там делается! — сквозь слёзы отвечает женщина.

— Там делается, — жёстко говорит Мария Николаевна. — А здесь не ревите!

— Я всегда говорила Мите, — сквозь слёзы продолжает женщина, — надо было в городе жить!

Близкий разрыв.

— Не дом, а урод какой-то, — ворчливо замечает Анна Ивановна. — Ни тебе погреба, ни тебе подпола!

— А может быть, всё-таки это манёвры? — неожиданно спрашивает бледная, напуганная женщина.

— Ага, — свирепо оглядывается на неё Анна Ивановна. — Сейчас кончится, сядем чай пить... Я пойду наверх узлы свяжу, — поворачивается она к Марии Николаевне.

— Лучше я, — отвечает Мария Николаевна.

— Стой тут, — сердито говорит Анна Ивановна. — Ещё убьют, а у тебя двое! А мне что: был один мой, да и тот давно твой.

И она решительно уходит.

— Пойдём и мы, Дуся, по первому этажу, — говорит Мария Николаевна высокой худой женщине, держащей за руку девочку примерно того же возраста, что Леночка. — Соберём узлы по квартирам, для всех. На-ка, держи, — и она, оторвав от себя руки дочери, подталкивает её к Варе.

Женщина тоже отцепляет держащуюся за её ногу девочку и передаёт Вару.

Варя, бледная, с глазами, полными слёз, стоит, держа за руки двух ничего не понимающих девочек.

— Ох, и жара! — увидев Варю и невпопад улыбаясь, говорит вошедший вместе с Бугорком Гоголев и, сняв пилотку, вытирает ею лицо.

— Товарищи женщины! — строго говорит Бугорок. — Старший политрук Руденко приказал всех вас вывести отсюда в казармы! Собирайтесь, с вещами!

Двор цитадели. По двору от дома начсостава идут женщины и дети. Сопровождающие их Гоголев и Бугорок тащат каждый по два узла. Священные наспех узлы тащат женщины и Коля.

— Скорей. Варечка, скорей! — говорит Гоголев, останавливаясь и пропуская мимо себя идущих последними Варю и Анну Ивановну. — Шагу, шагу!

— Не нукай, — останавливается Анна Ивановна. — Видишь — сыплются! — и она на ходу заталкивает в узел вывалившиеся из него вещи.

Первой, рядом с Бугорком, держа за руку Леночку, идёт Мария Николаевна.

— Иван Степанович не ранен, ничего? — не глядя на Бугорка, тихо спрашивает Мария Николаевна.

— Он ничего, — отвечает Бугорок, — а капитана Устинова убило!

Мария Николаевна, вздрогнув, оглядывается на идущую сзади неё жену капитана-артиллериста.

Женщинам осталось пройти до казарм всего пятьдесят шагов. Мария Николаевна уже видит в окне второго этажа машущего им фуражкой Батурина... И в ту же секунду — треск автоматной очереди.

Жена Устинова падает на камни как подкошенная.

— Ложись! — кричит Бугорок.

Новые автоматные очереди.

— Откуда бы это? — чуть приподымаясь, говорит Бугорок.

Батурин в каземате, вместе с двумя пулемётчиками, перекачивает «Максим» от внешней стены к внутренней.

— Скорей! — кричит он. — Это из костёла стреляют. Пропустили их туда, проморгали!.. Давай!

Пулемётчик лихорадочно вставляет ленту, и «Максим» начинает бить по немцам, засевшим в костёле.

Автоматная стрельба стихает.

— Ведите огонь длинными очередями, пока женщины не пройдут! — кричит Батурин и, выскочив из комнаты, вместе с несколькими красноармейцами выбегает навстречу женщинам на площадь.

— Пошли! — первой из женщин вскакивает Мария Николаевна.

Одна за другой поднимаются женщины и бегут навстречу бойцам. Последней встаёт Анна Ивановна. Она делает несколько неверных шагов. Коля оборачивается, подхватывает её под руку.

— Пусти, сама дойду, — говорит Анна Ивановна.

Пулемётчик выпускает длинную очередь и, сдвинув пилотку, устало и облегчённо говорит:

— Всё! Дошли!

На площади, на камнях, темнеет распостёртое тело женщины, валяются брошенный узел, чайник, подушка.

— Была семья, и нет семьи, — говорит Батурин, стоя рядом с Марией Николаевной над лежащим на полу, накрытым шинелью телом капитана-артиллериста.

— Мама ранена, — говорит Мария Николаевна. — Как она только дошла?

— Что ещё скажешь? — сурово спрашивает Батурин.

— Ничего. Я Александре Петровне помогать взялась, за ранеными ходить. Только скажи мне...

— Иди помогай, раз взялась, — прерывает её Батурин. — Мне некогда.

— Хорошо, — говорит Мария Николаевна. — Только скажи мне одной — где же наша дивизия, где же все? Что же...

— Я уже тебе сказал — дел у меня много. За ранеными взялась ходить, ну и иди, ходи за ними...

— Хорошо, Ваня, — покорно говорит Мария Николаевна. Ей очень не хочется отрываться от мужа. — До свидания, Ваня, — повторяет она уже в дверях.

— Слушай, комиссар полка! — кричит Батурин входящему Руденко.

— Это ты кого, меня, что ли? — спрашивает Руденко.

— А то кого же? Из политработников один ты! Отбирай-ка людей да, пока не поздно, давай выбивай немцев из костёла. Он над всем плацем господствует.

Они оба подходят к окну. Из окна виден плац со зданием костёла посередине. То там, то тут поднимаются столбы разрывов, казармы в нескольких местах горят.

— Если наши до ночи не подойдут, мало сил — всю цитадель трудно будет держать! — говорит Батурин.

— Не может быть, подойдут, выручат! — бодро, почти весело отвечает Руденко.

Площадка на колокольне костёла. Мирзоян с грохотом валит на каменный пол охапку немецких автоматов.

— Сколько всего? — спрашивает Руденко. Он сидит на полу, покрываемая от боли. Один сапог снят, штанина разрезана. Бугорок бинтует ему раненую ногу.

— С этими семнадцать! — кивнув на автоматы, отвечает Мирзоян.

— Значит, всего семнадцать человек их было... А сколько огня! Уточнили наличие людей в роте?

— Так точно, товарищ комиссар. Сорок два человека, из них двенадцать убивших. Я их крестиками отметил.

— Именно, что крестиками, — говорит Руденко. — Не убивших, а убитых. Всё у вас ещё по-довоенному. Помогите встать!

Он встаёт на одной ноге, опираясь на плечо Мирзояна.

— Вроде передышку дают.

— Весь огонь на Северный остров перенесли! — говорит Мирзоян.

Руденко смотрит в пролёт колокольни. Вдали, за стеной цитадели, над Северным островом поднимаются густые клубы разрывов. Руденко поворачивается — на востоке, над крышами Бреста, тоже густой дым. И такое же далёкое облако сплошного дыма стоит и на юге.

— Лагеря наши... — глядя на юг, говорит Руденко. — Всюду бой идёт. Двенадцать часов, — удивлённо добавляет он, взглянув на ручные часы. — А я думал — уже вечер.

На лестнице, ведущей на колокольню, появляется совсем молодой и очень взволнованный красноармеец.

— Товарищ комиссар, там внизу столб сбитый с репродуктором, который перед клубом стоял. Чего-то по радио говорят!

— Ах ты, чёрт! — вздрагивает Руденко, наступив на раненую ногу. — Что стоишь? Беги, слушай! Подожди, карандаш у тебя есть? Может быть, что-нибудь важное, про общее положение...

— Нет карандаша, товарищ комиссар.

— На! — Руденко достаёт сломанный карандаш. — Ладно, обгрызёшь!

Красноармеец исчезает. Мирзоян подходит к пролёту.

Внизу виден лежащий среди развалин столб с громкоговорителем. Мирзоян прислушивается, но отсюда, сверху, ничего не слышно.

Высочив из костёла, красноармеец пробегает несколько шагов и пригибается. Просвистевший над ним снаряд разрывается далеко позади. Красноармеец, добежав до столба, ложится на землю рядом с репродуктором. Репродуктор хрипит; слова прерываются грохотом всё учащающихся разрывов.

— Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке...

Грохот разрыва. Красноармеец лихорадочно обгрызает карандаш, вытаскивает из кармана гимнастёрки фотографию какой-то девушки, секунду колеблется, потом переворачивает фотографию и начинает быстро писать на обратной стороне её:

«В четыре утра... атаковали наши границы...» — видим мы вкривь и вкось нацарапанные слова.

Снова грохот разрыва, и снова голос:

— Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством...

Близкий разрыв. Красноармейца засыпает комками земли и обломками кирпичей. Он уже поворачивается, чтобы ползти назад, но в это время голос продолжает:

— Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз... — и красноармеец снова начинает записывать, — ...целиком и полностью падает на германских фашистских правителей...

Новый разрыв.

Красноармеец бессильно роняет голову на камни. Из его мёртвой руки выпадает карандаш.

Колокольня. Руденко и Мирзоян.

— Убили...— Руденко горестно ударяет кулаком по каменному парапету.

Прямое попадание в крышу колокольни. Сверху сыплется кирпич, штукатурка. Мирзоян и Руденко прижимаются к стене.

Мёртвое лицо красноармейца с полуоткрытым ртом, как будто он хотел что-то сказать и не успел.

— Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами...— прерываемый разрывами снарядов, слышится из репродуктора голос Молотова.

— Так мы отбивались первые сутки. А на вторые, на рассвете, к нам в цитадель каким-то чудом пробрался боец-пограничник...

Это говорит Батулин, сидя за столом в бараке концлагеря напротив молча слушающего его Кондратьева.

— Он-то мне и сказал, что ты...— продолжает Батулин, глядя в лицо Кондратьеву...

— Значит, погиб комиссар? Сами видели?

Казарма, приспособленная под штаб обороны. Перед Батулиным стоит пограничник без пилотки, в разорванной и мокрой одежде.

— Видел. Я выплыл, а он как с моста махнул, так под воду ушёл — и всё!

Батулин, сделав несколько шагов взад и вперёд, останавливается.

— Значит, всюду кругом немцы. И в Бресте?

— И в Бресте, — говорит пограничник.

— И вы через немцев только чудом прошли?

— Чудом, товарищ майор!

— А если мы отсюда, все разом, тоже через немцев и тоже чудом, а?

— И чудом не выйдет, товарищ майор. Всюду солдаты, пушки, танки. Яблоку негде упасть. Вся наша застава легла, — помолчав, тихим, дрогнувшим голосом говорит пограничник. — Живым быть не хочется!

— Ну, это вы бросьте!

— Есть, бросить.

— Подите посушитесь. Потом взвод примете!

— Разрешите итти?

— Идите! Подождите, — останавливает Батулин пограничника уже в дверях. — Что комиссар полка погиб — всем рассказывать не обязательно! Тут жена его. Ясно?

— Ясно.

Страница полевой книжки, на которой рука Батулина твёрдым крупным почерком выводит: «Третий день обороны. После десяти бомбёжек фашисты заняли северную часть казарм. Костёл держим».

— Ваня, — слышится за кадром голос Марии Николаевны.

— Что? — Батулин поворачивается. Он сидит за столом, Мария Николаевна стоит за его спиной.

— Мама тебя зовёт. По-моему... она... умирает.

Подвал, разделённый низкой аркой на две части. В одной части лежат раненые, мимо которых проходят Батулин и Мария Николаевна. Во второй части подвала живут женщины и дети. Подвал скупо освещён под-



вешенной к потолку на проволоке керосиновой лампой. От времени до времени лампа вздрагивает от взрывов.

Анна Ивановна лежит на полу на тонком тюфяке. Мария Николаевна присаживается на пол у её изголовья. Батурин становится на одно колено.

— Ну что, мама? — говорит он.

— Оторвала я тебя, — говорит Анна Ивановна.

— Ничего, мама.

— Рана-то у меня смертельная оказалась, Ваня. А я сразу и не подумала: будто ударило — и всё.

Батурин молчит.

— Наши не идут? — спрашивает старуха.

— Пока не идут, мама.

— Так вы сами идите.

— Что?

— Пробейтесь... А то...

— Пробьёмся, мама.

— Баб жалко, — говорит старуха. — Ленку жалко. Кольку жалко... Её (она делает на подушке чуть заметное движение головой в сторону Марии Николаевны) жалко. Она думала, я её жизни не жалею, а я её жизнь всегда жалела.

— Ничего я этого никогда не думала, — прижав руки к груди, говорит Мария Николаевна.

— Думала, — тихо, но упрямо повторяет старуха. — Мы с ней, Ваня, только здесь характерами сошлись. Что ты молчишь-то?

Батурин, опустив голову, молча припадает к руке матери.

Мария Николаевна и Батурин идут обратно через подвал, где лежат раненые.

— Сестра, пить, — раздаётся чей-то голос.

— Сейчас я вернусь, подам, — отвечает Мария Николаевна.

Выйдя из подвала, она останавливается у лестницы, идущей наверх.

— Я пойду, Маша, — говорит Батурин. — Не думал я, что так вот, здесь, на полу, мать моя умрёт...

— Ваня, с водой плохо, не хватает.

— Знаю, — отвечает Батурин.

— Может, правда, пробьётесь? — спрашивает Мария Николаевна.

— Пробьёмся.

— Если умереть, всё-таки не под камнями, на воле!

— Умереть! — зло говорит Батурин. — Умереть недолго, выйдем из цитадели — и перебьют! Умереть! А убивать их кто будет? Фашистов кто убивать будет?!

Небо. Над крепостью на сравнительно небольшой высоте делает круг одинокий «ястребок».

Из окон казарм, не обращая внимания на обстрел, выглядывают бойцы. Лица разных людей, с общим для всех страстным волнением следящих за самолётом. Лица Батурина, Руденко, Вари, Гоголева, Александровы Петровны.

«Ястребок», развернувшись, уходит на восток и исчезает в облаках.

Самолёта уже давно нет, а Батурин всё ещё смотрит в пустое небо.

— За все четверо суток, — говорит он, не оборачиваясь, — первый раз наш «ястребок»! Выручат нас, Кухарьков, чувствую — выручат.

— Отойдите от окна, товарищ майор, не ровен час... — Кухарьков за рукав оттягивает Батурина.

— Ну, как рация? — всё ещё в том же радостном тоне спрашивает Батурин.

— Дёмин доложил, что готова, починил.  
— Неужели починил?  
— Починил. Сказал, починит — и починил, — торжествующе улыбаясь, говорит Кухарьков.

Полуподвал. Помещение оружейных мастерских. На верстаке, загромождённом инструментами, стоит маленькая полевая рация.

Дёмин регулирует рацию. Рядом с ним — Батурич. Поодаль, облокотясь на тиски, стоит похудевший, замурзанный Коля.

— Ах, Дёмин, Дёмин, наладил всё-таки! Золотые твои руки, — говорит Батурич.

— Помогал, — коротко кивнув в сторону Коли, говорит Дёмин.

Батурич смотрит в лицо сына — очень усталое и очень счастливое в эту минуту — и весело подмигивает ему. Коля отвечает тем же.

Из радики слышится то свист, то треск, то обрывки немецких команд.

— Ничего, кроме немцев, не слышать, — сокрушённо говорит Кухарьков.

— А берёт километров на двести, — буркает Дёмин.

— Неужели нигде ближе наших нет? Неужели и Ковель и Пинск взяли? Не может этого быть! А, товарищ майор? — спрашивает Кухарьков.

— Давай пробуй ещё, — не отвечая ему, обращается Батурич к Дёмину.

Дёмин продолжает регулировать рацию, но оттуда попрежнему доносятся только немецкие голоса и немецкая музыка.

— А у «ястребка» ведь радиус действия самое большее километров двести пятьдесят, — говорит Кухарьков. — Значит...

— Точно! — говорит Коля.

— Значит, где-то... — продолжает Кухарьков.

— Значит, не будем гадать, старшина, — говорит Батурич. — Переходите на передачу, — обращается он к Дёмину. — Дадим открытым текстом: наши не услышат, пусть фашисты слушают.

Он садится у приёмника на заботливо подставленную ему Колей табуретку.

— Говорит Брестская крепость. Говорит Брестская крепость. Все атаки фашистов отбиты с большими для них потерями. Наши потери... (пауза на какую-то долю секунды) незначительны. Обеспечены всем необходимым для длительной обороны. Ожидаем приказаний командования. Ожидаем приказаний командования. Переходим на приём. Переходим на приём.

И снова из радики несутся немецкие команды, немецкие марши, немецкая речь.

— Жизнь бы отдал сейчас за русский голос, — говорит Кухарьков.

«Немецкое командование обращается к защитникам Брестской крепости с последним ультиматумом, — раздаётся резкий, отчётливый голос с заметным акцентом. — Пять суток вы одни продолжаете бессмысленную оборону. Советские войска бегут по всему фронту. Германскими войсками взяты города Гродно, Ковно, Барановичи, Молодечно. Сегодня утром германскими войсками взят город Минск. Четыреста километров отделяют вас от войск вашей бегущей армии. Сопrotивление бесполезно. Сдавайтесь. В случае капитуляции германское командование гарантирует вам личную неприкосновенность».

Пока произносится всё это, мы сначала видим человека в немецкой офицерской форме, сидящего перед микрофоном в радиомашине, потом

рупоры: один — на крыше казармы, другой — на разбитом снарядами дереве, третий — на застрявшем в воротах цитадели танке.

Последние слова немецкого диктора мы слышим уже в штабе Батурина.

— Ну что, Кухарьков, услышал русский голос? — с усмешкой спрашивает Батурин.

— Услышал, — говорит Кухарьков. — Они-то мне гарантируют неприкосновенность, да я-то им не гарантирую!

— Надо сегодня ночью побольше людей за водой послать — сделать запас, дальше хуже будет, — говорит Батурин Кухарькову. — Сами лично обеспечьте сегодня эту операцию.

— Есть, обеспечить, — говорит Кухарьков.

— И я пойду, — говорит Коля, который до этого лежал, прикорнувшись в уголке на разостланной на полу шинели. — Я уже вчера ходил.

— Ходил? — спрашивает Батурин Кухарькова.

— Ходил, — виновато говорит Кухарьков.

— Раз уже ходил — иди, — говорит Батурин. — Матери только потом не хвастайся. Понял?

— Так точно, понял. — Коля прикладывает руку к нескладно сидящей у него на голове слишком большой солдатской пилотке.

«Говорит Брестская крепость. Говорит Брестская крепость».

Голос Батурина звучит из немецкой полевой рации.

Немецкий генерал, командир пехотного корпуса, сидит у себя в штабе у рации и внимательно слушает. Рядом с ним несколько штабных офицеров.

«Отчаявшись захватить крепость, фашисты вчера предложили нам капитулировать. Им не удастся этого добиться ни-ко-гда», — последнее слово голос Батурина произносит медленно, по складам.

Генерал, крутнув регулятор рации, встаёт с походной парусиновой табуретки.

— В мужестве им не откажешь, — говорит он, поворачиваясь к вскочившему, когда он встал, полковнику. — Если бы такое же мужество проявили вы и солдаты вашей дивизии, крепость была бы уже взята. Отредите за ночь свои части! С утра я снова вызову авиацию, и она будет молотить их до вечера. Но если вы послезавтра не возьмёте того, что от них останется, я вам советую самому снять с себя этот крест!

Оружейная мастерская. Батурин у рации. «Гарнизон крепості продолжает оборонительные бои. Ждём приказов командования. Ждём приказов командования. Ждём прика...»

В рации потухает огонёк.

— Питание кончилось, — говорит Дёмин.

У стены, напротив Батурина, стоит по стойке «смирно» Кухарьков.

— Ну, теперь можете докладывать, — поднимает на него глаза Батурин.

— Воду слили, двенадцать вёдер.

— Какие потери? — спрашивает Батурин.

— Трое раненых.

Батурин смотрит на забинтованную руку Кухарькова.

— Не считая, — поймав взгляд Батурина и чуть приподнимая раненую руку, говорит Кухарьков. — И трое убитых.

— Кто? — спрашивает Батурин.

— Гуторович, Васильев из артвзвода, знаете...

— Знаю, — говорит Батурин. — Ну?

— Коля ваш.

Руки Батурина, которые он держал до этого на коленях, сжимаются в кулаки. Он закрывает глаза.

— Товарищ Дёмин, — говорит он, продолжая сидеть с закрытыми глазами. — Пойдите в госпиталь, позовите ко мне мою жену.

Он открывает глаза, и мы видим его страшно напряжённое, застывшее в горе и в ожидании предстоящего разговора с женой, почти окаменевшее лицо.

Полуразрушенное помещение казармы, в котором собралось человек пятнадцать коммунистов. Среди них — Батурин, Мирзоян, Кухарьков, младший лейтенант Тишкин, Александра Петровна, боец-пограничник, Бугорок. Одни сидят прямо на полу, другие — на обломках кирпича, двое дежурят у амбразуры за станковым пулемётом.

— На повестке дня нашего партсобрания, — говорит Кухарьков, — два вопроса. О создавшемся положении и приёме в партию. По первому вопросу слово имеет товарищ Батурин.

— К сожалению, — говорит, выходя вперёд, Батурин, — комиссар ранен в ногу, но я сам ходил к нему ночью и буду говорить за нас обоих. Седьмые сутки мы держим оборону. Ни у кого из нас нет сомнений в победе Красной Армии над фашистами. Но здесь, кругом нас, они продвинулись глубоко вперёд, и надо смотреть правде в глаза — контрудар нашей армии теперь может потребовать не дней, а недель. В этих условиях перед нами два решения: или пробиваться из крепости, или драться в ней до последнего патрона. Что думают об этом коммунисты?

Младший лейтенант Тишкин поднимает руку.

Кухарьков кивает ему.

— Как представитель Западных казарм от четырёх человек коммунистов и выражая общее мнение бойцов, имею предложение не уходить, драться в крепости, но имею надежду, что, может быть, всё-таки контрудар нашей Красной Армии будет со дня на день!

— Кто ещё просит слова? — спрашивает Кухарьков.

Мирзоян поднимает руку. Кухарьков кивает ему.

— От имени коммунистов, обороняющих костёл, заявляю: готовы выполнить любой приказ командования!

— Это мне ясно, — спокойно говорит Батурин, — но командование хочет знать ваше мнение: пробиваться или драться здесь?

— У нас такое мнение, товарищ майор: если уж отдавать свою жизнь — так одну за десять!

— Здесь, в крепости, это можно, а там нельзя! — горячо поддерживает Мирзоян боец-пограничник.

Пулемётчики, стоящие у амбразуры, дают очередь.

— Какие ещё суждения будут? — спрашивает Кухарьков.

Голоса: «Ясно», «Держаться — и точка!..»

— Мы — да! — говорит Александра Петровна, приложив руку к груди. — Но как быть с женщинами? Одна убита. Две умерли от ран. Дети истощены...

— Что вы предлагаете, товарищ военврач? — спрашивает Батурин.

— Предлагаю, если ещё двое-трое суток не придёт помощь, отправить женщин и детей, пусть берут белый флаг и идут в плен.

— В плен? — переспрашивает Мирзоян.

— Да, в плен, — резко повторяет Александра Петровна. — Мы можем десять раз умереть сами, но мы должны спасти жизнь женщинам и детям.

— Вы ещё скажете, товарищ майор? — обращается Кухарьков к Батурину.

— Вопрос о женщинах и детях, — Батурин поворачивается к Александре Петровне, — как вы и предлагаете, мы будем решать не сейчас. А в остальном я рад, что мнение коммунистов совпало с решением командования — при всех обстоятельствах драться здесь до конца.

Батурин садится.

— Следующий вопрос, — говорит Кухарьков, — приём в партию. Первое заявление — от товарища Васильева. Товарищ Васильев пишет... — Вынув из планшета листок и надев очки, Кухарьков читает вслух: — «Прошу принять меня в члены партии Ленина—Сталина. Хочу отдать все силы на защиту Родины, а если придётся погибнуть — хочу погибнуть коммунистом!»

— Товарищ Васильев... — Кухарьков складывает заявление, — погиб, как коммунист, доставая воду. Есть предложение принять товарища Васильева в ряды Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. Кто за это предложение, прошу поднять руки.

Все поднимают руки.

— Товарищ Васильев принят в партию посмертно. Второе заявление — от товарища Бугорка. Имеются две рекомендации — моя персонально и товарища Мирзояна... Товарищ Бугорок здесь. Я думаю — пусть расскажет свою биографию.

Бугорок встаёт.

— Я родился... — говорит он.

За окном слышен сильный гул самолётов.

В комнату вбегает дежурный боец.

— Товарищ майор, воздух! Самолёты на крепость заходят.

— Много ли? — спрашивает Батурин.

— Много, полнеба!

— В связи с воздушным налётом продолжение собрания переносится... — спокойно говорит Кухарьков и уже под грохот бомб не спеша снимает очки.

Небо, видное высоко над головами, через несколько пробитых перекрытий.

— Здорово вас разворотило, — говорит Батурин, глядя вверх. Он стоит внутри костёла, рядом с опирающимся на самодельные костыли Руденко. Чуть поодаль стоит Варя, в гимнастёрке, надетой поверх платья и подпоясанной ремнём. В руках у неё туго набитая сумка из-под противогаза.

— А у вас как? — спрашивает Руденко.

— В том же духе, — улыбается Батурин. — Между прочим, судя по взятым вчера документам, чуть ли не целую немецкую дивизию при себе держим.

— А мы, как видишь, даже одного пленного взяли. — Руденко кивает в сторону, где рядом с красноармейцем сидит пленный немец.

— Еле добрался до вас, всё кругом простреливают. За эту боялся, — глазами показывает Батурин на Варю. — Попросилась к вам вместо убитого фельдшера.

— Что ж, милости просим, — говорит Руденко. — Работа у нас, к сожалению, найдётся. Сходи-ка ты, милосердная сестрёнка, там в подвале боец у меня мучается, осколок в животе, и жить не живёт и помирать не помирает.

Варя быстро уходит.

— Ну, что ж, давай твоего пленного, — говорит Батурин.

Они присаживаются на кирпичях. Руденко долго пристраивает раненую ногу. Красноармеец подводит пленного немца.

— Говори, фашист! — обращается к пленному Руденко.

— Я нет фашист,— говорит немец.— Социаль-демократ. Я сдаюсь сам.— И он в виде иллюстрации поднимает руки.

— А чего тебе было делать? Не поднял рук — убили бы. Ну, давайте повторите, что вы мне рассказывали...

— Тракторный завод для Сталинград... Иностраный специялист. — Немец показывает на свои руки. — Механик. Три года. — Он выставляет три пальца. — Товарищ. Геноссе. Не хочу Гитлер, не хочу война. — И немец снова показывает, как он поднял руки.

— Как же так: «не хочу», а воюете?

— Не хочу, не могу. Мобилизацион.

— Не хочу, не могу! — повторяет Руденко. — А я вот тоже поверить тебе хочу, а не могу, а расстрелять тебя могу, а не хочу. А вдруг не врешь?

— Nein! — страстно говорит немец.— Alles stimmt <sup>1</sup>.

— А пойдут в атаку ваши, винтовку дадим — стрелять по ним будешь?

Немец долго молча смотрит себе под ноги.

— Nein,— растерянно говорит он.— Ich weiß nicht ... Aber ich muß sagen ... unser Regiment heute Nacht ... Generalangriff ... Generalangriff... Ich habe das bereits gesagt <sup>2</sup>,— показывает он на Руденко.

— Генеральный штурм сегодня ночью? Правду говорите? — строго спрашивает Батурин, глядя прямо в глаза немцу.

— Правда!

— Пока уведите его! — приказывает Батурин красноармейцу.

— Хочешь верь ему, хочешь — не верь, а видно, вышла немцу судьба помирать вместе с нами, — говорит Руденко, глядя вслед пленному. — Похоже, насчёт ночного штурма он правду сказал. Я бы придал значение.

— А я и придаю, — говорит Батурин. — Пойду к себе. Надо подготовиться.

— А вдруг, Иван Степанович, а вдруг, — мечтательно говорит Руденко, — только здесь они прорвались, а на юге вдруг всё наоборот: может, наши уже куда-нибудь к Праге или к Вене подходят? Они здесь ударили, а мы там! А?

Подвальное помещение костёла. Полутёмная комната с двумя, забранными решётками, окнами под самым потолком. Две двери: к одной из них ведёт внутренняя лестница в несколько ступеней, другая, маленькая дверь — в соседнее подвальное помещение. У стены, под одним из окон, на ворохе соломы лежит Гоголев. Он исхудал; тонкая мальчишеская шея и обросший щетиной подбородок. Варя, тоже очень похудевшая и от этого сделавшаяся взрослее и красивее, тихо сидит рядом с ним.

— И повоевать не успел, — горько говорит Гоголев.

— Всё ещё успеешь, — говорит Варя.

— Неправда! — отвечает он.

— Правда. Всё будет. Ещё тысячу раз будет вот так, — она наклоняется, целует его в щёку, в глаза, в губы, повторяя: — и вот так... и вот так. Наши придут. Мы сегодня утром слышали артиллерию.

— Правда? — спрашивает Гоголев.

— Тебя переведут в настоящий госпиталь, мама сама сделает тебе операцию, ты поправишься, я буду совсем твоя. Ты хочешь?

— Хочу, — чуть слышно отвечает Гоголев.

— И я хочу, — чуть слышно говорит Варя. — И я хочу, — страстно повторяет она и целует его в губы.

<sup>1</sup> Нет! Всё верно.

<sup>2</sup> Нет, Я не знаю... Но я должен сказать... наш полк сегодня ночью... генеральный штурм... генеральный штурм... Я уже говорил.

— Если бы ты не был ранен, я бы сейчас была твоя. У тебя никогда никого не было до меня?

Гоголев, закрыв глаза, делает еле заметное отрицательное движение головой...

За стеной автоматные очереди. Варя быстро поднимается с колен, и когда Гоголев открывает глаза, её уже нет в подвале.

— Опять началось, — прислушиваясь к стрельбе, шепчет Гоголев; он пробует дотянуться до стоящей в изголовье винтовки и бессильно роняет руку. На глазах его выступают слёзы.

Площадь перед главным входом в костёл. На ней один за другим, фонтанами взметая камень, рвутся снаряды, каждый раз всё ближе и ближе, и наконец, подняв дыбом всё, чем был забаррикадирован главный вход, тяжёлый снаряд разрывается в самых дверях. Взлетев высоко в воздух, на камни падает изуродованная железная вывеска с надписью «Гарнизонный клуб».

Снова подвал. Варя вместе с бойцом вносит раненого. Боец, подхватив винтовку, сразу же убегает обратно, а Варя начинает бинтовать окровавленную голову раненого.

— Кто это? — не поворачивая головы, спрашивает Гоголев.

— Бирюков, — отвечает раненый.

— Куда тебя?

— Сразу всюду, — угрюмо отвечает боец.

— Как наши?

— Мёртвые — на том свете, а живые бьются.

Варя, забинтовав Бирюкову голову и освободив руку, на ощупь, не глядя на Гоголева, прикладывает руку к его губам, чтобы он не разговаривал. Гоголев молча целует варину руку.

Лица немцев, идущих в атаку, потные, искажённые ожесточением боя и страхом смерти.

— Форвертс! — оборачиваясь на бегу, зло и хрипло кричит немецкий офицер.

Тот же подвал. На соломе лежат уже трое.

— Бирюков, а Бирюков... — зовёт Гоголев.

— Помер Бирюков, пока ты спал, — говорит третий раненый.

— Я не спал, я забылся, — говорит Гоголев. — Сколько уже бой идёт?.. Вроде темно, а? Чего не отвечаешь?

Боец молчит. Его лоб и глаза закрыты непроницаемой, пропитанной кровью, заскорузлой повязкой.

Задняя стена костёла. Добежав сюда во время атаки и оказавшись в мёртвом пространстве, прижимаясь к стене, стоят задыхающиеся от усталости немцы. Один из них, взглянув вверх и повесив на шею автомат, решительно начинает карабкаться по наружной пожарной лестнице. За ним лезет второй, третий...

Тот же подвал. На соломе вповалку лежат уже девять раненых. Чуть поодаль от них, у стены, полулежит пленный немец; у него забинтованы обе ноги.

— Что, немец, — говорит обросший густой щетиной и от этого кажущийся немолодым боец, — взял я тебя в плен, хотел тебе жизнь сохранить, а теперь твои же тебя... Или от своей пули не больно?

— Всё глупо... Фашизм глупо, война глупо, смерть глупо, — говорит немец.

Варя с трудом спускается по лестнице, таща потерявшего сознание бойца, бессильно перекинувшего руки через её плечи. За стеной — звуки продолжающейся ожесточённой перестрелки. Варя дотаскивает бойца до стены, кладёт его рядом с Гоголевым и, сама обессилив, садится между ними.

— Что, сестрица, — спрашивает раненый сержант, — тяжёл наш брат, солдат, когда свои ноги не ходят? Устала?

— Нет, — говорит Варя.

— Как там, наверху? — спрашивает другой голос.

— Всё хорошо, — говорит Варя и нежно, бесконечно устало, почти рассеянно несколько раз проводит рукой по лицу Гоголева. — Сейчас я пойду снова, только минуточку посижу.

— Поди ко мне, девушка, — зовёт сержант.

Варя подходит к нему. Он лежит самым крайним. Обе руки у него перевязаны.

— Там у меня часы в гимнастёрке, достань-ка, посмотри...

Варя расстёгивает карман его гимнастёрки, вынимает часы на ремешке, приколотом английской булавкой.

— Дай-ка, сам погляжу...

Варя подносит часы к глазам раненого.

— Семь часов уже бьётся, — говорит он.

Варя, вздрогнув, роняет часы. В дверях, на верхней ступеньке лестницы, появляется растерзанный боец с винтовкой.

— Сестра! — кричит он. — Тащи раненых в дальний подвал. Ворвались! Сейчас гранатами закидают! — Он показывает на окна и снова скрывается в дверях.

Варя вскрикивает. Первое её движение — кинуться к Гоголеву, но она останавливается, встретив глаза лежащего перед ней сержанта, который с трудом пробует подняться на локтях.

— Сейчас я вас всех, всех, быстро... — говорит Варя, заметив движение среди раненых. Один присел, другой пробует ползти. Она помогает подняться сержанту и, волоча его на себе, скрывается вместе с ним в узкой двери, ведущей в соседний подвал.

На лестнице спиной к нам появляется боец, которого мы уже видели. Размахнувшись, он швыряет в двери гранату и навзничь падает с лестницы.

И сейчас же в дверях появляется немецкий автоматчик. Сбежав с лестницы и увидев людей, он на мгновение опасно прижимается к стене у самой лестницы и, осмотревшись, выпускает длинную очередь по раненым.

— Was machist du?! — отчаянным высоким голосом кричит раненый немец.

Но вбежавший автоматчик выпускает ещё одну очередь.

Чей-то одинокий вскрик, и мгновенно наступившая тишина.

Из маленькой двери выходит Варя.

— Товарищи... — говорит она, пугаясь тишины. — Товарищи!

Не замечая стоящего у стены немца, она бежит через подвал, опускается на колени перед мёртвым Гоголевым, бросается к нему на грудь, ощупывая руками его тело, и в эту секунду мы слышим короткий треск автоматной очереди, и только что жившие, двигавшиеся, трепетавшие руки Вари становятся неподвижными...

<sup>1</sup> Что ты делаешь?



Развалины костёла. Ночь. Последний не взятый немцами уголок. Руденко, Мирзоян и раненный в ноги Бугорок.

— Не остывает, — говорит Бугорок, притронувшись к пулемёту и отдёргнув руку.

— Сейчас опять пойдут, — говорит Руденко. — Мирзоян, помоги гимнастёрку снять.

Мирзоян начинает снимать с него гимнастёрку.

— Осторожней, ты! — скрипнув зубами, говорит Руденко.

Мирзоян снимает с него гимнастёрку. У Руденко под натальной рубашкой видны перекрещённые на груди бинты, шея у него перевязана, голова с трудом поворачивается, кисть левой руки замотана бинтом, раздроблённая нога зажата в двух деревянных досках, перекрученных проволокой.

— Надевай гимнастёрку! — говорит Руденко.

— Зачем? — спрашивает Мирзоян.

— Приказываю, — говорит Руденко. — Надевай!

Мирзоян стаскивает с себя гимнастёрку и вместо неё надевает гимнастёрку Руденко.

— Подпоясывайся!

Мирзоян подпоясывается.

— Сейчас спустишься по верёвке, — говорит Руденко, — доберёшься до Батурина, явишься и доложишь, что комиссар полка Руденко произвёл тебя, комсорга Мирзояна, в старшие политруки. Мы здесь с Бугорком и без тебя перед смертью ещё нескольких фашистов уложим, а там Батурина комиссар нужен. Иди!

— Не пойду, товарищ комиссар!

— Не подчинишься — расстреляю, — сурово говорит Руденко.

— Стреляйте!

— Иди, Гриша, — неожиданно мягко говорит Руденко. — Иди, пожалуйста, не мытарь душу!

И Руденко, отвернувшись, ложится за пулемёт, как будто Мирзояна больше нет. Тот, постояв секунду и отчаянно махнув рукой, скрывается в развалинах.

— Кажется, опять ползут, — вглядываясь, говорит Руденко Бугорку. — Ты какого года рождения?

— Семнадцатого, — отвечает Бугорок.

— Ну, что ж, ровесник Октября, дадим с тобой напоследок ещё один бой фашизму!

И Руденко даёт очередь из пулемёта по приближающимся немцам.

— Товарищ майор, старший политрук Руденко перед смертью приказал мне надеть его гимнастёрку и выполнять его обязанности. Я дважды просил разрешения остаться с ним, но он приказал явиться к вам.

Перед Батуриным стоит Мирзоян, в гимнастёрке Руденко, с двумя висящими на шее немецкими автоматами.

— Хорошо, — задумчиво говорит Батурин и смотрит в пролом окна. — Девушка тоже погибла?

— Ещё днём, — отвечает Мирзоян.

— Она погибла там, а вы живы — и здесь! — раздаётся женский голос за его спиной.

Мирзоян и Батурин оборачиваются. Перед ними стоит смертельно бледная Александра Петровна.

— Товарищ военврач... — говорит Мирзоян, судорожно прижав руку к груди.

— Молчите, — сурово говорит ему Батурин, — вам не в чем оправдываться. А вам, — он поворачивается к Александре Петровне, — некого

винить, кроме них... — Он с ненавистью тычет кулаком в сторону окна, за которым слышится сильная автоматная стрельба. — Опять начали! Что у вас? — обращается он к Александре Петровне.

— У меня дочь умерла, — говорит она. — Только не говорите мне ничего, я сама...

Она опускается на кирпичи, закрыв лицо руками.

Батурин смотрит на неё с глубоким состраданием, собираясь сказать ей что-то утешительное, но останавливается, поняв, что и сказать ей нечего и утешить её ничем, и вместо слов утешения говорит обычным тоном:

— Товарищ военврач...

— Да, — помедлив, поднимается Александра Петровна.

— Я и комиссар, — говорит Батурин, — хотим знать положение с женщинами и детьми...

— Первыми умрут дети, — говорит Александра Петровна, — они уже начинают... — Она делает паузу и добавляет: — ...умирать. Нам ничем их лечить, а завтра будет ничем поить.

— Вы слышите, Мирзоян, — говорит Батурин. — Дети... хотят... пить... — Он, как тяжёлые камни, кладёт каждое из этих трёх слов отдельно.

— Передайте женщинам, — говорит Мирзоян, глядя в лицо Александре Петровне, — что или я не буду жить, или к утру у детей будет вода!

Ночь. Берег опоясывающего крепость канала. По воде и по берегу, перекрещиваясь, шарят немецкие прожекторы. Когда их лучи уходят в стороны, слышится шёпот Мирзояна:

— Бидон доверху налили?

— До пробки, — шёпотом отвечает второй голос.

— А фляги все?

— Все.

— Поползли.

Несколько фигур, еле заметных в темноте, тесно прижимаясь к земле, начинают отползать от берега.

Лучи прожекторов, вернувшись, скрещиваются там, где замерли люди, и длинная пулемётная очередь, поднимая фонтанчики земли, ложится между ними. Кто-то глухо вскрикивает от боли.

— Тихо, ты! — яростно шепчет Мирзоян.

Новая очередь громко ударяет в бидон, который волок за собой по земле один из бойцов. Его рука бессильно разжимается. Из простреленного сразу в десятке мест бидона, булькая, льётся по земле вода.

Утро. Перед Александрой Петровной стоят Мирзоян и боец-пограничник. Мирзоян одну за другой передаёт ей четыре фляжки.

— И это всё? — жестоко спрашивает Александра Петровна.

Боец-пограничник молча вытаскивает ещё две фляжки из карманов и одну из-за пазухи и протягивает их.

— И это всё? — снова спрашивает Александра Петровна.

— За это два человека свои жизни отдали, — строго говорит Мирзоян.

— Но это же всего на один день! — отвечает Александра Петровна.

Мимо них проходит Мария Николаевна. Александра Петровна останавливает её за руку.

— Подожди, Маша.

— Где Батурин? — спрашивает Мария Николаевна глухим голосом.

— Подожди, Маша, — говорит Александра Петровна, — воду принесли.

Мария Николаевна, отстранив её руку, проходит в соседнюю комнату. На полу у стены спит Батурин, у окна за пулемётом сидит Кухарьков.

— Тише! — поднимает он палец. — Первый раз лёг за трое суток. Мария Николаевна, не обращая на него внимания, подходит к Батурину.

— Иван Степаныч... Иван Степаныч...

Батурин долго морщится во сне, потом сразу вскакивает на ноги.

— Да, я... Что ты?

— Ваня, Леночка умерла, — говорит Мария Николаевна и молча садится у стены на табуретку.

— Ну, не плачь... — Батурин опускается перед ней на колени.

— А я же плачу, — всё тем же спокойным голосом говорит Мария Николаевна. — Это ты плачешь.

— А я говорю, что другого выхода нет, — входя в комнату вместе с Мирзояном говорит Александра Петровна.

Батурин поднимается им навстречу.

— Товарищ майор, — говорит Александра Петровна, — даже тои воды, что принесли, хватит самое большее на сутки. Дети умрут, я говорю как врач, а женщины сойдут с ума, видя, как умирают дети. Вы обязаны приказать им поднять белый флаг, выйти из крепости и сдать в плен. Не возражайте! Я сама не жду от фашистов ничего хорошего, и всё-таки жизнь детей мы обязаны попытаться сохранить.

— Вы правы, — неожиданно соглашается Батурин. — Соберите женщин, дайте им с собой всё, что осталось из лекарств, напоите их перед уходом водой...

— Ещё вопрос, захотят ли они итти! — восклицает Мирзоян.

— Они пойдут, — жёстко говорит Батурин. — Таков приказ, таков их долг — спасти детей, таков наш долг — спасти их. Пойдут все до одной!

— За исключением... — говорит Александра Петровна.

— За исключением военнослужащих, — перебивает её Батурин.

— И я тоже не пойду, — вставая, говорит Мария Николаевна.

Батурин порывается что-то сказать ей, но потом, раздумав, обращается к присутствующим:

— Оставьте нас вдвоём на минуту.

И уже не обращая ни на кого внимания, уверенный, что все выполнят его просьбу, подходит вплотную к жене и говорит ей тихо:

— Маша, я тебя люблю. Ты должна жить. Ты должна уйти.

— Не пойду, — говорит она.

— Ты самая хорошая, — говорит Батурин, — самая сильная. Ты должна пойти первая и уговорить всех, ты моя жена — жена командира! Я не могу оставить тебя одну, тогда не захочет итти никто. Ты должна помочь мне и помочь им. Я тебя очень прошу...

— Обними меня, Ваня, — неподвижно стоя у стены, говорит Мария Николаевна.

Батурин порывисто обнимает её.

— Прощай, Ваня, — глядя куда-то далеко через его плечо, говорит Мария Николаевна.

Тишина. Ни одного выстрела. По двору цитадели, изрытому воронками, заваленному грудями камня, кирпича и неубранными трупами, медленно движется группа женщин и детей. Впереди идёт высокая старуха, подняв в руке вместо белого флага обрывок простыни. Рядом с ней, поддерживая двух ослабевших женщин, идёт Мария Николаевна. С трудом перебираясь через развалины и кирпичную осыпь, женщины и дети скрываются в воротах цитадели.

Немецкий штаб. За столом сидит офицер-переводчик; перед ним стоит Мария Николаевна.

— Немецкое командование вторые сутки требует от вас только одного — честных ответов, — говорит переводчик, продолжая давно начатый допрос.

— Я вам сказала всё, — говорит Мария Николаевна. — Даже то, что я жена начальника гарнизона майора Батурина.

— Я склонен верить, что это правда, хотя этого и не подтверждают другие женщины.

— Они не подтверждают, желая спасти меня, а мне всё равно.

— Хорошо, — соглашается немец, — пусть это правда. Но всё остальное — неправда. Вы заявляете, что у них есть еда, вода и патроны, а я знаю, что у них нет ни еды, ни воды, ни патронов.

— Сходите сами, проверьте, есть ли у них патроны, — с едва уловимой насмешкой говорит Мария Николаевна.

В комнату входит генерал в сопровождении адъютанта. Переводчик вскакивает. Генерал садится на его место за стол. Несколько секунд смотрит на Марию Николаевну и делает вежливый жест рукой.

— Nehmen Sie bitte Platz!<sup>1</sup>

Адъютант пододвигает Марии Николаевне стул. Она садится.

— Was gibt es Neues?<sup>2</sup> — спрашивает генерал у переводчика.

— Alles beim alten<sup>3</sup>, — пожав плечами, отвечает переводчик.

— Fragen Sie sie, — говорит генерал, — ob ihr Mann bis zum Ende kämpfen, oder sich ergeben wird, wenn wir sie am Leben lassen?<sup>4</sup>

— Господин генерал спрашивает вас, — обращается переводчик к Марии Николаевне, — будет ли ваш муж сражаться до конца?

— Надеюсь, — гордо отвечает Мария Николаевна.

— А если мы сохраним мужчинам жизнь так же, как сохранили её женщинам?

— Schlagen Sie ihr vor, mit der weißen Flagge hinzugehen<sup>5</sup>, — добавляет генерал, прежде чем Мария Николаевна успела ответить.

— Господин генерал предлагает вам пойти в крепость с белым флагом, — говорит переводчик. — Вы должны подтвердить, что мы хорошо обращались с вами и будем так же обращаться со всеми, кто сдастся нам. Пусть в знак согласия они поднимут белый флаг над башней! Мы будем ждать!

Генерал кивает. Чувствуется, что, не говоря по-русски, он понимает этот язык.

— Nun, wie steht's?<sup>6</sup> — спрашивает он.

— Я согласна, — после долгого молчания говорит Мария Николаевна.

— По порядку номеров рассчитайсь! — командует Кухарьков.

В нижнем этаже казармы выстроились бойцы. Небритые, оборванные, израненные, перевязанные грязными бинтами.

Перед строем стоят Батурин и Мирзоян.

— Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой...

— Двенадцатый, — откликается боец на самодельных костылях.

— Семнадцатый... двадцатый...

— Тридцать третий... — слышится голос Александры Петровны; она стоит последней в шеренге.

<sup>1</sup> Садитесь, пожалуйста!

<sup>2</sup> Что нового?

<sup>3</sup> Всё то же.

<sup>4</sup> Спросите её, будет ли её муж сражаться до конца или сдастся в плен, если мы сохраним им жизнь?

<sup>5</sup> Предложите ей отправиться туда с белым флагом.

<sup>6</sup> Итак?

— Товарищ майор, — докладывает Кухарьков, обращаясь к Батури-ну, — по вашему приказанию личный состав гарнизона построен.

— Здравствуйте, товарищи! — говорит Батурин.

— Здр-р-расте... — глуховато отвечает шеренга.

— Позавчера мы вывели из крепости женщин и детей... Вторые сутки, как немцы не стреляют, ждут, что вслед за женщинами сдадимся и мы. Но им скоро надоест ждать, и они пойдут на штурм. Наличными силами мы не удержим казарм. Придётся ночью сделать ещё одну попытку запасти воды и после этого уйти вниз, в подземелья. Старшина Кухарьков! Переправить вниз весь запас продовольствия! Старший сержант Терёшкин, два шага вперёд!

Из шеренги выходит пограничник.

— Переправить вниз все боеприпасы до последнего патрона. Военврач Кондратьева, два шага вперёд!

Из шеренги выходит Александра Петровна.

— Товарищ майор, — говорит, появляясь за спиной Батурина, Дёмин. — Идут с белым флагом.

— Где? — спрашивает Батурин.

— Вон там... — показывает Дёмин.

Батурин подходит к амбразуре. Через неё виден двор. Вдали медленно идёт женщина с белым флагом на палке.

Дёмин, стоя рядом с Батуриным, мрачно взводит автомат.

— Подождите, — хмуро говорит Батурин, вглядываясь. — Это мы всегда успеем.

Женщина с белым флагом приближается. Батурин продолжает всматриваться. Теперь он видит, что это идёт Мария Николаевна.

Бойцы попрежнему стоят в строю. Постепенно все лица поворачиваются в ту сторону, откуда должна появиться Мария Николаевна. Мария Николаевна входит и медленно приближается, продолжая держать в руке белый флаг. Поравнявшись с Кухарьковым, она останавливается в пяти шагах от мужа.

— Полк, смирно-о! — повернувшись к шеренге, командует Батурин и, снова повернувшись к жене, ненавидящим, чужим, деревянным голосом спрашивает: — Зачем вы пришли сюда?

— Я пришла, — говорит Мария Николаевна, — передать вам предложение немцев сдать. Я пришла сказать вам, чтобы вы не сдавались. — И она швыряет белый флаг на каменные плиты к ногам Батурина.

Немецкий штаб. Генерал просматривает напечатанное на машинке донесение.

— Можно было бы послать и через два часа, — говорит он стоящему за его спиной начальнику штаба. — Вечно вы спешите!

— Я спешу потому, что меня вызвал к телефону генерал Галлер и потребовал немедленно письменно подтвердить ваше вчерашнее устное донесение о падении крепости. Этого требует ставка. Генерал Галлер сказал, что и так из-за этого Бреста наш корпус стал посмешищем, что наши соседи воюют уже у Смоленска! Интересно, как бы он заговорил, если бы мы показали ещё и действительные наши потери!

Генерал бросает на него злой взгляд и, скрипнув пером, решительно подписывает донесение.

— Отправляйте!

Начальник штаба, взяв донесение, выходит.

Генерал снимает трубку телефона.

— Швальбе, как там в крепости? Они всё ещё не подняли белого флага?

Чердак. Офицер-переводчик стоит с телефонной трубкой в руках в слуховом окне. На крышах соседних домов — офицеры с биноклями, глядящие вдаль, на крепость.

— Пока ничего нет, господин генерал. Тишина. Ничего не вижу. Подождите, подождите, кажется, они... Да, да, они поднимают, поднимают...

Офицер растерянно опускает руку с телефонной трубкой.

Над обломанными зубцами угловой башни цитадели медленно поднимается красный флаг.

Сильный грохот. Немцы начали новую яростную бомбёжку. Фонтанами взлетают камни и земля, всё гуще поднимается дым, который наконец закрывает всё — и стены, и зубцы башни, и флаг.

Разбитый бомбёжкой каземат. Через него пробегают бойцы, таща пулемёты, диски, ящики...

На камни, прибывая кирпичную пыль, падает редкий ленивый дождь.

Смертельно раненная Александра Петровна полусидит-полулежит в сохранившемся после бомбёжки углу комнаты на нескольких подостланных шинелях. Видимо, она испытывает нечеловеческую боль; судорожно сведёнными пальцами она прихватила на груди края наброшенной на плечи плащ-палатки.

Перед Александрой Петровной стоит растерянный, потерявший свою обычную решительность Мирзоян.

— Давайте отнесём вас вниз, а?

— Машу Батурина отнесите, она, может, ещё выживет, — слабым голосом говорит Александра Петровна.

— Уже отнесли.

— А пограничника? — спрашивает Александра Петровна.

— Не донесли, умер... А вам-то чем помочь? Что сделать для вас? Ну, говорите же, — злясь от чувства собственной беспомощности, почти кричит на неё Мирзоян.

— Скажите мне, вы видели, как моя Варя умерла? — вместо ответа спрашивает Александра Петровна.

— Как раненых спасала, видел. А как умирала — нет.

— Как она вам там, хоть помогла?

— Очень.

Александра Петровна, отпустив плащ-палатку, шарит рукой возле себя и, нащупав на полу фляжку с водой, с усилием, как будто это страшная тяжесть, протягивает фляжку Мирзояну.

— Зачем? — отшатывается Мирзоян.

— Вода. Понадобится. Возьмите, мне тяжело держать, — усталым шёпотом говорит Александра Петровна.

Мирзоян поспешно берёт фляжку и застывает, держа её в руках.

Мы видим только его лицо, но по этому лицу понимаем, что последние слова Александры Петровны были её предсмертными словами.

Барак в концлагере.

— Так умерла твоя Александра Петровна... — говорит Батурин Кондратьеву.

Тот долго молчит.

— А вы? — наконец, пересилив себя, спрашивает он. — Как вы?

— Мы? — переспрашивает Батурин. — В последний день бомбёжки Мирзоян потерял шесть бойцов, сам погиб, но добыл воды, много, на две недели. Немцы прозевали, не думали, что мы под такой бомбёжкой полезем за водой. Дали последний бой на земле и ушли под землю... И началась наша подземная жизнь, — помолчав, продолжает Батурин. — Ночью

вылезает через тайные ходы... там они, помнишь, под всей крепостью... Стреляем. А днём они нам через стены, через потолки, по радио кричат: «Сдавайтесь! Почему не сдаётесь?» И сидишь там внизу и думаешь: а в самом деле, наверное, это им удивительно, почему мы не сдаёмся?

Подвал. Батурин, Кухарьков, Дёмин и неподвижно лежащая на шинели и накрытая второй шинелью бледная Мария Николаевна.

— И в самом деле, — продолжает Батурин, — почему это они просят, а мы не сдаёмся, а? Кухарьков, почему вы, например, не сдаётесь?

— Не за то боролись, чтобы сдаваться, — спокойно говорит Кухарьков. — Всю свою жизнь вспоминаю — нет, не за то!

На последних словах Кухарькова возникает картина субботника двадцатых годов. Молодой Кухарьков в солдатской шинели и папахе несёт бревно вдвоём с невысоким штатским человеком в кепке.

— А не тяжело вам будет? — спрашивает Кухарьков.

— Мне — нет, а вам? — говорит человек в кепке, и когда он полуоборачивается, мы узнаём в нём Ленина.

— Мне-то ничего, товарищ Ленин, — чеканит Кухарьков, — я за вас беспокоюсь!

— А вы не беспокойтесь, — улыбается Ленин. — По-моему, дело у нас с вами идёт очень хорошо.

— А вы почему не хотите сдаваться, товарищ майор? — спрашивает Кухарьков.

— Я? — спрашивает Батурин. — Да больно уж я старый солдат.

Снежное поле, несколько кавалеристов в будёновках, в шинелях с угластыми петлицами. Между двумя конниками, на коне без седла, — четырнадцатилетний Батурин, мальчик в валенках, в зипуне и облезлой шапчонке.

— К нам в бригаду просится, товарищ комбриг, — обращается к усатому командиру один из кавалеристов.

— Откуда?

— Здешний, из-под Орши, — бойко отвечает мальчик.

— Отец где?

— Убили беляки.

— А мать?

— В лес ушла.

— А кобыла чья?

— Моя.

— А чего же ты хочешь?

— С вами беляков бить.

— А сумеешь?

— А то!

Командир вплотную подъезжает к мальчику и, скинув с него шапчонку, надевает на него свой большой красноармейский шлем.

— Как, пойдёт?

— Пойдёт, — счастливо улыбаясь, говорит мальчик.

Подземелье.

— Это правда, тебе военное всегда шло, — слабым голосом говорит Мария Николаевна. — А хотя я тебя в пиджаке никогда и не видела...

Москва. У здания Моссельпрома, на остановке автобуса, стоят совсем ещё молодая Мария Николаевна в пальто и косынке и такой же молодой Батурин в шляпе и шинели с кубиками на петлицах.

— Говорят, чуть ли не самый высокий дом в Москве! — задирает Батурин голову вверх.

— Вы со мной встретились, чтобы мне это сказать? — смеясь, спрашивает Мария Николаевна.

— Нет! Пришёл проститься с вами. Вам надо ещё техникум кончать, а я имею предписание в кармане. До Читы.— Батурин мрачно вздыхает.— Вы же туда за мной не поедете...

— А я имею билет в кармане, — продолжая смеяться, говорит Мария Николаевна и действительно достаёт билет.— И представьте себе — тоже до Читы! Или берите меня сейчас же с собой, или говорите сейчас же, вот тут же, что вы меня несколько не любите!

Подземелье. Мария Николаевна, улыбаясь, смотрит на Батурина.

— А ты хотел, чтобы я от тебя к немцам в плен ушла. Глупый ты, глупый!

— А вы, товарищ Дёмин, что вспоминаете, когда в бой идёте? — после молчания говорит Батурин.

— Обещание, — односложно отвечает Дёмин.

Деревенская улица. По ней, провожая новобранцев, движется толпа. Впереди толпы, небрежно бросив на одно плечо пиджак и с нарочито равнодушным выражением лица перебирая лады баяна, идёт Дёмин. По бокам его — мать и отец. У отца на пиджаке большой старый орден Красного Знамени.

— Смотри, Павел, помни! — говорит немножко подвыпивший отец Дёмина.— Помни, отец за советскую власть кровь лил!

— Помню, батя, — отвечает Дёмин.

— Служи, Павел, служи, не подводи!

— Не подведу, — говорит Дёмин и, не меняя выражения лица, во всю ширь растягивает мехи баяна.

Подземелье.

— Маша, — спрашивает Батурин, — почему у тебя руки такие холодные?

— Ничего, — говорит Мария Николаевна.

— А почему ты глаза закрыла?

— Вспоминаю, как ты камешки бросал.

Небольшое двухэтажное здание в провинциальном городе. Вывеска: «Роддом». Батурин, подняв с земли камешек, бросает в окно верхнего этажа.

Окно открывается, в нём показывается Мария Николаевна в больничной рубашке, придерживая её у ворота.

— Уходи, Ваня. Заругаются!

— Не уйду, — говорит Батурин, — пока не покажешь мне Ленку.

— Спит, — отвечает Мария Николаевна.

— Скорее выписывайся, приказано к новому месту назначения ехать.

— Куда? — спрашивает Мария Николаевна.

— На западную границу, — говорит Батурин. — Что, не нравится?

— Нравится, нравится, — говорит Мария Николаевна, — иди, пожалуйста. Мне всё равно куда. Куда ты — туда и я.



Подземелье.

Батурин сидит, неподвижно глядя в одну точку, словно в его памяти сейчас проходит именно эта картина. Потом берёт за руку Марию Николаевну.

— Маша... Маша...— всё тревожнее повторяет он.— Маша...— И с удивлением и ужасом смотрит на её спокойное, с закрытыми глазами лицо, такое, как будто она только что уснула.

— Отмучилась, — говорит Кухарьков. — Пойдём. Иван Степанович, на вылазку. Время подошло. Пойдём. Душу отведём!

Узкая щель подземного хода. Батурин держит лампу «летучая мышь». Кухарьков, полулёжа, доцарапывает штыком надпись на кирпичах:

«Нас осталось двое — Батурин И. С. и Кухарьков А. В. Продолжаем бой. Да здравствует наша советская Родина! 28 июля 1941...»

Кухарьков доцарапывает букву «г».

— А по-моему, 29-е, — говорит Батурин.

— Не знаю, — говорит Кухарьков. — Все дни смешались. — И начинает опять царапать штыком, стараясь сделать из 28 — 29. Бессильно опускает штык. — Устал...

— Как бы не прочли — 20-е, — говорит Батурин.

— А прочтут? — спрашивает Кухарьков. — Скажи, Иван Степанович, прочтут? Ничего не хочу, одного хочу — чтобы знали, что мы ни на земле, ни под землёй не сдались, что наш гарнизон — бессмертный!

— Прочтут, — убеждённо говорит Батурин. — Мы здесь не сдались, а что же — другие сдадутся? Армия сдастся? Сталин? Смешно говорить! Придут, прочтут, — Батурин показывает на выцарапанную на стене надпись, — и дальше пойдут!

— А когда? — спрашивает Кухарьков.

— Не знаю.

— Эх, ожить бы на́ день, увидеть и опять помереть! — мечтательно говорит Кухарьков.

— Дорого бы я дал, — говорит Батурин, глядя на стоящую среди оружия и патронов рацию, — чтоб сказать в неё хоть два слова! У-у, чёртов ящик... — ударяет он ногой по рации.

— Хотел Дёмин починить и не смог. Первый раз в жизни не смог, помер, — говорит Кухарьков.

Батурин берёт автомат.

— Пойдём!

— Не могу, товарищ майор, — говорит Кухарьков, — ноги отнялись. Всё-таки, значит, перебил он мне вчера звонок. Может, не увидимся, товарищ майор, так нате вам, — вынув что-то из кармана, отдаёт он Батурину. — В последний день мира снято. Помните?!

Батурин смотрит на фотографию. Окно. В окне Мария Николаевна, мать Батурина, смеющийся Коля в бабушкиных очках, сам Батурин с Леночкой на руках, улыбающийся, без гимнастёрки, в нательной рубашке и подтяжках.

Ночь. Двор цитадели. Слышны шаги. Идёт немецкий офицер, за ним двое патрульных. Треск автоматной очереди — офицер падает, патрульные бросаются в разные стороны.

Слышен топот кованых сапог по камням. Беспорядочная ночная стрельба.

Подземелье. Батурин ползёт по полу, правая рука его бессильно волочится. Тяжело подтягиваясь на одной руке, он доползает до того места,

где оставил Кухарькова. В лампе, моргая, еле-еле тлеет фитиль. Полутьма.

— Кухарьков! — говорит Батурин. — Кухарьков, слушай меня!

Он трогает Кухарькова за сапоги, трясёт.

— Кухарьков! Умер Кухарьков, — говорит он тихо.

Медленно, с трудом повернувшись, прислушивается. Рядом с его лицом оказывается рация.

— Один... — говорит Батурин.

Молчание.

— Скажи, — обращается он к железному ящику, — скажи, где наши? Где наши, а? Нет, ты скажи, где наши, а? Ты мне скажи, где наши...

Он прислушивается, закрывает глаза.

— Который день? Который час, а?

В тишине раздаётся чуть слышный звон кремлёвских курантов. Они играют одну четверть, вторую, третью, четвёртую, в тишину один за другим падают двенадцать далёких ударов, и начинает звучать «Интернационал».

— Что, что? — поднимает голову Батурин.

В подземелье тихо. Потом издалека начинают всё громче доноситься глухие голоса людей.

— Нашли, — говорит Батурин. — Ну, ладно...

Он лезет здоровой рукой в карман и с трудом достаёт оттуда гранату «лимонку».

Голоса всё ближе, отчётливее. По камням бежит луч фонаря. Батурин последним усилием заносит назад руку, и граната, как шар, с грохотом катится по каменным плитам вперёд, навстречу немцам. Взрыв.

Двор крепости. Пасмурный, дождливый рассвет. Четыре немца несут по двору мимо развалин костёла, мимо разбитых казематов, мимо развороченных бомбёжкой сажённых стен, мимо сгоревших танков без сознания лежащего на носилках, исхудавшего, обросшего, похожего на старика, Батурина. Рядом с носилками идёт немецкий военный врач.

— Подождите! Покажите мне его, — говорит стоящий около санитарной машины немецкий генерал в дождевике и надвинутом на фуражку капюшоне.

Немцы подносят Батурина к генералу и останавливаются, держа носилки на весу.

— Так вот он какой!... — говорит генерал и обращается к одному из своих офицеров: — Что установлено документами?

— Установлено, что это командир семьдесят пятого стрелкового полка майор Батурин.

— А вы что скажете? — спрашивает генерал у немецкого военного врача.

— Умрёт, не приходя в сознание. Состояние безнадежное.

— Неправда, — говорит генерал. — Если он мог в таком состоянии бросить гранату и убить ещё трёх человек вдобавок ко всем убитым раньше, значит он ещё может прийти в сознание! И вы отвечаете мне за это головой! Я желаю знать, почему он не сдался. Мне предстоит воевать с ними дальше, мне необходимо это знать!

Носилки с Батуриным проносят мимо него.

Барак в концлагере.

— Дальше было мало интересного, — говорит Батурин. — Двадцать допросов, шесть лагерей, пять побегов. Они, — он кивает на сидящих рядом с ним других освобождённых, — могут рассказать о себе такие же истории, не хуже и не лучше моей. — Он поднимается и, своим вдруг

изменившимся строгим выражением лица заставив невольно подняться и Кондратьева, стоя навытяжку, отчеканивает слово за словом: — Докладываю — майор Бату́рин освобо́дился из плена и находится в вашем распоряжении!

За окнами начинается стрельба, она всё усиливается, разрастается.

— Товарищ полковник, — вбегает танкист, — всюду стреляют... Говорят, пришло радио — конец войне! Капитулировали, товарищ полковник!

— Победа! Ты слышишь, Бату́рин, — победа! — говорит Кондратьев и первым быстро выходит за дверь.

За ним выходят остальные. Всё небо в трассах пуль. Стреляют всюду — далеко, близко, во дворе, на крыше...

— Говорил мне один человек: «Эх, ожить бы, увидеть...» — задумчиво произносит Бату́рин.

— Дайте автомат, — говорит Кондратьев стоящему рядом с ним ординарцу. Тот подаёт ему автомат. — Ещё один! Майору! — говорит Кондратьев, показывая на Бату́рина.

Ординарец берёт второй автомат у соседа-танкиста и передаёт его Бату́рину.

Кондратьев поднимает автомат. Бату́рин тоже. И мы видим их лица в ту секунду, когда они оба дают залп: тщательно выбритое, с крупными желваками на скулах, замкнутое лицо Кондратьева и обросшее бородой, измождённое, со сверкающими глазами лицо Бату́рина.



---

---

НИКОЛАЙ ДУБОВ

★

## СИРОТА

*Повесть \**

Часть вторая

Н О В Ы Й Д О М

9

**У** Лёшки вдруг оказалось множество обязанностей, хотя его никто ни к чему не понуждал. Он помогал Ефимовне носить уголь и дрова, Анастасии Фёдоровне — водить галчат на прогулки, даже малярам пробовал помогать, но Людмила Сергеевна, увидав его, обрызганного краской, заставила вымыться и запретила подходить к малярам.

С наибольшим удовольствием он ухаживал бы за Метеором, но Тарас Горовец ревниво и неодобрительно следил за каждым подходившим к лошади, всё сделанное переделывал по-своему и в разговоры не вступал.

— Давай я тебе помогать буду, а? — сказал ему Лёшка, когда Тарас вывел Метеора и начал чистить.

— А чего тут помогать? Я сам... — буркнул Тарас.

— Ну, хоть что-нибудь.

— Иди навоз подбери, як хочешь.

Навоза в стойле было немного, Лёшка быстро сгрёб его и отнёс в кучу, лежавшую неподалёку от конюшни. Тарас любовно оглаживал Метеора щёткой. Метеор вытягивал шею и пытался губами ухватить его руку.

— Ну, балованный! — проворчал Тарас, достал из кармана кусок сахару и протянул мерину. — На, сладкоежка...

— Опять сахаром кормишь? — насмешливо проговорила Кира, оказавшаяся рядом.

Тарас оглянулся на неё и ничего не ответил.

— Думаешь, я не видела? Он, знаешь, — Кира обернулась к Лёшке, — он почти весь свой сахар Метеору скармливает... А на Первое мая из подарков все пряники Метеору скормил... А что, скажешь, нет?

— Я твой скармливал, да?

— Так я и говорю, что свои.

— Ну и не твоё дело! Иди отсюда!

— И пойду, подумаешь! — оттопырила губы Кира и убежала.

— Вот смола! — сказал Лёшка. — Я думал, только ко мне, а она ко всем липнет.

Кира постоянно вертелась перед глазами, заговаривала или поддразнивала, встревала в любой разговор. Лёшка не забыл, как она задирала нос при первой встрече, его раздражали насмешливо пощёлкивающие кирины глаза, всегда приоткрытый, готовый растянуться в улыбке

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

рот. Лёшку не раз подмывало стукнуть её, чтобы не мозолила глаза, но он боялся, что Кира пожалуется Людмиле Сергеевне.

Ответа Лёшка не дождался. Тарас молча занимался своим делом.

Он и в самом деле напоминал деловитого, хозяйственного мужичка: двигался неторопливо, говорил спокойно, рассудительно и совершенно был не способен сидеть сложа руки. В детский дом его привезли из маленькой деревни, в городе он никогда прежде не бывал, и поначалу Тарас затосковал. Он сторонился сверстников, не бегал и не кричал, как они, просто так, от радости жить и слышать свой звонкий голос. Молча и неодобрительно он наблюдал их шумную возню и иногда, ни к кому не обращаясь, тихонько говорил:

— На дощ тягне. То для хлеба добре...

Или:

— Оце, мабуть, хлопцы погнали коней напуваты...

Здесь, в детдоме, не было коней, хлеб не рос перед глазами шумливой стеной колосьев, его привозили готовым из пекарни, не было ничего, что напоминало бы его прежнюю жизнь, и Тарас тосковал.

Ожил он с появлением Метеора. Худющий, с торчащими рёбрами, с болячками на холке и боках, с растрескавшимися копытами, Метеор стоял посреди двора, свесив голову к земле и не обращая внимания ни на сбежавшихся ребят, ни на мух, облепивших его болячки. Когда-то, должно быть, он славился своей резвостью, недаром же назвали его Метеором; теперь это была старая разбитая кляча, списанная «Автогужтрансом» за полной неспособностью сдвинуть с места что-либо, кроме себя самой. Ребята стояли в безопасном отдалении: кляча — кляча, а вдруг лягнёт или укусит? Тарас растолкал их, подошёл к Метеору, погладил его по шее. Метеор приподнял голову и снова устало опустил. Тарас ощупал торчащие мослы, осмотрел болячки и со всем презрением, какое только мог выразить, произнёс:

— Хозяины! Довели коняку...

Кто были эти прежние «хозяины», осталось неизвестным, единственным же и полновластным хозяином Метеора теперь сразу стал Тарас. Он не отходил от мерина, кормил, поил его, чистил, смазывал болячки где-то раздобытым дёгтем, и если бы позволили, то и спать бы ложился рядом с ним в конюшне. Чтобы Метеор поскорее вошёл в тело, Тарас даже пробовал таскать для него хлеб из кухни, но был пойман и пристыжён. Таскать он больше не пытался, но остался при особом мнении, так как после выговора невнятно пробурчал что-то про «хворую тварыну», для которой жалко «шматка хлиба». Однако и после этого «шматок хлиба» для Метеора, а то и кусок сахара, всегда находился в карманах у Тараса.

Метеор поправился. Зажили болячки, перестали устрашающе торчать мослы и рёбра, и оказалось, что Метеор — не такая уж старая кляча, годная только на живодёрню. Он усердно возил всё нужное детдому, работал на подсобном участке, вовсе не лягался и позволял всем себя ласкать, за что его особенно любили галчата. Любили его все, но хозяин был только один — Тарас. Тарас готов был бросить всё, даже школу, лишь бы заниматься Метеором, и сначала ворчал, если ему напоминали об уроках:

— Ото ещё — уроки! А робыть когда?

«Робыть» было, по его мнению, единственным стоящим занятием, а всё остальное — тратой времени. Однако после того, как он дважды получил по русскому языку двойку и Людмила Сергеевна предупредила Тараса, что ещё одна двойка и он будет отстранён от Метеора, учился старательно.

Теперь, когда в детдоме были Метеор и телега, свой земельный участок за городом, жизнь Тараса приобрела содержание и смысл, руки — нескончаемую и желанную работу. А с появлением в детдоме Устина Захаровича Тарас получил учителя с непререкаемым авторитетом и образец для подражания, совершенный и недостижимый. Устина Захаровича Тарас, как ни билась Людмила Сергеевна, упорно называл «дядько Устым»: это казалось ему уважительнее, чем звать по имени и отчеству.

Устина Захаровича Лёшка увидел через несколько дней, когда вместе с Тарасом и старшими девочками поехал на подсобное хозяйство за картошкой.

Выслушав Людмилу Сергеевну, Тарас подумал и внушительно сказал:

— Только обратно они нехай как хочут: хочь на машине, хочь пешки...

— Это почему?

— Я там заночую: пускай Метеор подкормится, а то всё сено да сено... И обратно он картошку повезёт. Что ж, и их везти и картошку? Это ж вам не машина, а коняка...

— Он скоро на себе Метеора возить будет,— сказала Кира.

— Ох, Тарас, Тарас! — улыбнулась Людмила Сергеевна. — Похоже, Кира правду говорит... Если подвернётся машина и заберёт их — хорошо, а нет — приезжай сегодня же обратно...

Тарас насупился и ничего не ответил.

За городом с мощёной дороги свернули на старый грейдер. По обе стороны лежали огороды. Лохматились картофельные кусты; как на параде, опираясь на палочки, рядами выстроились помидоры; распластались лопастые листья и вьющиеся плети тыквы. За огородами волновались желтеющие хлеба.

Колёса с размаху ныряли в разбитую колею, въезжали на валы окаменевшей грязи, телега подпрыгивала и гремела. Девочки попробовали петь про любимый город, баян, платок голубой и примолкли. Им всё равно было весело. Когда телега накренилась, они заваливались в неё, хватались друг за друга, ойкали и хохотали. Лёшке нравилось всё: и зелёные поля вокруг, и палящее солнце, даже разбитый, вздыбившийся грейдер, заставляющий девочек взвизгивать. Тарас, как пришитый, сидел на передке, свесив вниз босые ноги и держа в левой руке вожжи. Время от времени он через плечо оглядывался на шумную компанию за спиной, и Лёшка расслышал, как он проворчал:

— Пустосмешки!

— Далеко ещё? — спросил Лёшка.

— Не-е... Ещё чуток...

«Чуток» занял около часа. Потом Тарас повернул Метеора на еле заметную в траве колею и показал вперёд:

— Вон и хата дядькова. Дядьки Устыма.

На краю бахчи виднелся шалаш из веток и подсолнечных стеблей.

— Это он там всё время и живёт?

— Не-е, сторожует. Пока огородину не заберём.

Они подъехали к шалашу, из него вылез Устин Захарович. Он был худой, высокий, сутулый. Казалось, он не то стесняется своего роста, не то опасается его и пригибается нарочно, словно и здесь, под открытым небом, может стукнуться головой о притолоку. Глаза его были привычно прищурены от яркого степного солнца. Почти до самых глаз он зарос чёрной с проседью щетиной, такой на вид колючей, что от одного взгляда на неё Лёшке захотелось почесаться.

— Здравсьте, Устин Захарович! — закричала Кира, спрыгивая с телеги. — Мы за картошкой приехали. Людмила Сергеевна прислала. А у нас новенький, Устин Захарович, вот он, — показала она на Лёшку. — Горбачёв.

Устин Захарович начал распрягать Метеора. Девочки доставали вёдра и лопаты. Тарас вынул лежавший в передке свёрток и отнёс в шалаш.

— Я вам хлеба привёз, дядько Устым,— сказал он.— И соли.

— Эге,— сказал Устин Захарович.

— Где начинать, Устин Захарович? — кричала Кира, примериваясь к ближайшим картофельным кустам.— Здесь, да?

— Ни, там не можно,— ответил Устин Захарович и зашагал вдоль поля.— Тут можно,— указал он, останавливаясь, и коротко пояснил: — Ранняя.

— Жанна и Сима будут вдвоём, и мы вдвоём, хорошо? — сказала Кира.— Мы их сейчас обставим.

Высокая черноглазая Жанна улыбнулась. Она почти всегда молчала и улыбалась ласковой улыбкой доброго и близорукого человека. Лёшка уже знал, что за высокий рост и молчаливость её называют «Великой немой». Зато неразлучная с ней полная маленькая Сима, с подпухшими, будто сонными глазками, успевала отвечать и за себя и за подругу, каждый раз оборачиваясь к ней за подтверждением.

— Ох, Кира! Всегда ты выскакиваешь! А может, не вы, а мы вас обставим? Правда, Жанна?

Жанна опять молча улыбнулась.

Лёшке не хотелось быть в паре с Кирой. Он бы предпочёл молчаливую Жанну или даже тараторку Симу, не говоря о Тарасе, но подружки были неразлучны, а Тарас уже занят: окашивал вдоль дороги траву для Метеора. Лёшка молча вонзил лопату в землю и выворотил картофельный куст. Мелкая красноватая картошка с громом посыпалась в ведро.

Кира азартно шарила в земле, бегала с ведром к мешку, стоящему на меже, каждый раз сравнивала, кто накопал больше, и сообщала Лёшке.

Солнце склонилось к западу. Устин Захарович отволол два мешка в телегу.

— Хватит,— сказал Тарас.— Теперь можете и до дому...

— Как это — до дому? — возмутилась Кира.— А на чём?

— Я ж говорил, не поеду сегодня. Вон машины ходят...

В отдалении, на грейдере, время от времени взрывались облака пыли, вздымаемой грузовиками.

— А если нас не возьмут? Вот мы Людмиле Сергеевне расскажем! — набросились на Тараса Кира и Сима, но он отвернулся и пошёл к Метеору, хрупавшему свежескошенную траву. Девочки знали, что переупрямить Тараса нельзя.

— Ну и ладно! — сказала Кира.— Людмила Сергеевна ему покажет! Пойдёмте, девочки. До свидания, Устин Захарович!

Лёшка шагнул вслед за девочками, потом нерешительно остановился и посмотрел на суровое лицо, плотно сжатые губы Устина Захаровича.

— А можно, я с вами останусь?

Устин Захарович кивнул.

— Можно.

Девочки ушли. На обочине грейдера долго виднелись их пёстрые платяца. Потом несущийся по дороге клуб пыли опал возле них, видно было, как из кузова им протягивали руки, как они взобрались. Пыльное облако взорвалось снова и умчалось к городу.

— Идём,— сказал Лёшке Тарас и подал ему закопчённый котелок.— Там, в балочке, крынычка есть, ты воды наберёшь, а я — на костёр.

У самого края поля спустились в овраг. Тарас полез по склону, собирая сухие коровьи лепёшки и ветки, а Лёшка отправился разыскивать крынычку — родничок. Маленький бочажок, густо обросший травой, был полон холодной прозрачной воды. но в нём плавал зелёный пучеглазый лягушонок. Лёшка вылил обратно воду, которую было зачерпнул, и рас-

терянно оглянулся. На четверть выше бочажка из земли выбивалась тонкая струйка воды. Лёшка подставил котелок и долго ждал, пока ленивая струйка наполнит его.

— Купался ты, чи шо? — впервые за всё время улыбнулся Тарас, когда Лёшка вернулся к шалашу.

— Лягушка там, — смущённо объяснил Лёшка.

— Так шо, испугался? — лукаво спросил Тарас.

Он уже разложил костёр, небольшой, но жаркий, подвесил над ним котелок, а в золу под огнём закинул картофелины.

— Ну вот, скоро и повечеряем, — удовлетворённо сказал он, закончив работу.

Солнце спустилось до горизонта, залило небо закатным заревом. Тучи пыли, всё реже всплывающие над грейдером, стали багровыми, как далёкие пожарища. Заревое стремительно притухало, на смену ему надвигалась густая ночная синева, только высоко в небе долго светились розовым светом тонкие перистые облака.

Тарас отставил в сторону закипевший котелок и бросил в него щепотку чаю, сгрёб в сторону жар и палочкой выковырял из золы картофелины с обуглившейся кожурой. Перебрасывая с руки на руку и дуя на неё, он разломил картофелину и понюхал.

— Готова!

Устин Захарович и Лёшка придвинулись к тряпочке, на которой лежали хлеб и крупная соль.

Пожалуй, ещё никогда Лёшка не испытывал такого удовольствия от всего. И от того, что они вот так, руками, едят неопишимо вкусную печёную картошку, и от того, что руки и поясница ноют от усталости, и от того, что чай приятно пахнет дымом и он даже вкуснее потому, что пьют они его без сахара и по очереди из одной, обжигающей губы и руки алюминиевой кружки, и от того, что сидят молча, а над ними неслышно вспыхивают в высоком небе дрожащие звёзды и, как оранжево-красная звезда, дрожит и трепещет в бескрайнем чёрном поле их костёр. Темень обступила их со всех сторон, и вместе с ней подошла тишина. Её тотчас спугнули. Где-то несмело чиркнул сверчок, ему ответил другой, и вот уже загремели, зазвенели они со всех сторон, и казалось, что переливается, звенит горьковато пахнущий полыньёю степной воздух и робко мерцающий звёздный свет.

Лёшка лёг у костра. Если бы так было всегда — и костёр, и Тарас рядом, и даже суровый «дядько Устым», — лежать вот так каждую ночь до утра, смотреть на далёкие звёзды и слушать льющийся отовсюду звон...

— Пойдём спать, — сказал Тарас, подгребая рассыпавшиеся угли. — Завтра по холодку поедем.

Они легли на ворох пахучей травы, Устин Захарович остался у костра. Он подбрасывал ветки в костёр и смотрел на огонь. По замкнутому лицу его бегали трепетные отсветы.

— Отчего он всё молчит? — шёпотом спросил Лёшка.

— А кто ж его знает? — так же шёпотом ответил Тарас. — Молчит, и всё. Он разве скажет? Набуть, думает... Спи!

Мальчики заснули и не слышали, как Устин Захарович, достав из шалаша рядом, укрыл их. Ссутулившись, он постоял над ними и опять сел к костру.

В детском доме Устин Захарович числился инструктором по труду, оказавшись в должности этой неожиданно для других и для себя самого.

Год назад Людмиле Сергеевне удалось добиться наряда на металлические кровати с сетками. Старые, деревянные, давно разошлись,



расшатались, шипы то и дело вылетали из пазов, кровати разваливались. Их сколачивали гвоздями, однако это держало их в относительной целости недолго. То в одной, то в другой спальне к испугу девочек и удовольствию ребят разъезжалась кровать, и очередная жертва с треском и стуком летела на пол.

Первую партию новых кроватей, высокой горой уложенных на телегу, сопровождали старшие мальчики и сама Людмила Сергеевна. Тарас шагал рядом с Метеором, Людмила Сергеевна и ребята шли сзади, любясь высокой голубой горой. Она громом и звоном отзывалась на каждый камень мостовой и время от времени кренилась на сторону. Тогда Метеора останавливали, с трудом сдвигали разъезжающуюся гору. За три квартала от дома левые колёса угодили в дождевую промоину, голубая гора накренилась и с грохотом обрушилась на мостовую. Ребята бросились поднимать кровати, заново их укладывать. На тротуаре стоял высокий сутулый мужчина, молча смотрел на их усердную неумелую работу, потом шагнул к телеге и сказал:

— Так не можно!

Он снял уложенные было плашмя спинки и начал ставить их стоймя. Мальчики, обрадовавшись подмоге, быстро подносили рассыпавшиеся кровати. Мужчина плотно уставил их, перевязал верёвкой, Метеор двинулся дальше. Кровати гремяли, но больше не разъезжались. Не ответив на благодарность Людмилы Сергеевны, мужчина шёл следом. У ворот он остановился, наблюдая за разгрузкой.

— Большое вам спасибо! — протянула ему руку Людмила Сергеевна.

Он посмотрел на её руку, отвёл взгляд в сторону, на калитку, и сказал:

— Может, топор и гвозди есть? Петля вон сорванная... Не годится.

Нижняя петля давно оборвалась, и провисшая калитка выбила в земле глубокое полукружие. Немного обескураженная Людмила Сергеевна принесла топор и гвозди. Потом её отозвали. Минут через десять она вспомнила о странном незнакомце и спохватилась, что стука у калитки больше не слышно.

— Господи, ещё топор унесёт! — обеспокоилась она.

Топор был прислонён к верее, петля навешена, но этого человека уже не было.

«Чудак какой-то», — подумала Людмила Сергеевна, унося топор, и забыла о нём.

На следующий день под вечер «чудак» появился снова. Людмила Сергеевна увидела его, когда он приподнимал толстой жердью передок телеги, а Тарас снимал колёса и смазывал ось. Оба молчали. На приветствие директора человек кивнул головой.

— Ты знаешь его? — спросила Людмила Сергеевна у Тараса, когда человек ушёл.

— Кого? Дядько Устыма? Не..

— А почему же он пришёл?

— Помогает, — объяснил Тарас, изумлённый вопросом директора, словно помощь неведомого «дядьки Устыма» была совершенно естественной и ни в каких объяснениях не нуждалась.

С тех пор Устин Захарович появлялся ежедневно. Каждый раз он находил себе какую-нибудь работу, что-либо починял или налаживал и, не обращая внимания на благодарность, уходил. Воспитательницы недоуменно пожимали плечами, Ефимовна невзлюбила его и каждый раз зловеще сообщала Людмиле Сергеевне:

— Опять идол пришёл! Вот так ходит-ходит, да и обчистит кладовую... Вон рожа-то какая — смотреть страшно!

Угрюмое, всегда заросшее лицо «дядьки Устыма» самой Людмиле Сергеевне внушало опасения, и она не знала, как быть. Неизвестно было,

что он за человек, почему зачастил в детдом и не следовало ли его отвадить от посещений, а вместе с тем он становился всё полезнее, делая то, что без него сделать не могли, не ожидая за это ни платы, ни благодарности, и обижать его недоверием не хотелось. Несмотря на его суровость, ребята совершенно не боялись Устина. Они находили дело и для него и для себя, охотно помогали ему. Только однажды он воспротивился: когда они предложили поставить турник.

— То баловство,— решительно сказал он.— Хиба то работа — до горы ногами крутытысь?

Однако, когда ребята сами поставили турник, он укрепил стойки подпорками, чтобы какой-нибудь любитель «солнца» не брякнулся о землю вместе с турником.

Постепенно к нему привыкли. Даже Ефимовна, мучившаяся с выпадающей дверцей плиты, после того как он, словно заправский печник, укрепил дверцу проволокой и обмазал раствором, переменила к нему отношение и уже не пророчила ограбления кладовой, но всё же с сомнением покачивала головой:

— Человек он, может, и ничего, а почему молчит? Не может этого быть, чтобы просто так молчал! Значит, он чего-то думает... А чего он думает, бог его знает! — и она значительно поджимала губы.

Сама Ефимовна молчать не умела, и поведение «дядьки Устыма» ставило её в тупик.

Людмила Сергеевна пробовала «разговорить» его, но ей только удалось узнать, что зовут его Устином Захаровичем Приходько, работал он раньше в колхозе «Заря», а теперь вот живёт в городе и делает всякую работу, что подвернётся. От разговоров о прежней своей жизни он уклонился, сказав:

— Було та загуло... Чого ж и ворошить?..

Людмила Сергеевна навела справки; сказанное Устином Захаровичем подтвердилось: на самом деле до войны он работал в колхозе «Заря», а по возвращении из армии оставаться там не захотел, человек же рабочий, честный и ни в чём таком не замечен.

Устин Захарович прижился. Попрежнему он работал где-то на стороне, но каждый вечер, а по воскресеньям с утра появлялся в детдоме и что-либо чинил или строил. Умел он решительно всё, во всяком случае всё нужное и несложное в бедноватом в ту пору хозяйстве детдома. Сделанное им бывало и громоздким и неуклюжим, но всегда было несокрушимо прочным и чем-то неуловимо напоминало самого Устина Захаровича. Ребята охотно его слушались, а Тарас Горовец смотрел в рот и подражал во всём. Он даже ходить начал так же медленно и враскачку, как делал это «дядько Устым».

В детдоме уже работала Анастасия Фёдоровна, она учила девочек шитью и вышиванию, но должность второго инструктора по труду оставалась незанятой. Найти специалиста не удавалось, Людмила Сергеевна подумала-подумала и предложила эту должность Устину Захаровичу.

Устин Захарович помолчал, потом решительно сказал:

— Ни, не можно! Я рабочий человек, а не вчитель.

Людмила Сергеевна долго доказывала ему, что он уже фактически инструктор, только не получает зарплаты и приходит по вечерам, а го будет получать зарплату и работать положенное время. Делать он будет то же, что и теперь, ничего больше от него не потребуют. В конце концов, если он не хочет постоянно, пусть поработает, пока найдётся человек более подходящий. На это Устин Захарович согласился.

Теперь он появлялся во дворе детдома на рассвете, а уходил уже затемно, когда дети ложились спать. Более усердного работника в детдоме не было, и Людмила Сергеевна втайне сознавала, что, пожалуй, он

принадлежит детдому больше, чем она сама, так как у неё была ещё своя, семейная жизнь, у Устина же Захаровича, повидимому, не было ничего, кроме работы.

Одно только приводило иногда Людмилу Сергеевну в отчаяние. Устин Захарович признавал единственный способ обучения — давал работу, а если делали не так, отбирал лопату или молоток, молча показывал, как надо действовать, и опять совал инструмент в руки ученику.

— Я не понимаю, Устин Захарович, слов вам жалко, что ли? — возмущалась Людмила Сергеевна.

— Я ж казав, що я не вчитель,— отвечал Устин Захарович.— И чего тут рассказывать?

Говорить, по его мнению, следовало лишь о том, можно и нужно ли сделать то-то и то-то, а если это выяснялось, больше не о чем было и говорить, надо было просто делать. Если его спрашивали о чём-либо, он, подумав, отвечал «можно» или «не можно» и потом уже ни в какие объяснения не вступал.

Такую же безуспешную борьбу, как с молчаливостью, Людмила Сергеевна вела с его устрашающей бородой.

— Устин Захарович! — восклицала она. — И работаете вы хорошо, и человек вы хороший, а борода у вас прямо разбойничья. Ну, подумайте сами: приедет какой-нибудь инспектор, вокруг дети, а у вас такой вид. Неужели трудно побриться?

Устин Захарович безропотно уходил в парикмахерскую и возвращался оттуда с синими изрезанными щеками. Но уже к вечеру синева сменялась чёрной щетиной, а на следующий день Устин Захарович приобретал свой обычный вид. Наконец ему это надоело, и в ответ на очередное напоминание об инспекторе он раздосадованно отмахнулся.

— Я не дивчина, ему меня не целовать...

В действиях Устина Захаровича не было никакого расчёта. Увидев развалившуюся гору кроватей и растерявшихся ребятишек, он не мог не помочь: как же можно терпеть беспорядок? Не в порядке была калитка, а кто мог её починить, если тут одни женщины да малыши? Он починил. Но ещё раньше он приметил, что колёса у телеги не смазаны, и на следующий день пришёл, чтобы их смазать. Беспорядки обнаруживались один за другим, и один за другим Устин Захарович их устранял. Делал он это не для того, чтобы заработать деньги или заслужить благодарность, а потому, что его работа уже кончилась, тут же была другая, а когда руки и голова заняты делом, не одолевают думки и легче ждать. Ждал он давно и уже устал ждать.

Сначала он ждал вестей от сына, ушедшего в армию в первый день войны. Вместо письма пришла «похоронная». Устин Захарович остановился посреди двора, а сноха закричала не своим голосом и бросилась в хату. Устин Захарович посмотрел вслед Фроське-почтальонше, торопившейся уйти подальше от двора, в который она принесла горе, потоптался на одном месте, зачем-то пошёл к сараю, потом вернулся и сел на завалинку.

— Вот, значит, как...— сказал он, глядя на тополь у перелаза.

Тополь он посадил, когда женился и поставил хату. Тополь был ещё молодой, когда Андрейка влез на него и сломал большую ветку. Устин Захарович стащил его вниз и отодрал. Тополь уже большой и вытянулся, как свечка. И Андрей вырос. Тополь остался, а Андрея нет... Был, был маленький, а потом сразу, вдруг, стал большой, догнал по росту самого Устина Захаровича, а может, и перегнал бы... В голове Устина Захаровича скользили лёгкие, пустые мысли, но внутри шевелилось что-то твёрдое, угловатое, и он думал лёгкие, пустые мысли, чтобы не стронуть, не шелохнуть это твёрдое, угловатое, от которого становилось всё нестерпимее. Вот старуха не дожидается... Как бы она теперь?.. Вон Галька как

голосит... Старается, неприязненно подумал Устин Захарович, чтобы слышали, как она убивается... Покричит, покричит — и отойдёт. А потом забудет...

Он знал, что несправедливо думает о снохе, но нарочно себя растравлял, бередил притихшее после рождения внуков недоверие к ней. Ему всегда казалось, что Андрею под стать самая лучшая дивчина на селе. А эта что? Только и всего, что хохотала громче всех да песни пела. Ну и ничего, работающая... Пожалуй, она и была на селе самой лучшей дивчиной, но Устину Захаровичу казалось, что Андрей достоин ещё лучшей.

Вот она осталась, а Андрея нет... Ей что? У неё всё горе криком выйдет. А вот он как?.. Но об этом думать было нельзя — твёрдое и угловатое начинало шевелиться, и он опять думал о чём-нибудь другом, не таком страшном. Вон юхимов сынок получил ранение и лежит в госпитале. Может, пока выздоровеет, разобьют немцев, он и вернётся. Ну, без руки. Без руки жить можно. А может, и рука останется... Как же это так? Он вот есть, а Андрея нет... И теперь голоса не голоса, а его не будет...

Среди воплей Гальки ему послышались другие звуки. Он тяжело поднялся и пошёл в избу. Галька билась в углу на лавке, а годовалый Сашко и двухлетний Васько сидели на кровати и, не сводя с матери вытаращенных от ужаса глаз, орали уже надорванными голосами. Сыны андреевы, внуки!..

— Годи! — грохнул Устин Захарович кулаком о стол. — Детей умирить хочешь?!

Галька испуганно вскинулась, перестала голосить. Свёкор никогда прежде на неё не кричал. Она бросилась к детям, обливаясь слезами, начала успокаивать.

Внуки! Сыны андреевы... Ради них надо было стерпеть всё. И Устин Захарович стерпел. Он не проронил ни слезинки, даже наедине с собой не затрясся в беззвучном мужском горе. Оно окаменело в нём, не вышло наружу, только стал он ещё суровее и молчаливее.

Ночью во двор МТФ, где дежурил Устин Захарович на случай, если налетят и набросают зажигалок, прискакал Иван Романович, председатель, приказал выводить скот и гнать на шлях: в случае немцы прорвутся, чтобы им не достался.

Устин Захарович вместе с двумя доярками гнал встревоженное, ревущее стадо по ночной степи и оглядывался. Сзади небо пламенело далёким рокошущим заревом. Устину Захаровичу казалось, что оно растёт всё выше и выше, подползает к селу, где остались Галька и внуки.

Вернуться за ними уже не довелось. Фронт оказался за спиной, скот нужно было гнать почти без роздыха. Почерневший, словно обуглившийся от зноя, усталости и горя, Устин Захарович гнал скот на восток, всё дальше уходя от опасности и всё ближе подходя к границе своего терпения.

Оно оборвалось под Ульяновском. Сдав скот в совхоз, Устин Захарович ушёл в армию. По возрасту он не годился в строевые, его зачислили ездовым.

Падали лошади, ломались повозки, а он всё вёз и вёз нескончаемый груз войны. И всё время ждал, когда какая-нибудь случайность забросит его поближе к родному селу. Случайность не подвернулась. И он опять ждал.

Только в Штеттине выпустил он наконец из рук вожжи войсковой упряжки и сел в поезд с демобилизованными первого срока. В райцентре на вокзале к нему бросился усатый солдат без погон. Левый рукав его гимнастёрки был аккуратно подвёрнут и пристёгнут булавкой.

— Устым?! — закричал солдат, и только тогда Устин Захарович узнал в нём односельчанина Герасимчука. — Живой?

— Живой, — ответил Устин Захарович.

— А меня вот переполовинили, — с уже привычным ожесточением сказал Герасимчук и сплюнул.

Они отошли в сторонку от толпы, спросили друг друга о службе. Оказалось, что Герасимчук отвоевался под Люблином.

— А как село наше? Иван Романович вернулся?

Герасимчук махнул рукой.

— Убит Иван Романович. А село — почитай половина сгорела. Немцы спалили. Моя хата сгорела. — Герасимчук помялся и добавил: — И твоя.

— Ну, а... — начал и не кончил Устин Захарович.

Герасимчук полез в карман за папиросами, долго мучился, доставая папиросу одной рукой. Папироса сломалась. Он скомкал её и, не глядя в лицо Устину Захаровичу, сказал:

— Нема их, Устым. Многих угнали. И твою Гальку.

— С ребятами?

— С ребятами... Говорят, которые возвращаются. Может, и твои вернутся...

Они помолчали.

— Ну, бывай здоров! — сказал Устин Захарович, повернулся и отошёл.

— Куда ты? погоди! Может, попутная машина будет! — закричал Герасимчук.

Устин Захарович торопливо шагал, не отвечая и не оборачиваясь.

Шлях был тот же, так же кое-где торчали обшмыганные колёсами кусты, так же, как и четыре года назад, лежала на нём серая бархатная пыль. И съезд на грейдер был тот же, только грейдер давно не ремонтировали, он зарос травой и превращался уже в просёлочек.

По селу он шёл, опустив голову, не глядя по сторонам. В окнах уцелевших хат мелькали женские лица. Узнав его, односельчанки горестно качали головами, рукавами смахивали слезу. Устин Захарович, не оглядываясь, шагал к своему порядку.

Торчали обгорелые деревья, полуразвалившиеся печи и кучи глинистого мусора, уже заросшие крапивой, конским шавелем и лопухами. Устин Захарович шёл от кучи к куче, узнавая и не узнавая места, где стояли хаты соседей. Вот тут была Сидоренкова, Лучкова. А вот здесь была его...

Полуобгоревший тополь засох. Голые ветки его гнулись, как хлысты, и шуршали под ветром. Печь развалилась, возле неё вырос бурьян. Устин Захарович подошёл ближе, раздвинул его. На земле валялись головешки. Они пахли сыростью и землёй. Устину Захаровичу казалось, что от них тянет горьким дымом. Он постоял, зачем-то подгрёб сапогом головешки в кучку и пошёл к уцелевшим домам. Надо было жить, а жить означало работать.

Председателем колхоза оказался тот самый юхимов сынок, которого ранило в начале войны. После того он был ранен ещё несколько раз, но всё-таки уцелел и приехал из госпиталя незадолго до возвращения Устина Захаровича. Он раздался в плечах, возмужал и отпустил усы. Теперь его называли не Стёпкой или Степаном, как бывало, а Степаном Ефимовичем. Степан Ефимович шумно обрадовался возвращению «колхозной гвардии», как он сказал, и скомандовал жене «сообразить по такому случаю». На столе появилась бутылка самогону. Еды было не густо, но самогонка из сахарной свёклы уже была.

Степан, позвякивая медалями, рассуждал о том, как он думает поставить «Зарю» на ноги, и подливал в стаканы. Устин Захарович пил и не пьянел. Он только всё плотнее сжимал губы. Потом спросил, как думает Степан, живы его Галька и внуки или нет. Степан сказал, что вполне

свободная вещь, что и живы. Может, даже и до Германии их не довезли — такое бывало тоже, а если и довезли, так там же всех освободили и производят репатриацию. «До дому вертают», — пояснил он. Надо навести справки. Он скоро поедет в город и может всё разузнать.

Устин Захарович сам пошёл в город. Он был в военкомате, в райисполкоме, даже зачем-то в загсе и, наконец, попал в милицейский отдел розыска. Молодой белобрысый лейтенант, то и дело одёргивая свой китель, записал всё и обнадёжил:

— Не горюй, дед! Разыщем твоих внуков.

Устин Захарович вернулся в село и начал ждать. Каждую неделю он ходил в город к белобрысому лейтенанту.

— Пока никаких сведений не поступало, — отвечал тот.

Устином Захаровичем овладело беспокойство. Ему начало казаться, что, пока он тут «отлёживается бока», внуки его где-то «бедуют», их отыщут, а он даже и узнает об этом с опозданием. Следовало быть поближе к отделу розыска, чтобы в любой момент могли сообщить, а он — поехать за своими внуками. Степан и слышать не хотел о том, чтобы отпустить такого работника, убеждал, ругался и даже пробовал грозить, но Устин Захарович стоял на своём.

— Ты пойми, — говорил он, — я не лёгкой жизни шукаю — душа горит!

Председатель наконец сдался.

— Так разве ж я не понимаю?.. Такое дело!.. Ну, там не заживайся — сам знаешь, нам кадры нужны.

Устин Захарович не думал заживаться. На своё пребывание в городе он смотрел, как на временное, жил в углу, работу не выбирал, брался за любую — лишь бы прожить — и за неё не держался. Всё это было не главное, главное было — дожждаться вестей о внуках. В отделение он ходил, когда только мог, и, «чтобы не мозолить людям глаза», стоял в сторонке и ждал, пока белобрысый лейтенант его заметит. Тот замечал и строгательно качал головой. В этих молчаливых посещениях лейтенант чувствовал укор себе и розыску, который до сих пор не мог найти никаких следов, и, так как укор был справедливым, в нём нарастало раздражение. Однажды он в сердцах сказал:

— И чего ты, дед, ходишь? Сообщат нам, и мы тебе сообщим. А то ходишь и ходишь...

Устин Захарович пожевал губами и вышел. Он понимал, что лейтенант прав, и ходить стал реже.

На улицах он присматривался к ребятишкам в наивной надежде вдруг наткнуться на своих внуков, хотя и понимал, что здесь их быть не может и что он бы их даже не узнал, так как помнил ползунками, а теперь, если они живы, Сашке было семь лет, а Васе уже восемь.

Поэтому он так легко и прочно прижился в детдоме. Там были дети, они напоминали ему внуков. Сначала он этого боялся, потом оказалось, что без этого не может. Он никогда не был ласковым и приветливым, окружающие не получали от него ясно видимой радости, однако ему самому она всё больше была нужна. И он получал её, скупую, рвущую сердце, слыша звонкие ребячьи голоса, их смех, ссоры и беготню. Им он отдавал единственное, что имел, — свои неутомимые руки.

Ещё за воротами Тарас и Лёшка услышали шум.

— Наши из лагеря приехали, — сказал Тарас.

Загорелой босоногой толпой ребята стояли вокруг Людмилы Сергеевны, Анастасии Фёдоровны и Ефимовны. Все говорили и смеялись разом. Тараса и Метеора увидели, шум стал ещё громче.

— Тарас! Здоров, конячий сторож! Сколько Метеору сахару скормил?.. Тарас улыбнулся и сразу стал не «мужичком», а тем, кем был на самом деле, — маленьким мальчиком, но тут же насутился.

— Посторонись!

Метеору заступили дорогу, Тараса стащили с телеги. Лёшка слез и отошёл в сторону. Ребята перекрикивали друг друга, пытаясь одновременно, все вдруг рассказывать, Людмила Сергеевна смеялась и зажимала уши.

— Тихо! — скомандовала девочка со строгим красивым лицом.

Должно быть, приехавшие привыкли её слушаться и притихли.

— Молодец, Алла! Сразу порядок навела, — сказала Людмила Сергеевна. — Ну, покажите ваши свои трофеи.

Алла развела руки, ребята раздвинулись, и перед Людмилой Сергеевной образовалась свободная площадка.

Крутолобый стриженный мальчик снял со спины рюкзак и вытащил большую стеклянную банку. В банке, свернувшись кольцом, лежал уж.

— Она кусается? — испуганно спросила маленькая Люся, которую Лёшка запомнил, потому что она всегда что-нибудь напевала.

— Нет. Уж безвредный, — уверенно сказал стриженный мальчик.

Две девочки осторожно развязали другой рюкзак и выкатили из него серый клубок, утыканный толстыми иглами. Клубок развернулся, приподнял вверх острую мордочку и фыркнул.

— Ежик! Ежик! — восторженно закричали галчата.

Из третьего рюкзака извлекли черепаху. Она некоторое время лежала неподвижно, потом высунула ноги, голову, подслеповатыми старушечьими глазами посмотрела вокруг и пустила лужицу. Девочки сконфуженно переглянулись, ребята засмеялись.

Лёшка ловил на себе беглые, любопытные взгляды. Людмила Сергеевна заметила, как он отчуждённо смотрит на всех, подозвала к себе.

— Вот, ребята, — сказала она, поставив его перед собой и положив ему руки на плечи, — это ваш новый товарищ. Зовут его Алёша Горбачёв. Теперь уже с откровенным любопытством все смотрели на него, и Лёшка позавидовал черепахе, которая могла спрятаться под своим панцирем.

К Людмиле Сергеевне, едва не плача, подбежали несколько девочек.

— Людмила Сергеевна, а где наши кошки? — ещё издали кричали они.

— Кошки? Разве их нет? Разбежались, наверно.

— Как это разбежались? Чего это они разбежались?

— Эко горе — кошки убежали! — насмешливо сказала Ефимовна. — Небось, новых натащите...

Людмила Сергеевна говорила заведомую неправду, но не чувствовала угрызений совести. Кошки стали бедствием. Они заполнили весь дом. Все дети любят животных, а эти дети, перенесшие горе, подбирали на улице всех заброшенных, покалеченных котят и заботливо их выхаживали. Котята поправлялись, вырастали и дома уже не покидали, а к ним прибавлялись всё новые и новые. Они бродили по двору, проникали в спальни, даже иногда в столовую, и держали в непрерывной осаде кухню и кладовку. Разношёрстое, мяукающее стадо было знакомо со всеми превратностями кошачьей жизни и, несмотря на ребячьи проповеди вести себя хорошо, напропалую воровало всё, что удавалось. Людмила Сергеевна смотрела на это стадо со страхом, ежедневно ожидая вспышки среди ребят экземы, чесотки и прочих эпидемических ужасов, а Ефимовна швыряла в кошек что попало.

— Чистое наказание с этими кошками! Прямо не детский дом, а кошачий...

Когда самые ревностные кошколюбы уехали в лагерь, Ефимовна выполнила давно задуманный план: с помощью Устина Захаровича поносила кошек так далеко, что они уже не смогли вернуться. Людмила Сергеевна не препятствовала — очень уж ей надоело и было слишком опасно четвероногое население.

Людмила Сергеевна принялась успокаивать расстроенных кошатниц, ребята разбрелись осматривать комнаты после ремонта. Лёшка отошёл к конюшне, где Тарас распрягал Метеора, — он лучше чувствовал себя возле него. В нём с новой силой вспыхнула ослабевшая за последние дни насторожённость. С тех пор, как он уехал из Ростова, ещё ни одна встреча с мальчишками, если их было много, не обходилась по-хорошему.

После обеда Лёшка, как всегда, увильнул от лежания в постели и пошёл на пустырь, к сараю. Там уже сидели несколько мальчиков. Лёшка сел в сторонке — не слишком далеко, чтобы не отдаляться, но и не слишком близко, чтобы не воображали, будто он подлаживается. Ребята, ещё переполненные лагерными впечатлениями, пересмеивались, вспоминая о какой-то Ларисе, которая никак не могла наесться, хотя была толстая, как пышка, о Косте, который вечно просыпал побудку и вылетал на линейку встрёпанный и неумытый, о Вадиме, который среди ночи под окнами девочек ухал и хохотал, как настоящий филин, и как девочки своим перепуганным визгом будили весь лагерь, а Вадиму на другой день был общелагерный «влёт»...

К Лёшке подсел мальчик с тонким бледным лицом. Лёшка заметил его ещё утром, потому что мальчик носил очки с толстыми стёклами, и слышал, как ребята называли его «академиком».

— Меня зовут Яша Брук, — сказал мальчик в очках. — Ты давно у нас?

— Недавно.

— А откуда ты?

— Из Батуми. То есть раньше я жил в Ростове, а потом в Батуми. Там и убежал...

— Убежал?

— Ага. От дядьки...

В это время мимо прошёл рыжий веснушчатый мальчик. Он сделал вид, что споткнулся, и взмахнул рукой к лёшкиному лицу. Лёшка отпрянул. Рыжий опустил руку, почесал колено, словно он поднимал её только для этого, и подмигнул ребятам. Те засмеялись. Лёшка побледнел и весь напрягся.

— Не приставай, Валет, — досадливо сказал Яша. — А почему убежал? Плохо было, да? Ничего, у нас хорошо, вот увидишь...

Лёшка не видел ничего хорошего, он видел теперь только рыжего Валета. Обрадованный своим успехом, тот решил продлить забаву и, снова подмигнув товарищам, направился к Лёшке. Однако повторить не удалось. Не успел он взмахнуть рукой, якобы для того, чтобы почесать затылок, как тут же отдёргнул её. Лёшка ребром ладони ударил его по плечевому мускулу, вторым ударом коротко и сильно толкнул в грудь. Валет не удержался на ногах и рухнул в крапиву.

— Ты... Ты меня?! — задыхаясь, проговорил он, всё ещё лёжа на земле.

— Не лезь, я тебя не трогал, — угрюмо ответил Лёшка и мельком оглянулся. Ребята вскочили, окружили их, но никто не собирался нападать с тыла.

— А я тебя трогал? — заорал Валет и вскочил на ноги.

— Бросьте, ребята! Бросьте! — встал между ними Яша Брук.

Валет отшвырнул его в сторону и бросился на Лёшку. Лёшка получил удар по носу, но и сам ударил противника в ухо. Они схватили друг



друга за руки. Валет норовил боднуть Лёшку головой, а когда это не удалось, поднял ногу, чтобы лягнуть, но ребята, негодуя, закричали:

— Эй, нога! Нога! Не по правилам!..

Валет был сильнее, но Лёшка, переживший столько стычек,— ловче. Уловив момент, когда Валет поднял ногу, Лёшка толкнул его и отпустил руки. Валет опять покатился в крапиву. Зрители засмеялись, теперь уже над Валетом. Победённые редко вызывают симпатию у мальчишек.

— Бросьте драться! Сейчас же перестаньте драться! — услышал Лёшка голос Киры, но в это время Валет снова бросился на него. На этот раз оба упали.

— Полундра! — крикнул кто-то, и круг распался.

Лёшка вскочил, готовясь отразить новую атаку. Атаки не последовало. К ним спешила Людмила Сергеевна, а за ней Кира, на которой опять была повязка дежурной. Валет, сидя на земле, счищал с колен пыль и налипшие травинки, ребята повернули безмятежные лица к Людмиле Сергеевне.

— С кем ты дрался, Горбачёв? А ну, конечно, Белоус отличился... Встань!

Валет нехотя поднялся.

— Из-за чего вы подрались? Белоус тебе что-нибудь сказал, сделал? — повернулась Людмила Сергеевна к Лёшке.

Валет был, конечно, гадом, но Лёшка никогда не жаловался. Он трогал пальцами распухший нос и смотрел, не течёт ли кровь. Крови не было.

— Почему ты молчишь? Из-за чего вы подрались? И перестань смотреть в землю!

Лёшка поднял на неё угрюмые глаза, в которых совершенно ясно было написано, что он ничего не скажет.

В глубине души Людмила Сергеевна была рада. Она терпеть не могла «лизунов» и ябедников, трусливо вьющихся возле старших и чуть что жалующихся.

— Это, наверно, Валет начал,— сказала за её спиной Кира.

Людмила Сергеевна обернулась.

— Опять? Сколько раз я говорила, чтобы не было «Валета» и вообще никаких кличек!.. Вот что, петухи: не хотите мне рассказывать — ответите совету отряда. А сейчас — марш в постели!

— Болит нос? — сочувственно спросил Яша, когда они направились в спальню.

— Не очень. Распух только,— ответил Лёшка.

— А здорово ты стукнул его первый раз! — восхищённо сказал Яша.— Я так не умею. Я совсем не умею драться,— огорчённо признался он.

— Значит, тебя всегда бьют?

— Нет, кто же меня будет бить? Я просто никогда не дерусь.

— Ну да,— усомнился Лёшка.— Как это — никогда?

Койки были заново расставлены, постели Лёшки и Яши оказались рядом.

— А на совете этом, чего там будет? — спросил Лёшка, когда они улеглись.

— Неприятно будет,— неопределённо, но многозначительно сказал Яша и уткнулся в книгу.

Совет пионерского отряда собрался перед ужином. В комнате для занятий за длинным столом сидели строгая Алла, Кира, Тарас, Митя Ершов — крутолобый серьёзный мальчик, привезший в банке ужа, и Яша. Лёшка немного приободрился. Тарас его уже знал, а Яша вроде на его стороне, но, как он ни старался, поймать их взгляды ему не удава-

лось — Тарас и Яша на него не смотрели. На стульях у стен, возле столиков расселись воспитанники. Галчата, допущенные при условии полного молчания, стайкой сели вокруг Людмилы Сергеевны и уставились на преступников: Лёшку и Валерия Белоуса. Алла постучала карандашом по столу.

— Объявляю совет отряда открытым. Кира Рожкова, доложи о хулиганстве во время твоего дежурства.

Кира, сразу вскочившая и открывшая было рот, вспыхнула:

— Вот ты всегда так, Алла! Разве я виновата, что они на моём дежурстве подрались? Они же могли и на твоём?..

— Говори по существу, — остановила её Алла.

— Так я и говорю... Я иду и иду себе, думаю, нет ли кого на пустыре — мальчишки всегда туда уходят, это прямо клуб ихний! — а там эти, Горбачёв и Белоус, дерутся, а остальные смотрят, кто кого побьёт... Не останавливают, а смотрят!.. Я сразу же, раз вижу такое безобразие, кричу им, чтобы они перестали, а они опять дерутся... И только когда я позвала Людмилу Сергеевну, они перестали. Я считаю, что это — безобразие и что виноват Белоус, потому что...

— Потом скажешь, что ты считаешь! Садись, — опять остановила её Алла. — Горбачёв и Белоус, выйдите к столу!

Валет поднялся и вразвалку подошёл. Лёшка замешкался, его подтолкнули в спину.

— Иди!

Он стал у другого края стола, напротив Белоуса, всем телом ощущая направленные на него взгляды. Алла холодно и строго оглядела его своими красивыми глазами с головы до ног и перевела взгляд на Валета.

— Может, тебе кресло подать? А то, я вижу, у тебя спина болит, ты стоять не можешь, — иронически сказала она избочившемуся Валету. Он выпрямился. — Кто начал драку?

— А чё, я, скажешь, да? Думаешь, если Кирка на меня капает, так и правда?

— Она не Кирка, а Кира! И не капает, а говорит! — оборвала его Алла.

— Нет, капает! Ничего не видела, а говорит... Я его трогал? Вот пускай ребята скажут... Он меня первый вдарил...

— За что?

— А я знаю, за чё?.. Я хотел себе спину почесать, а он вдарил... Ты его спроси, за чё он мне вдарил.

— Спрошу, а сейчас говори ты.

— А чё мне говорить? Если мне бьют, я буду стоять, да? Ну, я ему тоже дал разá...

— Значит, ты хотел только спину почесать?

— Ну да, только руку протянул...

— А он тебя уже и почесал! — деловито продолжил Тарас.

Слушатели зафыркали.

— Тихо! — застучала карандашом Алла. — Тарас, надо посерьёзнее...

— Так я ж серьёзно! Вот як у меня спина зачесется, ты меня, Алла, тоже стукнешь?

Валет усмехнулся.

— Рано смеёшься! — сурово сказал Тарас. — Ты правду говори.

— Да какую правду?

— Настоящую! — внушительно подтвердил Митя Ершов. — Кому ты врешь? Мы же знаем!

— Ну, — подхлестнула Алла, — замахивался на Горбачёва?

— Ну так чё? Я ж шутил! Уж и пошутить нельзя, да?

— Вон як от твоей шутки у него нос распух. Наче гуля, — так же серьёзно заметил Тарас.

— Всё ясно, по-моему? — вопросительно оглянулась Алла на членов совета. — Белоус, когда ты пришёл к нам, тебя кто-нибудь бил?

Белоус посмотрел на потолок и промолчал.

— Отвечай!

— Ну, нет.

— Без «ну», просто «нет»! С тобой кто-нибудь так, как ты сегодня, шутил?

— Нет.

— Зачем же ты это сделал? Молчишь? Хорошо, я скажу за тебя!.. Ты сделал это потому, что надеялся, что Горбачёв слабее тебя. Ты ведь трус и всегда нападаешь на тех, кто слабее... Ты сделал это потому, что надеялся на поддержку остальных, хотел спрятаться за чужую спину. Значит, ты дважды трус! — Алла повела взглядом, проверяя впечатление. — Ты сделал это потому, что надеялся позабавить товарищей... Они засмеялись. И пусть им будет стыдно! — строго вскинула Алла глаза на слушателей. — Ты всегда хочешь покрасоваться, позабавить. Тебе нравится быть шутком?.. Чего же ты добился? На минутку твоей выходке засмеялись, но все тебя осуждают. Разве так принимают нового товарища? Разве так мы приняли тебя? Мы над тобой «шютили»? — передразнила она. — А над тобой можно было больше смеяться, чем над Горбачёвым! Над тобой можно смеяться и сейчас. Почему ты кривляешься, всех задираешь? Почему ты говоришь «чё», «мине», «шютили»? Ты думаешь, что это красиво, а это просто неграмотно. И вообще, почему ты прикидываешься блатным? Какой ты блатной? Ты просто злой и глупый мальчишка!..

Лёшка с удовольствием слушал эту тираду — все забыли о нём и смотрели только на Валета. Но Алла повернулась к Лёшке.

— Ты тоже хорош, Горбачёв! Он ведь тебя не ударил первый? Зачем ты полез в драку? Ты думаешь, кулаки — самый лучший довод? Кулаками усерднее работают те, у кого мозги плохо работают!.. — Она опять приостановилась, чтобы слушатели оценили сказанное. — И неужели ты думаешь, Горбачёв, что дорогу в жизни прокладывают кулаками?.. Ты не знаешь наших правил, и на первый раз мы, может быть, простим — я ещё не знаю, — но мы предупреждаем: драчунам и хулиганам у нас не место!.. Если хочешь жить с нами, забудь про кулаки!

Раскрасневшаяся, довольная своей речью, Алла обвела взглядом собрание.

— Кто ещё хочет сказать?

— А что говорить? — произнёс Митя Ершов. — Всё ясно.

— Какие есть предложения?

— Дать им обоим наряды на картоплю, щоб прохололы, — сказал Тарас.

— Неправильно! — возразила Кира и стрельнула глазами в лёшкину сторону. — За что же Горбачёву наряд? Он же не знал, он же новенький! Во всём Валет... Белоус виноват, ему и дать наряд.

— Я предлагаю, — сказала Алла, — Горбачёву один, а Белоусу — два. И обоих предупредить. Возражений нет?

— Есть!

Все удивлённо оглянулись на Людмилу Сергеевну — предложение справедливое, что можно против него возразить?

— Очень хорошо, — сказала Людмила Сергеевна, — что вы все единодушно осуждаете проступок Белоуса и Горбачёва. И Алла, в общем, правильно говорила, хотя, мне кажется, говорила с излишней злостью. Когда человек злится, ему трудно быть справедливым. Но это другой разговор... А вот с наказанием я не согласна. Вы хотите наказывать их трудом. Неправильно! Вы растёте и учитесь, чтобы потом работать с другими и

для других. Если человеку поручают, доверяют какую-нибудь работу — это не наказание, не позор, а почёт и радость. Вы скажете, что чистить картошку — мало радости?..

— А что же! — сказал кто-то из сидящих у стены.

— Да, дело не очень приятное. Но когда вы помогаете на кухне, вы знаете, что делаете это для других, завтра другие сделают это для вас, а вы будете заняты более приятным делом... А что будет, если заставить человека работать больше, чем он должен? Он возненавидит работу. Он будет уклоняться от неё и вырастет паразитом общества. Нет, наказывать работой нельзя! Давайте поступим наоборот — накажем их тем, что лишим права работать...

— Ну да! — прозвучал негодующий голос. — Мы будем работать, а они — сложа ручки сидеть?..

— Да. И вы увидите, что это значительно хуже. Я предлагаю на три дня лишить обоих права работать.

— Так что же, голосовать? — растерянно спросила Алла.

— Да. И пусть все голосуют.

Проголосовали неохотно, но предлагала сама Людмила Сергеевна, и голосовать против было неудобно.

Выходя, Лёшка слышал, как Яша говорил Алле:

— Ты сегодня прямо как Цицерон!

— Куда Цицерону! Ей бы в Генеральную Ассамблею, на подмогу Вышинскому. Вот она бы там дрозда давала! — сказал Митя Ершов.

— А ну вас! — отмахивалась Алла и улыбалась: похвалы были ей приятны.

Это было непонятно и обидно: почему-то, когда с человеком, с ним, с Лёшкой, случилось несчастье, другие благодаря этому несчастью отличились и заслужили похвалу. Разве справедливо, когда одному делается хорошо оттого, что другому плохо?

— Кто она такая, эта Алла? — спросил Лёшка у Яши.

— Алла Жукова? Председатель совета. Она уже кончила седьмой и поступила в техникум. Очень умная девочка.

— Ну да, умная! Других ругать...

— А ты считаешь, неправильно? По-моему, правильно. Тебе ещё легко досталось, другим — ого, как попадает!..

Нет, Яша не понимал того, что чувствовал Лёшка, а объяснить Лёшка не умел. Он пошёл к Тарасу. Тот, словно сожалел о своей многоречивости на заседании совета, молчал упорнее обычного. Кира Рожкова, наверно, охотно поговорила бы с Лёшкой и, должно быть, согласилась бы с ним, но как раз её-то сочувствия он меньше всего искал и не обращал внимания на её попытки заговорить. Никто её не просил защищать его и оправдывать, а она выскочила со своим «я считаю»...

Лёшка думал, что наказание, предложенное Людмилой Сергеевной, вовсе не наказание, а пустяки. Старшие ребята ушли на подсобное хозяйство, остались только дежурные да галчата. Лёшку кольнула зависть — они пошли в поле, к Устину Захаровичу, где Лёшке было так хорошо, — но он утешил себя тем, что там жарко, от одного зноя устанешь, а ещё ведь и работать надо...

Анастасия Фёдоровна повела галчат на прогулку в городской сад. Лёшка по привычке собрался идти замыкающим, но Сима, у которой на руке была повязка дежурной, сказала, что это тоже работа, а он от работы освобождён и пойдёт она сама.

Рыжий Валет, ухмыляясь, слонялся по двору, делая вид, что лучше этого занятия ничего не может быть.

К вечеру вернулись ребята с «подсобки». Алла отрапортовала Людмиле Сергеевне, потом все с таким весёлым гамом разбежались чиститься,

умываться, так набросились на ужин, что все утешительные лёшкины размышления о жаре и усталости окончательно сникли. Вошедшего в столовую Белоуса встретили градом насмешек: не устал ли он? Не надо-рвался ли? Может, ему ещё хлеба принести? Или борща? А то он, бедный, похудел от переутомления! Прямо страх смотреть!..

Белоус посмеивался.

— А чё, мне ещё лучше! Лежи да загорай!..

Однако ему было не по себе. Лёшка ожидал, что и на него обрушится поток насмешливых замечаний, но его не трогали.

На следующий день, по совету Людмилы Сергеевны, решили убрать и вывезти мусор, оставшийся после ремонта. Таскать щепу, перемешанную с известью, цементом и глиной, было трудно. Все сразу же перепачкались, как штукатуры, но им было весело даже от этого, а Лёшкой овладела настоящая тоска. Даже галчата, гордясь своей работой и крича больше всех, тоже старательно сносили щепки, старую дранку, пока Людмила Сергеевна и Анастасия Фёдоровна не прогнали их и не заставили вымыться. Работали все, только Лёшка и Белоус ничего не делали.

Толстощёкий, голубоглазый Слава, устроившись на крылечке спальни, сооружал самосвал из спичечных коробок и катушек. Самосвал был почти готов, только колёса, привязанные нитками, не крутились, а кузов не поднимался. Слава пыхтел от усердия и умственных усилий, привязывал колёса то крепче, то слабее, но они всё-таки не хотели крутиться.

Лёшке нравился приветливый и добродушный мальчик, смотревший на всё такими ласковыми, любопытными глазами, словно всё вокруг для того и существовало, чтобы ему, Славе, было интересно и хорошо.

— Не получается? — спросил Лёшка, усаживаясь рядом.

— Ага. Не крутятся, — вздохнул Слава.

— А ну, давай вместе.

Слава с готовностью протянул своё сооружение. Лёшка продел через коробку кусочки проволоки и прикрепил к ним катушки — теперь катушки могли вращаться и стали, как настоящие колёса. Устроить поднимающийся кузов было труднее, Лёшка придумал целую систему крючков и рычажков. Однако Слава уже утратил интерес к игрушке: ему хотелось сделать её самому, а не получить готовую. Он посмотрел на самосвал, на Лёшку, увлечённого работой, понял это увлечение по-своему и сказал:

— Ты играй, а я пойду ёжика кормить. — Ежик, уж и черепаха были отданы на печение галчатам.

Слава убежал, Лёшка отставил сразу опротивевшую ему неуклюжую игрушку, вышел за ворота. Уходить из детдома без разрешения не полагалось, но Лёшка решил, что терять ему нечего. Он посидел на скамейке в скверике, посмотрел на воробьёв, дерущихся из-за хлебной корки. Воробьи разлетелись. Лёшка побрёл по улице, глаза по сторонам, и вдруг даже приостановился. Как же он мог забыть того занятого паренька с пухлыми губами и густыми чёрными бровями, который плавал в затопленном вонючем трюме, а потом стрелял в Луну! Витька? Да, Витька! Он, наверно, с тех пор ещё навывдумывал...

Лёшка обогнул сквер, детскую поликлинику, вышел на проспект, спустился до его половины и свернул направо: ему показалось, что это та улица, по которой он шёл ночью. Он прошёл её до конца, потом свернул в другую, третью. Витькиного дома не было. Лёшка силился вспомнить номер дома, как он выглядит, но вспомнил только, что дом стоит во дворе, а за ним небольшой сад. Лёшка заглядывал через заборы, тихонько стучал, чтобы взбудоражить собак, всматривался во всех маленьких девочек, играющих во дворах и на улице. Собаки с лаем бросались к заборам,

но это не были Гром и Ловкий, а девочки не были похожи на витькину сестрёнку. Он даже не мог никого спросить, потому что не знал витькиной фамилии. Натруженные пятки начали гореть, Лёшка устал и вернулся в детдом.

На другой день старшие воспитанники опять ушли на «подсобку». Лёшка слышал, как ребята, уходя, со смехом кричали Валету:

— Смотри, не переутомляйся! Береги здоровье!

Валерий Белоус никогда не отличался усердием. Если ему поручали какое-нибудь дело, он старался уклониться; если работали все, он всячески отлынивал и, как говорила Ефимовна, только дым мешком таскал. Но он привык быть в центре внимания. Его выдумкам и выходкам иногда смеялись, иногда нет, но он не ощущал отчуждённости, которая отделила теперь его от остальных. Валерия истомила эта отчуждённость. Он повертелся возле Тараса, который укладывал в телегу корзины для помидоров, потом взял вилы и начал подгрести сенную труху возле коношны. Тарас удивлённо взглянул на него, подошёл и отобрал вилы.

— Нельзя! — решительно сказал он и, как бы в раздумье, добавил:— А то, может, из тебя и правда паразит выйдет?..

Галчата, провожавшие каждый выезд Метеора, засмеялись. Валерий покраснел и ушёл на пустырь.

Людмила Сергеевна, все эти дни незаметно наблюдавшая за Лёшкой и Валерием, заколебалась. Белоусу наказание принесёт пользу, он всё-таки очень ленив, а для Горбачёва, очевидно, чрезмерно. Она подозвала Лёшку.

— Я ухажу в гороно. Проследи, пожалуйста, чтобы малыши зря в кабинет не бегали. А то начнут рыться в гербарии, разглядывать и переломают.

— Хорошо! — готовно и радостно закивал Лёшка.

Конечно, это нельзя было назвать настоящей работой, но Лёшка исполнял её так старательно, что не допускал галчат даже на пять шагов к двери, не только в самый кабинет.

Валерий подошёл было тоже, Лёшка заступил ему дорогу.

— Нельзя!

— Чего это нельзя? Я к директорше.

— Ушла. И велела никого не пускать.

— Да чё ты врешь? А то как...

Жанна издали увидела, что они застыли друг против друга в напряжённых позах, и крикнула:

— Валерий! Опять?

Белоус оглянулся и разжал кулаки.

Людмила Сергеевна вернулась часа через три с незнакомой высокой женщиной.

Взгляд и рукопожатие Елизаветы Ивановны были твёрдыми, как у мужчины. Людмила Сергеевна решила, что это свидетельствует о характере, по-мужски твёрдом и энергичном. В глубине души она считала, что без мужского влияния воспитывать детей нельзя — вырастут чувствительными слюнтяями. Воспитательницы были хороши, но, пожалуй, чересчур мягки, и появление воспитательницы с настоящим характером было очень кстати. Собственный характер Людмиле Сергеевне настоящим не казался.

Одета Елизавета Ивановна была просто и строго: белый воротничок, синее платье в белый горошек. Единственное, что не вязалось с обликом новой воспитательницы, — это её косы. Выцветшие, жидкие, они были за-

плетены по-девчоночьи, в две косицы, и связаны на затылке в смешной разъезжающийся узелок. Улыбалась она скупно, одними губами, вытянутое лицо оставалось неподвижным. Впрочем, Людмила Сергеевна и не была уверена, что это улыбка, так мимолётно и неуловимо было движение губ.

Они обошли все помещения. Елизавета Ивановна изредка задавала вопросы, и по этим вопросам было заметно, что порядки в доме ей не нравятся. Она удивилась тому, что спальни мальчиков и девочек расположены в одном здании, а в ответ на недоуменное замечание Людмилы Сергеевны повела бровью:

— Ну, знаете... — и значительно умолкла.

Потом, вернувшись в канцелярию, она взяла список воспитанников и попросила рассказать, кто и какие проступки или преступления совершил до поступления в детдом.

— Какие преступления? — удивилась Людмила Сергеевна. — Это же дети!

— Да, конечно. Но до поступления в детский дом они какое-то время были без надзора и могли приобрести преступные привычки. Чтобы с ними бороться, нужно их знать. — Говорила она немного в нос и так отчётливо и правильно, что знаки препинания в её речи ощущались, как каменные столбы в деревянном заборе.

Людмила Сергеевна подумала, какие преступные привычки приобрели Люся или Слава, и возмутилась. Ещё у старших могли быть в прошлом какие-то нехорошие поступки, но она ни о чём не допытывалась, считая, что чем меньше человеку напоминать прошлое, тем скорее оно угаснет для него самого.

— Пойдёмте, я вас познакомлю с ребятами, а какие они, узнаете сами. И прошу вас поменьше их расспрашивать. Дети не любят, да и не к чему.

Группа старших уже вернулась с подсобного участка и успела пообедать, но в спальнях, кроме галчат, никого не оказалось.

— Ну, конечно, забрались в «клуб», — сказала Людмила Сергеевна. — Пойдёмте за сарай.

— За сарай? — удивлённо подняла брови Елизавета Ивановна.

— Ну да, они пустырь своим клубом называют. Что поделаешь, лучшим пока не обзавелись.

— И вы с этим миритесь?

Людмила Сергеевна искоса взглянула на неё и, помолчав, ответила:

— Нет. Да ведь это ничего не меняет.

Возле конюшни Тарас, сидя на деревянном обручке, сшивал узеньким ремешком шлею.

— Вот один из группы, Тарас Горовец, — сказала Людмила Сергеевна. — Ты почему работаешь, а не отдыхаешь? — спросила она у Тараса. Тот удивлённо поднял голову.

— Так я ж отдыхаю! Разве это работа? — показал он на шлею.

— С тобой сговоришься! — улыбнулась Людмила Сергеевна, и они пошли за сарай.

У дальнего угла сарая, где особенно густо разросся бурьян, Яша Брук и Митя Ершов, лёжа на животах, уткнулись в книги. Неподальку от них лежал Лёшка. Книги у него не было, лежал просто так — смотрел в небо и следил за неторопливыми редкими облаками. Остальные ребята, кто сидя, кто лёжа, расположились группой в узкой полоске тени, отброшенной полуразрушенной стеной сарая, и лениво перебрасывались отрывочными фразами. Заметив Людмилу Сергеевну и незнакомую худую женщину, они замолчали.

— Ребята, — сказала Людмила Сергеевна, — вот ваша новая воспитательница. Она будет заменять пока Ксению Петровну.

— Здравствуйте, дети. Надеюсь, мы подружимся, — сказала новая воспитательница.

Ей нестройно ответили.

— Меня зовут Елизавета Ивановна. А как вас зовут, я скоро узнаю.

— Я оставлю вас, — сказала Людмила Сергеевна. — Вам ведь не впервой.

— Да, конечно, — кивнула Елизавета Ивановна.

Людмила Сергеевна ушла. Елизавета Ивановна оглянулась, ища, на чём присесть, но сесть можно было только на землю, и она осталась стоять на солнцепёке.

— Садитесь вот сюда, в холодок, — сказал Толя Савченко и подвинулся вдоль стены.

— Я никогда не сажусь на землю. Надеюсь и вас отучить от этого.

Ребята удивлённо переглянулись. Ксения Петровна сколько раз сидела здесь с ними, у сарая, и ничего плохого в этом не видела.

— Объясните мне, пожалуйста, почему вы забрались на эту свалку?— Она посмотрела на кучу битого кирпича.

— А что? Тут чисто, — сказал Толя и, как бы ещё раз проверяя, оглянулся.

— Допустим, — саркастически сказала Елизавета Ивановна. — Но зачем за сараем, на битых кирпичах?

— А чем плохо? Холодок. Не в спальнях же сидеть! — сказал Валерий Белоус.

— Сейчас, если не ошибаюсь, тихий час, и вы должны быть в спальнях?

— Там душно, — поднял голову Митя Ершов.

— И у нас соревнование... Ноги нужно мыть... — пояснил Толя.

— Ноги? Соревнование? — подняла брови Елизавета Ивановна. — Вы соревнуетесь в мытье ног?

— Да нет! У нас с девочками соревнование — у кого в спальнях чище. Ну, так, чтобы было чисто, мы, как идём, ноги моем... Что ж их без конца мыть?

— Значит, для того, чтобы не мыть ноги, вы и в спальню не ходите? Кто это придумал, ваши воспитатели?

— Мы сами.

— Неужели вам никто не объяснил, что такое соревнование? То, что вы придумали, — не соревнование, а извращение его. Смысл соревнования за чистоту спален в том, чтобы держать их в чистоте, пользуясь ими, а не в том, чтобы держать их под замком.

Елизавета Ивановна долго и обстоятельно объясняла, что такое настоящее соревнование, как в нём можно и нужно добиваться успеха и как неправильно то, что они придумали. Ребята молча слушали. Яша Брук, оторвавшийся было от книги, снова опустил голову.

— Как твоя фамилия, мальчик? — повернулась к нему Елизавета Ивановна.

— Моя? Брук.

— Запомни, Брук: когда говорят старшие, их надо слушать.

— Я слушаю.

— Я этого не вижу.

— Я просто опустил голову, но я же слушаю не глазами.

Белоус фыркнул. Елизавета Ивановна оглянулась, но Валерий сидел с каменным лицом и ел глазами новую воспитательницу.

— Не пытайся остричь, Брук. Я отлично вижу, кто меня слушает, а кто — нет. И вот что, дети: на этой свалке, которую вы называете своим



«клубом», больше вы собираться не будете! Делать вам здесь нечего, и я этого не допущу. Пойдёмте отсюда!

Елизавета Ивановна повернулась и направилась во двор. Ребята нехотя поднялись, пошли следом.

— Ну, что скажешь, академик? — тихонько спросил Митя и показал глазами на прямую спину воспитательницы.

Яша вытянул губы и прищурился.

— О соревновании правильно, конечно... Только нудная она очень.

— Да-а, — вздохнул Митя.

На выжженном солнцем дворе сесть было тоже негде, все столпились возле столовой.

— Ну, а тут что делать? — уныло спросил Толя. — Уж там, по-моему, лучше.

— Прежде всего отучись говорить «ну»! — ответила Елизавета Ивановна. — Что это за понукание? Это невежливо и невоспитанно. На будущее время я договорюсь с директором о том, чтобы выделили комнату для массовой работы. Тогда вы не будете слоняться по двору. А сейчас...

— Скупнуться бы! — сказал Валерий.

— Так нельзя говорить! Надо говорить «искупаться». Время отдыха истекло, и, если директор позволит, мы ходим. Подождите меня.

Елизавета Ивановна направилась в кабинет Людмилы Сергеевны. Все проводили её взглядами, потом посмотрели друг на друга.

— Ну-ну! — сказал Яша и покрутил головой.

Валерий Белоус вытянулся, опустил руки вдоль туловища, как плети, и зашагал, негнувшийся, одеревенелый. Все засмеялись — походка была точь-в-точь, как у Елизаветы Ивановны.

— Брось, Валет, — сказал Митя, — ещё увидит.

— Ребята, вы чего собрались? — подбежала Кира.

— Может, купаться пойдём.

— А мы? И мы тоже! Девочки-и! — закричала она, убегая в спальню. Через минуту оттуда выбежали девочки, на ходу поправляя волосы, одёргивая блузки.

— А нам почему нельзя? Мы тоже хотим. Пойдёмте к Людмиле Сергеевне!

Они подбежали к кабинету, когда из него выходили директор и новая воспитательница.

— Людмила Сергеевна! Почему без нас? Мы тоже хотим.

— Идите, идите! — засмеялась Людмила Сергеевна и подняла руки, защищаясь от шума. — Елизавета Ивановна возьмёт и вас. Елизавета Ивановна Дроздук — ваша новая воспитательница.

Девочки притихли. Елизавета Ивановна взглянула на них и повернулась к Людмиле Сергеевне.

— А купальные костюмы у них есть?

— Трусы да майки. Какие же им ещё костюмы?

— Становитесь парами! — сказала Елизавета Ивановна. — Девочки впереди, мальчишки позади.

Пары выстроились.

— Возьмитесь за руки!

— Ну вот ещё! Зачем это за руки? Что мы, маленькие?

— Не спорьте! — жёстко оборвала шум Елизавета Ивановна. — Кто не хочет — выйдите из строя. Тот купаться не пойдёт.

Ребята продолжали стоять, однако и за руки не брались. Елизавета Ивановна обвела взглядом строй, и ноздри её раздулись.

— Если сейчас же вы не возьмётесь за руки, — ещё более жёстко сказала она, — вы никуда не пойдёте и купаться не будете ни сегодня, ни завтра!

Не глядя друг на друга, ребята неловко взяли за руки.

— Это ещё что? — Елизавета Ивановна подошла к девочкам и брезгливо посмотрела на Симу и Жанну. — Я сказала за руки, а не под руки! Рано приучаетесь!

Сима покраснела и выдернула свою руку из-под руки Жанны.

К морю шли в угрюмом молчании. Даже Валерий Белоус не дурачил и не пробовал смешить. Но маленькие прозрачные волны так ласково плескались на гладком, будто отутюженном песке, солнце так весело дрожало и сверкало в мелкой ряби, что хмурое настроение сразу улетило. Строй распался, ребята, на ходу стаскивая рубашки, побежали к воде.

— Подождите, дети! — остановила их Елизавета Ивановна. — Сначала я выберу место.

Увязая в раскалённом песке, они долго брели по берегу, отыскивая свободное место. Его не было.

Укрыв головы под зонтами, широкополыми соломенными «брылями», бедуинскими тюрбанами из полотенец или даже вовсе ничем их не прикрывая, на песке распласталось коричневое племя купальщиков. В сущности, они приходили сюда не купаться. В воде барахтались только ребяташки. Взрослые предавались самосожжению. Они забирались на пляж в свободные дни с самого утра, вооружённые кошелками, авоськами, и сидели почти до захода. Здесь они читали, спали, вышивали, играли в карты, пили отдающий парным венником чай из термосов и ели. Ели с измятых, замасленных бумажек раздавленные, вываленные в песке помидоры, зарезинившиеся котлеты с налипшими газетными строчками, хлеб, высушенный яростным солнцем и осыпанный тончайшим илистым песком. Всё это было неважно — они загорали.

И сейчас, хотя уже давно перевалило за полдень, пляж был заполнен загорающими. Елизавета Ивановна тщетно искала свободное место — чем дальше они шли к санаториям, тем больше оказывалось на берегу народу.

— Так мы скоро в Бердянск придём, — меланхолично заметил Яша.

Елизавета Ивановна оглянулась, но не угадала, кто это сказал. Через несколько шагов она повернула обратно и, выбрав относительно свободное место, сказала:

— Здесь купаются мальчики. Далеко не заплывайте! А вы, девочки, идите за мной.

— Чего это она выдумала? — тихонько спросил Митя.

— А ну её! — сказал Валерий и ринулся в воду. Следом за ним бросились остальные.

Отведя девочек шагов на тридцать, Елизавета Ивановна остановилась и предложила им раздеваться. Озадаченные нововведением — прежде все купались вместе, — девочки тихонько разделись и пошли в воду.

— А вы, Елизавета Ивановна? — крикнула Кира.

— Я никогда не купаюсь на открытом пляже. — Воспитательница сказала это так, словно купание на открытом пляже было занятием очень стыдным.

— Просто, наверно, она костлявая, как баба-яга, — шепнула Сима девочкам.

Они обрадованно захохотали. Обращение с ними новой воспитательницы обижало, сердило их, и они были рады если не отомстить, то хотя бы посмеяться над ней.

Елизавета Ивановна отошла на половину расстояния между девочками и мальчиками и остановилась на кромке влажного песка, стараясь держать в поле зрения тех и других.

Лёшка немного поплавал, вышел на берег и лёг. Ребята боролись, ныряли друг под друга, взбирались один другому на плечи и, душераздирающе крича, плюхались в воду. Девочки, бурвая ногами воду, плавали «по-собачьи», брызгались, взвизгивали и поглядывали в сторону мальчиков. Им было скучно. Прежде все купались вместе, девочки тоже участвовали в весёлой толчее, а теперь от шумного веселья их отделяла застывшая, как монумент, фигура Елизаветы Ивановны и широкая полоса воды. И мало-помалу полоса начала сужаться. Никто не придвигался, не сокращал её сознательно, и всё-таки она сама по себе становилась всё меньше и меньше.

Елизавета Ивановна подняла руку и что-то крикнула. Её не услышали. Она заметалась по берегу, что-то громко и сердито говоря, но расслышать слов никто не мог, да и не пытался. Все видели, что она то и дело пятится, оберегая туфли от набегающих волн, а ребята были в воде, и, пока они были там, она ничего не могла сделать. Лёшка увидел, как мелькнули, погружаясь в воду, рыжие волосы Валета, его синие трусы, и вслед за тем девочки с визгом и смехом бросились врассыпную — Валет вынырнул среди них.

— Мальчик, мальчик! — закричала Елизавета Ивановна. — Уйди оттуда!

Валет делал вид, что не слышит, и лицом к берегу не оборачивался. Девочки окружили его, начали заплёскивать водой, он опять нырнул, и они снова с визгом и хохотом разбежались. Кира хохотала громче всех, то и дело поглядывая на Лёшку. Лёшка отвернулся.

Он уже не раз замечал, что Кира всё время вертится у него перед глазами, увидев его, начинает разговаривать с подругами и хохотать так, будто они глухие, словом, всячески старается привлечь его внимание. Лёшка делал вид, что ничего не слышит и не замечает. Очень ему это нужно!.. Он жалел только об одном: если бы на месте Кирки была Алла! Он уже много раз на все лады представлял себе, как Алла, красивая и гордая Алла, вроде Кирки подлаживается к нему, заговаривает и всячески старается заглядить свою прокурорскую речь, а он, Лёшка, презрительно взглянув на неё, отворачивается, всем своим видом показывая полное к ней пренебрежение. Алла краснеет, а потом горько плачет от обиды...

Всё это происходило только в лёшкином воображении. Алла вовсе и не думала к нему подлаживаться, а тем более краснеть и горько плакать. Она просто не замечала Лёшку, и он совершенно напрасно следил за ней издали, надеясь уловить хотя бы признак внимания и интереса к нему. Получалось даже наоборот. Когда взгляд Аллы, спокойный и безразличный, случайно встречался с лёшкиным, краснела не она, а почему-то сам Лёшка, и он поспешно — совсем не гордо и не презрительно — отворачивался.

Лёшка не один раз давал себе слово даже не смотреть в её сторону, не замечать Аллу так же, как она не замечает его, но ему так хотелось восторжествовать над нею и выказать всё своё к ней пренебрежение, что ни одно «слово» так и не было выполнено.

Неподалёку маленькие девочки играли в камешки, таинственно шептались, потом сгребли верхний, сухой слой песка и, добравшись до влажного, принялись строить целый город — с улицами, домами, даже рекой, для которой в мокром песке был прорыт узкий желобок. Правда, дома были похожи на пирожки, но, когда возле них понатыкали травинки и веточки, они сразу стали похожи на дома, окружённые деревьями, а вовсе не на пирожки. Во всяком случае в этом был уверен двухлетний мальчик, наблюдавший за строительством. Он был толстый, шоколадный от загара и совершенно голый. Ему нестерпимо хотелось участвовать в постройке

необыкновенного города, но он только сопел и топтался за спинами девочек. Каждый раз, когда он пробовал подобраться поближе, девочки сердито замахивались на него и кричали:

— Уходи! Не лезь, поломаешь!

Шоколадный мальчик пятился, обиженно растягивал губы, готовясь зареветь, но не ревел и только оглядывался на мать, лежащую в стороне под пёстрым зонтиком.

Девочки закончили постройку, полюбовались ею, отогнали подальше шоколадного мальчика и, пригрозив ему, убежали купаться. Выпятив живот и насупившись, он проводил их взглядом, потом покосился на песочный город. К нему влекло неудержимо. Он сделал шаг и сейчас же попятился. Возле города никого не было, можно было беспрепятственно подойти к нему и всласть поиграть, но страх держал его на месте. Мальчик оглянулся на мать. Она повернулась на живот, обратив к сыну и солнцу широкую спину. Девочки плескались в море, забыв о своём городе и шоколадном мальчике.

Раздираемый желанием и страхом, он переступал с ноги на ногу. Потом, глядя в сторону, шагнул к песочному городку. Ничего не случилось. Он шагнул ещё и ещё. Девочки смеялись и брызгали друг на друга. Шоколадный мальчик подбежал к желанному городу и с разбега ступил ногой прямо в его середину. Половина улицы дрогнула и рассыпалась. Мальчик с ужасом смотрел на катастрофу. И вдруг засопел и принялся злорадно топтать желанную и запретную игрушку. Города не стало. И вместе с ним исчезло мужество. Возмездие было неизбежно. Оно надвигалось стремительно и неотвратимо. Предчувствуя его, шоколадный мальчик заорал изо всех сил и бросился к матери.

— Кто? Кто тебя? — испуганно вскочила она.

Вместо ответа мальчик заорал ещё громче. Ему было жалко себя и разрушенного им прекрасного города, ему было страшно и стыдно. Мать, не увидев поблизости обидчиков, шлёпнула сына и посадила под зонтик. Уткнувшись лицом в кошелёк с продуктами, он заплакал тише, но ещё горше — теперь уже оттого, что никто не понимал, что он чувствовал и почему плакал.

Лёшка, улыбаясь, наблюдал за мальчиком, и вдруг улыбка исчезла сама собой. Мимо, едва не задев его, прошли тонкие загорелые ноги. Лёшка поднял голову и сразу узнал Аллу, хотя она шла спиной к нему. Валет уже был изгнан, Елизавета Ивановна снова неподвижно стояла у кромки прибоя. Алла подошла к ней, что-то сказала, получив в ответ кивок, отошла к девочкам и разделась.

Лёшка ммуро наблюдал за ней и сердито спрашивал себя, почему это все плохие, неприятные люди обязательно красивее других. Он вовсе не знал, не встречал таких, но ему казалось, что он встречал, знает множество таких людей. Из них самой неприятной и самой красивой была Алла. В ней было всё красиво — и тоненькая, гибкая фигура, и строгое, правильное лицо, и пышные белокурые волосы. Даже ленточка, красная ленточка, перехватывающая волосы, совершенно такая же, как у Киры, казалась у Аллы огоньком, горящим в волосах, а у Киры была похожа на верёвочку. И она была смелая: не взвизгивала, входя в воду, а сразу побежала по мелководью, чтобы скорее добраться до глубокого места и плыть.

Лёшка рассердился на себя за то, что всё время думает о ней, вскочил и бросился в воду. Поднявшийся после полудня лёгкий ветерок усилился и развёл волну. Стоявшие на якорях вдалеке от берега лодки размахивали голыми мачтами и кланялись волнам. Отойдя от берега, пока вода не поднялась до горла, Лёшка поплыл. Шум на берегу постепенно затих, остались позади кланяющиеся лодки, а Лёшка всё плыл и плыл. Припод-

няв голову, чтобы вдохнуть воздух, он из-под руки увидел сзади чью-то голову и на ней горящую, как огонёк, красную ленточку. Лёшка поплыл ещё энергичнее и больше не оглядывался. Пусть попробует догнать, это ей не на собраниях выступать!

Устав, он оглянулся, никого не увидел за собой и лёг на воду отдохнуть. Волны мягко поднимали и опускали свободно лежащее тело, сквозь опущенные веки солнце било в глаза розовым светом. Лёшка устроился ещё удобнее — заложил руки под голову и скрестил вытянутые ноги. Потом он услышал шум и перевернулся на живот. Задышающаяся от усталости и торжествующая, к нему подплывала Кира.

— Ой, а я так испугалась — нет тебя и нет! Тебя за волной совсем не видно, когда лежишь... Ты меня научишь так лежать? — кричала она ещё издали.

Разочарование Лёшки сменилось раздражением. Ничего не ответив, он снова лёг на спину и закрыл глаза. Он думал утереть нос той задавке, а это, оказывается, опять Смола...

Кира плавала около него и, отфыркиваясь от заплёскивающих волн, тараторила:

— Ох, и далеко же мы с тобой заплыли! Правда? Это трудно — так лежать? А, Горбачёв? Ты меня научишь? Я сама сколько ни пробовала, никак не получается — ноги тонут, и всё... Ну, хватит уже лежать, поплывём обратно, а?

Лёшка перевернулся на живот.

— Ну и плыви. Я тебя звал сюда?

Кира оглянулась на берег, в глазах у неё мелькнул испуг.

— Я боюсь одна, — тихонько сказала она.

— А зачем лезла? — ещё раздражённое сказал Лёшка. — Чемпион! Заплыла, а потом — «боюсь»...

Он тоже посмотрел на берег, и сердце у него сжалось. Берег был далеко, значительно дальше, чем он думал. Человеческие фигуры на нём были совсем маленькими, и даже лодки, стоявшие вдали от берега, выглядели игрушечными детскими корабликами. Заплывать на такое расстояние ему ещё не случалось. Из молодчества перед Аллой он забыл о расстоянии, о запрете Елизаветы Ивановны. Лёшка подумал, что опять его потащат на совет отряда, снова Алла будет хлестать его злыми, колючими словами.

— Ну, плыви, чего ты бултыхаешься? — сердито сказал он и повернул к берегу.

Кира торопливо зашлёпала руками по воде. Она уже не тараторила, не смеялась и только старалась не отстать от Лёшки. Они плыли, плыли, а берег оставался таким же далёким, всё такими же маленькими были на нём человеческие фигурки. Ветер, на который Лёшка прежде не обращал внимания, дул сильнее, порывистее, волны стали выше и круче, плыть было всё труднее.

Не увязись за ним Кира, он бы не заплыл так далеко, а теперь вот попробуй добраться... Он начинал уставать, а берег не приближался.

— Лёша! — крикнула вдруг Кира. — Ой, Лёша, я, кажется, больше не могу... У меня руки не слушаются...

Лёшка увидел её бледное лицо, посиневшие губы и расширенные страхом глаза. И в ту же секунду страх охватил самого Лёшку. Всем телом он вдруг почувствовал под собой мутно-зеленоватую глубину, о которой прежде никогда не думал, мгновенно представил себе, как тонущая Кира будет хвататься за него, он должен её спасать, а он никогда не спасал и спасать не умеет, и как они погружаются в эту зеленоватую глубину, она засасывает их, и, скорченные, как утопленник, которого он видел в Ростове, они идут ко дну... Он бросился в сторону.

— Лёша! — отчаянно крикнула Кира.

Лёшка оглянулся. Лицо Киры искажилось таким отчаянием, что он повернул обратно.

— Ну, чего ты? Я буёк высматривал... — буркнул Лёшка и почувствовал, как, несмотря на испуг и усталость, лицу его стало жарко.

— Я подумала... Ой, я не могу больше... Я боюсь, Лёша.— Голос Киры прерывался от слёз и усталости. Она еле двигала руками и не сводила с Лёшки круглых от страха глаз.

— Берись за плечо, — скомандовал Лёшка. — Только за руки не хватайся, а то как дам! — нарочито грубо сказал он.

— Я не буду... Я не буду за руки, — повторяла Кира, хватаясь за его плечо. — Я ногами могу, только руки занемели...

— Молчи! — прикрикнул Лёшка. — Отдыхай. Вот погоди, Елизавета Ивановна тебе покажет!.. Да ещё Людмила Сергеевна узнает... Будешь в другой раз увязываться!..

Ему было легче, когда он ругал Киру, и он нарочно распаллял себя, чтобы озлиться ещё больше: злость заглушала страх. Кира покорно молчала. Скоро замолчал и Лёшка — он устал сам, и ругаться вслух было трудно. Кирина рука внезапно исчезла с плеча.

— Ты что? — оглянулся Лёшка.

— Я немножко сама... Тебе же трудно...

Лёшка поплыл рядом. Он двигался неторопливо, размеренно, экономя силы. Их оставалось всё меньше, а берег был всё ещё далеко, набегающие волны то и дело скрывали его. Кира опять ухватилась за его плечо, и они снова начали передвигаться очень медленно.

— Я лягу отдохну, а ты держись за меня, — сказал Лёшка, выбившись из сил.

Он не пролежал и минуты. Волновая толчея мотала из стороны в сторону, Кира тянула вниз, а ветер, срывая гребешки волн, заплёскивал лицо водой. Небо было пустое, оловянное от зноя и почему-то жуткое. Лёшка несколько раз глотнул воды и запыхался ещё больше.

— Поплыли, — бодрясь, сказал он.

Но бодрости уже не осталось. Он механически двигал руками и ногами, не чувствуя поступательного движения. Вот так будут они толочься на одном месте, пока совсем не обессилеют и волна не накроет их. Теперь он уже не испугался этой мысли: усталость перешла границу выносливости и погасила даже страх. Но он продолжал плыть. Держась за него, хрипло, со свистом дыша, барахталась сзади Кира.

Берег был ближе, чем казалось. А лодки ещё ближе, но Лёшка вяло подумал, что сейчас ему не перевернуться через борт и не втащить Киру.

Ребята толпились вокруг Елизаветы Ивановны, беспокойно метались по берегу, показывали руками то на плывущих, то куда-то в сторону. Лёшка оглянулся и увидел, что к ним идёт шлюпка; два гребца, заваливаясь, изо всех сил налегают на вёсла. Навстречу Лёшке и Кире бежали по мелководью Толя и Митя.

Ни они, ни шлюпка уже не могли успеть. Лёшка почувствовал, что вот сейчас, сию минуту, они утонут. Он уже не мог держаться горизонтально, ноги неудержимо опускались вниз, он перестал ими двигать и... задел ногой дно. Он опустил ноги и стал на грунт. Сердце стучало всюду: в ушах, висках, даже в глазницах. Ноги сделались ватными, не могли сделать ни шагу, и он стоял, дыша широко открытым ртом, а сзади, всё ещё держа руку на его плече, стояла Кира. Ребята на берегу кричали, размахивали руками. Митя и Толя, буравя ногами воду, подбегали к ним. Лёшка резко двинул плечом, Кира сняла руку, и они пошли к берегу.

Лицо Елизаветы Ивановны было бледное, в красных пятнах. Ребята кричали Лёшке чуть не в самое ухо, но он ничего не слышал и, выйдя на берег, лёг на песок.

Девочки окружили Киру, все разом пытались её целовать и растирать полотенцами. Кира, бледная, растерянно и жалко улыбающаяся, искала глазами Лёшку. Лёшка сердито отвернулся. Губы Киры дрогнули, она села на песок и, закрывшись руками, горько заплакала.

Лёшка подумал, что плачет она точно так, как плакал шоколадный мальчик, но сейчас же подумал о другом: что теперь будет, что скажет Людмила Сергеевна и как будет ораторствовать на совете отряда Алла. Он оглянулся и встретился с ней взглядом. В глазах Аллы не было высокомерного, презрительного осуждения. Она смотрела на него внимательно и с некоторым удивлением, словно увидела впервые. Лёшка покраснел, опустил глаза и стал надевать рубашку.

Обратно шли молча. Елизавета Ивановна не требовала, чтобы они брались за руки и ничего не сказала ни Лёшке, ни Кире. Красные пятна попрежнему горели на её щеках.

Как и ожидал Лёшка, Елизавета Ивановна сразу же пошла к Людмиле Сергеевне.

— Дадут вам чёсу! — злорадно сказал Валет и захохотал.

Его никто не поддержал. Все, в том числе и Лёшка, были убеждены, что «чёсу» дадут.

Разговор был долгий, потом Елизавета Ивановна ушла домой, в кабинет позвали Киру. Алла пошла с ней. Лёшка томился, ожидая своей очереди и гадая, что с ним сделают. Наконец появились Кира и Алла. Обе улыбались, только глаза у Киры были мокрые от слёз.

— Горбачёв! — окликнула Алла. — Иди к Людмиле Сергеевне.

Лёшка вошёл, потупившись, и сел на тот самый стул, на котором сидел, впервые попав в детский дом. Не поднимая глаз, он знал, что Людмила Сергеевна смотрит на него. Он поискал отклеившуюся пластинку фанеровки, которую тогда дёргал, но нашёл только плешинку обнажившегося простого дерева и вспомнил, что пластинку обломал он сам.

Людмила Сергеевна поднялась и, подойдя, положила руку ему на плечо.

— Ну, Алёша, не ожидала... не думала я, что ты такой молодец.

Лёшка недоверчиво посмотрел на неё.

— Да, молодец! — повторила Людмила Сергеевна и села на стул, стоящий напротив. — Как человек помогает попавшему в беду — это самая лучшая и верная проба для человека. Ты испытание хорошо выдержал...

Лёшка вспомнил, как он, струсив, метнулся в сторону от Киры, и покраснел.

— И всё-таки тебя следует наказать. Ты нарушил строжайший наш закон, запрещение, в котором нет исключений, — не заплывать дальше, чем разрешено.

Лёшка опустил голову.

— Всё закончилось благополучно, но ведь могло закончиться иначе. Могла утонуть Кира, могли вы оба утонуть...

Лёшка, не поднимая головы, кивнул.

— Но я не хочу тебя наказывать. На твоё слово можно положиться. Правда? Ты хорошо плаваешь, но ещё не знаешь своих сил, а их может не хватить. И, кроме того, твой пример может соблазнить других, как соблазнил сегодня Киру, а кончится это несчастьем. Обещай мне никогда не заплывать далеко и не допускать, чтобы другие делали это. Обещаешь?

— Обещаю! — хриплым, сдавленным голосом сказал Лёшка.

— Вот и хорошо! А теперь иди ужинать, уже звонят.

Ребята всё узнали от Киры, ни о чём Лёшку не расспрашивали и держались так, словно ничего не случилось, только галчата перешёптывались и смотрели на него круглыми от восхищения глазами.

После ужина ребята собрались у турника, подтягивались, пробовали «крутить солнце». Валерий, когда турник освободился, взобрался на него, зацепился ногами за перекладину, начал раскачиваться головой вниз и дурашливо закричал:

— Падаю! Спасайте! Горбачёв! Где Горбачёв? Спасай!..

Никто не засмеялся, а Митя Ершов подошёл и ребром ладони слегка ударил его под колени. Валет выпустил перекладину и упал на четвереньки в пыль.

— Ты чё? — закричал он.

— Ничё, — в тон ему ответил Митя. — Не дури.

Смеяться над Лёшкой не хотели: его признали своим и настоящим.

*(Продолжение следует)*





---

---

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

БЕСПОКОЙНАЯ ЮНОСТЬ

*Повесть\**

Две тысячи томов

**В** Тересполе я отыскал Романина в доме сельского ксендза. Деревянный и тёмный костельный дом стоял в саду, в гуще чистотела и крапивы. Кое-где сквозь бурьян выглядывали пунцовые мальвы.

Ксёндз не ушёл из Тересполя с беженцами. Он вместе с Романиным встретил меня на крыльце.

Это был высокий худой человек с живыми глазами. Из-под потёртой сутаны виднелись порыжелые сапоги.

Ксёндз, по тогдашнему обыкновению, благословил меня и сказал по-русски:

— Мой дом открыт для всех. Как дом божий. Входите, сын мой. Устраивайтесь, как вам будет удобно.

Голос у ксендза был высокий, как у мальчика.

Мы вошли в дом. От наших шагов звякали стёкла. Ксёндз распахнул дверь в низкую сумрачную комнату. Вдоль её стен стояли на деревянных полках сотни книг.

— Я не хочу видеть немцев! — неожиданно сказал ксёндз, остановившись на пороге. Он поднял над головой большие ладони, как бы отгоняя привидение. — Да избавит меня от них дева Мария! Я не хочу видеть ни одного пруссака. Пусть будет проклята та мерзкая ночь, когда он был зачат на грязном ложе под портретом канцлера Бисмарка.

Романин толкнул меня, но я не понял, о чём он хотел меня предупредить.

— Канцлер смотрел своими выпученными глазами на каждое зачатие, — говорил с отвращением ксёндз, — и думал: «Ах, майн готт! Ещё один бравый солдатик для фатерланда. Ах, майн готт, как хорошо, что ты посылаешь Германии так много этих рыжих парней».

Ксёндз медленно пошёл вдоль полок, проводя рукой по переплётам книг. Он как будто пересчитывал их. Потом быстро обернулся.

— Весь свой век, — сказал он по-польски, — я собирал эти книги. Две тысячи томов по истории. Я хотел их спасти, но где взять столько фурманок! И вот, видите, я с ними остался. Можете брать каждую книгу и смотреть её. Но я вижу — вы очень устали. Отдыхайте.

Ксёндз потрепал меня по плечу сухощавой рукой и вышел, шурша сутаной.

— Хорош? — спросил Романин. — Мы с ним сдружились. Тут у него чего только нет! Вот эта полка — сплошь о Суворове. А эта — о Наполеоне. А сверху — средние века и творения отцов церкви.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 3, 4 с. г.

Я взял наугад толстую книгу в потрескавшемся чёрном переплёте. Это была «История Французской революции» Карлейля.

— Завтра на рассвете двинем на Брест, — сказал Романин. — Всё пойдёт к чёртовой матери! Все эти книги вместе с их чудаковатым хозяином. Идите умойтесь, вы, негр Бамбула! В саду есть маленькая баня. Её недавно протопили.

Я пошёл в баню. Её покосившийся сруб зарос крапивой по самую крышу.

Котёл был полон тёплой мутноватой воды. Я подкинул под него куски трухлявых досок от забора и разжёл их. В разбитое окно тянуло сыростью — приближался вечер.

Я разделся и удивился тяжести своей пропылённой одежды и сапог. Потом я долго сидел на скамье, ждал, пока согреется вода, курил и ни о чём не думал. Мне просто было хорошо в этом коротком одиночестве, хорошо от свежего воздуха, лившегося из сада.

В бледных лучах солнца толклась мошкара. За окнами выше подоконника стояли белые зонтичные цветы.

Было так тихо, что я слышал, как фыркают наши лошади, привязанные к деревьям в саду. Потом издали дошёл, прокатился над банькой и затих где-то на западе медленный гул.

Серый кот вскочил на подоконник, взглянул на меня и удивлённо мяукнул. После этого он обошёл вдоль стен всю баньку и заглянул в мои сапоги. Там было пусто и темно. Кот снова мяукнул, но теперь уже вопросительно, и начал тереться о мои ноги. Пушистая его шкурка чуть слышно потрескивала.

Я погладил его. Кот заурчал от наслаждения.

— Ты, окопавшийся в тылу! — сказал я коту. — Тебя никто не тронет. За тобой не будут охотиться люди в стальных касках, чтобы неизвестно зачем непременно убить. Давай поменяемся...

Кот сделал вид, что не слышит моих слов. Он неторопливо вышел из баньки и даже не оглянулся.

— Свинья! — сказал я ему вслед. — Свинья и эгоист!

Мне очень хотелось, чтобы он вернулся. Мне нужно было хоть какое-нибудь живое существо, которое не понимает, что такое война, и думает, будто мир так же хорош, каким был месяц или год назад... Всё так же летают в саду крапивницы, всё так же закатывается прозрачное сельское солнце. Всё так же можно дремать в потёртом кресле возле полок с книгами и поводить ушами, когда что-то загадочно потрескивает в разошедшихся переплётах...

От усталости путались мысли. Мне хотелось остановить их, чтобы подумать наконец о том, что давно уже саднило на сердце. О ласке, о тёплом плече. К нему можно было бы крепко прижаться.

— Мама! — сказал я вполголоса, но тут же вспомнил сухие сжатые мамнины губы и её растерянное лицо. Нет, не она может мне помочь. Но кто же? Никого не было. Может быть, только в будущем, если оно действительно будет, встретится человек с большой нежной душой... И Лёлю я тоже потерял и, должно быть, не увижу.

Снова над банькой прокатился тягучий гром. С костельных вязов взлетели с беспорядочным криком галки. К окну подошёл Романин.

— Вы что, уснули? — спросил он. — У пана ксендза нашлось вишнёвое варенье.

— Как будто уснул, — сознался я.

— Молодой человек, — сказал Романин, — вы мне не нравитесь. О чём вы тут размышляете? Мойтесь скорей и пойдёмте пить чай.

Старик в грубой свитке — костельный причетник — накрыл чай в комнате с книгами. Он постелил на круглый стол серую скатерть и поставил

на неё стаканы и сахарницу из тусклого серого стекла. Только вишнёвое варенье выделялось гранатовым ярким сиропом.

Мы достали свои запасы: мясные консервы, галеты и клюквенный сок. Больше у нас ничего не было.

Пришёл серый кот. Звали его Вельзевул.

Мы пригласили к столу ксендза. Перед тем как сесть, он пробормотал короткую молитву. Мы стоя выслушали её.

— Вежливые молодые люди, — заметил ксёндз, усмехнулся и помолчал. — Да будет благословение божье над вами, — сказал он, садясь. — Пусть каждый ваш шаг охраняет святая дева. В неё вы, конечно, не верите. Но вшистка едно! Пусть она следит своим взором за вами и отводит руку врага.

Ксёндз отодвинул чашку и повернулся к причетнику, пившему чай на краешке стола.

— Янош, — сказал он, — ты откроешь костёл, и мы будем служить всю ночь и весь завтрашний день.

— Так, пане ксёндз, — вполголоса согласился причетник и привстал. — Всю ночь и весь завтрашний день.

— Мы отслужим великую литанию по убитым.

— Так, пане ксёндз, — снова вполголоса ответил причетник. — Литанию по всем убитым.

— А потом мы отслужим мессу пану богу, чтобы он помог Польше воскреснуть, как феникс из пепла.

— Так, пане ксёндз, — глухо согласился причетник. — Як феникс с попёлу.

— Амен! — сказал ксёндз.

— Амен! — пробормотал причетник и опустил седую косматую голову.

Нам с Романиным стало не по себе от этих заклинаний ксендза и бормотаний причетника. Ксёндз как будто догадался об этом. Он молча встал и вышел. За ним вышел, прихрамывая, причетник.

Я лёг на клеёнчатый чёрный диван, укрылся шинелью и провалился в гудящую темноту.

Проснулся я внезапно, без причины. Очевидно, была уже поздняя ночь.

За открытым окном то начинал тихонько шуметь, то затихал в крошечном мраке сад. Я посмотрел за окно — не было ни луны, ни звёзд, — должно быть, небо заволокло облаками.

Глубокая тишина стояла вокруг. Но мне показалось, что я проснулся от какого-то звука. Я лежал и ждал. Я был уверен, что звук повторится. Мне хотелось курить, но я медлил зажечь спичку, чтобы не спугнуть безопасную темноту ночи.

Я ждал. Мне стало страшно от ожидания неизвестного звука.

Так я пролежал несколько минут, но вдруг стремительно рванулся и сел на диване. Шинель с тяжёлым шорохом свалилась на пол.

Звук пришёл — страшный, протяжный, дребезжащий, томительный, как старческий плач.

Что это было? Звук долго затихал, но тотчас же повторился, и я узнал медленный звон костельного колокола. Это ксёндз служил среди ночи свою великую литанию по убитым.

Я протянул руку к коробке папирос на стуле, но в это время нарастающий свист промчался над крышей дома, блеснуло багровое пламя, грохнул взрыв, и потом долго был слышен странный гул, будто сыпались на бульжную мостовую мелкие камни.

Романин вскочил, зажжёт свечу. Снова свист пронёсся над нами. Снова взрыв блеснул за окном и осветил сад.

— Обстреливают! — крикнул Романин. — Одевайтесь. Седлайте лошадей. А я прикажу запрягать фурманки.

Я был одет. Я вышел в сад с электрическим фонариком. Лошади стояли, прижав уши, натянув поводья, — ими они были привязаны к деревьям. Перекрикивались разбуженные санитары. На краю местечка занялось зарево. Оно помогло нам быстро собраться.

Мы торопились. Через местечко уже вразброд отходила пехота.

Когда мы проезжали мимо костёла, двери его были отворены настежь. Внутри жарко пылали свечи. Очевидно, причетник зажёт все запасы костельных свечей. Я увидел над алтарём большое распятие, окружённое вышитыми полотенцами.

Ксёндз стоял на паперти в кружевной пелерине, высоко подняв над головой чёрный крест. Из-под одеяния в свете зарева были видны порывелые сапоги. Позади ксёндза стоял причетник.

Когда мы поравнялись с костельной папертью, ксёндз издали перекрестил нас в воздухе чёрным крестом и громко сказал:

— Да хранит вас святая дева над девами, лилия небес, мать страждущих!

Зарево падало на кружевную пелерину ксёндза и на его лицо. Огонь мигал, и от этого казалось, что ксёндз улыбается.

Мы выехали за околицу. Обстрел стих. Пахло пылью, поднятой копытами лошадей, и болотной водой. Позади мы снова услышали надтреснутый звон костельного колокола.

— Похоже, что он немного свихнулся, — сказал Романин.

Я ничего не ответил, поднял воротник шинели и закурил. Меня тряс озноб. Я думал только о том, чтобы согреться.

### Местечко Кобрин

Из Бреста мы вышли в местечко Кобрин. С нами ехал на своём помятом и исцарапанном форде пан Гронский.

Брест горел. Взрывали крепостные форты. Небо вздымалось позади нас розовым дымом.

Около Бреста мы подобрали двух детей, потерявших мать. Они стояли на краю дороги, прижавшись друг к другу, — маленький мальчик в рваной гимназической шинели и худенькая девочка лет двенадцати.

Мальчик плакал и натягивал на глаза козырёк фуражки, чтобы скрыть слёзы. Девочка крепко держала мальчика обеими руками за плечи.

Мы посадили их на фурманку и накрыли старыми шинелями. Шёл частый колючий дождь.

К вечеру мы вошли в местечко Кобрин. Земля, чёрная, как каменный уголь, была размешана в жижу отступающей армией. Косые дома с нахлובученными гнилыми крышами уходили в грязь по самые пороги.

Ржали в темноте лошади, мутно светили фонари, лязгали расшатанные колёса, и дождь стекал с крыш шумными ручьями.

В Кобрине мы видели, как увозили из местечка еврейского святого, так называемого цадика.

Гронский рассказал нам, что в Западном крае и Польше есть несколько таких цадииков. Живут они всегда по маленьким местечкам.

К цадиикам приезжают сотни верующих евреев за всякими советами. За счёт этих приезжих кормится население местечек.

Около деревянного приплюснутого дома вздыхала толпа растрёпанных женщин. У дверей стоял закрытый возок, запряжённый четвёркой тощих лошадей. Я никогда ещё не видел таких древних возков. Тут же, спешившись, курили драгуны. Это, оказывается, был конвой для охраны цадика в дороге.

Внезапно толпа закричала, бросилась к дверям. Двери распахнулись, и огромный высокий еврей с заросшим чёрной щетиной лицом вынес на руках, как младенца, совершенно высохшего белобородого старичка, закутанного в синее ватное одеяло.

За цадиком поспешали старухи в тальмах и бледные юноши в картузиках и длинных сюртуках.

Цадика уложили в возок, туда же сели старухи и юноши, вахмистр скомандовал «В седло!», драгуны сели на коней, и возок тронулся по грязи, качаясь и поскрипывая. Толпа женщин побежала за ним.

— Вы знаете, — сказал Гронский, — что цадик всю жизнь не выходит из дома. И его кормят с ложечки. Честное слово! Як бога кохам!

В Кобрине мы заняли под постой старую сырую синагогу. Один только человек сидел в ней в темноте и бормотал не то молитвы, не то проклятия. Мы зажгли фонари и увидели пожилого еврея с печально-насмешливыми глазами.

— Ой-ой-ой! — сказал он нам. — Какое веселье вы с собой привезли для бедных людей, дорогие солдаты.

Мы угрюмо молчали. Санитары притащили со двора железный лист, мы развели на нём огонь и поставили котелок — кипятить чай. Дети молча сидели у огня.

Гронский вошёл в синагогу, скрипя походными ремнями, и сказал:

— Друзья мои, распрягайте двуколки. К чёрту! Мы никуда не тронемся до рассвета. Армия движется через местечко. Она не даст нам места на дороге. Накормите чем-нибудь этих детей.

Он долго смотрел на детей, и пламя костра блесело в его светлых зрачках. Потом он заговорил с девочкой по-польски. Она отвечала ему чуть слышно, не поднимая глаз.

— Когда всё это кончится? — неожиданно спросил Гронский. — Когда возьмут за горло тех, кто заварил эту кровавую кашу?..

Гронский тяжело выругался.

Все молчали. Тогда встал старый еврей. Он подошёл к Гронскому, поклонился ему и спросил:

— Пане дорогой, вы, часом, не знаете, кому из нас есть интерес от такого несчастья?

— Не мне и не тебе, старик! — ответил Гронский. — Не этим детям и не этим людям.

Искры летели за окнами — это проходили мимо синагоги походные кухни.

— Идите к котлам, — сказал Гронский. — Идите все! Добывайте похлёбку.

Мы пошли к походным котлам. Мальчик увязался с нами. Санитар Сполох крепко держал его за руку.

Голодная толпа беженцев окружала котлы. Её напор сдерживали солдаты. Факелы метались и освещали, казалось, только одни глаза — выпуклые стеклянные глаза людей, ничего не видевшие, кроме открытых дымящихся котлов. Здесь толпа была ещё больше, чем в Вышницах.

— Пуска-а-ай! — крикнул кто-то.

Толпа хлынула. Она оторвала мальчика от Сполоха. Мальчик споткнулся и упал под ноги сотням людей, бросившихся к котлам. Он не успел даже закричать.

Мы со Сполохом кинулись к мальчику, но толпа отшвырнула нас. Спазма сдавила мне горло. Я выхватил револьвер и разрядил его в воздух. Толпа раздалась. Мальчик лежал в грязи. Слеза ещё стекала с его мёртвой бледной щеки.

Мы подняли его и понесли в синагогу.

— Ну, — сказал Сполох и зло выругался, — ну и отольются те слёзы! Дай только нам взять хоть малую силу.

Мы внесли мальчика в синагогу и положили на шинель. Девочка увидела его и встала. Она дрожала так сильно, что было слышно, как стучат её зубы.

— Мама! — тихо сказала она и попятилась к двери. — Мама моя! — крикнула она и выбежала на улицу. Гремели обозы.

— Мама! — отчаянно звала она за окнами.

Мы стояли в оцепенении, пока Гронский не крикнул:

— Верните её! Скорее, чёрт бы вас всех побрал!

Романин и санитары выбежали на улицу. Я тоже бросился за ними. Девочки нигде не было.

Я отвязал своего коня, вскочил на него и врезался в гущу обозов. Я хлестал нагайкой потных обозных коней, расчищая себе дорогу. Я скакал по тротуарам, возвращался обратно, останавливал солдат и спрашивал их, не видели ли они девочку в сером пальто, но мне даже не отвечали.

На окраинах горели лачуги. Зарево качалось в лужах и усиливало путаницу двуколок, орудий, лошадей, телег — всю безобразную путаницу ночного отступления.

Я вернулся в синагогу. Девочки не было. Мальчик лежал на шинели, прижавшись бледной щекой к мокрому сукну, и как будто спал.

Никого не было в сырой и тёмной синагоге. Огонь потухал, и один только пожилой еврей сидел около мальчика и бормотал не то молитвы, не то проклятия.

— Где наши? — спросил я его.

— Я знаю? — ответил он и вздохнул. — Каждому хочется горячей похлёбки.

Он помолчал.

— Пане, — сказал он мне тихо и внятно, — я шорник. Меня зовут Иосиф Шифрин. Я не умею рассказывать, что у меня лежит на сердце. Пане! Мы, евреи, знаем от своих пророков, как бог умеет мстить человеку. Где же он, тот бог? Почему он не спалил огнём, не вырвал глаза у тех, кто придумал такое несчастье?

— Что бог, бог! — сказал я грубо. — Вы говорите, как глупый человек.

Старик печально усмехнулся.

— Слушайте, — сказал он и тронул меня за рукав шинели. — Слушайте вы, образованный и умный человек.

Он поднял руки к потолку синагоги и пронзительно закричал, закрыв

глаза и покачиваясь: — Вот я сидел здесь и думал. Я не знаю так хорошо, как вы, кто во всём виноват. Я не учился даже в хедере. Но я ещё не совсем слепой и кое-что вижу. И я вас спрашиваю, пане: кто будет мстить? Кто заплатит по дорогому счёту вот за этого маленького человека? Или вы все такие добрые, что пожалеете и простите тех, кто подарил нам такой хороший подарок — эту войну. Боже ж мой, когда наконец соберутся люди и сами будут делать для себя настоящую жизнь!

Он поднял руки к потолку синагоги и пронзительно закричал, закрыв глаза и покачиваясь:

— Я не вижу, кто отомстит за нас! Где человек, что утрёт слёзы этих нищих и даст матерям молоко, чтобы дети не сосали пустую грудь? Где тот, кто посеет на этой земле хлеб для голодных? Где тот, кто отнимет золото у богатых и раздаст его беднякам? Да будут прокляты до конца земли все, кто пачкает руки человека кровью, кто обворовывает нищих! Да не будет у них ни детей, ни внуков! Пусть семя их сгниёт и собственная слюна убьёт их, как яд. Пусть воздух делается для них серой, а

вода — кипящей смолой! Да не будет им радости и славы, богатства и силы! Пусть кровь ребёнка отравит кусок богатого хлеба, и пусть тем куском подавятся они и умрут в мучениях, как раздавленные собаки!

Старик кричал, подняв руки. Он тряс ими, сжимал их в кулаки. Голос его гремел и наполнял всю синагогу.

Мне стало страшно. Я вышел, прислонился к стене синагоги и закурил. Моросил дождь, и тьма всё плотнее прилегала к земле. Она как бы нарочно оставляла меня с глазу на глаз с мыслями о войне. Одно было для меня ясно: надо положить этому конец, чего бы это ни стоило. Надо отдать все силы и всю кровь своего сердца за то, чтобы справедливость и мир восторжествовали наконец над поруганной и нищей землёй.

### Измена

В Кобрине мы получили приказ идти на север. Мы двигались, почти не останавливаясь, пока не дошли до местечка Пружаны вблизи Беловежской пуши.

По дороге мы проходили мимо бесконечных скудных полей, заросших дикой горчицей.

На юго-западе курился взорванный Брест.

В поле около Пружан мы увидели брошенное орудие с развороченным стволом и остановились.

Около орудия сидели солдаты в заскорузлых шинелях. Иные курили, другие перематывали портянки, третьи сидели без дела, равнодушно поглядывая на нас. Я подъехал к солдатам.

— Что это? — спросил я бородатого солдата и показал на разбитое орудие. Солдат лежал, прислонившись к орудийному колесу, и курил. Он мельком посмотрел на меня и ничего не ответил.

— Что это такое? — спросил я снова.

— Так я тебе и должен всё докладывать! — огрызнулся солдат. — Что ты есть за начальник? Не видишь, что ли? Орудия!

— Почему ствол разворочен?

Солдат отвернулся и махнул рукой. За него ответил плачущим голосом молодой солдат без фуражки. Его стриженная белобрысая голова блестела, как стеклянный шар.

— Ну что пристал, молодой человек! — сказал он с досадой. — Покою от вас всех нету. Хоть в омут кидайся.

— Чего он спрашивает? — закричал солдат с зелёным лицом. Он сидел на корточках и соскрёбывал щепкой грязь с сухаря. — Чего душу тянет? Не соображает, что с орудием? Измена — вот что!

— Измена! — повторил хриплым голосом бородатый солдат, сел и отшвырнул цыгарку.

Он сжал чёрный кулак и потряс им на восток, где ветер гнул тонкие ракиты.

— Измена, язвы их в бога, в мать, в душу! Артиллерия вперёд обозов отходит. Нет снарядов. А какие есть, так те рвутся в стволах. И патронсов, обратно, нету. Что ж мы, дрючками, что ли, будем с германцами биться?

— Измена! — сказала несколько глухих голосов. — Не иначе, как здесь измена.

Наши фурманки тронулись. Я отъехал.

Так я впервые услышал на фронте это чёрное слово — «измена». Вскоре оно прокатилось по всей армии, по всей стране. Его говорили то шёпотом, то во весь простуженный голос. Говорили все — от обозного солдата до генерала. Даже раненые в ответ на расспросы «Как ранен?» злобно отвечали: «Измена!»

Всё чаще слышалось имя военного министра Сухомлинова. Говорили об огромных взятках, полученных им от крупных промышленников, сбывавших армии негодные снаряды.

Вскоре слухи пошли шире, выше — уже открыто обвиняли императрицу Алису Гессенскую в том, что она руководит в России шпионажем в пользу немцев.

Слухи ширились. Гнев нарастал. Снарядов всё не было. Армия откатывалась на восток, не в силах сдержать врага.

Мы шли по южной части Гродненской губернии, кормили беженцев, отправляли их в тыл, забирали больных и развозили по лазаретам.

Начались обложные дожди. Жёлтые пенистые лужи рябили на дорогах. Дожди тоже казались жёлтыми, как лошадиная моча. Шинели не просыхали. От них воняло псиной. Ветер непрерывно гнул кусты вдоль дорог и свистел ветвями, как розгами.

Попутные местечки — Пружаны, Ружаны, Слоним — были обглоданы, как кости, отступающими войсками. В лавчонках ничего не осталось, кроме синьки и столярного клея. «Жолнежи вшистко забрали», — жаловались запуганные лавочники-евреи.

Мы всё реже разговаривали с Романиным. Его лицо с постоянно опущенным от ветра на подбородок ремешком фуражки казалось теперь жёстким и угловатым.

Однажды мы ехали рядом. Романин повернулся ко мне и сказал глухим гневным голосом:

— Когда кончится эта война, мы пойдём на Петроград и скинем с трона к собакам этого олуха со всеми его гессенскими вырожденками. Верно?

— Верно, — ответил я.

Пан Гронский носился где-то на своём разболтанном форде и добывал нам продовольствие. Он появлялся редко — измятый, невыспавшийся, с набухшими веками. Пушистые его усы отросли и закрывали рот. От этого Гронский выглядел стариком.

Каждый раз, приезжая, он брал меня за локоть, отводил в сторону и говорил доверительным шёпотом:

— Мёртвые воскреснут. Як бога кохам. Пан бог устроит им парад. И они будут проходить по этим полям и кричать: «Виват! Нех жие вольна Польшка на веки векув!»

Он каждый раз говорил одно и то же, но только почему-то одному мне. Говорил всё одними и теми же словами, как одержимый. Я начал бояться его. Глаза у него горели. Он так крепко стискивал мой локоть, что я сдерживался, чтобы не вскрикнуть от боли. Я вспомнил рассказы о том, что у сумасшедших развивается необычайная сила в руках.

Я рассказал о своих опасениях Романину. Он пронзительно посмогред на меня и зло сказал:

— А вы что же, хорошо знаете разницу между сумасшедшими и нормальными? Нет? Так какого же чёрта лезете со своими выводами!

Он резко повернулся и ушёл.

Было это в Слониме, в ларьке, где недавно торговали керосином. Пол был обит листами железа. На железе ещё стояли керосиновые лужи.

Сесть было негде. Я прислонился к стене, выкурил папиросу и вышел вслед за Романиным.

Отряд уже отходил. Дождь стекал с брезентовых плащей. Низко пролетали растрёпанные вороны, садились на коньки гнилых крыш и открывали клювы, чтобы каркнуть, но не каркали — должно быть, понимали, что это ни к чему: не накаркаешь же сухую погоду.



### В болотистых лесах

За Слонимом потянулись скучные болотистые леса. В них было много молодого осинника. Тонкие серые осинки стояли рядами, и на них такими же тонкими серыми струями падал дождь.

Только во второй половине дня небо расчистилось. Оно было зелёным, холодным. Резкий ветер гнал обрывки грязных туч.

Романин ехал впереди, я — сзади. Я видел, как из леса вышел молодой крестьянин-белорус в постолах. Он снял шапку, ухватился за стремя Романина, пошёл рядом с лошадьёю и о чём-то начал униженно просить. Слёзы блестели у него на глазах.

Романин остановился и подозвал меня.

— Тут в лесу, — сказал он, не глядя на меня, — рожают беженка. Жена этого человека. Все ушли, он остался с ней один. Роды вроде тяжёлые.

— Она вельми мучится, пан мой, — певуче сказал крестьянин и вытер шапкой глаза.

Романин помолчал.

— Примите ребёнка! — сказал он, всё так же не глядя на меня, и поправил уздечку на лошади. — Никто из нас этого не умеет, так же как и вы. Но всё-таки в таком деле лучше интеллигентные руки.

В голосе его мне послышалась насмешка. Я почувствовал, как кровь отливает у меня от лица.

— Хорошо, — сказал я, сдерживаясь.

— Мы будем ждать в Барановичах. — Романин протянул мне мокрую руку. — Дать вам санитара?

— Не нужен мне никакой санитар.

Я взял сумку с медикаментами и самым простым хирургическим инструментом — другого у нас не было — и свернул по просеке в лес.

Крестьянин — его звали Василь — бежал рядом со мной, придерживаясь за стремя. Грязь из-под копыт летела ему в лицо. Он вытирал его насквозь промокшей шапкой. Лошадь шла крупной рысью.

Я старался не думать о том, что случится через несколько минут в этом лесу, не смотрел на беженца и молчал — мне было страшно. Никогда в жизни я даже близко не был около рожающей женщины.

Внезапно я услышал глухой воющий крик и придержал коня. Человек кричал где-то рядом.

— Скорее, пане! — сказал с отчаянием Василь.

Я хлестнул коня. Он рванулся сквозь орешник. Василь выпустил стремя и отстал.

Конь вынес меня на маленькую поляну. На ней потухал костёр. У костра сидел мальчик лет десяти в чёрном картузе, нахлобученном на уши. Он качался, обхватив руками колени, и монотонно и тихо говорил: «Ой, Зосю! Ой, Зосю! Ой, Зосю!»

Поляну затянуло дымом от потухающего костра. Дым застрял в низких ветках орешника, и потому плохо было видно вокруг.

Я соскочил с коня. По другую сторону костра стояла фурманка. На ней сидела, вцепившись руками в края, женщина. Я увидел только её чёрное искажённое лицо с огромными белыми глазами. Она выла, широко открыв рот, почти раздирая себе губы, то наклоняясь, то изгибаясь назад, выла непрерывно, хрипло, по-звериному.

Косматая собака забилась под фурманку и лязгала зубами.

У меня заледенело сердце. Холод поднялся к голове, и страх сразу прошёл.

— Костёр! — крикнул я мальчику. — Разом!

Мальчик вскочил, споткнулся, упал и бросился в лес за хворостом. Прибежал Василь.

Я совершенно не знал, что делать. Я только смутно догадывался об этом.

Прежде всего я сбросил шинель и вымыл руки. Василь лил мне воду из кружки. Руки у него тряслись, и он всё время лил мимо.

Мальчик притащил хворост и разжёг костер. Начинало смеркаться.

— Убери мальчика, — сказал я Василю. — Не надо ему видеть всё это.

— То её брат, — торопливо ответил Василь. — Тут копанка в лесу, хай принесёт воды.

— Да, воды! Воды! — судорожно повторил я. — И чистый рушник. Или тряпки.

— У Зоси есть две чистые рубахи, — услужливо забормотал Василь. — Ты, Миколайчик, беги за водой, а я достану.

Дальше была у меня какая-то внезапная минута колебания, как раз в то время, когда я стягивал через голову гимнастёрку. Вдруг стало темно, и я остановился. Мне захотелось успокоиться и собрать свои мысли. Какие мысли? О чём? Не было у меня никаких мыслей — было одно отчаяние.

Я наконец решился, снял гимнастёрку, засучил рукава рубахи, достал из кармана электрический фонарик и протянул Василю:

— Свети!

Я подошёл к фурманке. Должно быть, я оглох от волнения. Я больше не слышал крика женщины и старался не смотреть на неё.

Я увидел что-то розовое, жалкое, быстро и осторожно продвинул руки, захватил его и сильно потянул к себе. Я не знал, так ли надо делать или нет. Я делал всё, как сквозь сон. Ни тогда, ни сейчас я не могу припомнить, вышел ли ребёнок сразу. Я только помню ощущение маленьких плеч. Должно быть, это были плечи. Я прижал к ним ладони и снова осторожно и сильно потянул их к себе.

— Пане! — крикнул Василь и схватил меня. — Пане!

Я стоял и шатался. На вытянутых руках лежало что-то очень тёплое и мокрое. И вдруг это непонятное существо чихнуло.

Ребёнок вышел ногами вперёд. Всё, что надо было сделать после этого, я делал спокойнее, хотя у меня начала трястись голова. Мы с Василём обмыли ребёнка, потом крепко закутали его в рушники и тряпье.

Я держал запелёнутого ребёнка на руках и боялся его уронить.

Василь вцепился зубами в рукав своей свитки, затряс головой и заплакал.

Я прикрикнул на него, подошёл к женщине и осторожно положил ребёнка рядом с ней. Она глубоко и легко улыбалась, глядя на него, и едва-едва трогала его худой тёмной рукой. Это был её первый ребёнок.

— Квиточек мой милый, — сказала она едва слышно. — Свет мой, сынку несчастный.

Слёзы текли из её открытых глаз. Неожиданно женщина схватила мою руку и прижалась к ней сухими горячими губами. Я не отнимал руку, чтобы не тревожить её. Рука у меня стала мокрой от её слёз.

Ребёнок заворочался и слабо запищал, как котёнок. Тогда я отнял руку, женщина взяла ребёнка и застенчиво вынула грудь.

Я отошёл. Василь уже не плакал, а только беспрерывно тёр рукавом глаза. Мальчик сидел на корточках у костра и весело смотрел на него.

Далеко за лесом ударило несколько пушечных выстрелов.

Я вымыл руки, накинул шинель, сел к костру, дал закурить Василю и закурил сам. Никогда я не испытывал такого наслаждения от папиросы, как в этот угрюмый вечер.

Но спокойствие длилось недолго. Меня тревожила женщина. Я встал и подошёл к фурманке. В мигающем свете костра её лицо показалось мне

воспалённым. Она как будто спала, лёжа на боку и прижав ребёнка к груди. Густая тень от ресниц падала на её щёки.

Я впервые рассмотрел эту женщину и удивился счастливому и трогательному выражению её лица. Тогда я ещё не знал, что почти у всех только что родивших женщин лицо становится, хотя бы ненадолго, красивым и спокойным. Должно быть, эта красота материнства пленила великих художников Возрождения — Рафаэля, Леонардо и Боттичелли, когда они писали своих мадонн.

Я осторожно достал сухую руку женщины и пощупал пульс. Он был слабый, но не частил.

Женщина, не открывая глаз, снова взяла мою руку и ласково погладила её, как бы сквозь сон. Но теперь она не благодарила, как в первый раз. Теперь в этом поглаживании руки было желание успокоить меня. Она как будто говорила: «Не бойся. Со мной всё хорошо. Ты отдохни».

Предполагал ли я час назад, когда ехал по размытой дороге с пустым сердцем, что кто-нибудь так нежно обойдётся со мной в этот же вечер? Дни войны тянулись, как неприятная ночь. И никогда бы я не поверил, что в глухом одиночестве этой ночи так скоро и мимолётно блеснёт мне улыбка душевной ласки.

За лесом по тёмному горизонту снова покатались один за другим короткие громы. Они догоняли и перебивали друг друга.

— Пане, — окликнул меня Василь. — Герман подходит. Куда же мы денемся?

Непонятное спокойствие овладело мной вопреки здравому смыслу.

— Ничего, — пробормотал я. — Побудем здесь ещё часа три. Ей вредно сейчас трястись на фурманке.

— А пан нас не кинет?

— Нет, не кину.

Василь успокоился и начал варить с мальчиком кулеш.

Я знал, что оставаться в лесу опасно. Судя по отзвукам боя, немцы были уже недалеко. Может быть, опять случится прорыв, и фронт, как бывает в таких случаях, может стремительно откатиться, исчезнуть, бесследно растаять. Но мне просто не хотелось уходить отсюда.

Я сидел около фурманки и с оцепенением смотрел на костёр. Ничто так быстро не скрадывает время, как зрелище ночного огня. Я следил за каждой разгоравшейся веткой, за вихрями искр, вылетающих из сухой хвои, за сизым пламенеющим пеплом.

Женщина дышала спокойно и ровно. «Нет! — сказал я себе. — От войны ты не уйдёшь, как бы ты этого ни хотел. Ты не один на свете».

Я посмотрел на часы. Прошло два часа с тех пор, как я, не отрываясь, смотрел на огонь.

— Пора собираться, — сказал я Василю.

Мы поели кулеша. Зося проснулась, и Василь покормил её. Она ела мало и медленно, всё время смотрела на ребёнка. Василь мешал ей, приставляя со своим кулешом. Она осторожно отстранила его:

— Не надо сейчас!

До рассвета было ещё далеко. Василь запряг лошадей. Мы поудобнее уложили Зосю, укрыли её двумя кожухами, и фурманка осторожно начала выезжать из леса на шоссе. Там было пусто, дул ветер. Заунывно шумели сосны. Орудийный огонь затих.

Я ехал шагом впереди и иногда светил на шоссе фонариком, чтобы Василь объезжал ухабы и лужи.

Я знал от Романина, что в нескольких километрах был старый лагерь для гарнизона Барановичей. Я надеялся, что застану в этом лагере какой-нибудь отступающий полевой госпиталь и пристрою в нём Зосю до тех пор, пока она не оправится.

Нам повезло — в дощатых лагерных бараках действительно стоял полевой госпиталь. Но он уже сворачивался и собирался уходить. Мы пришли во-время.

Я пошёл к главному врачу. Он сидел в пустом бараке и пил чай из жестяной кружки. Это был небритый старик с красными, как у кролика, глазами. Он снял очки и молча слушал меня, выжимая завязку на рукаве своего халата: она попала в чай и намочила.

— Так вы, значит, приняли ребёнка? — спросил он и недовольно взглянул на меня.

— Да, я.

— Так-таки приняли?

— Ничего же не оставалось делать, — ответил я, оправдываясь.

— Выходит, что не оставалось, — согласился врач, намочил в чае кусок сахара и положил в рот. — Ребёночек, очевидно, вышел сам. Так что вы не очень заноситесь, прапорщик.

— Да я и не заношусь.

— Напрасно! Я бы на вашем месте занёлся. Хотите чаю? Потом? Потом будет суп с котом. Скоро уходим. Вашу беженку положите пока что в театр. Скажите дежурной сестре, что я приказал.

— В какой театр? — спросил я удивлённо.

— В императорский оперный театр в Петрограде, — ответил, раздражаясь, врач. — Не вляйте дурака! Здесь, в лагере, есть летний театр. Вернее, был таковой. Для господ офицеров. Туда её и несите.

Мы отнесли Зосю в гнилой театральный барак. Дежурная сестра куда-то отлучилась. Мы сами уложили Зосю на походную койку.

В глубине барака была сцена. Её закрывал рваный холщовый занавес с аляповато написанным на нём пейзажем — скалами Дива и Монах в Симеизе. Почему именно здесь были изображены эти скалы, яркое, как синька, море и чёрные пики кипарисов, невозможно было понять.

— Где роженица? — спросил за стеной женский голос. Я быстро отступил от койки к тёмной стене. Я узнал голос Лёли.

Она быстро вошла. Из-под косынки, как всегда, выбилась прядь вьющихся её волос. После дневного света она не сразу рассмотрела в темноватом бараке женщину на койке и нас, мужчин.

— Кто её доставил? — спросила Лёля.

— Вот они, пан прапорщик, — пробормотал Василь и показал на меня шапкой.

Лёля повернулась ко мне.

— Вы? — спросила она.

Я вышел из тёмного угла и подошёл к ней.

— Да, я, — ответил я. — Я, Лёля.

Она сильно побледнела, отступила на шаг, села на пустую койку и подняла на меня испуганные глаза.

— Господи, — шёпотом сказала она. — Здравствуйте! Чего же вы стоите, как истукан?

Она, не вставая, протянула мне руку. Я нагнулся, чтобы поцеловать её, но Лёля притянула меня за шею к себе и поцеловала в губы.

— Наконец-то! — сказала она. — Мы с вами, должно быть, родились под счастливой звездой.

### Под счастливой звездой

Полевой госпиталь должен был сняться только к вечеру. Я боялся, что не догону свой отряд, и сказал Лёле, что мне нужно уезжать сейчас же.

— Останьтесь, — попросила она. — Ну, хоть на час. Ведь это такой пустяк. Подождите, я сию минуту вернусь.

Она ушла из барака. Зося спросила:

— Кто эта паненка? Ваша невеста?

— Да, — ответил я. Что я мог ей сказать?

— А будет с ней счастье? — снова спросила Зося.

— Молчи, Зосю! — испуганно прикрикнул на неё Василь. — Как же можно так говорить пану прапорщику. Побойся ты бога!

Минут через десять пришёл санитар и сказал, что главный врач просит меня к себе.

Знакомый главный врач встретил меня сердито.

— Вы что же это финтите, молодой человек? — спросил он и блеснул на меня выпуклыми стёклами очков.

— То есть как финчу?

— Другого слова, извините, не подберу. По существу вы так называемый шпак! Ваш отряд принадлежит Союзу Городов. Гражданской организации. Вам известно, что на фронте вы подчиняетесь военным властям?

— Как будто так, — сказал я.

— Не «как будто!» — вдруг закричал врач, побагровел и закашлялся. — А действительно так! Прошу вас вести себя надлежащим образом. Иначе я вас арестую. «Как будто, как будто!» — передразнил он меня, отдуваясь.

— Слушаюсь, — ответил я. — Но не понимаю.

— Сейчас поймёте. Предлагаю вам оставаться при госпитале впредь до особого распоряжения. Соответственный письменный приказ будет заготовлен. И будет вам вручён, когда в вас минует надобность. В качестве оправдательного документа для вашего начальства. Кто ваш начальник?

— Уполномоченный Гронский.

— Гронский — Гавронский — Пшипердонский! — сказал врач.

Я промолчал.

— Эх вы, обиделись! — Врач укоризненно покачал головой. — Побудьте у нас несколько дней. После этого случая с роженицей я бы взял вас к себе совсем. Но, в общем, юноша, не смущайтесь. Я обо всём наслышан. Сам был молод. Сам страдал. И ненавижу стариков, которые забывают свои молодые годы. Уж что-то, а любовь у нас не в чести.

Врач шумно вздохнул. У меня голова пошла кругом от этого разговора. Я догадался, что здесь была замешана Лёля.

— В отряде у нас мало людей, — сказал я. — Вы сами понимаете, не могу же я дезертировать...

— Да, — снова вздохнул врач. — «Дезертировать!» Конечно! Вы громко выражаетесь, но я вас понимаю. Положение корявое. Ну, ладно! Вам в Барановичи и нам в Барановичи. Мы выступаем не вечером, а через два часа. Мы пустые. Последних раненых сдали вчера на санитарный поезд. Вы поедете с нами до Барановичей — и всё! И роженицу вашу захватим. Возьмём под наблюдение.

Я согласился. Старик похлопал меня по плечу.

— Разрешите дать вам стариковский совет. Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один раз плохо обойдётесь с любовью, так и последующая будет у вас обязательно с изъяном. Да-с! С изъяном! Ну, ступайте. Рад был познакомиться.

Я вышел из барака и увидел Лёлю. Она сидела неподалёку на скамье под покосившимся деревянным грибом — такие грибы делают в лагерях для часовых.

Я подошёл к ней. Лёля наклонилась и закрыла лицо руками.

— Нет, нет, нет! — быстро сказала она, не отнимая рук, и затрясла головой. — Какая я феноменальная дура! Ненавижу себя! Уйдите, пожалуйста.

— Я остаюсь, — сказал я. — Вместе поедем в Барановичи.

Лёля отняла руки от лица и встала. На щеках её виднелись следы от пальцев.

— Пойдёмте! — сказала она, взяла меня за руку, и мы пошли на шоссе.

Мы прошли до первого верстового столба и вернулись. Дул ветер, рябили лужи. Снова с запада неслись тучи, загромаждая сырой горизонт.

Мы шли, держась за руки, и молчали. Лёля только сказала, что после Одессы она тут же поехала в Москву и добилась, чтобы её перевели в полевой госпиталь на Западный фронт.

Зачем она это сделала, она не объяснила. Но всё было понятно, и ни ей, ни мне не хотелось говорить. Мы знали, что любые слова, даже самые умные и самые нежные, прозвучат неверно и что ещё нет тех слов, которые могут выразить то щемящее чувство близости вчера ещё чужого человека, какое родилось сейчас у нас обоих.

В два часа дня госпиталь снялся. Потянулись одна за другой санитарные фуры. За ними тащился на своей фурманке Василь. Косматый пёс, привязанный к фурманке, старательно бежал сзади.

Я ехал рядом с санитарной повозкой. В ней сидели Лёля и пожилая сестра в золотых очках. Иногда я отставал и подъезжал к фурманке Василя, чтобы узнать, что с Зосей. Она приветливо кивала и говорила, что ей хорошо. Но Василь был угрюм — должно быть, он соображал, что делать дальше. Удастся ли ему догнать земляков или так и придётся одному маяться в Белоруссии среди чужих людей.

Верстах в двадцати не доезжая Барановичей на шоссе стояло несколько вооружённых солдат и около них — офицер на забрызганной грязью лошади.

Офицер поднял руку. Обоз остановился.

Офицер подъехал к главному врачу и, отдавая честь, начал о чём-то докладывать. Главный врач хмуро смотрел на него, покусывая усы.

Что-то тревожное было в этом разговоре врача с офицером. Все настожились.

Но вскоре выяснилось, что в соседней деревне — её было видно с шоссе — много больных беженцев и офицер просит, по распоряжению начальника штаба корпуса, отправить в деревню часть медицинского персонала, чтобы оказать им первую помощь.

Врач согласился. От обоза отделилось три повозки.

— Вы с нами, — сказала мне Лёля. — Ваше прямое дело — помогать беженцам. К вечеру догоним лазарет в Барановичах.

— Поедем.

Мы свернули на боковую дорогу. Госпитальный обоз тронулся. Василь долго стоял на шоссе и смотрел нам вслед. Казалось, он раздумывал — не поехать ли с нами. Но потом он дёрнул вожжи, крикнул на лошадей, и фурманка тронулась по дороге на Барановичи.

В километре от шоссе мы увидели в кустах солдат с винтовками и пулемётом.

— Неужели немцы так близко? — испуганно спросила пожилая сестра в золотых очках. — Спросите их, пожалуйста.

Я подъехал к солдатам.

— Проезжайте! — ответил мне солдат с ефрейторскими нашивками и даже не взглянул на меня. — Вам разрешается. А вообще не велено ни с кем разговаривать. И останавливаться никому тут не велено.

Мы проехали. Видна была уже околица. Пошёл дождь. Нищая деревня была похожа отсюда на расплзшуюся кучу навоза.

— Похоже, что ждут немцев, — сказал я Лёле.

Я посмотрел на запад, откуда могли появиться немцы, и увидел на пажити, уходящей вниз, к оврагу, сторожевое охранение. Солдаты сиде-

ли и лежали длинной цепью, но довольно далеко друг от друга. Ну, так и есть!

— Да то не от немцев, — сказал санитар-возница. — То щось другое. Вон, глядите сюда!

Он показал на восток. Там тоже виднелись солдаты.

— Всё село оцеплено! — сказал встревоженно санитар. — Кругом всё село. Щось неладное я чую, сестрицы.

— Что неладное?

— Да я сам нияк не пойму. Только зря мы сюда затесались. Вовсе зря!

Санитар оказался прав. Мы въехали в безлюдную деревню. У околицы стояла пустая двуколка Красного Креста из незнакомого летучего отряда. От возницы этой двуколки мы узнали ошеломляющее известие, что мы — в западне.

В деревне была чёрная оспа. Вокруг шла армия и валили по дорогам, застревая на время около попутных сёл, тысячи беженцев. Оспа могла перебраться в армию. Поэтому было приказано направить в деревню летучий санитарный отряд, деревню оцепить и никого из неё не выпускать. По каждому, кто попытается уйти из деревни, было приказано открывать огонь.

Офицер, остановивший нас на шоссе, ничего не сказал о чёрной оспе.

Первое чувство, которое мы испытали, было возмущение. Не тем, что нас поймали в ловушку, а тем, что заманили в деревню обманом, тогда как никто, конечно, не отказался бы добровольно работать на оспе.

— Непроходимая глупость, — сказала раздражённо Лёля. — Если бы нас не обманывали, мы бы захватили всё, что нужно для оспы. А сейчас у нас ничего нет. Даже вакцины!

— Да ещё неизвестно, дурость тут или нет, — заметил возница.

— Ты что это городишь? — рассердилась сестра в золотых очках, Вера Севастьяновна.

— А бис их знает, — пробормотал возница. — У начальника на всё есть своя думка. Начальство всегда дуже хитрое.

В хатах останавливаться было нельзя — всюду лежали больные. Только одна пустая стодола стояла на выгоне. Там разместилась чужая летучка. Мы перенесли в стодолу свои медикаменты и вещи.

В чужой летучке работали врач, сестра и два санитары.

Мы застали в стодоле только сестру — безбровое существо с надутым лицом. Трудно было добиться от неё хотя бы нескольких слов.

— Ну и летучка, матери её чёрт! — говорили наши санитары. — Прямо погребальное братство!

Мы распаковали в стодоле медикаменты. Пришёл врач летучки. Это был ещё не старый, но обрюзгший, заросший чёрной щетиной человек с заплывшими глазами.

— Здравствуйте, пожалуйста! — сказал он, увидев нас. Казалось, он был неприятно поражён этой встречей. — Вы имете понятие, куда вы попали?

— На чёрную оспу, — ответил я.

— Вот именно! А вы знаете, что такое чёрная оспа, молодой человек? Вы её видели своими глазами?

— Нет, не видел.

— Честь имею вас поздравить со днём ваших именин! У вас есть вакцина? Нет? Здравствуйте, пожалуйста! Что же вы собираетесь здесь делать? Заводить граммофон? Слушать Вяльцеву?

Мы удручённо молчали.

— Что касается меня, — сказал врач, — то хватит! Я не намерен больше валять дурака.

— Как вы можете так говорить! — возмутилась Лёля.

— Мадмуазель! — Врач сощурил глаза от злости. — Не горячитесь! Это вам очень идёт. Вы становитесь в гневе совершенно прелестной, но и только! Повторяю — и только! Это — пуф! Бессмысленные милые звуки. Мы с вами в капкане. Как это в стихах сказано: «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдёшь из сети»? Кажется, так?

— Вы паясничаете, доктор, — сказала брезгливо Лёля. — Это просто противно.

— Смейся, паяц! — пропел доктор и рассмеялся. — А что же мне остаётся делать? Может быть, вы подскажете мне выход из этого дерьмового положения?

— Он пьян! — сказала Вера Севастьяновна.

— Здравствуйте, пожалуйста, пьян! — спокойно ответил врач, ничуть не обижаясь. — Морфий у вас есть?

— Очень мало. Но камфоры много.

— Если бы был морфий, я бы усыпил всех. И баста!

— Довольно этой дурацкой болтовни! — сказал я грубо. — Давайте нам всё, что у вас есть. Мы сами будем работать.

— Пожалуйста! Сделайте одолжение! Милости просим! — театрально воскликнул врач. — Я отдам вам всю вакцину. Прививайте уже заболевшим. Потому что они все здесь больные. Это будет замечательный медицинский эксперимент.

— Знаете что? — сказал я и подошёл к нему. — Замолчите или я вас выкину отсюда, несмотря на то, что вы капитан. Здесь-то уж нет никаких законов.

— Совершенно верно, — согласился врач. — Законов нет. Как в чумном городе. Берите вакцину! Действуйте! А я хочу спать. Я не спал двое суток. Это тоже надо иногда принимать во внимание, господа идеалисты.

Он пошёл в угол стодолы, повалился на солому и, уже засыпая, натянул на себя шинель.

— Пусть спит, бог с ним, — примирительно сказала Вера Севастьяновна. — Сестра, дайте нам вашу вакцину.

— Напишите расписку, — ответила сестра. Она, казалось, не обратила никакого внимания на наш разговор с врачом.

Я написал расписку, и сестра выдала нам вакцину.

— Ну как? — шёпотом спросила меня Лёля.

— Что «как»? — ответил я. — Дело неважное. Вы побудьте здесь, а я сначала обойду с санитаром хаты. Посмотрю, что там.

— Нет! Я вас одного не пущу. И не потому, что я без вас не могу. — Она слегка покраснела. — Нет! Просто вместе нам всем не будет так страшно.

Мы вышли втроем — Вера Севастьяновна, Лёля и я — и взяли с собой санитаря.

Серый дождь застилал поля. Как чёрные переломанные кости, валялась на огородах картофельная ботва. Была уже осень. Ноги расползлись в раскисшей глине, смешанной с навозом и прелой соломой.

Ни одного дымка не подымалось над халупами. Но всё же сильно пахло чадом, как от палёных перьев.

На задах деревни, у околицы, тлела куча перегоревшего тряпья. Чаd шёл от этой кучи.

— То жгут всякие шmutки с больных, — заметил санитар. — Называется дезинфекция! — насмешливо добавил он, помолчав.

В деревне не было ни собак, ни кур. Только в одной из стодол мычала недоенная корова. Мычала тягуче, захлёбываясь слюной.

— Да, — сказала вдруг Вера Севастьяновна. — Вроде как дантов ад.



Мы вошли в первую же хату. В сенях Лёля повязала нам всем на рот марлевые повязки.

Я открыл дверь из сеней в хату. В лицо хлынула тёплая вонь.

Окна в избе были завешены. В первую минуту ничего нельзя было разобрать. Был слышен только монотонный детский голос, говоривший без перерыва одни и те же слова: «Ой, диду, развяжите мне руки», «Ой, диду, развяжите мне руки».

— Ни к чему не прикасайтесь! — приказала Вера Севастьяновна. — Посветите, пожалуйста!

Я зажёл электрический фонарик. Сначала мы ничего не увидели, кроме поломанной деревянной кровати, заваленной кучей заношенных вещей. С печи свисали чьи-то ноги в постолах. Но самого человека не было видно.

— Кто тут есть живой? — спросил санитар.

— А я и сам не знаю, — ответил с печки старческий голос, — чи я живой, чи мёртвый.

Я посветил на печку. Там сидел старик в коричневой свитке с клочковатой, будто выщипанной бородой.

— Хоть люди в халупу зашли — и то спасибо, — сказал он. — Поможите мне, солдатики, а то я его сам не вытягну.

— Кого?

— Да вот он лежит коло меня, дочкин муж. Со вчерашнего вечера. То был жаркий, як печка, а сейчас доторкнуться до него, и то неприятно — захолодал весми.

— Боже мой! — тихо сказала Лёля. — Что же это такое!

Куча тряпья на кровати зашевелилась, и детский голос опять заныл: «Ой, диду, я ж не могу больше. Развяжите мне руки».

— Там, на печке, всё кончено, — сказала Вера Севастьяновна. — Светите сюда.

Я осветил кровать, и мы увидели глаза. Огромные, блестящие от жара чёрные глаза и пунцовый румянец на щеках.

Под тряпьем лежала девочка лет десяти.

Я осторожно сбросил с неё тряпье. Девочка затрепыхалась, изогнулась и вытянула перед собой руки, связанные рваным полотенцем.

Рубашка на груди у неё спустилась, и я впервые увидел чёрную оспу — багровые пылающие пятна с чёрными точками, похожими на присохший дёготь.

Девочка замотала головой. Тёмные её волосы рассыпались. Из них торчала красная мятая ленточка.

Санитар принёс из сеней холодной воды. Он всё сокрушался, что больным связывают руки, чтобы они не расчёсывали язвы.

— Ой, яка ж это мука, — говорил он вполголоса. — И за что такое палячество людям!

Лёля дала девочке напиток. Я поддерживал девочке голову. Даже сквозь кожаные перчатки чувствовал сухой жар её худенького затылка.

— Дайте камфору! — сказала Вера Севастьяновна.

В хате запахло эфиром.

После камфоры девочке впрыснули морфий. Лёля вытерла ей лицо душистым уксусом.

— Ну что ж, — сказал мне санитар, — давайте снесём того мёртвого.

Лёля взяла меня за руку, но тотчас отпустила. Глаза её умоляли, чтобы я не прикасался к мёртвому, но она сказала:

— Только помните... Ну, хорошо, хорошо!

Мёртвый лежал на рядне. Мы стащили его, взявшись за концы рядна, стараясь не прикасаться к трупу. Всё-таки мы уронили его, но уже на пороге.

— Киньте его в стодолу, — посоветовал нам старик. — Там уже двое лежат.

Дверь стодолы была подпёрта вилами. Внутри на земляном полу лежала лицом вниз старуха и рядом с ней девочка лет пяти.

— Ой, война, война! — сказал санитар. — Взять бы цих генералов да политиков да в этой гной — носом! Катюги проклятые!

Мы вернулись в хату. Надо было её проветрить, но на дворе было уже холодно, как перед первым снегом.

— Печку бы истопить, — предложил санитар, — так и то кругом всё пожгли. Не мае ни одного полена.

Он ушёл во двор, и было слышно, как он отдирает, чертыхаясь, доски от крыльца.

Мы открыли двери, затопили печь.

— Дед, — сказала Вера Севастьяновна. — Слезай. Сделаем тебе прививку.

— А на что? — ответил равнодушно дед. — Да я ж не выживу. Всё одно с голодухи помру. Зря только медикаменты на меня стратите.

Но всё-таки мы сделали ему прививку, проветрили хату и ушли, пообещав деду прислать хлеба.

Дальше пошло всё хуже и хуже. Мы работали, стиснув зубы и не глядя друг на друга. Санитар вполголоса матерился, но никто не обращал на это внимания.

— Всё это бесполезно, — сказала наконец Вера Севастьяновна. — Никого спасти мы не можем. Здесь никогда не было прививок. И этот балаганщик, врач из летучки, конечно, был прав.

— Но как же так? — спросила Лёля. — Что же делать?

— Самим не заразиться. И только.

— Ну, а с больными?

— Морфий, — коротко ответила Вера Севастьяновна. — Чтобы поменьше мучились.

Санитар сплюнул и длинно выругался.

Мы вернулись в стодолу, и Вера Севастьяновна сделала всему персоналу прививки.

Потянулось тёмное томительное время.

Мы ходили по хатам, впрыскивали морфий, поили умирающих водой и с безмолвным отчаянием следили, как заболели те немногие, которым болезнь дала отсрочку.

Трупы мы стаскивали в стодолы. Врач из летучки приказал сжигать эти стодолы. Каждый раз он распорядился этим делом сам и очень при этом оживлялся.

Санитары обкладывали стодолы соломой и поджигали. Загорались они медленно, но горели жарко, распространяя тяжёлый дым.

Наши руки были сожжены карболкой до того, что их нельзя было помыть. От воды они невыносимо болели.

По ночам было легче. Мы лежали вповалку на соломе, укрывшись шинелями и кошмами. К половине ночи мы согревались, но спали плохо.

Врач притих и вполголоса рассказывал о своей семье в Бердянске, о жене — бережливой хозяйке и сыне — самом сообразительном мальчике на свете.

Но никто его не слушал. Каждый думал о своём.

Я лежал между Лёлей и молчаливым веснушчатым санитаром-поляком, по фамилии Сырокомля. Он часто плакал по ночам. Мы знали, что на фронте плачут только по навсегда потерянным любимым людям. Но все молчали, и никто даже ни разу не попытался утешить его. Это были бесполезные слёзы. Они не облегчали горя, а, наоборот, утяжеляли его.

И Лёля иногда тоже беззвучно плакала по ночам, крепко держа меня за руку. О том, что она плачет, я догадывался по лёгкому содроганию её тела. Тогда я осторожно гладил её волосы и мокрые щёки. Она в ответ прижималась горячим лицом к моей ладони и начинала плакать ещё сильнее. Вера Севастьяновна говорила:

— Лёля, не надо. Не ослабляйте себя.

Эти слова действовали. Лёля успокаивалась.

Лёля всё время натягивала на меня сползавшую шинель. Ни разу мы не говорили с ней ночью. Мы лежали молча и слушали шорох соломы под стрехой.

Изредка до stodолы доходил отдалённый орудийный гул. Тогда все подымали головы и прислушивались. Хоть бы скорее подошёл фронт!

Не помню, на какую ночь, Лёля тихо сказала мне:

— Если я умру, не сжигайте меня в stodоле.

Она вздрогнула всем телом.

— Глупости! — ответил я, взял её руку и почувствовал, что у меня дёрнулось сердце: рука у Лёли была, как ледышка. Я потрогал лоб — он весь горел.

— Да, — горестно сказала Лёля. — Да... Я заметила ещё вчера. Только не оставляйте меня одну, милый вы мой человек на земле...

Я разбудил Веру Севастьяновну и врача. Проснулись и все санитары. Зажгли фонари. Лёля отвернулась от света.

Все долго молчали. Наконец Вера Севастьяновна сказала:

— Надо вымыть, продезинфицировать и протопить соседнюю хату. Она пустая.

Санитары, переговариваясь и вздыхая, вышли из stodолы. Врач отвёл меня в сторону и прошептал:

— Я сделаю всё, что в моих силах. Понимаете? Всё!

Я молча пожал ему руку. Лёля позвала меня.

— Прощайте! — сказала она, глядя на меня со странной тихой улыбкой. — Хоть и недолго, но мне было очень хорошо... Очень. Только сказать об этом было нельзя...

— Я буду с вами, — ответил я. — Я не уйду от вас, Лёля...

Сколько бы я ни напрягал память, я не могу сейчас связно вспомнить, что было потом. Я помню только урывками.

Помню холодную избу. Лёля сидела на койке, Вера Севастьяновна раздевала её. Я помогал ей.

Лёля сидела с закрытыми глазами и тяжело дышала. Я впервые увидел её обнажённое девичье тело, и оно показалось мне драгоценным и нежным. Дико было подумать, что эти высокие стройные ноги, тонкие руки и трогательные маленькие груди уже тронула смерть.

Всё было дорого в этом лихорадящем беспомощном теле — от последнего волоска на затылке до родинки на смуглом бедре.

Мы уложили Лёлю. Она открыла глаза и внятно сказала:

— Платье оставьте здесь. Не уносите!

Я и Вера Севастьяновна всё время были около неё. К ночи Лёля как будто забылась.

Она почти не металась и лежала так тихо, что временами я пугался и наклонялся к ней, чтобы услышать её дыхание.

Ночь тянулась медленно. Не было вокруг никаких признаков, по которым можно было бы понять, скоро ли утро, — ни петушиных криков, ни стука ходиков, ни звёзд на непроглядном небе.

К рассвету Вера Севастьяновна ушла в stodолу, чтобы прилечь на часок.

Когда за окнами начало мутно синеть, Лёля открыла глаза и позвала меня. Я наклонился над ней. Она слабо оттолкнула меня и долго смот-

рела мне в лицо с такой нежностью, с такой печалью и заботой, что я не выдержал, у меня сжалось горло и я заплакал— впервые за долгие годы после своего полузабытого детства.

— Не надо, братик мой милый,— сказала Лёля. Глаза её были полны слёз, но они не проливались.— Поставьте на табурет кружку с водой. Там, в стодоле, есть клюквенный экстракт. Принесите... Мне хочется пить... Что-нибудь кислое...

Я встал.

— Ещё...— сказала Лёля.— Ещё я хочу... счастье моё единственное... не надо плакать. Я всех забыла... даже маму... Один вы...

Я рванул к двери, принёс Лёле воды и быстро вышел из халупы. Когда я вернулся из стодолы с клюквенным экстрактом, Лёля спокойно спала, и её лицо с полуоткрытым ртом поразило меня неестественной бледной красотой.

Я опоздал со своим экстрактом. Лёля, не дождавшись меня, выпила воду. Она немного расплескала её на полу около койки.

Я не помню, сколько времени я сидел около Лёли и охранял её сон. В оконце уже вползал мутный свет, когда я заметил, что Лёля не дышит. Я схватил её руку. Она была холодная. Я никак не мог найти пульс.

Я бросился в стодолу к Вере Севастьяновне. Врач тоже вскочил и побегал с нами в хату, где лежала Лёля.

Лёля умерла. Вера Севастьяновна нашла под её платьем на табурете коробочку от морфия. Она была пустая. Лёля уснула за клюквенным экстрактом, чтобы принять смертельную дозу морфия.

— Ну что ж, — промолвил врач. — Она заслужила лёгкую смерть.

Вера Севастьяновна молчала.

Я сел на пол около койки, спрятал голову в поднятый воротник шинели и так просидел не помню сколько времени. Потом я встал, подошёл к Лёле, поднял её голову и поцеловал её глаза, волосы, холодные губы.

Вера Севастьяновна оттащила меня и приказала сейчас же прополоскать рот какой-то едкой жидкостью и вымыть руки. Я не помню, сделал ли я это. Должно быть, сделал.

Мы выкопали глубокую могилу на бугре за деревней, около старой ветлы. Эту ветлу было видно издалека.

Санитары сколотили гроб из старых чёрных досок.

Я снял с пальца у Лёли простое серебряное колечко и спрятал его в свою полевую сумку.

В гробу Лёля была ещё прекраснее, чем перед смертью.

Когда мы закапывали могилу, слышались винтовочные выстрелы. Их было немного, и они раздавались через равные промежутки времени.

В тот же день мы узнали, что никакого оцепления нет. Его сняли, не предупредив нас. Может быть, эти выстрелы и были предупреждением, но мы не поняли этого.

Мы тотчас же ушли из деревни. Вокруг всё было пусто.

Когда мы отъехали с полверсты, я остановился и повернул коня. Позади в слабом тумане, в хмуром свете осеннего дня был виден под облепавшей ветлой маленький крест над могилой Лёли — всё, что осталось от трепещущей девичьей души, от её голоса, смеха, её любви и слёз.

Вера Севастьяновна окликнула меня.

— Поезжайте,— сказал я.— Я вас догоню.

— Дайте честное слово?

— Поезжайте!

Обоз тронулся. Я всё стоял, не слезая с коня, и смотрел на деревню. Мне казалось, что если я чуть двинусь, то порвётся последняя нить жизни, я упаду с коня и всё будет кончено.

Обоз несколько раз останавливался, поджидал меня, потом скрылся за перелеском.

Тогда я вернулся к могиле. Я соскочил с коня и не привязал его. Он тревожно раздувал ноздри и тихонько ржал.

Я подошёл к могиле, опустился на колени и крепко прижался лбом к холодной земле. Под тяжёлым слоем этой мокрой земли лежала молодая женщина, родившаяся под счастливой звездой.

Что же делать? Гладить рукой эту глину, что прикасается к её лицу? Разрыть могилу, чтобы ещё раз увидеть её лицо и поцеловать глаза? Что делать?

Кто-то крепко схватил меня за плечо. Я оглянулся.

За мной стоял санитар Сырокомля. Он держал за повод серого коня. Это был конь врача из летучки.

— Пойдёмте! — сказал Сырокомля и смущённо взглянул на меня светлыми глазами. — Не надо так!

Я долго не мог попасть ногой в стремя. Сырокомля поддержал мне его, я сел в седло и поехал шагом прочь от могилы по свинцовым холодным лужам.

### Бульдог

В Барановичах я отряда не застал. Он уже ушёл дальше, на Несвиж. Так мне сказал комендант.

Мне не хотелось даже на короткое время возвращаться в госпиталь. Трудно было встречаться с людьми.

Я переночевал под городом в путевой железнодорожной будке по дороге на Минск, а утром выехал в Несвиж.

Коня я не торопил. Он шёл шагом, иногда даже останавливался и о чём-то думал. Или просто отдыхал. Отдохнув, он снова шёл дальше, покачивая головой.

Был свежий осенний день без дождя, но с сизыми тучами. Они низко лежали над землёй.

Днём я добрался до какого-то местечка. Я не помню его названия. Я решил остаться в нём до завтрашнего утра. Отступление замедлилось, и наш отряд не мог уйти дальше Несвижа. Я был уверен, что завтра его догоню.

Местечко теснилось в котловине на берегу большого пруда. В конце его, у старой мельничной плотины, шумела вода. Шум её был хорошо слышен повсюду. Над прудом стояли, наклонившись, тёмные ивы, и казалось, что они вот-вот потеряют равновесие и упадут в глубокую воду.

Я расспросил старух-евреек, где бы мне остановиться на ночь. Мне показали старую корчму — дощатый дом весь в щелях, пропахший керосином и селёдкой.

Владелец корчмы — низенький еврей с копной рыжих волос на голове — сказал, что у него есть, конечно, место, где переночевать, в каморке, но там уже остановился артиллерийский офицер и как бы нам не было тесно.

Он провёл меня в узкую, как гроб, каморку. Офицера там не было, но стояла его походная койка. Оставалось место как раз для второй койки, но проход между ними был так узок, что сидеть на койках было нельзя.

— Вот тут и ночуйте, — сказал корчмарь. — У нас тихо, клопов нет — ни боже мой! Можно сготовить яичницу или, если пан любит, закипятить молоко.

— А как же офицер? — спросил я. — Согласится?

— Ой, боже ж мой! — закричал корчмарь. — Это же смех! Двойра, ты слышишь, что они спрашивают? Это не офицер. Это божий серафим.

Я поставил коня в сарай, задав ему корму, и пошёл в местечко.

Мне не хотелось ни самому говорить, ни слушать других. Каждое сказанное или выслушанное слово увеличивало расстояние между Лёлей и мной. Я боялся, что боль притупится, постареет. Я берёг её, как последнее, что осталось от недавней любви.

Единственное, что не раздражало и от чего мне не хотелось скрыться, уйти, — это стихи. Они возникали неведомо почему и неведомо откуда, из глубины памяти, и их утешительный язык не был навязчивым и не причинял боли.

Я пошёл к пруду, сел на берегу под ивой и слушал, как шумит в гнилом лотке вода.

К вечеру облака покрылись слабым жёлтым налётом. Где-то за пределами земли просвечивало скудное солнце. Жёлтое небо отражалось в воде. Под ивами было темно и сыро.

Неожиданно я вспомнил давно прочитанные стихи:

Свой дом у чёрных ив открыл мне старый мельник  
В пути моём ночном...

Ничего особенного не было в этих словах. Но вместе с тем в них было целебное колдовство. Одиночество ночного пути вошло в меня, как успокоение.

Но тут же я сжал голову руками — далёкий милый голос сказал знакомые слова откуда-то издалека, из промозглых обветренных странств. Там сейчас густые сумерки над брошенной могилой. Там осталась девушка, с которой я не должен был бы расставаться ни на один час в жизни. Я хорошо слышал слова: «Нет имени тебе, весна. Нет имени тебе, мой дальний». Это были её любимые стихи. Я говорил их сейчас сам, но звуки моего голоса доходили до меня, как отдалённый голос Лёли. Но его ведь никто и никогда больше не услышит. Ни я и никто другой.

Я встал и пошёл в поле за местечко.

Сумерки заполнили весь воздух между небом и порыжелыми полями. Уже плохо было видно дорогу, но я всё шёл и шёл. В стороне Луинца поднялось тусклое зарево. На севере в полях зажглась над одинокой и тёмной хатой белая звезда.

«Счастливая звезда! — подумал я. — Она поверила в неё за несколько дней до смерти».

Нет, никогда человек не сможет примириться с исчезновением другого человека!

В корчму я возвратился в темноте. В каморке уже была приготовлена для меня койка. На соседней койке лежал офицер-артиллерист с тёмным лицом и выгоревшими бровями. Он читал при свече книгу.

Когда я вошёл, из-под койки офицера раздалось хриплое ворчание.

— Тубо, Марс! — крикнул офицер, приподнялся и протянул мне руку. — Поручик Вишняков. Очень рад соседу. Как-нибудь тут проспим до утра?

Он сказал эти слова неуверенным тоном.

— Двойра! — крикнул за стеной корчмарь. — Спытай господ офицеров, чи, может, они хотят покушать?

Я есть не хотел. Я только выпил чаю и тотчас лёг. Сосед мой оказался человеком молчаливым. Это меня успокоило.

Из-под его койки вылез большой жёлтый бульдог, подошёл ко мне и долго и внимательно смотрел в лицо.

— Это он просит сахару, — сказал офицер. — Не давайте. Привык попрошайничать. Мученье на фронте с собакой. Но бросить жалко — сторож прекрасный.

Я погладил бульдога. Он взял зубами мою руку, минуту подержал, чтобы напугать меня, потом выпустил и застучал хвостом по моим сапогам. Пёс был, видимо, общительный.

Я долго лежал, закрыв глаза. Ещё с детства я любил так лежать, прикинувшись спящим, и выдумывать всякие необычайные случаи с собой или путешествовать с закрытыми глазами по всему миру.

Но сейчас мне не хотелось ни выдумывать, ни путешествовать. Я хотел только вспоминать.

И я вспоминал всё пережитое вместе с Лёлей и досадовал, что так долго мы жили рядом, но были далеки друг от друга. Только в Одессе, на Малом Фонтане, всё стало ясным и для неё и для меня. Нет, пожалуй, раньше, когда мы сидели в бедной польской хате над рекой Вепржем и слушали сказку о жаворонке с золотым клювом. Нет, должно быть, ещё раньше, в Хенцинах, когда лил дождь и Лёля всю ночь сидела на табурете около моей койки.

Потом я вспомнил о Романине. Что случилось с ним? Почему он стал со мной так груб? Должно быть, в этом была моя вина. Я понимал, что мог раздражать его своей уступчивостью — её он называл расхлябанностью, своей склонностью видеть хорошее иногда даже во враждебных друг другу вещах — он называл это бесхребетностью. Для него я был «развинченным интеллигентом», и мне это было тем обиднее, что Романин только по отношению ко мне был так пристрастен и несправедлив. «Честное слово, — говорил я себе, — я совсем не такой». Но как доказать ему это?

Ночью меня разбудил грохот окованных колёс. Через местечко проходила артиллерия. Потом я задремал, может быть, даже уснул.

Проснулся я от страшного мутного воя в каморке. В первую секунду я подумал, что это воеет бульдог. Соседняя койка трещала и тряслась.

Я зажёл свечу. Мычал и выл офицер. Его подбрасывало, и изо рта у него текла жёлтая пена.

Это был припадок эпилепсии, падучей болезни. Таких припадков я видел много ещё на тыловом санитарном поезде и знал, что в таких случаях делать.

Надо было засунуть в рот офицеру ложку и прижать язык, чтобы он не откусил его или не подавился им.

Стакан с холодным чаем стоял на подоконнике. В стакане была ложка. Я схватил её и хотел засунуть офицеру в рот, но было так тесно и он так сильно бился и изгибался, что мне это никак не удавалось.

Я сильно прижал офицера за плечи, но тут же почувствовал резкую боль в затылке. Что-то тяжёлое повисло на моей спине. Ещё ничего не понимая, я встряхнул головой, чтобы сбросить эту тяжесть, и тогда наконец ясно ощутил острые клыки, впившиеся в мою шею.

Бульдог бесшумно бросился на меня сзади, защищая хозяина. Он, очевидно, думал, что я душу его.

Бульдог сделал глотательное движение сжатыми челюстями. Кожа у меня на шее натянулась, и я понял, что через секунду потеряю сознание.

Тогда последним усилием воли я заставил себя вытащить из-под подушки браунинг и выстрелил назад около своего уха.

Я не слышал выстрела. Я только услышал тяжёлый удар упавшего тела и оглянулся. Бульдог лежал на полу. Кровь текла у него из оскаленной морды. Потом он судорожно дёрнулся и затих.

— Ратуйте! — закричал за стеной корчмарь. — Ратуйте, люди!

— Тихо! — крикнул я ему. — Идите сюда! Мне надо помочь.

Корчмарь пришёл в одном белье с толстой свечой в серебряном подсвечнике. Глаза у корчмаря побелели от страха.

— Держите его, — сказал я корчмарю. — Я засуну ему в рот ложку, иначе он может откусить язык. Это падучая.

Корчмарь схватил офицера за плечи и навалился на него. Я засунул ложку в рот и повернул её ребром. Офицер зажал ложку с такой силой, что у него скрипнули челюсти.

— Пане, у вас кровь на спине, — тихо сказал мне корчмарь.

— Это собака. Она бросилась. Я застрелил её.

— Ой, что ж это делается на свете! — закричал корчмарь.

Офицер как-то сразу обмяк и затих. Припадок кончился.

— Теперь он будет спать несколько часов, — сказал я. — Надо убрать собаку.

Корчмарь унёс бульдога и закопал его на огороде. Пришла Двойра — худая женщина с добрым, покорным лицом. Я достал из сумки индивидуальный пакет, и Двойра промыла и перевязала мне ссадины на шее.

Я сказал корчмарю, что не хочу встречаться с офицером и, как только начнёт светать, тотчас уеду.

— Таки верно! — согласился корчмарь. — И ему невесело, и вам неприятно, хоть и нет виноватого в этом деле. Идёмте к нам. Двойра, стань самовар. Попейте чайку на дорогу.

Когда я пил жидкий, но горячий чай на половине у корчмаря, Двойра сказала:

— Подумать только! Ещё минута — и он бы вас задушил. Я прямо вся трясусь, как вспомню.

Шея болела. Трудно было повернуть голову.

— Теперь жизнь не жизнь! — сказал корчмарь и вздохнул. — И копейка совсем не копейка, а мусор. Вот бы приехали вы до нас в мирное время. Каждый день имел свой порядок и своё удовольствие. Я открою утречком рано корчму, подъезжают на фурах добрые люди — кто на базар, а кто на мельницу. Я их всех знаю кругом на пятьдесят вёрст. Заходят до корчмы и кушают и пьют — кто чай, а кто горилку. И весело смотреть, как люди кушают простую пищу: хлеб и лук или колбасу и помидоры. И идёт хороший разговор. Про цены, про урожай и помол, про картошку и сено. И я знаю ещё про что! Про всё на свете. Тихое время для души, а за грошами я никогда не гнался. Абы было прожить да хватило на кербач господину исправнику. У меня была одна думка — дать детям образование. Так они уже получают его, это образование, солдатами в армии. Всё пошло в помол, вся наша жизнь.

Начало светать. Густой туман лежал над землёй. Деревья в тумане казались больше, чем они были на самом деле. Туман предвещал ясный день.

Я попрощался с корчмарём. Он попросил, чтобы я оставил записку офицеру. Я написал: «Извините. Я вынужден был застрелить вашу собаку».

Когда я отъехал от местечка несколько вёрст, взошло солнце. Всё блестело от росы. Ржавые рощи были освещены ранним солнцем. Издали казалось, что они тлеют тёмным жаром. Удивительно свежий воздух стоял над землёй, будто он был долго заперт и это утро впервые выпустило его на волю.

Я остановил коня, достал из полевой сумки серебряное колечко и надел его на мизинец. Оно показалось мне очень тёплым.

Свой отряд я догнал в селе Замирье под Несвижем.

### Гнилая зима

В октябре на фронте наступило затишье. Наш отряд стоял всю зиму в Замирье, вблизи железной дороги из Барановичей в Минск.

Ничего более унылого, чем это село, я не видел в жизни. Низкие обшарпанные хаты, плоские, голые поля и ни одного дерева вокруг.



Этот угрюмый пейзаж дополняли грязные обозные фуры, косматые худые лошади и обозные солдаты, совершенно потерявшие к тому времени «бравый воинский вид». Их облезлые папахи из искусственной мерлушки были драные, наушники торчали в стороны, как перебитые птичьи крылья, ватники блестели от сала, шинели были подпоясаны вервием, и почти у каждого обозного торчала во рту, прилипнув к губе, изжёванная махорочная цыгарка.

Поздняя осень пришла чёрная, без света. Окна в нашей хате всё время стояли потные. С них просто лило, и за ними ничего не было видно.

Обозы увязали в грязи. В двери дуло. С улицы наносили сапогами липкую глину. От этого в хате всегда было грязно и неудобно. Нам с Романиным всё это надоело. Мы вымыли и прибрали хату и никого в неё не пустили без надобности.

Когда я вернулся в отряд, Романин крепко меня обнял, будто между нами не было никаких недоразумений. Очевидно, раньше всё это случилось от усталости.

Он отвернулся, чтобы скрыть слёзы, и сказал, что я «форменная скотина» и что из-за меня он просто поседел. При этом он показал седой клочок волос. Клочок этот у него был всегда, но сейчас он, правда, стал белее и больше.

Я рассказал Романину о смерти Лёли. Он сидел за столом, долго сморкался, и глаза у него покраснели. Я старался не смотреть на него. Потом он ушёл и вернулся пьяный, но тихий. Этого с ним ещё никогда не бывало.

Гронского я уже не застал. Он заболел психическим расстройством, и его эвакуировали в Минск.

Вместо Гронского нам прислали нового уполномоченного, известного деятеля кадетской партии и присяжного поверенного Кедрина. Это был низенький старик с седой эспаньолкой и в строгих очках. В своей серой бекеше он напоминал большую умную крысу. Его так и прозвали «многуважаемая крыса».

Говорил он скучно, вежливо, в военных делах был наивен до безобразия, деревни не знал, подлинной жизни не знал, занимался политическими выкладками и «анализом создавшегося положения» и, в общем, торчал в Замирье среди быстро разлагавшихся армейцев, как белая ворона.

Беженцев осталось мало. Большая часть их осела по окрестным сёлам. Работы у нас не было, и Романин затеял строить в Замирье баню.

Постепенно в постройку бани втянулось множество народу, томившегося без дела. Постройка превратилась в целую эпопею. Из Минска и даже из Москвы приезжали уполномоченные, техники, военные инженеры, специалисты по баням и печам. Романин со всеми спорил, ссорился, даже кое-кого выгонял.

Вшивый тыл ждал бани, как чуда. На Романина смотрели, как на отца и благодетеля. Даже обозные солдаты и те козыряли Романину и повиновались ему.

Кедрин по поводу постройки бани произносил за вечерним чаем обширные речи, очень умело построенные, подымавшиеся даже до обобщений. Банное дело не только философски обосновывалось, но и изображалось как одно из звеньев прогрессивной политики кадетской партии, которая в конце концов осчастливит «измученную матушку Русь».

Речи Кедрина пестрили цитатами и именами. Он упоминал Туган-Барановского, Струве, даже Лассалья. Такие речи не стыдно было «закачать», как говорил Романин, даже с трибуны Государственной Думы.

Но, в общем, все эти кедринские речи давали нам обильную пищу для шуток над престарелым кадетом. Кедрин шутки принимал всерьёз и каждый раз сильно волновался.

Меня Романин всё время гонял то в Несвиж, то в Мир, то в Слуцк и Минск за материалами для бани.

Однажды в нашей хате появился рыжебородый человек в шинели внакидку. Папаха его непостижимым образом держалась на самом затылке. Глаза смеялись. Голос у рыжебородого был шумный, но приятный.

Он представился специалистом по баням и вошебойкам. Фамилию его никто не знал. Все звали его Рыжебородым.

Он ворвался в нашу хату, поселился в ней, и с тех пор банный вопрос приобрёл ещё более широкий характер.

Начались разговоры об устройстве римских бань, воспоминания о Сандуновских банях в Москве, о горячих банях в Тифлисе, о том, как превосходно описал их Пушкин, о пушкинской прозе, о прозе вообще — её Рыжебородый считал «богом искусства», — о том, чья проза лучше — Пушкина или Лермонтова, о плане «Войны и мира», якобы вкратце набросанном Лермонтовым и попавшем в руки Льву Толстому, о похоронах Толстого в Ясной Поляне, об «Анне Карениной», об охоте Левина на вальдшнепов, вообще об охоте и о чеховской «Чайке». В конце концов обнаружилось, что Рыжебородый бывал у Чехова в Ялте, ставил чеховские пьесы в провинциальных театрах, свободно говорил по-французски и к постройке бань никогда не имел никакого отношения.

Мы никак не могли выяснить его профессию. На прямые вопросы он отвечал стихами Максимилиана Волошина. Эти стихи, по его словам, хорошо выражали характер его жизни:

Изгнанники, скитальцы и поэты,  
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог.  
Для птиц — гнездо, для зверя — тёмный лог,  
Но посох нам и нищенства заветы.

Через два дня после появления Рыжебородого мы уже не могли себе представить, как можно было жить в проклятом Замирье без этого человека.

Рыжебородый совершенно не считался с Кедриним. Когда Кедрин пускался в нудные свои речи и мешал общему разговору, Рыжебородый говорил с добродушной улыбкой:

— Старик, погоди! Тебя вызовут.

Иногда, чаще всего по ночам, разговоры приобретали жгучий характер. Говорили о революции.

Романин был настроен по-эсеровски, Кедрин тянул свою кадетскую профессорскую канитель, а Рыжебородый говорил, что и Романина и Кедрина сметёт к чёртовой бабушке рабочая революция. Всё чаще стали повторяться имя Ленина и слово «Интернационал».

Когда Рыжебородый говорил, все замолкали. Казалось, был уже слышен гул народных толп, гул революции, накатывающейся на Россию, как океан, смывающий плотины.

Даже Кедрин не прерывал Рыжебородого. Он только протирали трясущими пальцами очки, страшно фыркал носом, будто продувал его, и вздёргивал плечи. Это было у Кедрина выражением наивысшего возмущения, равно как и слово «па-а-звольте!». Его он произносил надменно и вызывающе. Но на этом запал у Кедрина обыкновенно кончался, и он шёл спать, сокрушённо бормоча и аккуратно складывая на табурете своё земгусарское обмундирование.

Но однажды, когда к нам пришла из соседнего отряда в гости сестра, по прозвищу «Маслина», Кедрин был изобличён в том, что он отчаянный дамский угодник.

Он вытащил из своего чемодана и подарил сестре флакон парижских духов «Коти». Сестра игриво водила глазками и глупо хохотала от счастья. Кедрин семенил около неё, потирал руки, пока Рыжебородый не прикрикнул на него:

— Старик, уймись! Тебя вызовут!

После Февральской революции Кедрин был одно время комиссаром Временного правительства на Западном фронте. Легко представить себе, сколько он наговорил беззубых и тошнотворных речей. Если солдаты не убили его за это, то просто Кедрину повезло.

Я много ездил в ту зиму по маленьким городам и местечкам. Ездил то верхом, то на поездах.

Тогда Белоруссия выглядела так, как выглядел бы старинный пейзаж, повешенный в замызганном буфете прифронтовой станции. Следы прошлого были ещё видны повсюду, но это была только оболочка, из которой выветрилось содержимое.

Я видел замки польских магнатов — особенно богат был замок князя Радзивилла в Несвиже, фольварки, еврейские местечки с их живописной теснотой и запущенностью, старые синагоги, готические костёлы, похожие здесь, среди чахлых болот, на заезжих иностранцев. Видел полосатые верстовые столбы, оставшиеся от николаевских времён.

Но уже не было ни прежних магнатов, ни пышной и бесшабашной их жизни, ни покорных им «хлопов», ни доморощенных раввинов-философов, ни грозных Судных дней в синагогах, ни истлевших польских знамён времён первого «повстанья» в костельных алтарях. Правда, старые евреи в Несвиже могли ещё рассказать о потехах Радзивилла, о тысячах «хлопов», стоявших с факелами вдоль дороги от самой русской границы до Несвижа, когда Радзивилл встречал свою любовницу — авантюристку Кингстон, о многошумных охотах, пирах, самодурстве и шляхетском чванстве, глуповатой спеси, считавшейся в те времена паспортом на вельможное «панство». Но рассказывали они об этом уже с чужих слов.

А сейчас, во время войны, устоявшийся быт, так же как и эти тусклые воспоминания, стёрла до основания война. Она затоптала его, загнала в последние тихие норы, заглушила хриплой руганью и ленивым громом пушек, стрелявших и зимой, но только чтобы прочистить горло.

Но в бестолочи и военной сумятице явно выступали черты нового, переломного времени, и на сердце было тревожно, как перед медленно идущей грозой.

Зима стояла гнилая. Снег падал и раскисал. И так лежал, раскисший, неделями. Земля была покрыта грязной снежной кашей. Сырые ветры упорно дули из Польши, вороша перепрелую солому на белорусских халупах.

Я любил свои поездки потому, что оставался один. После того, что случилось осенью, я ещё не мог избавиться от отчуждённости и воспоминаний. Каждодневная жизнь растрёпывала по частям и засоряла память о Лёле. Я начинал забывать её голос, и это меня пугало.

Во время этих поездок я с непонятным упорством подвергал себя всяким лишениям — промокал, промерзал до костей, спал в стодолах, а то и просто на земле, почти ничего не ел и только курил одну за другой отсыревшие кислые папиросы.

Любой пустяк вызывал внутреннюю дрожь, печальные мысли и растерянность.

Так было, например, в Молодечно. Я ночевал в пустом нетопленном вагоне третьего класса на запасных путях. Проснулся я на рассвете. Всем

знакомы эти тугие зябкие рассветы, неохотно вытесняющие такую же тугую ночь. Хозяева зимы — это ночи, а дни живут зимой, как нахлебники, стараясь поменьше попадать на глаза.

Я лежал под шинелью на деревянной лавке и даже немного согрелся. На путях заиграл на трубе горнист. Должно быть, на станции стоял эшелон. Звук трубы был плачущий, звенящий. Всё задрожало во мне, и я вдруг понял, прислушиваясь к плачу трубы, всю беспомощность той среды, к которой я принадлежал, всю мою разлаженную, неприятную и одиночную жизнь. Я вспомнил о маме, братьях, сражающихся где-то на соседних фронтах, о Лёле, о том, что сердце ожесточается без заботы, без человеческой ласки.

Где причина этой заброшенности? Я хотел понять её. Очевидно, в том, что мы пришли в жизнь от книг, от туманной поэзии, от прекраснотных мыслей и народ проходил мимо нас равнодушно и даже не замечал, — не такие, должно быть, были ему нужны сыновья и помощники.

Как-то в начале декабря я возвращался верхом в Замирье из очередной поездки. Я сбился с пути и выехал на дорогу вблизи передовых позиций.

Был угрюмый вечер. Дорога обледенела. Конь шёл шагом, стараясь не поскользнуться. Вскоре стало так темно, что не было видно даже кустов по сторонам.

Впереди я услышал отдалённый грохот. Конь насторожился и заплесал. Я прислушался и узнал знакомый грохот армейского обоза. Хотя он был ещё очень далеко, я всё же свернул коня на обочину дороги — всем нам хорошо было известно, как ездили, ни на что не глядя, обозные солдаты.

Внезапно я услышал тонкий свист. Впереди над дорогой лопнула со слабой вспышкой шрапнель. Потом другая, третья. Немцы били по дороге, это было ясно.

В перерывах между взрывами отчётливо было слышно, что обоз уже мчит галопом. Там, должно быть, началась обычная паника.

Одна шрапнель лопнула рядом. Я не заметил её. Но что-то случилось с моей левой ногой. Она стала, как ватная.

Я быстро опустил руку к сапогу и попал пальцами во что-то жидкое и тёплое. Подымая руку, я ощутил в ноге такую боль, будто её расщепили, схватился за луку седла, но не удержался и упал на дорогу. Должно быть, я упал на раненую ногу, потому что на мгновение потерял сознание.

Когда я пришёл в себя, бешеный грохот обоза был уже рядом. Я схватился за стремя и крикнул на коня. И он, храпя и осторожно перебирая ногами, оттащил меня с дороги в придорожную канаву.

Я лежал, держался за стремя, а в двух шагах от моего лица с воплями, свистом и грохотом мчался обоз — храпели обезумевшие лошади и подскакивали кованые колёса. Мне казалось, что этому не будет конца.

Потом всё стихло. Конь обнюхал меня и встревоженно заржал. Пять минут я потерял на то, чтобы достать из кармана электрический фонарик и зажечь его. После этого я уже ничего не помню. Очевидно, я опять потерял сознание, а фонарик лежал рядом со мной и светил.

По его свету меня нашли и подобрала солдаты-телефонисты, ехавшие на двуколке в Несвиж, кое-как перевязали, перевезли в местечко и сдали в полевой госпиталь.

В госпитале в Несвиже я пролежал около месяца. Рана была лёгкая, кость не задело. Лежал я один. Раненых не было.

Романин часто приезжал ко мне. Баня была наконец открыта, и Романин сиял.

Раза два приезжала «многоуважаемая крыса», Кедрин; он, озираясь, рассказывал мне о Распутине, о «разложении императорского дома», и сидя его эспаньолка тряслась от страха и негодования.

В это время на Западный фронт приезжал Николай Второй. Он «посетил» и Замирье. Ко времени его приезда было приказано привести село в порядок. Это выразилось в том, что из лесу привезли много ёлок и замаскировали ими самые дрянные халупы.

В больнице я много читал. В то время все увлекались скандинавскими писателями — Ибсеном, Стриндбергом, Гамсуном, Бангом. Я читал Ибсена — этого великого чернорабочего человеческого душ. Потом мне попала книга Муратова «Образы Италии», и я погрузился в горьковатый воздух музеев и итальянских соборов. Я мысленно видел высокие холмы Перуджии, тонущие в голубоватом тумане и мягко озарённые солнцем.

Я начал читать «Жизнь человека» Леонида Андреева, но отложил эту книгу ради простой и чистой чеховской «Степи».

Началась тоска по России. Чаще всего я вспоминал брянские леса, как самый счастливый, самый блаженный уголок земли. Я вспомнил лесные овраги, реки и порубки, заросшие молодыми сосенками и берёзами, пунцовым иван-чаем, белыми шапками серебрянки. Там золотой край, лёгкое дыхание, покой. Я хотел этого покоя до слёз. Но кто мог дать мне его!

Вскоре я уже начал бродить с костылями, и мне позволили даже выходить в местечко. Я заходил отдохнуть к знакомому часовщику. Со всех сторон осторожно тикали часы, на окне цвела пеларгония, и часовщик, глядя в чёрную лупу, рассказывал мне местечковые новости.

Мне давали газеты и журналы, чаще всего «Огонёк». Я рассматривал в нём однообразные батальные рисунки художника Сварога и десятки фотографий офицеров, погибших на фронте. Газеты были полны неясных намёков на Николая и Алису, Распутина и Горемыкина, — чёрная тень вороньего крыла упала на Россию.

Романин часто присылал мне небольшие посылки — сыр, колбасу, сахар.

Как-то от нечего делать я начал просматривать старую измятую газету. В неё был завернут сыр, и газета была в жирных пятнах.

В отделе погибших на фронте было напечатано: «Убит на Галицийском фронте поручик сапёрного батальона Борис Георгиевич Паустовский», и немного ниже — «Убит в бою на Рижском направлении прапорщик Навагинского пехотного полка Вадим Георгиевич Паустовский».

Это были два моих брата. Они погибли в один и тот же день.

Главный врач госпиталя, несмотря на то, что я был ещё слаб, отпустил меня. Мне дали санитарную повозку, и она отвезла меня в Замирье. А вечером я выехал из Замирья в Москву, к маме.

### Печальная суета

Мама совершенно высохла, даже стала ниже ростом. Но на лице у неё оставалось прежнее выражение обиды и замкнутого горя, которого никто не в силах понять.

Когда я приехал, со дня смерти братьев прошло больше месяца. Мама плакала редко. Она вообще не была склонна к слезам.

Сестра Галя, когда говорила о братьях, начинала дрожать, но только в отсутствие мамы. При маме она сдерживалась.

К тому времени я уже посмотрелся на человеческое горе и заметил, что люди почти всегда стараются смягчить его. Легче всего в то время это удавалось старикам, верившим во встречу после смерти, в то, что душа умершего уходит в блаженные края.

Что может смягчить горе? Воспоминания, друзья, природа, сознание, что человек оставил после себя добрую память, заботы об оставшихся близких.

У мамы и Гали горе было сухое, замкнутое.

Надо было жить. Маме надо было жить ради Гали, а Гале — ради того, чтобы мама могла о ней, Гале, заботиться.

Я не знал, чем помочь. Я сам был жестоко подавлен этой двойной одновременной смертью. Между нами, братьями, было мало общего. Все мы были очень разные. Но это ещё усиливало жалость к ним, уже не живущим.

Избавление пришло случайно. Я спросил Галю, что они с мамой знают об обстоятельствах гибели братьев. Оказывается, они ничего об этом не знали.

— Так надо узнать.

— Как? — спросила Галя.

— Написать в те части, где они служили. Найти их товарищей, найти тех, кто был с ними в день гибели. Попросить прислать все их письма, дневники, документы — всё, что осталось.

Я не подозревал, какое действие окажут эти слова. Появилась цель жизни. Появилась задача.

Галя рассказала об этом маме, и со следующего же дня началась упорная, лихорадочная, не отступающая ни перед чем деятельность.

Галя с мамой писали письма в Действующую армию. Они всюду разыскивали сослуживцев Димы и Бори, даже лежавших по лазаретам или освобождённых из армии. Они узнавали фамилии солдат, бывших в подчинении у братьев. Всюду они посылали запросы.

Мама, кроме того, начала хлопотать о пенсии.

Начали приходить ответы. Почти всё время у мамы с Галей уходило теперь на их обсуждение, на сопоставление фактов, чтобы точно выяснить обстоятельства гибели братьев, на повторные запросы по поводу неясных мест в полученных письмах.

Дима, оказывается, вёл дневник — всего несколько страниц оборванных записей. Расшифровка этого дневника тоже занимала целые дни.

В переписку было втянуто много людей. Каждый из них хотя и вскользь, но упоминал об обстоятельствах собственной жизни. Так появились новые заочные знакомства, освящённые памятью братьев. Жизнь новых знакомых искренне интересовала маму и Галю. Мама, по своей привычке учить людей, как она говорила, «честным и благоразумным поступкам», уже писала им длинные письма, полные советов, уговоров и ссылок на опыт собственной жизни.

Со стороны это было трогательно и тяжело, когда старая несчастная женщина, очутившаяся у разбитого корыта, учила других правильно жить.

Так горе постепенно растворялось в чужих жизнях, в судорожной деятельности, в горькой этой суете. Я был рад этому, хотя и понимал, что скоро придёт отрезвление. Что будет тогда?

У моей киевской тётушки Веры Григорьевны была на реке Припяти маленькая лесная усадьба, по названию Копань. Тётя Вера давно уже сокращалась, что усадьба стоит заброшенная и некому заняться хозяйством. Она несколько раз предлагала маме переехать с Галей в Копань, но мама не соглашалась из-за необходимости жить с Димой и Галей в Москве.

Сейчас тётя Вера снова позвала маму с Галей в Копань. Мама охотно согласилась.

Решено было ехать ранней весной. Мама с этой минуты успокоилась и даже повеселела. Наступил просвет.

Мама уже строила планы, как она приведёт в порядок усадьбу и добьётся с ничтожными затратами такого её расцвета, какой «Вере, с её безалаберностью, конечно, никогда и не снился».

Обо мне мама не тревожилась. Я как-то услышал разговор Гали с мамой.

— Почему Костик спокойнее нас с тобой? — спросила Галя.

— У него другая жизнь, — ответила мама. — Он много ездил, видел и встречался с разными людьми. И у него, конечно, свои интересы. Вечный бродяга! Вроде отца.

В этом отзыве была, конечно, доля осуждения. Отцовская «охота к перемене мест», по мнению мамы, привела к обнищанию и расстройству нашу семью.

Для мамы существовал только долг. Один долг и ничего сверх этого. Все радости она находила в исполнении самой себе поставленного долга.

А отец, по выражению мамы, «брал жизнь горстями», на что способен, конечно, только безнадёжный эгоист.

Такова была мамина жизненная философия в старости.

Для поправки после ранения я получил в Союзе Городов отпуск на два месяца. В марте я должен был вернуться в отряд.

Пока же мне предложили в том же Союзе Городов заняться отправкой из Москвы на фронт медикаментов и продовольствия. Это давало лишний заработок, и я согласился. Надо было накопить денег для маминой поездки в Копань.

Обязанности мои сводились к тому, чтобы нанимать ломовых извозчиков, ездить с ними на склады, получать медикаменты и другие товары, доставлять на товарные станции и сдавать для отправки в отряды Союза Городов.

Каждое утро я приходил на Варварскую площадь. Там была биржа ломовиков.

Законы найма были суровые. Ни с кем из ломовиков в отдельности сговариваться было нельзя. За это могли избить.

Ломовики, огромные бородатые мужики в тулупах, — поверх тулупов они ещё носили брезентовые фартуки, — зычные ругатели и остряки, стояли толпой на площади. Каждый из них должен был быть на виду у старосты, чтобы не пытался перехватить нанимателя и обмануть артель.

К ломовикам надо было протискиваться через стаи откормленных голубей.

Как только появлялся наниматель, староста срывал с себя шапку, все извозчики бросали в неё свои медные номера и староста, позванивая шапкой, шёл навстречу нанимателю.

Наниматель вытаскивал столько номеров, сколько ему нужно было «полков» — ломовых дрог.

До жеребьёвки происходил ожесточённый торг, хотя давно были известны освящённые десятилетиями цены за перевозку и погрузку.

За месяц этой работы я изучил почти все товарные станции Москвы и множество её амбаров и складов.

Это был огромный и мало кому известный мир со своими нравами. Впечатление было такое, что крали все — заведующие складами, сторожа, грузчики, извозчики и особенно весовщики на товарных станциях. Извозчики крали открыто, а когда попадались, то применяли испытанный приём — лезли с ошеломляющей руганью в драку. Мало кому хотелось ввязываться в схватку с ражими этими мужиками, связанными к тому же круговой порукой.

Воровали всё — вплоть до старых гвоздей и старых рогож.

Это делалось внизу. А что происходило вверху, об этом можно было только догадываться.

Всё тёмное, мелкое и алчное было взвинчено до истерии примером Распутина. О нём говорили всюду.

Тобольский конокрад, кулак с блудливыми глазами властвовал над страной, сидел на российском престоле.

— Чем мы хуже Гришки Распутина, — гоготали ломовые извозчики и свистели походя вслед проходящим женщинам. — Навались, ребята! Тащи, пока есть что брать! Григорий Ефимович за нас постоит. Небось, знаем, как ханжу варят, как коней по ярмаркам воруют.

У всей этой банды воров было одно нерушимое правило — делиться. Делиться с каждым, кто замешан в краже, давать ему его «законную» долю.

А склады! Я видел огромные подвалы, набитые вещами для армии: папахами, что расплзались в руках, продувными шинелями из сукна, похожего на рядно, фуражками, потерявшими всякую форму, с поломанными козырьками и кокардами, бутсами с подошвами из горелой кожи, бязевым бельём, раздиравшим до крови тело, — столько в этой бязи было каких-то колючих остей.

Всё это зашивали в пахучие новые рогожи и отправляли на фронт. Пожалуй, рогожи были единственным добротным товаром в этом навале гнилья и брака.

Я не мог дожидаться окончания отпуска, чтобы поскорее вернуться в отряд. Издали он стал мне родным и милым.

Зима в Москве была тёплая — с грязным снегом, морозящими дождями, с гололедицей.

Пруды в Зоологическом саду оттаяли. На одном из них пронзительно кричала, как бы спрашивая: «Что же это? Боже мой, что же это?» — какая-то водяная птица. Крик её был хорошо слышен в квартире.

Я был занят только первую половину дня, рано возвращался домой, съедал скудный обед и уходил в свою клетушку над подворотней.

Мама с Галей шили, готовясь к отъезду. До половины ночи торопливо строчила швейная машина. Полы были засыпаны обрезками и нитками.

Я сидел у себя и писал. Писал о войне, о сверстниках, людях своего круга.

В этих людях было много непокоя и мечтательности. Я простодушно считал, что эти свойства не позволят мне и моим товарищам прожить бесславную жизнь и уйти, ничего не свершив, а только, как любил говорить Романин, «начадив на всю вселенную».

Несмотря на эту уверенность, я всё яснее видел, что рядом с этим поколением интеллигентов и людей, ставивших себя вне какого бы то ни было класса, считавших себя «солью земли», живёт напряжённой, но пока ещё неизвестной мне жизнью огромный слой народа, миллионы тех людей, что сами называют себя «наш брат-рабочий».

У них была подлинная жизненная сила, нетерпимость к злу, трезвая правда, выношенная на своём трудовом горбу. Эту правду нельзя было заглушить никакими, самыми прекрасными мелодиями стихов и затемнить никакой туманной философией модного в то время Бергсона. Её присутствие чувствовалось всюду, как некий упорный и напряжённый взгляд. И становилось совершенно понятно, что, не определив своего отношения к рабочему классу, к его борьбе, к его чаяниям, уже нельзя спокойно жить и работать в России.

Я начал писать повесть о молодом человеке моего времени. Я писал её долго и медленно. Она странствовала со мной все годы революции и гражданской войны и долго вылёживалась. В конце концов я напечатал её под названием «Романтики», но это было гораздо позже, в тридцатых годах.



Тогда же я написал несколько стихотворений и послал их одному крупному поэту. Я не надеялся, что он мне ответит, но он ответил. Я получил от него открытку. На ней крупным почерком было написано: «Вы живёте напетым со стороны».

Эта фраза занимала всю открытку.

В то время я жил двойной жизнью — подлинной и вымышленной. О подлинной жизни я пишу в этой книге. Вымышленная жизнь существовала независимо от подлинной и добавляла к ней всё, чего в этой подлинной жизни не было и быть не могло. Добавляла всё, что казалось мне заманчивым и прекрасным.

Вымышленная жизнь проходила в скитаниях, во встречах с необыкновенными людьми, в удивительных событиях. Она была окутана дымкой любви. Это был по существу длинный и связный сон.

Конечно, сейчас можно снисходительно улыбаться над тогдашним моим состоянием. Это легче всего. Мы умудрены опытом и как будто имеем право на такую улыбку.

Но стоит ли посмеиваться над теми молодыми снами, что заронили во многие души первые зёрна поэзии... В этих снах, в этих выдумках была чистота, было благородство, и отблеск этих качеств лёг на всю жизнь людей.

Каждый, кто обладал этим свойством в юности, согласится со мной, что он был владельцем неисчерпаемых богатств.

Он владел миром. Для него не существовало границ ни во времени, ни в пространстве. Сейчас он мог дышать грибным воздухом тайги, а через минуту — воздухом парижских бульваров с их догорающими огнями. Он мог беседовать с Гюго и Лермонтовым, с Петром Первым и Гарибальди. Он мог сложить свою любовь к ногам семнадцатилетней гимназистки в коричневом форменном платье, теребящей от волнения косы, так же как и к ногам Изольды. Он мог вместе с Миклухо-Маклаем жить в тропических лесах Новой Гвинеи и скакать с Пушкиным в Эрзрум. Он мог засесть в Конvente и прорубать первые дороги в лесах Флориды. Он мог сидеть в долговой тюрьме с отцом крошки Доррит и сопровождать в Англию прах Байрона.

Границ не было. Я бы хотел увидеть скептика, который не согласился бы с тем, что этот второй мир обогащает человека и отзывается на его мыслях и поступках в жизни.

Я писал об этом. Писал я на широком подоконнике. Стола у меня не было. Я часто отрывался, смотрел за окно и видел ветки лип в Зоологическом саду, покрытые смёрзшимся снегом. И слышал, как на пруду тоскливо и безответно кричала птица: «Что же это? Боже мой, что же это?»

В разгар моих писаний пришло письмо из Союза Городов. Меня вызывал к себе главный уполномоченный — известный деятель кадетской партии Щепкин.

Наутро я пошёл к Щепкину. Союз Городов помещался в большом доме рядом с Художественным театром.

Меня встретил маленький серый старик довольно добродушного вида, но с безгловым выражением на лице.

— Вот что, милый юноша, — сказал он. — Должен сообщить вам неприятное известие.

Он сказал эти слова из гоголевского «Ревизора», и, очевидно, это ему самому очень понравилось, потому что он закашлялся, замахал в воздухе пухлыми руками и повторил:

— Пренеприятное известие! Во время вашего пребывания в нашем санитарном отряде в Замирье туда приезжал государь.

— Да, — сказал я, — был такой случай.

— Да, — ответил Щепкин, — был и другой случай. А именно — один из работников отряда описал это пребывание государя в Замирье в весьма сатирическом виде. В письме к своему другу. Забыв по молодости лет, что существует военная цензура. Был такой случай?

— Был, — ответил я.

Когда я лежал в госпитале в Несвиже, я много слышался об этой поездке Николая и написал об этом своему школьному товарищу в Киев.

— И был такой случай, — продолжал Щепкин, — что военная цензура вскрыла это письмо. Поскольку подпись была неразборчива, а на конверте стояла печать вашего отряда, цензура сочла за благо передать рассмотрение этого дела нам, чтобы найти автора этого письма и, буде он обнаружится, впредь на фронт его не допускать. Это ваше письмо?

Щепкин протянул мне листок.

— Моё.

— Дёшево отделались, — сказал Щепкин. — И так, хотя в вашем лице, судя по отзывам, мы теряем хорошего работника, но ничего не пропишешь — прошу вас немедленно сдать документы и получить расчёт.

Я рвался обратно в отряд, и этот удар был для меня оглушительным и жестоким. Что же делать дальше?

Из Союза Городов я пошёл не домой, а в Третьяковскую галерею. Там было пусто. Дремали в углах сторожихи. Тёплый ветер дул из печных отдушин.

Я сел против картины Флавицкого «Княжна Тараканова» и смотрел на неё долго, больше часа. Смотрел потому, что женщина на этой картине была похожа на Лёлю.

Мне не хотелось возвращаться домой, потому что сейчас я окончательно понял, что дома у меня нет.

### Предместье Чечелёвка

В феврале мама с Галей уехали в Киев. Я остался в Москве, надеясь устроиться на работу.

Как раз в это время моего дядю, артиллерийского инженера Николая Григорьевича, перевели из Брянска в Москву и прикомандировали к французской военной миссии. Миссия эта была прислана в Россию, чтобы наладить изготовление французских фугасных гранат.

Вместе с дядей Колей приехала в Москву и тётя Маруся. Дяде Коле дали казённую квартиру в маленьком доме на Первой Мещанской улице.

Работники миссии — французские артиллеристы — часто обедали у дяди Коли.

Я был на одном из этих обедов и с любопытством смотрел на французов. Голубые их мундиры распространяли запах духов. Почти все офицеры привозили тётю Марусе цветы и были очень галантны. Но за этой галантностью и изысканно-вежливым разговором скрывалось нечто от мушкетёров Дюма.

Это «нечто» обнаруживалось обыкновенно после русской водки. Подымался шум, остроты, раскатистый хохот, потом офицеры начинали хором петь песенку о начальнике станции. Это была любимая песенка пассажиров французских поездов, придуманная исключительно для того, чтобы доводить до бешенства начальников станций.

Когда начальник станции выходил на перрон, чтобы проводить поезд, пассажиры выстраивались в вагонах около открытых окон и начинали петь под стук колёс — сначала медленно, а потом всё быстрее — эту песенку. При этом все сразу, как китайские болванчики, кланялись из окон начальнику станции.

Песенка эта состояла из повторений одной и той же фразы: «Сэ ле кокую, ле шеф де ля гар!», «Сэ ле кокую, ле шеф де ля гар!», что в переводе означало: «Вот он стоит, рогатый муж, начальник станции! Вот он стоит!»

Офицеры разыгрывали эту песенку в лицах. Особенно хорош был пожилой полковник — «колонель» — с жёлтой бородкой, изображавший разъярённого начальника станции.

Иногда офицеры ссорились, и тогда в низенькой столовой у дяди Коли начинало пахнуть порохом и казалось, вот-вот сшибутся шпаги. Глаза сверкали, тонкие усики нервно вздёргивались, дерзкие выкрики перебивали друг друга, пока «колонель» не подымал руку в круглой манжете.

Тогда все смолкали.

По словам дяди Коли, эти офицеры были знающими инженерами. А «колонель» считался даже выдающимся французским учёным-металлургом и был автором научных книг.

Дядя Коля был связан со многими металлургическими заводами. Я попросил его устроить меня на один из заводов рабочим. Он нисколько этому не удивился и устроил меня браковщиком снарядов на Брянский завод в Екатеринославе.

Перед этим я должен был обучиться на одном из московских заводов браковке и заодно — работе на гидравлических прессах. В то время стаканы для снарядов делались на этих прессах.

Обучался я на заводе Густава Листа на Софийской набережной.

Обучение началось с чтения чертежей — листов синей бумаги с мутными изображениями частей гидравлического пресса. От этих чертежей можно было ослепнуть.

Кроме того, меня обучали обращению с точными измерительными приборами для приёмки снарядных стаканов и дистанционных трубок.

С завода я приходил в совершенно пустую, как стойло, квартиру. Всю скудную обстановку мама продала. Остались только походная кровать и стул.

Мне нравилась эта пустота. Никто не мешал мне читать до поздней ночи, курить и думать. Я всё время думал о тех книгах, какие я обязательно напишу. Написал я потом совершенно другие книги, но сейчас это уже не имеет значения.

Вскоре я уехал. По ошибке я сел не на тот поезд, и меня высадили за Курском, на станции Ржава. Там я прождал несколько часов своего поезда — он шёл позади.

Я не возмущался. Хорошо было сидеть в зале третьего класса, читать расписания, слушать звонки и прерывистый стук телеграфного аппарата и выходить на перрон, когда мимо пронеслись без остановки, сотрясая маленький вокзал, скорые поезда.

Я побродил около станции по полям. Здесь, за Курском, уже начиналась весна. Снег осел и стал ноздреватым, как пемза. Тучами орали галки. И мне захотелось, как много раз хотелось потом, уйти в сырые весенние поля и больше оттуда не возвращаться.

В Екатеринославе я снял угол в предместье Чечелёвке, недалеко от Брянского завода.

Денег у меня было всего двенадцать рублей.

Угол я снял на кухне у вдового рабочего-токаря. С ним жила его единственная дочь Глаша — девушка лет двадцати пяти, больная туберкулёзом.

Кроме меня, на кухне жил ещё клепальщик с Брянского завода — высокий малый с дикими глазами. Я ни разу не слышал от него ни слова. На вопросы он тоже не отвечал, так как был совершенно глухой.

Каждый вечер, возвращаясь с завода, он приносил с собой бутылку мутной екатеринославской бузы — хмельного напитка из пшена, — выпив

вал её, валился, не раздеваясь, на рваный тюфяк на полу и засыпал мёртвым сном до первого утреннего гудка.

Хозяин был черноусый и тоже молчаливый человек, глубоко равнодушный к нам, своим постояльцам. Но всё же один раз он сказал мне:

— Вот ты будто студент. Дал бы почитать какую-нибудь литературу. Для прояснения мозгов.

Литературы у меня не было. Хозяин, помолчав, сказал:

— Была бы Глаша здоровая, выдал бы я её замуж. За тебя. Будущее всё-таки у тебя намечается. Я вижу — пишешь всё по ночам. И перестал бы ты тогда валяться на полу под раковиной. Кран течёт, каплет, небось спать не даёт.

Говорил он это скучным голосом, только «для разговора», сам не веря, что из этого может что-нибудь выйти.

Вечером я слышал, как Глаша выговаривала ему за дверью:

— Что ты лезешь до всех жильцов со своими дурацкими разговорами! Чего ты меня всем суёшь! Я же не сижу дармоедкой. По хозяйству всё делаю.

— Утка! — ответил отец, но без раздражения, а даже ласково. — Квочка ты, вот кто! Я про счастье твоё забочусь. Не век же тебе сидеть в этой каморе, пялиться на обои.

— Счастье моё на том свете осталось, — сказала Глаша и начала плакать. — На что ты меня родил, сам не знаешь. Отчёта себе не даёшь. Мой век будущей весной кончится.

Отец в сердцах ушёл. Глаша, поплакав, вышла на кухню и спросила, нет ли у меня чего-нибудь почитать про любовь, верную до гроба.

Вышла она густо напудренная. От пудры и без того бледное её лицо стало похоже на дешёвую картонную маску. От Глаши тянуло сладким конфетным одеколоном.

Я ответил, что книг о любви, особенно верной до гроба, у меня нет.

— Ну и жильцы! — сказала Глаша. — Совсем я скучила с вами.

Она заперлась у себя в комнате и завела старенький граммофон с лихими песенками клоунов Бима и Бома:

Лукреция в ломбарде  
Вареники варила,  
А Монна Дживанна  
Курей духами мыла.

Часто по ночам Глаша кашляла долго, захлёбываясь, и говорила в пространство:

— Господи, хоть бы человек какой добрый нашёлся и пристрелил меня, как собаку.

Мне было жаль её. Я достал в бесплатной библиотеке на Чечелёвке и принёс Глаше книгу Гюго «Труженики моря» — повесть о верной до гроба любви матроса Жильятта. Глаша прочла её невероятно быстро, за один вечер.

Я лежал на своём тюфяке и читал. Клепальщик спал, скрипя зубами. Внезапно дверь из глашиной комнаты распахнулась и книга Гюго, теряя страницы, пролетела через кухню и шлёпнулась на пол около моего тюфяка.

— Возьмите! — крикнула Глаша. — Возьмите эту подлую книгу, эту заразу! Пусть подавится той книгой ваш француз! Брешет всё! Брешет, собака! Ничего такого не было и быть не могло. Были б такие люди на свете, так разве я бы так жила, как сейчас? Я бы того человека на руках носила.

— Есть такие люди, — сказал я. — Не кричите!

— Ах, «не кричите»? Скажите, пожалуйста, какие новости! Что же мне, спеть вам «Все говорят, я ветрена бываю»? Или станцевать матчиш? Ненавижу! — крикнула она, и мне видно было сквозь открытую дверь, как Глаша сбросила со стола граммофон. — Ненавижу, глаза бы мои не глядели, погори всё адским огнём!

Она рванула со стены отставшую полосу обоев. Полетела пыль. Клепальщик вскочил и бросился умыться под кран. Должно быть, ему померещилось, что уже был первый гудок.

В это время пришёл токарь. Он схватил Глашу за руку, а она, стиснув зубы, вся белая, с горящими глазами, срывала одну полосу обоев за другой, и комната на глазах делалась чёрной и облезлой, как будто её выворачивали наизнанку.

За окном уже синела нежная весенняя заря.

Кончилось всё это тем, что у Глаши пошла горлом кровь и наутро её увезли в заводскую больницу. Токарь запил. А клепальщик продолжал дуть бузу и спать, совершенно не интересуясь разгромом в квартире и судьбой хозяев.

Вскоре после смерти Глаши клепальщик куда-то переехал, и у токаря стало пусто, хоть шаром покати.

Однажды вечером, когда я был в квартире один и, по обыкновению, лежал на своём тюфяке и читал, в дверь тихо, но требовательно постучали.

Я открыл. За дверью стоял рабочий из нашей мастерской, Бугаенко, человек спокойный и насмешливый. Но сейчас он был, видно, смущён.

— Я к вам, — сказал он. — Надо бы побалакать.

Он осмотрел чёрные облезлые стены и вздохнул.

— Не повезло вам. Попали в стояльцы к пустому человеку. Переменить бы квартиру.

— Я долго здесь не задержусь, в Екатеринославе, — ответил я. — Не стоит.

— Пустой человек, — повторил Бугаенко. — Ушёл от жизни, от товарищей, кинулся на водку. От таких одно замешательство в пролетарской среде. А народ у нас в общей сложности крепкий.

— Я знаю, — ответил я. — Народ у вас передовой.

— Вот об этом я и хочу побалакать. Мы к вам давно приглядываемся. А вы вроде как и не заметили.

— А зачем это? — спросил я, растерявшись.

— Определяли, — ответил Бугаенко и усмехнулся. — Теперь очень осторожно надо смотреть на людей. В смысле доверия.

— Ну и как? — спросил я.

Бугаенко сел, закурил толстую папиросу и исподволь, как бы разговаривая с самим собой, рассказал, что давно присматривался ко мне, пока не убедился, что я, по его мнению, человек хотя и далёкий пока что от революционного движения, но надёжный. А тут такое дело, что надо выпустить листовку по поводу сплошного произвола в стране, но написать её некому. Хорошо было бы, если бы я, человек, как видно, литературный, написал листовку, а они, рабочие, проверили бы её и «пустили в ход».

Я согласился. Я написал листовку и вложил в неё весь пафос, на какой был способен. Тень Виктора Гюго, выражаясь фигурально, реяла надо мной, когда я писал эту листовку. Но Бугаенко начисто её забраковал.

— Не по той задаче написано, — сказал он. — Слов нет, сделано красиво, отполировано. А красота, она, знаете, другой раз смягчает то,

чего нельзя смягчать, и вносит успокоение. Всё хорошо, что к месту. В таких вещах нужна доходчивость. Чтобы всё было просто и понятно даже самому неграмотному из неграмотных. И чтобы человек прочёл, разгневался и был готов к действию. Чтобы кулак у него сам по себе сжимался. Я понимаю, это, может быть, потрудней, чем писать красиво. Попробуйте ещё раз.

После этого я бился над листовкой несколько вечеров, пока мне не удалось написать её просто и понятно.

Листовку размножили на гектографе, расклеили и разбросали по цехам. Я очень гордился этим, но, к сожалению, никому не мог сказать, что я автор листовки. Я хотел оставить себе на память один экземпляр, но Бугаенко отобрал его и попрекнул меня тем, что я плохой конспиратор. Но листовкой он был доволен, улыбался в свои прокуренные, коротко подстриженные усы и говорил:

— Ось, знайте, яки хлопцы в нашем запорожском курене.

На заводе я был занят проверкой шрапнельных стаканов. Их складывали штабелями на длинные столы из неструганных досок. Я освещал изнутри стаканы маленькой электрической лампой и смотрел, нет ли на стенках раковин или пережога металла. Потом измерял диаметр стаканов калибром.

На забракованных снарядах я ставил мелом крест. Браку было много. Пожилые работницы увозили забракованные снаряды на тележках в переплавку.

Рядом с тем местом, где я работал, стояла круглая пила. Она с невыносимым визгом пилила железо. От этого визга холод подирал по коже и в душе подымалось бешенство. Визг этот ввинчивался в мозги, как сверло.

Я глух, слеп, и если бы я мог, то взорвал бы эту пилу. Большого глумления над человеком, над нервами, мозгом и сердцем нельзя было придумать.

Когда пила замолкала, то было ещё хуже — все ждали, нервничая, когда же она снова наверняка завизжит. Самое это ожидание вызывало тошноту. Вскоре пила с победным воем вновь врезалась стальными, бешено вращающимися зубьями в железо и размётывала фонтаны горячих искр.

Я был подчинён не заводскому начальству, а представителю артиллерийского управления при Брянском заводе капитану Вельяминову, присланному из Петрограда.

Раз в три-четыре дня я должен был приходиться к нему и докладывать о своей работе.

Я долго не мог догадаться, на кого был похож капитан Вельяминов, но потом наконец вспомнил — на декабриста Якубовича. У Вельяминова было такое же сухое лицо, тёмные свисающие усы и чёрная повязка на лбу.

Вельяминов жил на Большом проспекте. Из окон его комнаты был виден Днепр и сады. В садах уже набухали почки. Над деревьями, как всегда ранней весной, стояла едва приметная зеленоватая дымка.

Комната Вельяминова была завалена чертежами, книгами и множеством вещей, не имеющих отношения к его прямой специальности — артиллерийскому делу.

Вельяминов увлекался фотографией и краеведением. Подоконники были тесно заставлены мензурками, склянками с проявителями, рамками для печатания снимков. Пахло кислым фиксажем.

На круглом столе под филодендроном, на бархатной вытертой скатерти, лежали фотографии. Это были виды провинциальных городов — Порхова, Гдова, Валдая, Лоева, Рославля и многих других. В каждом городе

Вельяминов находил что-нибудь любопытное. Дымя зажатой во рту папиросой, он снисходительно, но с видимым удовольствием рассказывал мне об этих находках и показывал их фотографии.

Иногда это были деревянные ворота петровских времён или просто затейливые перильца на балконе, иногда гостиные ряды или гоголевская каланча.

Каждый свой отпуск Вельяминов проводил в местах глухих и далёких от столиц. В разорённых помещичьих усадьбах он фотографировал картины, изразцовые печи, сохранившуюся в комнатах и садах скульптуру, привозил снимки в Петроград и показывал друзьям — знатокам искусства.

Со сдержанной гордостью он рассказывал мне, как ему удалось найти могилу пушкинской няни Арины Родионовны в селе Суйда под Лугой, а кроме того, — бюст работы известного скульптора Козловского и две картины французского художника Пуссена в заколоченном доме около Череповца.

Я подолгу засиживался у Вельяминова, рассматривая фотографии. Он поил меня чаем из термоса и угощал бутербродами с варёной колбасой.

В загромождённой его комнате было очень тепло. Я медлил уходить к себе на Чечелёвку, в ободранную кухню, где наперегонки бегали по стенам прозрачные от голода рыжие тараканы.

Однажды Вельяминов сказал мне:

— Довольно вам киснуть на Чечелёвке и глохнуть от пилы. Я вас пошлю в Таганрог. Это очень славный город. Но по пути в Таганрог вы заедете в Юзовку на Новороссийский завод и наладите там браковку снарядов. Потратите на это всего две-три недели. Согласны?

Я, конечно, согласился.

Вельяминов выдал мне жалованье и деньги на дорогу, пообещал приехать летом в Таганрог, и мы расстались.

У себя на Чечелёвке я провалялся почти всю ночь без сна. Лампу мы никогда не гасили и только этим спасались от тараканов. В темноте они сыпались со стен и шныряли по лицу и рукам.

Я лежал, и сумасшедшая мысль пришла мне в голову — опоздать в Юзовку на пять-шесть дней, а за это время съездить в Севастополь. Вельяминов об этом не узнает.

Я был в Севастополе мальчиком, когда мы всей семьёй ехали из Киева в Алушту, но с тех пор не мог забыть этого города. Он часто мне даже снился, залитый отблесками морской воды, маленький, живописный, пахнущий водорослями и пароходным дымом.

Из крана капала вода, токарь-хозяин стонал во сне и скрипел зубами, тараканы пили на полу из маленькой лужи, на улице пьяный кричал, рыдая: «Стреляй в меня, иуда! Бей в душу!», но я ничего не замечал. Засыпая, я уже дышал воздухом цветущих миндалевых садов.

*(Окончание следует)*



---

---

Н. МЕЛЬНИКОВ

★

## КЛАВА

Рассказ

**III** о выходным дням Клава сама приходила на бульвар с Маринкой — так звали её четырёхлетнюю дочь. В будние дни Клава работала в универмаге, а Маринку отводила в детский сад. На бульваре их давно приметили и в шутку называли сестричками. На той и на другой были коротенькие заячьи шубки, подпоясанные ремешками, белые шерстяные платки, зелёные варежки и низкие чёрные ботинки.

У Маринки был и отец, но жил он не с ними, а приходил к ним в гости по воскресеньям. Дома соседи называли его Киреевым, а чаще «никудышным человеком». Но до всего этого Маринке не было дела: Киреев ли её отец или «никудышный». Он умел строить смешные гримасы, лаять, как собака, свистеть в два пальца, катать людей, то есть её, Маринку, на спине. Как-то Киреев пообещал подарить ей железную дорогу с вагончиками, паровозом и семафором. И теперь каждое воскресенье Маринка ждала отца с подарком, но ждала тщетно — Киреев больше не появлялся. Всякий раз, когда Маринка вспоминала о нём, Клаву так и подмывало растолковать ей, что Киреев бросил их и что надо забыть его. Однажды она не удержалась и сказала, что Киреев умер, а он возьми да и приди. Маринка весело спросила его:

— Папа, ты умер?

С тех пор Клава не вступала больше в объяснения с дочерью о Кирееве. Вот и сегодня, когда пришли на бульвар и когда Маринка сказала: «Давай мало гулять, а то папа придёт», — Клава села на скамейку и ничего не ответила. А Маринка потащила свои санки, на которых лежали лопатка и ведёрко, к накатанной горке.

День выдался ясный и тёплый, снег на бульваре подтаял, стал серым, колючим. Повсюду мелькали разноцветные капюшончики, платочки, ушанки. Деревья ещё были белые, а ручейки уже спешили куда-то.

В этом году Клаве исполнилось двадцать девять лет. Пронесут ли ватный конверт, перехваченный яркой лентой, провезут ли коляску, пройдёт ли в торжественном молчании влюблённая парочка — всё будто говорило Клаве: а у тебя это уже позади.

Старички, втянув головы в плечи, подняв воротники, сидели на скамейках, как на жёрдочках. Глядя на них, Клава улыбалась: «Ну, до вас-то мне ещё далеко». Прошёл мимо высокий майор-пограничник с необычным для зимней Москвы тёмным, загорелым лицом. Майор откровенно задержал свой взгляд на Клаве, и она даже поёжилась и отвернулась, обозвав его про себя «нахалом». Она не видела, что майор остановился, потом решительно направился к ней.

— Узнаёшь? — спросил он, присев к Клаве.

Она, ошеломлённая, смотрела ему в лицо. Рядом на скамеечке замерли в любопытстве две молоденькие мамы с колясками. Майор сурово



поглядел на них, и они, как по команде, поднялись и покатали свои коляски.

— Вася! — тихо воскликнула Клава, узнав в майоре старшего лейтенанта Медведева, своего однополчанина.

— Ну то-то, — усмехнулся Медведев. — Жива, значит.

— Жива. — Клава вдруг заплакала. — Не обращайтесь на меня внимания. За всё время никого из наших не встретила. — Она варежкой вытирала глаза. — Вы-то откуда взялись?

Медведев сказал, что в Москве он проездом, едет из Средней Азии в отпуск на Кавказ.

— А шинель-то какая шикарная, — не слушая его, говорила Клава. — Шутка ль сказать — майор! — И опять она варежкой вытирала глаза. От слёз лицо её выглядело постаревшим, и вся она, в своей коротенькой шубке, в белом платочке, казалась Медведеву на этом весеннем весёлом бульваре одинокой и забытой. И он решил, что у Клавы не иначе как стряслась беда.

И хотя она давно уже не была санинструктором первой роты стрелкового полка, Медведев по старой привычке приказал:

— Рассказывай, что у тебя случилось.

Клава перестала плакать.

— Ничего не случилось. Я ведь, правда, никого из наших ни разу не встретила. Даже казаться стало, что я вовсе на войне не была.

Но скоро Медведев уже знал, что у неё есть четырёхлетняя Маринка и живут они вдвоём. Муж бросил Клаву, когда она была беременной. Узнал Медведев, что работает Клава в универмаге бригадиром отдела головных уборов, хотела учиться, но пока не вышло из-за рождения Маринки.

Обо всём этом Клава рассказывала, не жалуясь, словно ничего плохого в её жизни не произошло.

— Эх, Клава, Клава, а говоришь — ничего не случилось. — Медведев сокрушённо покачал головой. — Кто же это тебя бросил?

— Киреев фамилия его, — ответила Клава. — Раньше, конечно, мучилась, а теперь ничутьючки не жалею.

Медведев возмущился и сказал:

— Надо было заставить подлеца вернуться!

— Зачем? — удивилась Клава. — Сами говорите — подлец, а хотите, чтоб я с таким жила. Ведь у него ещё семья есть, скрыл он от меня... Вот увидите, какая у меня Маринка! На лыжах ходит, ну, прямо как взрослая.

А Медведев думал о том, что когда-то к ней, Клаве, было не подступиться, что в своё время она отвергла и осадилась его. И не только он, кое-кто ещё из начальства чувствовал себя рядом с Клавой так, будто не они, а она старшая в звании. Как же случилось, что она позволила себя обмануть какому-то Кирееву? Обидно было, что так нескладно сложилась у неё судьба.

— Наверно, у тебя и жалованье небольшое? — осторожно спросил Медведев, решив хоть деньгами помочь ей.

— Не в нём счастье, — сказала Клава. — Вот увидите, какая у меня Маринка! — и, помолчав, спросила: — А у вас много детей?

Майор ответил, что он холост и детей у него нет.

— Как же так холост? — Клава с недоумением уставилась на него.

Медведев сказал, что живёт в Средней Азии, на погранзаставе, а там жарыша — шестьдесят градусов, обстановка, мол, не для женатых.

— Жара — это не страшно, — возразила Клава. — Отошло время жить одному. Не знаю, как бы я жила без Маринки. По утрам ещё фонари горят, а Маринке моей вставать надо, в детский сад итти. Идём мы с ней, держу её за руку, а у неё, поверите, глаза закрыты. Не проснулась

ещё как следует. А всё равно идёт, знает, что надо. Вам-то, конечно, всё это ни к чему.— Она умолкла и, поглядев на Медведева, улыбнулась.— Да ладно об этом, лучше скажите, надолго вы у нас в Москве?

Медведев сказал, что поезд его на Минеральные Воды отходит сегодня в полночь и ему во что бы то ни стало надо побывать в Третьяковской галерее, а если успеет, то и в Большом театре.

Клава засмеялась, вспомнив другие, менее возвышенные желания старшего лейтенанта Медведева: только бы попариться в баньке, только бы выспаться!..

— Особенно когда в Барятине стояли, — сказал Медведев.

Ни бульвар с его белыми деревьями и железной оградой, ни автомобили, ни дома не помешали вспомнить и увидеть леденящий душу чёрный Барятинский лес. В нём были фашисты. Чёрный и обугленный, он стоял перед ротой, не давая поднять головы. По вечерам, когда темнело, казалось, лес надвигается на тебя, и каждый считал за счастье, если выпадал случай «попариться в баньке» или «выспаться».

— Как мы только оттуда живыми вышли, — сказал Медведев.

Клава покачала головой.

— Проклятушее место было. Куда ни пойдёшь, везде пристреляно, — и неожиданно закончила: — Вот где я вас ненавидела.

— За что?

— В траншеях мины ложатся, а вы втащите туда ящик из-под патронов и чай пьёте, как в чайной, — ответила Клава. — За это вас и ненавидела — за мальчишество.

— Глупая ты, — расхохотался Медведев. — Я чай пил, чтоб другие не трусили!

— Сами глупости говорите, — отрезала Клава. Она не была теперь санинструктором первой роты, и ей доставляло удовольствие высказывать Медведеву всё, что она не решалась высказать ему тогда, в Барятинском лесу. Правда, по привычке он говорил ей «ты», а она ему «вы», но ни он, ни она не замечали этого.

— А капитана Муравьёва помнишь? — спросил он.

— Как же не помнить комбата? — ответила Клава. — Он там и остался... А всё пел: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы...»

— Тогда эта песня у всех в моде была, — сказал Медведев.

Клава хитро прищурила глаза:

— А Лёну Козлову помните? У вас с ней, кажется, роман был?

— Никакого у меня там романа не было, — ответил Медведев. — Вот ты мне нравилась, это факт.

— Не помню что-то. Вы всё больше без слов норовили.

Майор смутился.

— Ну, это ты зря.

— Дело прошлое.

Медведев молча согласился с ней. Потом спросил:

— Где ж мы в последний раз с тобой виделись?

— Неужели не помните? В Бресте, в санбате. Нас вместе привезли туда. Вас в тыл эвакуировали, а я отлежалась. Потом меня опять ранило, и опять я дальше санбата не поехала.— Она вздохнула и сказала: — Я вас в санбате тоже ненавидела. Вечером раненые кино пойдут смотреть, а вы — с перевязочной сестрой целоваться. А я лежу и белугой реву. Сама не знаю зачем, а реву. Смешно теперь вспоминать. Вы не забыли ещё, как мы познакомились? Ночью, в Туле?..

С неба повалил снег. Пушистые хлопья слипались на лету, липли на глаза. Кругом стало белым-бело, а лицо Медведева, загорелое, казалось, озарено костром. Он вспомнил и Тулу, и ночь, и дачный поезд с выбитыми стёклами. Ему удалось захватить боковое место, и он, обрадован-

ный, оставил там свой вещмешок и зачем-то куда-то вышел, а когда вернулся, место его было занято девчонкой в солдатской шинели с чужого плеча. Медведев не спал целые сутки, разыскивая после первого ранения свою часть, и чуть было не выругался на чём свет стоит, но удержался и только сказал: «Ну и везёт же слабому полу...» Он сел на чемодан и заснул. А когда утром проснулся, его голова лежала у неё на коленях и на него смотрели серые усталые глаза.

— Помню, как пришла к вам в роту, — говорила Клава. — Вы меня не сразу узнали.

Медведев молчал. Вся его жизнь представилась ему одним большим днём, весёлым и грустным, в котором было утрачено что-то очень важное. Он не любил ни Лену Козлову, ни других женщин, встречавшихся потом на его пути. Он готов был сказать об этом Клаве сейчас, он готов был просить прощения за то, что «норовил без слов», за то, что целовался с перевязочной сестрой, и даже за Киреева — за всё, в чём, как ему казалось, он был виноват перед Клавой и в чём не был повинен. А больше всего за то, что не понял тогда, что любит её.

Но вместо всего этого Медведев выпалил:

— Увезу я тебя с собой...

— Куда это?

— Домой, на границу.

Клава невесело усмехнулась. Бульвар пустел. Они сидели на скамеечке одни, запорошённые снегом. Другие скамейки были пустые, рябоватый слой снега лежал на них.

— Обязательно увезу, — повторил Медведев.

— Вот всегда вы такой, никогда не знаешь, чего надумаете. — Клава тревожно огляделась, отыскивая кого-то. — Идите в Третьяковку. Опоздаете.

— Никуда я, милая, не опоздаю.

— Глядите, глядите, — сказала Клава, — вон она идёт. Видите, какая большущая, — и, как бы отвечая своим собственным мыслям, добавила: — Нет, вырастет у меня Маринка хорошим человеком.

Медведев смотрел на приближающуюся Маринку; она тащила за собой санки, на которых лежали лопатка и ведёрко.

— Её отец обещал ей железную дорогу подарить, — сказала Клава. — Каждый выходной ждёт. Не понимаю, как можно детей обманывать!..

Подошла Маринка. Платок на ней развязался, и из-под него торчали две коротенькие косички. Увидав Клаву с чужим человеком, Маринка насупилась, но всё-таки протянула Медведеву руку и даже осведомилась, умеет ли он свистеть в два пальца.

— Конечно, умею, — ответил Медведев.

— А лаять?

— Тоже умею.

Это понравилось Маринке. Но не понравилось то, что мать улыбалась чужому человеку. Она не знала, как всё это объяснить, и на всякий случай разревелась. А этот чужой человек, при виде которого она сначала улыбнулась, а потом заплакалась, глядел на неё и думал о том, что, может быть, скоро, совсем скоро эта маленькая курносая девчонка с санками, лопаткой и ведёрком увидит настоящую железную дорогу и перед её глазами будут вспыхивать настоящие семафоры.



---

---

# ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

КАЗИМЕЖ БРАНДЫС

(Польша)

★

## ГОСПОДИН С ПАЛКОЙ

**Н**ет, это был не «Люкс-торпеда». И даже не «Голубая стрела» или экспресс «Москва—Пекин». Это был обычный пассажирский поезд с вагонами третьего класса, в одном из которых я возвращался домой после творческого стчёта перед читателями в городе З.

Вы, конечно, знаете эти вагончики с отдельным входом в каждое купе, табличками «не плевать», заплёванным полом и багажными сетками времён битвы под Сольферино. Скорость такого поезда — двадцать пять километров в час, то есть всего чуть-чуть больше скорости Эмиля Затопека. Увы, мы ещё вынуждены пользоваться этим средством передвижения, так безнадёжно не поспевающим за современностью. Впрочем, я и сам в течение трёх с половиной лет не успевал шагать с нею в ногу (о чём очень искренне говорили мои рецензенты) и хорошо знаю, как неприятно было моё отставание для окружающих. Тут я вынужден, однако, заметить, что моя непростительная медлительность не довела всё же никого до поступка, подобного тому, который совершил господин с палкой.

Был жаркий день, и ехать нам пришлось в невообразимой тесноте. Я с трудом протиснулся в одно из купе, но на каждой следующей станции в него набивались всё новые и новые люди. Пассажиры на всём свете делятся на две категории: деликатных и решительных. Деликатный пассажир скромно задаёт вопрос, не найдётся ли и для него свободного местечка в купе. И тогда те, кому посчастливилось сесть в вагон, хором отвечают, что все места заняты. Деликатный пассажир извиняется и уходит. Другое дело — решительный. Он ни о чём не спрашивает, а просто входит в купе, не очень интересуясь, есть ли в нём места, вешает своё пальто, кладёт чемодан на чужие вещи, а порой снимает ещё и пиджак. Всё это он проделывает необычайно уверсенно среди гробового молчания остальных. А потом садится. Решительный пассажир всегда садится, даже в том случае, если свободных мест в купе действительно нет, и никто как-то даже и не протестует против этого. Если же минуто спустя дверь купе робко приоткроется под рукой деликатного пассажира, то голос решительного сливается с хором других голосов в дружном ответе: «Мест нет, все места заняты!»

Но в этот день даже самые деликатные пассажиры прокладывали себе путь кулаками. Вагоны брались штурмом. В нашем купе невозможно было пошевелинуться, люди висели на подножках. Поезд шёл в страшном молчании. Те, кто висел на подножках, ругали нас на каждой станции. Лица их были покрыты копотью. Открывая дверь, они орали нам, чтобы мы потеснились. Но тогда высовывал голову сидевший на полу студент и говорил:

— Нет места! Понимаете? Нет места!..

Люди с закопчёнными лицами заглядывали в наше купе и угрюмо умолкали. Потом раздавался паровозный свисток, и мы снова трогались в путь.

Кроме студента, сидевшего на полу, в нашем купе находились следующие пассажиры: пышноволосяя блондинка, несколько пожилых, но ещё крепких женщин с кошёлками, армейский поручик, несколько лиц разного пола и возраста с искажёнными гримасами лицами, молодой железнодорожник, стоявший на одной ноге, дама преклонного возраста, страдавшая одышкой, некоторое число ног, принадлежность которых невозможно было определить, в том числе и вторая нога железнодорожника, и, наконец, господин с палкой.

Внешне этот человек был приличен во всех отношениях. Сидеющие виски, гладко выбритые щёки, голубые глаза и осанка, которую некогда называли сенаторской. Галстук, повязанный бабочкой, серебрился у его подбородка. Он сидел у самого окна, удобно положив ладони на ручку своей палки. Притом он совершенно не замечал нас. Это может показаться просто неправдоподобным, но он действительно нас не видел. Господин с палкой отделился от нас духовно, и это позволяло ему не замечать нашего присутствия. Я чувствовал, что своей палкой он провёл границу между собой и нами и бережно охранял её неприкосновенность. Во взгляде его сквозило холодное благодушие человека, которого ничто не удивляет. И только раз он позволил себе высказаться. Качнув ручкой своей палки в сторону ехавших на подножке людей, он повернул затем её к висевшей у дверей табличке и насмешливо прочитал: «Не высываться!» На губах его промелькнуло что-то вроде добродушной, всепрощающей улыбки. Я понял его и тоже улыбнулся.

Но господин с палкой не обратил на меня никакого внимания. Он расстелил на коленях чистую салфетку и вынул бутерброд с ветчиной, завернутый в пергаментную бумагу. Он жевал этот бутерброд с оттенком какого-то презрения, словно старался не поколебать своего достоинства даже во время того неизбежного жизненного процесса, который люди называют едой. Мы смотрели на него с подлинным уважением. Священнодействуя, с салфеткой на коленях, он выглядел поистине величественно. Женщины с кошёлками даже немного потеснились, чтобы ему было посвободнее; потом, пошептавшись, они принялись развязывать узелки. Купе наполнилось запахом крутых яиц.

Поезд пересекал сосновый лес. Студент, примостившийся на полу, спрашивал, как называется станция, к которой мы подъезжаем.

Внезапно поезд остановился, и произошло нечто ужасное. Стоявшая на перроне толпа ринулась к вагонам. Вспотевшие мужчины с детскими руками вскакивали на подножки и награждали всех сидящих внутри не слишком вежливыми эпитетами. В то же время те, кто уже находился на подножках, что есть силы нажимали на дверь, чтобы втиснуться в купе. И вдруг из окна вылетело стекло.

Произошло это по вине всех и без всякого умысла. Неудержимая сила штурмующих вдавила нас в окно. Едва только это произошло, поезд тронулся.

— Скажите, это было Скаржиско? — спросил студент.

Но ему никто не ответил. Из разбитого окна потянуло сквозняком. Люди на подножке начали кричать: «Эй, вы там! Тут человека поранило!» И действительно, по руке одного из висевших на подножке с той стороны, где было выдавлено стекло, сбегала струйка крови. Его тут же, на ходу, перевязали носовым платком.

В течение всего этого времени господин с палкой старался сохранять полнейшее спокойствие и, как мне показалось, больше всего интересовался природой. Люди на подножке, а в их числе и тот, с перевязанной рукой,

следили суровым взглядом, как он заворачивает в бумагу остатки своего бутерброда. Потом господин с палкой аккуратно сложил салфетку и тщательно вытер ею губы.

Весело посвистывая, поезд шёл вперёд и вперёд, мимо сверкающих на солнце озёр. Деревенские ребяташки приветливо махали нам ручонками.

— Вам не кажется,— заметил сидящий на полу студент,— что в вагоне как-то больше воздуха стало и вообще приятнее...

— Это потому, что мы стекло вышибли,— угрюмо пояснил ему кто-то из пассажиров.— Вам с пола ничего не видно.

Студент попробовал приподняться.

— В самом деле,— удивился он и покачал головой.— Продувает. Естественная завивка,— пошутил он, обращаясь к белокурой девушке.

Все рассмеялись, кроме господина с палкой, который, видимо, этого не расслышал. Люди заметно оживились. Кто-то стал спрашивать сквозь разбитое стекло, как чувствует себя раненый. Завязалась дружеская беседа. Даже дама, страдающая одышкой, разговорилась с поручиком о силе нашей авиации.

— Уважаемые граждане,— заявил вдруг железнодорожник,— нам надо всё же установить, кто выбил стекло.

Женщины с кошёлками беспокойно заёрзали, а остальные продолжали заниматься своим делом, но вскоре и они притихли.

— Пожалуйста, устанавливайте,— раздался из глубины купе чей-то мрачный баритон.— Выясните социальное происхождение виновного и чем занимался его отец во время русско-японской войны.

Студент, чтобы поднять настроение, пытался придать всему происшествию юмористический оттенок, предлагая установить прежде всего, при помощи открытого голосования, все ли пассажиры в купе живы.

— Вам шутить хочется,— рассердился железнодорожник,— а ведь в Варшаве поездной контроль потребует назвать виновного. Должен же кто-то отвечать за разбитое в поезде стекло.

Невидимый баритон вежливо спросил у него, не случилось ли ему в детстве падать из люльки. Железнодорожник покраснел, но не удостоил остряка ответом. Он обратился к остальным пассажирам и пояснил, что за выбитое стекло надо заплатить, так как в противном случае за это придётся отвечать дежурному кондуктору.

После этого пояснения женщин с кошёлками вдруг стало клонить ко сну, а господин с палкой погрузился в чтение вынутой из портфеля газеты, едва сдерживая зевету.

В купе воцарилось неловкое молчание. Поезд менял направление хода, и висевшие на подножке люди начали кашлять и кричать, что всем задыхаются от дыма.

— Да ведь всё это проще простого,— пожала плечами блондинка.— Заплатим за стекло в складчину. Каждый даст свою долю.

Девушка была одета в цветастое ситцевое платьице. На шее у неё были зелёные бусы. Взоры всех с любопытством обратились к ней.

— Вот это идея! — послышался с пола голос студента.

— Разумеется, можно и так,— согласился невидимый баритон.

Железнодорожник прикинул стоимость разбитого стекла. Все оживились. Кто-то пытался сосчитать число едущих в купе.

— Выходит по три злотых с человека,— объявила девушка с бусами.

Студент окинул её восторженным взглядом и начал доказывать, что без женщин мы бы неминуемо погибли.

Итак, выход был найден. Кто-то стал будить дремавших крестьянок, которые попытались было робко сопротивляться. Другие принялись рыться в кошельках и карманах. Железнодорожника выбрали казначеем. Возник

вопрос — а не стоит ли включить в складчину и тех, кто едет на подножке? Но его немедленно отклонили — это было совершенно нереально. Разбуженные женщины с кошёлками под натиском поручика и студента завздыхали, но тут же потянулись за деньгами, спрятанными в довольно интимных частях их одежды.

— Пожалуйста, — сказала блондинка, — вот моя доля.

Я мельком взглянул на господина с палкой. Он продолжал читать газету, лишь изредка блуждая рассеянным взглядом по пастбищам, мимо которых проходил поезд. Чтобы сделать это, господин с палкой слегка приподнимал свою голову, обрамлённую ореолом благородной седины.

На вид ему было не больше пятидесяти, и, вероятно, столько же было его палке. Я осмотрел её самым внимательным образом. Это была красивая палка с костяной ручкой и массивным золотым ободком. Не знаю, производим ли мы теперь палки и трости, но подобных этой наверняка нет. Как прекрасно выточены её строгие линии. Кажется, мы изготавливаем сейчас лишь туристские — закопянские — палки с топориком вместо ручки. К палкам я равнодушен, так как считаю их символом своего времени. Раньше палки носили многие мужчины, а я принадлежу к тем, которые их ещё хорошо помнят. Но за последние несколько лет они совершенно вышли из моды. Если удивляешься тому, что какая-то мелочь, вроде палок, к которой в своё время привык, вышла из употребления, это верный признак того, что пришла пора прощаться с молодостью. Ведь подобная вещь была символом твоего времени!

Но стоит ли упорствовать в таких мелочах? Приверженность к старому мешает нам жить новой жизнью.

— Мы собираем деньги на стекло, — весело обратился студент к господину с палкой. — По три злотых. Разрешите с вас получить?

Вот уже в течение нескольких минут поезд стоял среди поля. Слышалось усталое посапыванье паровоза. Какой-то пассажир решил выйти перед станцией и шёл теперь с чемоданом по меже, направляясь к видневшейся вдаль деревне.

Господин с палкой поднял голову над газетой и посмотрел на студента доброжелательным взглядом.

— Произошла, повидимому, ошибка, — спокойно сказал он. — Я, насколько мне помнится, вовсе не разбивал стекла.

Студент широко осклабился и пояснил, что стекло действительно никто не разбивал. Оно разбилось само. Он коротко повторил решение, принятое пассажирами купе.

— Ведь в противном случае за стекло пришлось бы платить кондуктору. Вот мы и решили, по предложению этой гражданки, заплатить в складчину... Ведь это сущий пустяк, всего три злотых с человека...

Под взглядом господина с палкой улыбка на лице студента постепенно гасла.

В купе воцарилась тишина. Слышно было, как в хлебах стрекочут кузнечики. Пассажиры удивлённо смотрели на господина с палкой.

— Простите, господа, — заявил он вежливым тоном, — но у меня нет привычки платить за стёкла, которые я не бил.

Сказав это, он снова углубился в чтение и перестал нас видеть. Купе онемело. Поручик, железнодорожник и студент вытаращили глаза, блондинка с бусами побледнела. Женщины с кошёлками заёрзали на своих местах, надеясь вернуть обратно только что отданные деньги.

— Каждый из нас дал свою трёшку, — отозвался невидимый баритон, когда поезд тронулся. — А вы, сударь, на бедняка не похожи.

Господин с палкой не посчитал нужным продолжать разговор, а может быть, просто не слышал этих слов. Он опять отделился от нас холодным и спокойным кругом своего достоинства. Я, конечно, догады-

вался, что дело здесь вовсе не в этих трёх золотых. Он мог преспокойно выложить их. Но он не мог не сохранить верность своей палке, золотой ободок которой поблёскивал теперь в солнечных лучах. Она защищала его от нас. Господин с палкой не желал иметь с нами ничего общего. Мы были по ту сторону его палки, по ту сторону мира, который её изготовил и передал ему по наследству. Нет, дело здесь было вовсе не в этих трёх золотых.

— Не могу всего этого понять, — возмущённо сказала дама, страдающая одышкой. — Ну, посудите сами. Я учительница, пенсионерка. Вы же знаете, как выглядят пока наши пенсии. Приходится считаться с каждым золотым. Но при таких обстоятельствах я никогда не могла бы отказать, никогда. Ведь это был бы антиобщественный поступок!

— Заплатить — дело нашей чести! — заявил студент. — Я думаю, со мной все согласны?

Железнодорожник пробормотал, что это не подлежит обсуждению.

— Вы же видите, сударь, — сказал он, — какая тут теснота. Вот и стекло из-за этого вылетело. А вы занимаете в купе самое лучшее место. Так кто же должен платить? Неужели работник железнодорожного транспорта? Да ведь именно благодаря ему вы вообще можете ехать.

— А кто построил этот вагон? — перебил его поручик, обращаясь к господину с палкой. — Уж не вы ли? А кто ведёт паровоз? Кто смотрит за составом? Человек труда! А вы ещё хотите спихнуть на него ответственность за выбитое стекло.

— Будьте же человеком! — отозвался невидимый баритон.

Женщины с кошёлками зашептали что-то насчёт христианского милосердия, и только светловолосая девушка, сурово сжав губы, продолжила хранить молчание. Люди на подножке, видимо, услышали обрывки нашего разговора, так как из-за разбитого стекла послышались их советы:

— В шею его, граждане!.. В шею!..

Господин с палкой всё это время читал отрывок фантастического романа в иллюстрированном еженедельнике.

— Намерены вы платить или нет? — прямо спросил его железнодорожник.

— Я, кажется, вам уже объяснил, господа, свою точку зрения в этом вопросе, — равнодушно ответил господин с палкой, не отрывая взгляда от журнала, — и не вижу причин для того, чтобы вдруг её изменить.

В купе снова воцарилось неприятное молчание. Поезд с гулом проехал по железнодорожному мосту: Студент опустил глаза и принялся тереть свои непослушные волосы.

— Да стоит ли тратить столько слов? — презрительно заметила блондинка с бусами. — В конце концов мы можем собрать ещё три золотых для этого пана. Пожалуйста, вот ещё золотый.

Купе вдруг разделилось на два лагеря. Женщины уже потянулись было за мелочью, но мужчины решительно заявили, что этого так нельзя оставить. Даже студент, который впал было снова в восторг, услышав предложение девушки, на секунду призадумался и шепнул ей, чтобы она убрала свои деньги, так как подобная постановка вопроса противоречит его принципам. Девушка с бусами скорбно улыбунулась. И только господин с палкой оставался безучастным к спору.

Молчание, которое теперь царило в купе, было тягостным и тревожным. Наш поезд приближался к Варшаве. Я взглянул на господина с палкой. Мне казалось, что он должен сейчас покраснеть до кончиков ушей, но он сидел попрежнему холодный, элегантный, ко всему равнодушный, как слоновая кость. «Неужели у него действительно столько выдержки?» — подумал я. Мне не раз приходилось убеждаться, что борьба наделяет людей чертами, которых они лишены в обычной жизни;



трус, например, становится храбрецом, добродушный человек — преисполненным ненависти или наоборот.

На Западном вокзале часть пассажиров сошла. Но в нашем купе никто даже не двинулся с места. Блондинка с бусами, пожилая дама, страдающая одышкой, женщины с кошёлками, поручик, железнодорожник, студент и остальные, недостаточно проявившие себя пассажиры (среди последних был и я) — все ждали приговора справедливости. В том, что такой приговор будет вынесен, никто из нас и не сомневался. Мы верили, что зло будет наказано, уж слишком явно оно тут проявилось. Люди всегда были бы добропорядочными, если бы только знали наверняка, что зло является злом. Мы это знали наверняка. Нас крепко спаяло друг с другом святое убеждение нашей правоты, состояние справедливого гнева и внушительный вид обнажённого зла, отделённого от добра, как шелуха от плода...

В Варшаве, на Главном вокзале, из нашего купе снова никто не вышел. Когда господин с палкой приподнялся со своего места, никто и не подумал дать ему дорогу.

— Извините, — сухо произнёс он, пытаясь раздвинуть нас руками.

Но мы ждали приговора справедливости.

— Кто из вас, граждане, выбил стекло? — раздался вдруг с перрона голос кондуктора.

Мы промолчали. Кондуктор повторил свой вопрос. Возле нашего вагона начала собираться толпа зевак, в которой виднелись покрытые копотью лица тех, кто ехал на подножке. Это они привели сюда кондуктора. Показывали ему пострадавшего товарища, требовали вызвать врача. Откуда-то появился милиционер.

Мы неподвижно стояли в купе, а с перрона на нас глядела толпа. Многие вообще не понимали, что здесь происходит, и кто-то принял нас даже за иностранную делегацию.

Милиционер в фуражке, сдвинутой набекрень, окинул нас укоризненным взглядом.

— Граждане, — сурово спросил он, — кто из вас выбил стекло?

Но и этот вопрос остался без ответа. Все пассажиры молчали. Милиционер, неприятно удивлённый, покачал головой, вынул из кармана большую тетрадь и принялся что-то записывать.

— Ну, так как же всё-таки? — пробормотал он, помедлив. — Не само же оно разбилось?

— Да нет, товарищ, нет, — крикнули ехавшие на подножке люди, — конечно, не само! Вон тот тип вышиб его палкой. Это же видно!

Мы так и замерли. Круг справедливости начал стремительно замыкаться.

— Не мешать, только не мешать! — грозно предупредил представитель власти толпу и повернулся лицом в сторону купе.

— Так это вы, гражданин, выбили стекло?

— Абсурд, — хрипло ответил господин с палкой.

— Прошу вас выразаться повежливее, — сурово предупредил его милиционер.

— Да ведь он сидел у окна! — закричали те, кто ехал на подножке. — Мы слышали, как он запирался, гражданин начальник! Товарища нашего поранил!

Они выташили из толпы пострадавшего, который всем своим видом давал понять, что ещё не совсем пришёл в себя после ранения.

— Можете ли вы указать виновного? — спросил милиционер у господина с палкой.

Тот сухо пояснил, что стекло, повидимому, выбили все пассажиры одновременно в результате давки в вагоне.

— Простите, — отозвалась внезапно блондинка, — этот господин сам себе противоречит.

Все посмотрели на неё с любопытством, не исключая и представителя власти.

— Говорите смелее, — поощрительно сказал он, поправляя козырёк своей фуражки. — Вам нечего опасаться.

Блондинка насмешливо вздёрнула брови.

— Этот господин только что был совсем другого мнения, — спокойно заявила она. — Он утверждал, что стекло вовсе не выбивали все вместе. Я думаю, присутствующие это подтвердят...

— Правильно, — отозвался голос из глубины купе.

Все зашумели. Студент крикнул, что может поставить свою подпись под заявлением девушки.

— Спокойно, гражданин, спокойно, — перебил его милиционер и спросил, обращаясь к блондинке: — Можете ли вы указать виновника происшествия?

— Виновника происшествия? — повторила девушка и на мгновение призадумалась. Потом откинула со лба прядь светлых волос и твёрдо заявила: — Конечно!

— Так кто же это? — пробормотал представитель власти и склонился с карандашом над тетрадь.

— Виновником происшествия я считаю его, — показала она на господина с палкой.

Я взглянул на него. Он сидел, широко вытаращив глаза. Видимо, он ещё не понимал, что вокруг него происходит. Его помутившийся взгляд перебегал с разбитого стекла на костяную ручку палки, которую он судорожно сжимал.

Милиционер записывал фамилию и адрес свидетельницы, а мы с изумлением уставились на девушку.

— Ваши документы? — обратился милиционер к господину с палкой.

— Я категорически протестую, — захрипел тот. — Это — лжесвидетельство... Я...

— Ну, это выяснится, — добродушно сказал милиционер. — Ведь здесь есть и другие свидетели.

Он повернулся к остальным пассажирам. Студент, железнодорожник, поручик — все как один назвали виновником происшествия господина с палкой. В тишине вагона слышалось только кудахтанье курицы в кошёлке одной из крестьянок. Когда подошла моя очередь, я зажмурился и, как загипнотизированный, протянул руку в сторону господина с палкой.

Милиционер кончил записывать показания свидетелей и окинул нарушителя порядка полным презрения взглядом.

— Прошу вас следовать за мной.

Один за другим мы покидали купе. Студент вышел первым и подал руку девушке. И только господин с палкой всё ещё сидел на своём месте у разбитого окна, словно прирос к нему.

— До скорой встречи в милиции! — крикнул ему студент, беря под руку девушку со светлыми волосами.

И тогда произошло нечто неожиданное.

— Ах, та-а-ак!.. — взревел господин с палкой, размахнулся и вышиб второе стекло.

*Перевод с польского  
Валериана Арцимовича.*

---

---

# ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Академик И. АРТОБОЛЕВСКИЙ

★

## ПУТИ НОВЫХ ИСКАНИЙ

**С**оветский народ добился решающих успехов в развитии всех отраслей общественного производства и прежде всего тяжёлой индустрии — основы могущества нашей Родины. В короткие исторические сроки построены и вступили в действие тысячи новых мощных заводов и фабрик, шахт и электростанций, созданы сотни крупнейших промышленных комбинатов. Все старые предприятия полностью реконструированы. Под руководством Коммунистической партии Советский Союз превратился в могучую индустриальную державу.

В решениях январского Пленума Центрального Комитета КПСС с новой силой подчеркнута ведущая роль тяжёлой индустрии в создании материально-производственной базы коммунизма. «Коммунистическая партия, — говорится в постановлении Пленума, — руководствуясь учением великого Ленина о всемерном развитии крупной машинной промышленности и электрификации страны, считает, как и прежде, своей главной задачей дальнейший подъём тяжёлой индустрии, составляющей прочную основу всего народного хозяйства и несокрушимой обороноспособности нашей Родины, источник неуклонного роста благосостояния советского народа».

Генеральная линия партии, направленная на преимущественный рост производства средств производства, целиком и полностью вытекает из основного экономического закона социализма, глубоко познанного и правильно применяемого. Эта линия оправдана всем ходом социалистического строительства и отвечает кровным интересам народа, так как прочно обеспечивает процветание всего народного хозяйства, ведёт к неуклонному повышению жизненного уровня населения, укреплению оборонной мощи СССР.

Разоблачая вредную, узкопотребительскую концепцию понимания основного экономического закона социализма, партия исходит из указаний марксизма-ленинизма о том, что растущие потребности широких народных масс могут удовлетворяться только на основе непрерывного роста производства с преимущественным развитием тяжёлой промышленности.

Подъём тяжёлой индустрии неразрывно связан с развитием машиностроения. Вот почему необходимо, чтобы старые машины и механизмы неперестанно заменялись новейшими, лучшими. Интересы государства требуют не только количественного роста техники, но и резкого улучшения её качества. Машиностроители должны в кратчайшие сроки оснастить промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство таким оборудованием, которое полностью отвечало бы возросшим потребностям социалистического производства.

Разумеется, есть много путей для создания новых, более производительных машин. Но прежде всего необходимо установить, в каких именно своих рабочих функциях перестал удовлетворять нас тот или иной механизм, не выдержавший испытания временем. Это позволит лучше, точнее определить главные, перспективные направления конструкторской мысли.

### *Сельскому хозяйству — совершенные машины.*

Решение исторических задач, стоящих перед колхозами, совхозами и МТС в области увеличения производства зерна и животноводческой продукции, требует дальнейшей механизации сельского хозяйства. Однако в последнее время наметилось значительное отставание сельскохозяйственного машиностроения. Машино-тракторные станции и совхозы вынуждены нередко пользоваться устаревшей техникой; многие орудия, в которых остро нуждаются земледелие и животноводство, до сих пор не созданы.

Значительную долю вины за это несут конструкторы — ведь им по праву принадлежит решающий голос в техническом прогрессе. Между тем конструкторская работа на некоторых заводах сельскохозяйственного машиностроения запущена, что наносит прямой ущерб государству.

На январском Пленуме ЦК КПСС говорилось о продукции Владимирского завода. Этот завод выпускает колёсные тракторы «Универсал» по модели... тридцатилетней давности. Машина имеет низкий коэффициент полезного действия, работает на дорогостоящем топливе — керосине, тогда как все современные тракторы оборудованы более надёжными и экономичными дизельными двигателями.

«Универсал» снабжён металлическими колёсами, хотя давно известно, что применение пневматических шин обеспечивает лучшие скорости движения; на нём установлена коробка передач с тремя скоростями вместо пятискоростной. В довершение всего этот тип трактора непригоден для многих прогрессивных способов обработки хлопковых плантаций, картофельных полей, подсолнечника, овощей. Словом, по своим техническим данным и эксплуатационным качествам «Универсал» — это позавчерашний день тракторной техники.

Вот другой пример.

Несколько лет назад было начато производство трактора «ДТ-54». Вскоре обнаружился весьма существенный дефект его конструкции: шасси оказалось шире плугов, которые трактор может тянуть, в результате чего он работает с перекосом. Мало того, с помощью этого трактора можно производить лишь мелкую вспашку. Но ведь современная агротехника предписывает главным образом глубокую пахоту, требующую повышенной мощности двигателя. Тракторостроители не могут этого не знать, однако они не работают над модернизацией «ДТ-54», и с заводского конвейера продолжают сходить эти несовершенные машины.

Серьёзное значение имеет вопрос и о дальнейшем усовершенствовании существующих сельскохозяйственных машин. Здесь имеется много неиспользованных возможностей, открываемых новейшими достижениями советской и зарубежной науки.

Практика машино-тракторных станций подсказывает целесообразность применения навесных орудий вместо прицепных. Но эти механизмы имеют существенные технические недостатки. Так, например, они часто «не вписываются» в рельеф местности, поэтому водителю трактора приходится вручную регулировать движение рабочих органов, что усложняет его работу. Между тем процесс этот поддается автоматизации.

Почти на всех сельскохозяйственных машинах и орудиях сохранились, как наследство далёкого прошлого, рычаги, рукоятки, педали с трудоёмкой механической передачей, управление которыми требует значительной физической силы. Между тем более широкое применение гидромеханизмов позволило бы управлять машиной с минимальной затратой усилий. При этом нужно использовать кнопочное управление, что практикуется на многих станках. Это намного облегчило бы труд рабочего, управляющего машиной, дало бы ему возможность сосредоточить внимание на основной операции, выполняемой машиной.

Наше сельскохозяйственное машиностроение всё ещё слабо использует автоматику, разработанную советскими инженерами и учёными. Возьмём для примера хлопкоуборочный агрегат. Высокого качества уборки хлопка достигают только те водители, которые сохраняют постоянную скорость движения машины. Но удаётся это далеко не всем. В результате часть коробочек с хлопком остаётся необранной, многие коробочки хотя и срываются, но не попадают в сборочный бункер. А ведь этого можно избежать с помощью приспособлений, автоматически регулирующих скорость движения машины.

Искусство конструктора, проектирующего машину, и инженера, строящего её, состоит прежде всего в том, чтобы создать конструкцию, обеспечивающую высокое качество продукции и максимальную производительность при экономной затрате энергии и человеческого труда. Для этого требуется, чтобы конструкторы-машиностроители достаточно хорошо представляли себе все элементы рабочего процесса, который должна выполнять конструируемая ими машина.

На деле, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Об этом можно судить по конструкции картофелеуборочного комбайна. Получилось так, что комбайн хорошо работает только на сухих почвах, а картофель, как известно, приходится убирать в разных широтах, в различных климатических условиях, иногда в пору осенних дождей.

Ясно, что при создании машин, предназначенных для уборки картофеля, кукурузы, свёклы, нельзя обойтись без тщательного изучения рабочего процесса. Стоит, в частности, подумать и о возможности применения новых вибрирующих устройств, разработать новую геометрию рабочих органов и так далее.

Многие новинки техники, освоенные в других отраслях машиностроения, всё ещё мало внедряются в сельское хозяйство. В первую очередь это относится к гидравлическим и пневматическим устройствам, которые гарантируют большую надёжность и экономичность в работе и значительно упрощают конструкцию машин.

Очень медленно продвигаемся мы вперёд и в области электрификации земледелия и животноводства. Электротракто́ры, электрокомбайны, различные электрические приборы могут и должны найти в сельском хозяйстве несравненно более широкое применение, нежели сейчас.

Конструкторская мысль должна работать с большей творческой активностью, проявлять больше инициативы, смелости, дерзания, новаторства, идти вровень с требованиями жизни и даже опережать их.

Надо сказать, что инициативу конструкторов нередко тормозит следующее обстоятельство. Руководители иных предприятий под разными «объективными» предлогами — а на деле из нежелания перестраивать уже налаженное производство — отказываются от освоения новых конструкций машин. Дело в том, что заботы и внимание таких производственников направлены главным образом на количественное выполнение заданий, а о качестве выпускаемой продукции, о её техническом совершенстве они частенько не беспокоятся. Слов нет, легче производить уже освоенные виды техники. Но ведь нельзя же забывать, что использование устаревшей техники на колхозных и совхозных полях не приносит должного эффекта и, конечно, не ведёт к снижению себестоимости продукции.

Проблема широкой механизации сельскохозяйственного производства требует повседневного внимания со стороны соответствующих научных учреждений. Очевидно, назрела пора безотлагательно пересмотреть и резко улучшить организационные формы конструкторской работы. Нам надо развернуть решительную борьбу с косностью, рутинной и проявленными бюрократизма во всём, что относится к такому ответственному делу, как оснащение МТС и совхозов совершенными машинами и орудиями новейших типов. Необходимо всемерно поощрять и поддерживать любые начинания в этой области, какими бы малыми ни казались они на первый взгляд. Нет сомнения, что всё ценное, новаторское непременно будет подхвачено, усовершенствовано и претворено в дело.

### ***Вооружить конструкторов научной теорией.***

Создание новых конструкций машин и механизмов требует всестороннего испытания их в различных условиях работы. Однако многие научные институты и машиноиспытательные станции проводят эти исследования весьма примитивно, не используя современных измерительных приборов и тех методов изучения рабочих процессов, которые уже прочно вошли во многие отрасли современной науки и техники. Мы имеем в виду применение радиоактивных изотопов (метод «меченых атомов»), электронных и электрических приборов для записи усилий, скоростей и мощностей, акустических методов исследования (ультразвук), люминесцентного анализа и так далее.

Лучшему, подлинно научному изучению работы машин сейчас мешает, на мой взгляд, отсутствие единообразия применяемых методов, установленных норм и требований к испытаниям, теоретически обоснованных принципов их проведения. Каждая лаборатория ведёт исследования изолированно от других, что исключает получение сопоставимых результатов и объективный их анализ. Понятно, что в таких условиях невозможно сделать сколько-нибудь определённые выводы о качестве той или иной машины.

Советский конструктор обязан знать не только технологию того процесса, который должна выполнять проектируемая им машина, но и экономику этого процесса. Таково непреложное требование, диктуемое самой практикой. Но мне хочется несколько развить эту мысль, подкрепить её фактами. Речь идёт о необходимости постоянной модернизации отечественной техники, о перспективности в творческом замысле машиностроителя, о необходимости взгляда в завтрашний день машиностроения.

В нашей стране освоено производство великолепных строительных и дорожных машин. Мы по праву восхищаемся четырнадцатикубовыми шагающими экскаваторами, землесосными снарядами производительностью в тысячу кубических метров грунта в час, мощными землечерпалками. Всё это высокопроизводительные, остроумно сконструированные механизмы.

Однако в отношении экономичности конструкций можно было бы добиться большего. Механизмы эти чрезмерно громоздки — шагающий экскаватор, например, весит более 1 200 тонн. Они требуют огромной затраты электроэнергии: до семи-восьми тысяч киловатт — количества, достаточного для обеспечения областного центра средней величины.

Более глубокая разработка теории рыхления почвы, правильное конструирование режущих частей экскаватора позволят значительно облегчить его вес, удешевить стоимость машины и уменьшить эксплуатационные расходы. В итоге получится экономия, исчисляемая многими миллионами рублей.

Как показал опыт Волгодонстроя, скреперная разработка грунта обходится всё же в девять-десять раз дешевле экскаваторной. К тому же на изготовление скрепера идёт значительно меньше металла, и машина расходует относительно мало энергии. При этом способе агрегат, состоящий из землеройной машины и двух сравнительно небольших двигателей, в состоянии выполнить примерно такой же объём работ, как и четырнадцатикубовый экскаватор. Это даёт возможность обойтись мощностью всего лишь в 220 лошадиных сил — в сорок с лишним раз меньшей, чем требует экскаваторная работа. Для достижения более высокой производительности труда земляные работы во многих случаях можно вести методом обрушения по аналогии с горными выработками.

Стоит подумать также и о лучшем использовании мощных землесосных снарядов. Главной частью агрегата служит всасывающая труба с фрезой, взрыхляющей грунт, который всасывается вместе с водой в трубу, а затем перегоняется по системе трубопроводов. Однако самый процесс образования пульпы — смеси грунта с водой — и её концентрации ничем не регулируется: в пульпе содержится то больше грунта, то меньше. В последнем случае землесосный снаряд работает непродуктивно, затрачивая много энергии на бесполезную перегонку значительных количеств воды на большие расстояния. Но ведь есть прямой смысл разработать надёжно действующие автоматические устройства регулирования состава пульпы.

Современные машины в большинстве своём — сложнейшие агрегаты, составленные из многих десятков механизмов. Их звенья движутся со скоростями, достигающими десятков тысяч оборотов в минуту, и подвергаются подчас усилиям в сотни тонн. Поэтому конструктор, предусматривая исключительную точность и строгую согласованность работы отдельных механизмов, обязан позаботиться и об их прочности.

Огромное практическое значение имеет проблема долговечности машин. Ведь это не только длительность их службы, но также предупреждение аварий и связанных с ними простоев. Кроме того, долговечность машин обеспечивает более интенсивное их использование. Научный подход к изучению физических процессов, протекающих при износе,

позволит значительно повысить износоустойчивость машин, сбережёт много средств государству.

В СССР ежегодно изготавливается шестнадцать миллионов звеньев гусениц тракторов и десять миллионов лемехов к тракторным плугам. Для их производства расходуются сотни тысяч тонн стали, а стоимость этих запасных частей достигает сотен миллионов рублей. Каждый год примерно девяносто процентов тракторных двигателей нуждается в перешлифовке шатунных шеек коленчатого вала на новый размер, а через два года подобная же операция производится для коренных шеек коленчатых валов. Стоимость всех этих работ составляет по крайней мере несколько десятков миллионов рублей. Отсюда ясно, что наиболее изнашивающиеся части целесообразнее изготавливать из высококачественных материалов и конструктивно делать их более прочными.

Разумеется, мы указали только некоторые научные проблемы теории машин, решение которых поможет создавать новые, более совершенные машины и модернизировать действующий машинный парк. Мне хотелось лишь подчеркнуть основную мысль: научная теория, всестороннее использование научных достижений всемерно ускорят дальнейшее развитие советского машиностроения.

### *О путях экономии металла.*

Машиностроение — один из главных потребителей металла. На машиностроительных заводах и в механических цехах других предприятий перерабатывается ежегодно несколько миллионов тонн металла. Уменьшение веса машин, а значит, и снижение расхода металла зависят от трёх основных факторов: от качества металла, от конструкции деталей машин и от способа их изготовления.

Ещё не так давно для изготовления машин применяли десять — двенадцать сортов стали и сплавов. Ныне советское машиностроение располагает более чем пятьюстами различными марками стали, чугуна и сплавов цветных металлов. Помимо того, широко используются неметаллические материалы — пластические массы с повышенными механическими свойствами или пластмассовые детали, армированные внутри металлом, прессованная древесина, специальные сорта стекла, резина. Мы научились также изготавливать детали прессованием — из металлических порошков. Применение порошковой металлургии вносит коренное изменение в культуру производства: упрощается оборудование, улучшаются условия труда рабочих, повышается точность детали, почти не требующей дополнительной механической обработки.

Зная, в каких условиях работает каждая деталь (температура, давление, химическая среда), каким она подвергается нагрузкам (растяжение, кручение, удар), опытный конструктор всегда сумеет подобрать из множества имеющихся материалов наиболее подходящий, удовлетворяющий самым строгим требованиям.

На изготовление автомобиля идёт больше десятка различных марок качественной стали. Автомобиль, изготовленный из обычной стали, оказался бы настолько тяжёлым и громоздким, что не смог бы передвигаться со скоростью, присущей современному автотранспорту. Практика инженерного дела подсказывает: чем выше качество металла, тем меньше требуется запаса прочности, легче будет вес машины, производительнее будет она работать. Основываясь на самых осторожных подсчётах, можно утверждать, что применение качественной стали повышенной прочности для изготовления некоторых деталей машин, железнодорожных вагонов, морских и речных судов позволило бы снизить их вес на двадцать — тридцать процентов при повышении в полтора-два раза прочности, надёжности в эксплуатации и долговечности.

Советские учёные разработали весьма эффективный способ упрочнения металлических деталей. Почти готовую деталь подвергают закалке, нагревая её токами высокой частоты. В результате закаливается только поверхностный слой, приобретающий прочность и износоустойчивость, а середина остаётся вязкой. Это крайне важно для деталей, подвергающихся ударам, — для колеса, шестерни. Применяются и другие способы повышения прочности частей машины, например, насыщение поверхностного слоя углеродом (цементация), азотом (азотирование), алюминием (алитирование), хромом (хромирование). Некоторые детали обрабатывают струёй чугуновой или стальной дроби или же

«обкатывают» стальными роликами. В этом случае на поверхности детали образуется тонкий и прочный уплотнённый слой, так называемый наклёп.

Упрочение поверхности намного удлинняет использование детали. Так, дробеструйная обработка пружины, изготовленной из обычной стали, в сотни раз удлинняет срок её службы; поверхностная закалка токами высокой частоты зубьев шестерён, предназначенных для автомобилей, трамваев, станков, втрое увеличивает их износостойчивость.

Экономное и наиболее целесообразное расходование материалов во многом зависит от точной оценки их свойств: прочности, пластичности, износостойкости.

Задачи снижения веса машин и одновременного повышения их прочности будут решаться успешно при условии правильной организации научно-экспериментальных и конструкторских работ. Вот тут-то всё более ощутимо сказывается отсутствие хорошо налаженной научно-технической информации. Нередко бывает, что даже в пределах одного министерства достижения в области изучения свойств материалов, открывающие новые пути их экономии, становятся достоянием лишь одного-двух предприятий.

### *Совершенствовать технологию.*

Одним из наиболее важных факторов дальнейшего прогресса машиностроения, а значит, и всех других отраслей народного хозяйства является улучшение технологии производства машин.

Советские учёные добились значительных успехов в изучении отдельных видов обработки металла: процессов резания, электроискровой и анодно-механической обработки, закалки токами высокой частоты, сварки. Но ещё мало исследуются способы получения наиболее выгодных сочетаний разных видов обработки, их последовательность, правильное построение всего процесса изготовления детали, изделия. Короче говоря, у нас тщательно изучаются средства и способы выполнения отдельных операций, но оставляются в стороне технологические процессы изготовления деталей машины в целом. А между тем это играет решающую роль в построении поточного и автоматизированного производства. Разрыв между теорией и практикой может в данном случае привести к малоэффективной организации массового производства, к неоправданным расходам, к медленному внедрению высокопроизводительных технологических процессов.

На наших машиностроительных заводах постоянно находится в стадии изготовления множество деталей всякого рода. При этом одинаковые или близкие по конфигурации детали изготавливаются зачастую на разных предприятиях различными способами, с резко отличной трудоёмкостью и себестоимостью. С таким положением пора покончить. Конечно, и в этом сказывается недостаточность технической информации, но следует также поставить вопрос о лучшем обобщении передового опыта, о большем внимании учёных к теоретическим исследованиям в области технологии машиностроения.

Для ускорения темпов производства машин и механизмов надо серьёзно работать над перестройкой ряда технологических процессов, в частности в заготовительных цехах — литейных и кузнечно-прессовых.

Многие машиностроители трудятся над изысканием наиболее совершенных методов обработки металлов резанием. Нельзя отрицать больших успехов, достигнутых благодаря смелому почину токарей-скоростников — П. Быкова, Н. Уголькова, А. Маркова и других. Мы располагаем большим парком высокопроизводительных металлорежущих станков, у нас созданы превосходные резцы. Но можно ли сейчас удовлетвориться этим?

Наше машиностроение производит ежегодно несколько миллионов тонн стальных и чугуновых отливок. Примерно шестьдесят процентов их веса из-за неточности отливок снимается в малоценную стружку, уходит на литники, на угар, шлак и другие потери. Наглядное представление об этом дают следующие примеры. Поковки дисков турбины средней мощности весят 9,7 тонны, а в готовом виде вес дисков не превышает 2,8 тонны. Заготовка для деталей экскаватора весит в целом 3 900 килограммов, а готовые детали — 800 килограммов. При изготовлении турбинных лопаток восемьдесят процентов дорогого металла уходит в стружку.

Между тем имеется надёжный способ повышения производительности труда и экономии металла в машиностроении: изготовление литых заготовок и поковок, максим-



мально приближённых к форме готовых изделий. Это сократит до минимума время, затрачиваемое на обработку деталей в механических цехах, позволит более эффективно использовать станки, резко уменьшит расход металла, перегоняемого в стружку. Такое своеобразное перераспределение трудовых затрат в машиностроении уже началось, но развивается оно чрезвычайно робко и слишком медленными темпами.

Возьмём ещё один вид обработки машинных деталей — ковку. На большинстве машиностроительных предприятий ковка производится с помощью паровых молотов. Очевидно, назрела необходимость перевести изготовление ряда деталей на кривошипные прессы, что позволит довести точность до десятой доли миллиметра и тем самым отказаться от дальнейшей механической обработки. Помимо того, при использовании кривошипных прессов съём поковок с одного квадратного метра производственной площади цеха увеличивается в несколько раз, резко уменьшается число занятых рабочих, повышается производительность труда и значительно снижается себестоимость изделий.

Ещё больший эффект в деле массового производства деталей средней величины даёт обработка давлением с одновременным нагревом в самой машине.

Приведённые примеры показывают, какими ещё огромными резервами располагает наше машиностроение. Но их использование возможно лишь при широком внедрении в производство достижений науки. Именно в единстве науки и производства, осуществляемом сознательно и планомерно, состоит одно из важнейших преимуществ социалистического общества, и этим преимуществом мы должны овладеть полностью.

Сочетание передовой теории с практикой обеспечит дальнейшее развитие советского машиностроения, создаст предпосылки для мощного подъёма производительных сил и дальнейшего увеличения выпуска продукции во всех отраслях народного хозяйства.



## МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(1755 — 1955)

Двухсотлетний юбилей Московского университета — праздник всего советского народа, торжество передовой науки и культуры.

Основанный в 1755 году по замыслу великого русского учёного М. В. Ломоносова, Московский университет прошёл славный путь своего исторического развития. Он по праву завоевал репутацию «значительнейшего из учёных учреждений России по влиянию на жизнь общества и развитие нашего просвещения», как говорил об университете великий революционер-демократ Н. Г. Чернышевский.

Воспитанниками Московского университета были крупнейшие деятели русской и мировой культуры — выдающиеся мыслители, писатели и артисты. В университете в разное время работали виднейшие учёные нашей страны.

Демократическое студенчество университета было активным участником революционного освободительного движения в нашей стране и в дворянский период, и в разночинский, и особенно в пролетарский период. Будучи тесно связан с освободительным движением в России на всех его основных этапах, Московский университет воспитал многих революционеров.

В годы первой русской революции В. И. Ленин назвал Московский университет революционным, а волнения студентов считал «завязкой московских событий» осени 1905 года. От «первого свежего ветерка, выступления свободной и юной революционной стихии», — писал Владимир Ильич, — начал крепчать революционный ветер, «превращаясь в бурю, направленную против основного источника всей казенщины и всего надругательства над русским народом, против царского самодержавия» (Сочинения, т. 9, стр. 347).

Ныне Московский государственный университет является крупнейшей в Советской стране кузницей кадров для всех отраслей хозяйственного и культурного строительства. В его стенах обучается свыше 20 тысяч студентов — сынов и дочерей советского народа, народов Китая и многих других стран Европы и Азии. Их воспитателем является огромный, двухтысячный коллектив профессоров и преподавателей — видных учёных.

За выдающиеся достижения в подготовке высококвалифицированных культурных кадров Московский университет удостоен высшей награды — ордена Ленина. Университету присвоено имя его основателя — М. В. Ломоносова.

Как символ величия советской культуры, в столице нашей Родины — Москве — высятся прекрасное здание университета на Ленинских горах — подлинный Дворец науки, построенный по инициативе Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства после победоносного завершения Великой Отечественной войны.

Публикуемые ниже полностью или в извлечениях материалы и документы характеризуют некоторые этапы двухсотлетней истории Московского университета. Они взяты нами из различных литературных источников, в том числе изданных много лет назад и ставших библиографической редкостью. Отдельные материалы печатаются по оригиналам, хранящимся в архиве библиотеки МГУ.

Подбор материалов и комментарии к ним выполнены кандидатом исторических наук П. С. Ткаченко.

### Детище Ломоносова

М. В. Ломоносов — И. И. Шувалову<sup>1</sup>. 1754 год

Милостивый государь Иван Иванович.

Полученным от Вашего превосходительства черновым доношением Правительствующему Сенату к великой моей радости я уверился, что объявленное мне словесно приятное подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно

<sup>1</sup> И. И. Шувалов (1727—1797) — государственный деятель, впоследствии первый куратор Московского университета.

но к истинной пользе и славе отечества. При сем случае довольно я ведаю, сколь много природное Ваше несравненное дарование служить может, и многих книг чтение способствовать. Однако и тех совет Вашему превосходительству не бесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются. Того ради ежели Московский Университет по примеру иностранных учредить намеряетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, Вами сочиненной. Но ежели ради краткости времени, или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую Вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение о учреждении Московского Университета кратко вообще.

1. Главное мое основание, сообщенное Вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план Университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных студентов довольно число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем комплект наберется. Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание Университетской Библиотеки, нежели зделав ныне скудной и уской план по скудости ученых, после как размножатся оной снова переделывать и просить о прибавке суммы.

2. Профессоров в полном Университете меньше двенадцати быть не может, в трех факультетах...

3. При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет как пашня без семян. О ея учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предложить, но времени краткость возбраняет.

Не в указ Вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целой полной план предложить могу.

Непрерменно с глубоким высокопочитанием пребывая

*Вашего превосходительства всепокорнейший слуга  
Михайло Ломоносов.*

**М. В. Ломоносов** (Сочинения, т. 8).

### Первый университетский устав<sup>1</sup>

...25. Понеже науки не терпят принуждения, и между благороднейшими упражнениями человеческими справедливо счисляются; того ради как в университет, так и в гимназию не принимать никаких крепостных и помещиковых людей; однако, ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особливую остроту, пожелает его обучить свободным наукам, оный должен наперед того молодого человека объявить вольным и, отказавшись от всего права и власти, которую он прежде над ним имел, дать ему увольнительное письмо за своею рукою и за приписанием свидетелей, при том же повинен он за себя и за наследников своих обязаться давать оному ученику пристойное содержание, доколе он при университете счисляться будет, и до совершенного окончания наук ни под каким видом его не отлучать.

...28—38. При университете учреждаются две гимназии, одна для дворян, другая для разночинцев, кроме крепостных людей.

39. Для различения дворян от разночинцев, учиться им в разных гимназиях; а как уже выдут из гимназии и будут студентами, у вышних наук таким быть вместе, как дворянам и разночинцам, чтоб тем более дать поощрения к прилежному учению.

**И. М. Соловьёв** («Русские университеты в их уставах»).

<sup>1</sup> Проект устава Московского университета был подан императрице Елизавете Петровне и утверждён ею 12 января 1755 года. Авторами проекта являются М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.

### *Под знаменем передовых идей*

...Московский университет вписал бессмертные страницы в историю развития общественного движения и общественной мысли России, в историю героической борьбы лучшей части нашей интеллигенции против гнёта крепостничества, против дикого деспотизма, самовластия царизма, за народное просвещение, за благо и счастье нашей страны.

В Московском университете всегда, даже в самые мрачные годы реакции, ярким пламенем горел священный огонь любви к родине, к знанию, к науке. Герцен, Белинский, Грановский, Огарёв, Фонвизин, Лермонтов, Грибоедов, Тургенев, Пирогов, Сеченов, Столетов, Ключевский и много, много других славных, выдающихся деятелей литературы, науки и культуры связаны с Московским университетом — этой, в подлинном смысле слова, alma mater великих зачинателей нашей науки...

(Из выступления Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР А. Я. Вышинского от имени Совнаркома Союза Советских Социалистических Республик и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевинов) в день 185-летия МГУ, 8 мая 1940 года).

#### **«На вас обратила очи свои Россия»**

Если будет ваша охота и прилежание, то вы скоро можете показать, что и вам от природы даны умы такие ж, какие и тем, которыми целые народы хвалятся; уверьте свет, что Россия больше за поздним начатием учения, нежели за бессилием, в число просвещенных народов войти не успела. Что касается до трудности сего учения, то я всю тяжесть на себя принимаю; ежели же снести его буду я не в состоянии, то лучше желаю обессилен быть сею должностию, нежели оставить вас без удовольствия. Но ваше усердие и охота ваша, внешними знаками оказываемая острота обнадеживает меня, что я о тяжести предприемлемого мною дела никогда каяться не буду. Представьте себе, что на вас обратила очи свои Россия; от вас ожидается того плода, которого от сего университета надеется; вы те, которых успехи если будут соответствовать желанию российских добродетелей, то вся ваша надежда, которую вы воображаете в своих мыслях, уже наперед исполнена.

**Н. Н. Поповский** (Из «Речи, говоренной в начатии философических лекций при Московском университете гимназии»).

#### **«Университет рос влиянием»**

...Опальный университет рос влиянием: в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоёв; в его залах они очищались от предубеждений, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои её.

**А. И. Герцен** («Былое и думы»).

#### **«Не отрицались только свобода, вольность»**

...За исключением одного или двух, обитатели 10-го номера<sup>2</sup> были все из духовного звания, и от них-то, именно, я слышался таких вещей о полах, богослужении, обрядах, таинствах и вообще о религии, что меня на первых порах, с непривычки, мороз по коже подирал.

Все запрещённые стихи, вроде «Оды на вольность», «К временщику» Рыльева, «Где те, братцы, острова» и т. п., ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались сообща при каждом удобном случае...

О боге и церкви сыны церкви из 10-го номера знать ничего не хотели и относились ко всему божественному с полным пренебрежением... «Знаете ли вы, — говорит

<sup>1</sup> Н. Н. Поповский (1730—1760) — любимый ученик М. В. Ломоносова. В 1755 году был назначен профессором красноречия и философии Московского университета.

<sup>2</sup> Так называлась комната в общежитии университета, где жил Н. И. Пирогов.

мне кто-то из жильцов 10-го номера, — что у нас есть тайное общество? Я член его, я и масон». Что же это такое? «Да так, надо же положить конец». Чему? «Да правительству, ну его к чёрту!» И я, после этого открытия, смотрю на господина, сообщившего мне такую любопытную вещь, с каким-то подобострастием...

Десятый номер остался мне памятным навсегда не только потому, что воспоминание о нём совпадает у меня с развитием первого в жизни мировоззрения, но и потому ещё, что слышанное и виденное мною в этом номере в течение целых трёх лет служило мне с тех пор всегда руководною нитью в моих суждениях об университетской молодёжи. Десятый номер 1824 года, перенесённый в наше время, наверно, считался бы притоном нигилистов. И тогда почти всё отрицалось: бога не нужно было, религия была вредною уздой; не отрицались только свобода, воля и даже буйство...

**Н. И. Пирогов** («Дневник старого врача»).

### Обитатели «одиннадцатого номера»<sup>1</sup>

...Я и ещё человек с пять затворников составили маленькое литературное общество. Ежедневно у нас было собрание, в котором каждый из членов читал своё сочинение. Это общество, кончившееся седьмым заседанием, принесло мне ту пользу, что заставило меня окончить мою трагедию...<sup>2</sup>

**В. Г. Белинский** (Письмо к Ивановым от 13 января 1831 года).

### Кружок Герцена—Огарёва

Я помню комнатку аршинов в пять,  
Кровать, да стул, да стол с свечью сальной...  
И тут втроём мы — дети декабристов  
И мира нового ученики,  
Ученики Фурье и Сен-Симона,—  
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь  
Народу и его освобожденью,  
Основую положим социализм,  
И чтоб достичь священной нашей цели,  
Мы общество должны составить втайне  
И втайне шаг за шаг распространять.

**Н. П. Огарёв** («Исповедь лишнего человека»).

### «Посредник между наукой и обществом»

..Он (Т. Н. Грановский)<sup>3</sup> был одним из сильнейших посредников между наукою и нашим обществом; очень немногие лица в нашей истории имели такое могущественное влияние на пробуждение у нас сочувствия к высшим человеческим интересам...

Как профессор Московского университета, без всяких сравнений значительнейшего из учёных учреждений России по влиянию на жизнь общества и развитие нашего просвещения, Грановский имел круг деятельности едва ли менее обширный, нежели круг действия литературы. Непринуждённость изложения, полнота выражения мысли, какая давалась ему живым словом, не существует в литературе... Нельзя не признать его одним из первых историков нашего века, учёным, который был не ниже знаменитейших европейских историков; что в России не имел он соперников, это всегда было очевидно для каждого...

**Н. Г. Чернышевский** («Сочинения Т. Н. Грановского»).

### «Послужить родному университету...»

По новому университетскому уставу профессор, выслуживший свой срок, сохраняет за собою право преподавания в университетах в качестве приват-доцента. Этим драгоценным правом я воспользовался; начальство соблаговолило допустить меня к чтению

<sup>1</sup> Так называлась комната в общежитии университета, где жил В. Г. Белинский.

<sup>2</sup> Речь идёт о трагедии «Дмитрий Калинин».

<sup>3</sup> Т. Н. Грановский (1813—1855) — выдающийся русский учёный и общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете.

лекций, и я, как бывший воспитанник Московского университета, чувствую себя в самом деле очень счастливым, что имею, наконец, возможность послужить родному университету. Деятельность моя как приват-доцента должна заключаться в том, чтобы содействовать успехам преподавания физиологии...

**И. М. Сеченов** (Из первой лекции в Московском университете).

#### «Энтузиазм к научному труду»

...Если вам случится проходить по Никитской, загляните в монументальную арку выходящей сюда части Старого университета. В глубине двора вы увидите трёхэтажное красное здание с небольшой вышкой. Это — бывший физический институт, — один из центров русской науки, известных не только за пределами Никитской, но и далеко за пределами России. Это — одна из двух лабораторий, доставляющих в эту минуту почётную известность русской науке. Если Петербург имеет своего Павлова, то Москва имеет своего Лебедева<sup>1</sup>...

Оригинальная, творческая деятельность Петра Николаевича Лебедева связана с тем могучим течением современной физической мысли, которая берёт начало из гениального учения Максвелла о тождестве явлений световых и электромагнитных... Но не в одном только личном, научном творчестве Лебедева, поставившем Московский университет наряду с выдающимися западными центрами науки, заключается его значение для университета... В подвальном этаже — в «Лебедевском подвале»... бьётся пульс настоящей, не школьной науки, — не той, которая только поминает заслуги прежних годов и веков, а той, в которой выражается жизнь сегодняшней науки — завтрашней техники. Здесь Лебедев находит время руководить работой 20—25 молодых исследователей, внося в их труд избыток своего творчества, своей изумительной изобретательности... Помнить, на чём остановился каждый исследователь, не только найти в каждом случае и дать необходимое указание, но и во-время предупредить неумелый шаг и предотвратить потерю времени, а главное — уметь сообщить примером и советом то, «чем люди живы», тот энтузиазм к научному труду, без которого нельзя быть истинным учёным, — дано не всякому...

**К. А. Тимирязев** («Новые потребности науки XX века и их удовлетворение на Западе и у нас»).

#### «Марксизм — мощная свежая сила»

...Вспоминается, как осенью 1892 года я, 18-летний юноша, впервые переступил университетский порог...

Московский университет тогда блистал научными силами. В университете читали знаменитый Тимирязев и другой выдающийся дарвинист Мензбир, физиолог Сеченов, физик Столетов и позднее Умов, историк Ключевский и другие...

В университете я не удовлетворялся одними специальными науками. Хотелось разобратся в крупнейших политических и экономических вопросах.

Конечно, я не мог сделать этого в одиночку. И потому вступил в одно из студенческих землячеств — саратовское... Само собой разумеется, что студентов влекли к землячествам не только материальные интересы: на первом месте стояли вопросы политического воспитания. Через землячества студенты шли в политические кружки, вступали в революционное движение. Чтобы пополнить земляческую кассу взаимопомощи, часто устраивались вечеринки, которые носили политический характер...

В то время в студенческой среде шла напряжённая борьба между марксистами и народниками. И эта борьба неизменно находила своё выражение в горячих спорах на наших вечеринках... Марксизм ощущался нами как мощная свежая сила, которая открывает дорогу к освобождению страны... На второй год моего пребывания в Московском университете саратовское землячество избрало меня своим представителем в союзный совет землячеств. У меня завязались связи с нелегальным Московским рабочим союзом...

<sup>1</sup> П. Н. Лебедев (1866—1912) — выдающийся русский физик.

Мы, студенты, помогали Рабочему союзу получать нелегальные революционные книги...

В среде студенчества шла напряжённая политическая борьба.

Академик **Б. Келлер** («Студенческие годы»).

### Слово великого Ленина

Я поступил в Московский университет в 1891 г. ...Я набросился на те книги, которые были запретными у нас в гимназии: Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Михайловский были прочтены запоем. Большое впечатление на нас производила популярная марксистская литература. Тогда уже получили распространение среди студенчества нелегальные книжки, популяризирующие учение Маркса: брошюры Геда, Лафарга и чудесное произведение А. Баха «Царь-голод», в котором автор прекрасно объяснял сущность капиталистической эксплуатации, присвоения прибавочной стоимости капиталистом, неизбежность классовой борьбы...

Политическое расслоение среди студенчества стало особенно резким, когда нелегально появилась историческая работа Ленина: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?»...

Всё стало ясно и понятно. «Друзья народа» Ленина сделали меня марксистом-ленинцем навсегда...

Когда мы получили эту рукопись, позиция наша сразу окрепла, марксистское течение среди студенчества стало резко оформляться, и мы успешно обстреливали народников, пользуясь громадным арсеналом фактов и идей, который дал нам Ленин.

Мы уже стали подумывать о связях с рабочими. Мы слышали в 1895 г., что рабочие собираются на массовки за городом...

**Н. А. Семашко** («Страницы воспоминаний»).

### Студенчество солидарно с пролетариатом

В газетах опубликован сбивчиво и явно лживо написанный приказ Ванновского<sup>1</sup> об исключении 400 с лишком студентов за «буйство», а затем и приказ обер-полицмейстера о наказании арестом 250 лиц за неповиновение полиции. Из нижеследующих прокламаций читатели увидят, как происходили дела в Москве: приказом 14 февраля 1902 г. Ванновский исключил более 400 чел. московских студентов за порочное поведение, передав их во власть министерства внутренних дел для соответственного наказания. Их рассматривают теперь как политических преступников, стремившихся вооружённой силой ниспровергнуть существующий строй... В чём же дело? Всякому, прочитавшему приказ Ванновского, ясно, что это наглая и подлая игра, но что произошло, всё же остаётся непонятным... После издания временных правил, отвергнутых не только всеми группами студентов, но даже профессорами, возбуждение в Москве стало крайне напряжённым, готовилась демонстрация. ...Опасаясь быть переловленными на квартирах, студенты, оставшиеся на свободе, решили не отменять сходки, назначенной на 9 февраля...

С утра начали собираться студенты и курсистки разных учебных заведений.

Так как в стенах университета оказалась заранее спрятанная военная команда и университетское здание начало наводняться ею, оставшиеся студенты поспешили собраться в актовом зале, заколотили гвоздями все двери, устроили баррикады из мебели, разбили стёкла и выкинули красные знамёна с надписью «Свобода».

В таком положении дело оставалось до полуночи. Полиция, боясь вооружённого столкновения, устранила предварительно всех свидетелей, очистив улицы и уведя в Бутырки всех забранных в манеже.

Тогда, около часу ночи, двери актового зала взломаны полицией, и введены были солдаты со штыками наперевес и пожарные с пылающими факелами. Осаждённым предложено было сдаться и дано четверть часа на рассуждение. После горячего обсужде-

<sup>1</sup> П. С. Ванновский — военный министр в 1881—1898 годах и министр народного просвещения в 1901—1902 годах.

ния осаждённые в количестве 517 сдались, выкинув предварительно через разбитые стёкла бывшие у них прокламации и бросив в одну кучу имевшееся у них оружие...

В листке с.-петербургских горных студентов сообщается о той же сходке: «Москва. К 12 часам студенты стали собираться во дворе университета — собралось более 900 человек, кроме того явилось до 80 из посторонней публики и 65 курсисток. После часу уже никого не впускали и университет был кругом оцеплен полицией и войсками. Все собравшиеся были скоро впущены в актовъй зал, где и открылась сходка... Присутствующими была принята программа политического протеста и вынесена следующая резолюция:

«Мы, учащиеся в высших учебных заведениях Москвы, на общем собрании 9 февраля 1902 года после всестороннего обсуждения единогласно постановили: считая ненормальность существующего академического строя лишь отголоском общего русского бесправия, мы откладываем навсегда иллюзии академической борьбы и выставляем знамя общеполитических требований, глубоко убеждённые, что для правильного хода общественной жизни необходимо пересоздание всего социального и политического строя на началах признания за личностью прав. Мы уверены, что без этого русская жизнь не двинется ни на шаг вперёд, что лучшие силы будут периодически вырываться из среды общества, что позорное топтание на одном месте не прекратится. Мы требуем:

1) неприкосновенности личности; 2) свободы печати; 3) свободы совести; 4) свободы собраний и организаций; 5) непосредственной ответственности административных лиц; 6) общедоступности образования; 7) допущения женщин в университет; 8) уравнивания прав национальностей. Вместе с рабочими мы требуем: 9) 8-часового рабочего дня; 10) права стачек. Не признавая настоящего правительства способным к преобразованию общественного строя на этих началах, мы обращаемся ко всей мыслящей России, считающей себя политически зрелой, с указанием о своевременности созыва «Учредительного собрания»...

Таким образом, в первый раз собрание нескольких сот студентов вынесло резолюцию, совершенно определённо выражающую солидарность студенчества с политическими требованиями пролетариата.

(Газета «Искра» от 10 марта 1902 года. «Правительственные бесчинства в Москве»).

## *В 1905 году*

### **9 января**

Собравшись впервые после тех событий, которые залили потоками крови многие из городов России, мы, студенты, считаем для себя необходимым: во-первых, присоединиться к тем требованиям, которые неоднократно раздавались и раздаются из разных слоёв общества и которые запечатлены в душе каждого русского гражданина.

Именно: немедленный созыв Учредительного собрания народных представителей, выбранных на основании прямого, всеобщего, тайного права голосования со свободной предварительной агитацией, свободы печати, совести — вероисповеданий, союзов и стачек.

Во-вторых, признать, что только при удовлетворении этих требований Россия может подняться до уровня правового государства и выйти из варварского состояния, в котором она до сих пор находится.

В-третьих, не видя со стороны правительства ни одного шага навстречу справедливым требованиям, а, наоборот, залпы в ответ на них и полное игнорирование общественного мнения, признаём, что нормальное течение жизни в данный момент невозможно.

IV. Прекратить всякие занятия до 1 сентября 1905 г.

V. После 1 сентября мы выработаем план действий в связи с ходом событий.

VI. Это решение скрепить подписями.

(Решение собрания студентов после событий 9 января 1905 года).



### «На путь активных действий»

Принимая во внимание:

1) что царское самодержавие в России проявляет твёрдую решимость удержать свою власть во что бы то ни стало;

2) что для достижения этой цели царское самодержавие между прочим организовало ряд погромов: еврейских, армянских, интеллигентских, распространило усиленную охрану, ввело военное положение, предало смертной казни множество геройских борцов за народную свободу и продолжает военной и полицейской силой подавлять всякое открытое требование свободы...

5) что благодаря самодержавию царя и бюрократии страна доведена до состояния полного экономического и умственного застоя;

6) что лишь учреждение демократической республики способно спасти страну от политического и национального гнёта и вывести её на путь свободного развития её производительных сил и свободной борьбы за экономическое освобождение;

7) что учреждение демократической республики возможно лишь путём созыва Учредительного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права, предоставленного лицам, достигшим 20-летнего возраста, без различия национальностей, вероисповеданий и пола при гарантировании полной свободы предвыборной агитации;

8) что единственным путём для достижения созыва Учредительного собрания на вышеуказанных основах является революция, на каковой путь уже вступил российский пролетариат и трудовое крестьянство, —

мы, студенты Московского университета, собравшись на общую сходку 9 сентября 1905 г., постановили:

1) игнорировать существующий политический строй и осуществлять политические и гражданские права, вопреки закону и помимо закона;

2) считать изменой народу всякое участие в правительственных комиссиях и всякое примирение на «Государственной Думе» или на другом представительном учреждении, кроме всенародного Учредительного собрания;

3) открыть университет и, по возможности не препятствуя желающим заниматься, превратить его в революционную трибуну, то есть вести пропаганду и агитацию студентов и привлекаемых в университет широких масс населения и подготовиться к совместному выступлению на путь активных революционных действий с целью:

а) свержения царского самодержавия;

б) созыва революционным временным правительством Учредительного собрания на вышеуказанных основах для учреждения в России демократической республики.

(Резолюция, принятая на сходке студентов 9 сентября 1905 года).

### В знак протеста

...Ещё в 1893 году я был назначен профессором Московского университета по кафедре органической химии. Я учился в университете у таких светочей естествознания, как Сеченов, Ковалевский, и у других достойных представителей русской науки. Воспитанный на трудах и идеях Чернышевского, Писарева, Добролюбова, Белинского, за годы моей работы в Московском университете я всегда остро и болезненно переживал гнёт самодержавия, обрушивавшийся на студентов и профессоров. В знак протеста против реакционной политики царского министра просвещения 100 профессоров и приват-доцентов подали в 1911 году в отставку<sup>1</sup>. Ушёл и я из университета...

Великая Октябрьская социалистическая революция дала мне возможность вернуться в родной мне Московский университет. И сейчас... нам, старым русским учёным,

<sup>1</sup> В числе 100 виднейших представителей передовой русской науки, демонстративно покинувших университет, протестуя против полицейских репрессий министра просвещения Л. Кассо, были К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев, Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин, В. И. Вернадский, В. И. Пичета и другие.

особенно радостно знать, что на смену нам идёт молодое, талантливое поколение, целая армия жизнерадостных и целеустремлённых учёных, вооружённых знаниями, охваченных пламенной любовью к своей чудесной родине, к партии большевиков...

**Н. Д. Зелинский** (Из выступления по радио к 185-летию МГУ, 6 мая 1940 года).

### *Ордена Ленина, имени Ломоносова...*

#### **О приеме в высшие учебные заведения РСФСР<sup>1</sup>**

СНК поручает Комиссариату народного просвещения подготовить немедленно ряд постановлений и шагов для того, чтобы, в случае если число желающих поступить в высшие учебные заведения превысит обычное число вакансий, были приняты самые экстренные меры, обеспечивающие возможность учиться для всех желающих, и никаких не только юридических, но и фактических привилегий для имущих классов не могло быть. На первое место безусловно должны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства, которым будут предоставлены в широком размере стипендии.

**В. И. Ленин** (Сочинения, т. 28, стр. 31).

#### **Народный университет**

Правительство Российской Республики издало «Положение о Российских Университетах», экземпляр которого я получил благодаря любезности комиссара по высшим школам, моего уважаемого коллеги, профессора П. К. Штернберга...

Самым существенным демократическим его нововведением является, конечно, бесплатность лекций и пользования всеми вообще пособиями... Основа этой меры, конечно, заключается в несомненном положении, что в свободной стране пути для достижения высших ступеней знания должны быть открыты для всех граждан...

Учёному, доказавшему свои способности двигать науку..., будет обеспечен необходимый ему досуг и материальная обстановка оборудованной лаборатории и т. д. ...

«Ознакомление трудящихся с достижениями науки в сжатом виде и доступной форме» едва ли не самая характеристическая черта «Положения», ставящего себе главной целью обеспечение в стране твёрдых устоев истинно демократического строя...

Это стремление подсказывается не только внушением чувства социальной справедливости, но и требованием общественной пользы. «Наука не может оставаться уделом тесной олигархии; все должны быть приобщены к её благам; обладание ею является необходимым условием успеха самих приложений; их развитие не вяжется с общим невежеством» (Бертло). Всё чаще и чаще высказывается также мысль, что в демократической стране «каждый избиратель», «каждый гражданин» должен выработать в себе потребную для исполнения его гражданских обязанностей способность строгого мышления единственной верной школой науки...

Но не следует упускать из вида, что именно исключительный демократический характер учреждения требует от лекторов исключительных способностей и основательной подготовки, а не того выбрасывания второстепенного материала, которым нередко страдали до сих пор разные просветительные начинания «для народа»...

Необходимо вполне определённо оговорить, что вся деятельность советов, факультетов и пр., особенно во всём, касающемся избрания личного состава, должна происходить при условии полнейшей гласности (печатания журналов, заседаний, мотивированных отзывов о конкурентах и пр.)...

**К. А. Тимирязев** («Демократическая реформа высшей школы»),

<sup>1</sup> Написанный В. И. Лениным проект постановления Совета Народных Комиссаров о приеме в высшие учебные заведения РСФСР был утверждён Совнаркомом РСФСР 2 августа 1918 года.

### «Золотой наукам век...»

В советские годы МГУ воспитал новое поколение талантливых деятелей науки и техники. Широко известны имена выдающегося физика покойного академика С. И. Вавилова, профессора МГУ и президента Академии наук СССР; выдающегося учёного в области органической химии академика А. Н. Несмеянова, в прошлом ректора, а ныне профессора МГУ; академика А. Н. Колмогорова; членов-корреспондентов Академии наук СССР Б. А. Рыбакова, Л. С. Понтрягина и А. А. Ильюшина, профессоров А. В. Арциховского, А. А. Захваткина и других. Все они воспитанники университета.

Заслуги наших учёных в развитии науки высоко оценены правительством: более 100 профессоров и преподавателей удостоено Сталинских премий, а сам университет награждён орденом Ленина.

(Из статьи академика **И. Г. Петровского** «Золотой наукам век». 1955 год).

### Высокая награда

#### Указ Президиума Верховного Совета СССР О награждении Московского Государственного Университета орденом Ленина

В ознаменование 185-летнего юбилея Московского Государственного Университета — старейшего русского университета, и учитывая его выдающиеся заслуги в области развития науки, культуры и подготовки высококвалифицированных специалистов, наградить Московский Государственный Университет орденом **Л е н и н а**.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР **М. Калинин.**

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР **А. Горкин.**

Москва, Кремль, 7 мая 1940 г.

#### Указ Президиума Верховного Совета СССР О присвоении Московскому Государственному Университету имени **М. В. Ломоносова**

В ознаменование 185-летнего юбилея Московского Государственного Университета присвоить Университету имя его основателя — **М. В. Ломоносова**.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР **М. Калинин.**

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР **А. Горкин.**

Москва, Кремль, 7 мая 1940 г.

### В трудный для Родины час

22 июня 1941 года... У входа в университет патрулируют студенты... Для сбора всей комсомольской организации университета не потребовалось и трёх часов... В большой аудитории полумрак. Темно. Тихо. Стоят плечом к плечу... Не пропустить ни одного слова! Запомнить! Унести с собой! Комсомольцы присягают на верность Родине... «Я лётчица, прошу послать меня на фронт!..», «Я радист, обязуюсь оправдать звание студента Московского университета...», «Я медсестра, прошу послать в Действующую армию...»

В заключение этого необыкновенного собрания комсомольцы объявили себя мобилизованными до конца войны. А потом пели «Интернационал» — дружно, в один голос. Из аудитории расходились... уверенные в своих силах, уверенные в победе... Расходились, чтобы встретить врага лицом к лицу. Расходились, чтобы победить.

(Из воспоминаний студента **Ю. Симонова**, ныне преподавателя географического факультета).

**«Знаменательная веха двухвековой истории»**

По решению правительства сегодня на Ленинских горах состоится открытие новых зданий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Этот день — знаменательная веха в почти двухвековой истории старейшего высшего учебного заведения нашей страны, подлинный праздник советской культуры.

Строительство грандиозных корпусов университета, оснащённых новейшим учебно-научным оборудованием, — яркое выражение постоянной заботы Коммунистической партии и Советского правительства о неуклонном развитии науки и подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства Советского Союза.

С первых же дней своего существования Советская власть широко открыла двери Московского университета для самых широких слоёв трудящихся, для представителей всех национальностей нашей великой Родины...

В основу работы университета положен принцип единства научной и учебной работы. Ставится задача, чтобы каждый студент старших курсов принимал участие в научной работе той или иной кафедры, чтобы студенты старших курсов знакомились с самыми последними достижениями науки.

Каждый факультет университета получает теперь поистине неограниченные возможности для дальнейшего улучшения учебно-педагогической и научно-исследовательской работы...

Коллектив университета понимает, какая большая ответственность ложится на него за правильное использование этого огромного богатства. Он приложит все свои силы и знания, чтобы ещё лучше готовить специалистов, горячо любящих свою Родину, беспредельно преданных великому делу строительства коммунизма. Мы будем всемерно развивать научные исследования, чтобы советская наука скорее решила поставленную на XIX съезде партии историческую задачу — занять первое место в мировой науке.

(Из статьи академика **И. Г. Петровского**, ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, «Дворец науки». 1953 год.)

**Из письма с целинных земель**

Совсем ещё недавно мы, выпускники экономического факультета, оставили стены любимого университета. Вместе со многими товарищами я по собственному желанию поехал в районы освоения целинных и залежных земель. Сейчас работаю агрономом-экономистом (помощником главного агронома) Тобольской МТС Кустанайской области. Дел очень много, и работа по душе. Включился и в общественную жизнь нашей МТС. Комсомольцы избрали меня секретарём первичной организации.

Хотелось бы высказать ряд пожеланий моим будущим коллегам. На экономическом факультете основное внимание уделяется изучению политической экономии. Это очень хорошо. Ведь в практической работе знание этой науки — основа успеха, но для специалиста, работающего в сельском хозяйстве, этой общей теоретической подготовки недостаточно. Нужны ещё конкретные знания по экономике сельского хозяйства, статистике, финансам, бухгалтерскому учёту. Необходимо разбираться в вопросах агрономической и зоотехнической науки, практики, нужно знание и сельскохозяйственной техники. Только тогда можно считать себя высококвалифицированным специалистом. Поэтому наряду с глубоким изучением политической экономии и других теоретических дисциплин уделяйте больше внимания конкретным наукам...

**П. Кудинов**, агроном экономист Тобольской МТС Кустанайской области.

**Спасибо советским друзьям**

Скоро я поеду на родину в Китай. Но никогда не изгладятся из моей памяти годы, проведённые в Московском университете. Никогда не забуду студенческий коллектив, профессоров и преподавателей — людей, которые дали мне знания, необходимые для работы...

На моей родине — в Китайской Народной Республике — сейчас ведётся гигантское плановое экономическое строительство, там очень нужны хорошо подготовленные эко-

номисты. Готовить таких специалистов нам помогают советские друзья: в вузах Советского Союза учатся сотни китайских студентов... Пусть изо дня в день крепнет дружба советского и китайского народов!

**Сю Тюин-сей**, выпускница экономического факультета Московского университета.

### Впечатления о МГУ

Большую часть времени нашего пребывания в Москве мы провели в Московском университете, где беседовали с крупнейшими учёными, научными работниками и студентами. Делегация ознакомилась с постановкой научной работы, учебным процессом, оборудованием лабораторий, кабинетов и аудиторий, с подготовкой специалистов в МГУ. Мы считаем, что научная и учебная деятельность коллектива Московского университета во всех областях науки стоит на очень высоком уровне...

Мы весьма высоко оцениваем те мероприятия, которые проводятся для учебных целей и отдыха молодёжи.

Нам ясно, что Московский университет на Ленинских горах — одно из самых удивительных зданий, с живописным окружением. Там всё прекрасно!

Профессор **Мадан Мохан**, руководитель делегации профессоров, аспирантов и студентов Республики Индии.

### Несколько цифр

В Московском университете в настоящее время занимаются 22 тысячи студентов, в том числе 5 500 заочников, 1 800 аспирантов, готовящихся к научной деятельности. В МГУ учатся юноши и девушки 59 национальностей.

В университете имеется 12 факультетов, 210 кафедр, которые готовят кадры по 159 специализациям.

В систему учреждений университета входят 3 научно-исследовательских института, 281 лаборатория, 163 учебных кабинета, 8 учебно-научных станций, 3 музея, Ботанический сад с филиалом, 3 астрономические обсерватории.

Коллектив Московского университета насчитывает 2 450 профессоров, преподавателей и научных сотрудников. Среди них — 30 академиков, 59 членов-корреспондентов Академии наук СССР, 33 члена отраслевых академий (педагогических наук, медицинских наук и других), 19 заслуженных деятелей науки. Среди преподавателей и научных сотрудников университета — около 500 докторов и свыше 800 кандидатов наук, 400 профессоров и 550 доцентов.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. МЕЛЬНИКОВ, Л. ЧЕРНАЯ

★

## ЗА КУЛИСАМИ ВОЙНЫ

(К истории одного вероломства)

*Короткая память Черчилля и историческая правда.*

**Б**юрографы потомка герцога Мальборо, сына английского аристократа лорда Рандольфа Черчилля и дочери американского миллионера Леонарда Джерома — сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля — часто называют своего героя «английским Маккиавелли». Мы не берёмся судить, насколько это определение характеризует сэра Уинстона Черчилля в целом. Однако определение это невольно приходит на ум, когда вспоминаешь, скажем, его выступление в Вудфорде 23 ноября прошлого года. Черчилль, как известно, вышел в отставку, и имя его после опубликования политических некрологов довольно быстро исчезло со столбцов ежедневных газет мира. И если мы позволяем себе начать наши заметки с его персоны, то только потому, что она отлично выражала политику и вождения британского империализма на протяжении многих лет. Десятая годовщина победы над гитлеровской Германией заставляет вспомнить, что бывший английский премьер и в дни войны оставался противником Советского Союза, оттягивал открытие второго фронта, вынашивал планы использования войск гитлеровского вермахта против СССР.

Итак, вернёмся к Вудфорду, напомним читателю слова Черчилля, выступавшего там 23 ноября 1954 года перед избирателями. Он сказал: «Ещё до того, как кончилась война, в то время, когда немцы сдавались сотнями тысяч, а наши улицы были заполнены ликующими толпами, я направил Монтгомери телеграмму, предписывая ему тщательно собирать германское оружие и складывать его, чтобы его легко можно было бы снова раздать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось»<sup>1</sup>.

Выступление Черчилля, как известно, вызвало взрыв возмущения и протеста во всём мире. Поэтому уже через неделю он начал бить отбой. Он сослался на свою «ослабшую память» и в заявлении в палате общин 1 декабря вообще поставил под сомнение самый факт отправки такой телеграммы. «Может быть, — сказал он уклончиво, — я такой телеграммы и не посылал».

Однако манёвры Черчилля не удались. Его подвёл Монтгомери. Он дважды подтвердил получение телеграммы — первый раз сразу же после опубликования заявления Черчилля, а второй раз — после того, как Черчилль выразил сомнение в отправке телеграммы (Монтгомери находился в это время в США и попросту не смог уследить за всеми увёртками Черчилля, иначе, разумеется, он бы не «выдал» своего патрона).

Следует заметить, что как раз в 1954 году появился очередной (шестой) том мемуаров Черчилля, в котором достаточно ясно обрисована общая линия его поведения к концу войны. Как откровенно признаёт Черчилль в своих мемуарах, он считал в 1945 году, что «немедленно должен быть создан новый фронт против её (Советской России) продвижения»<sup>2</sup>. Итак, «новый фронт» не против врага, а против своего же

<sup>1</sup> „The Times“. 24.XI. 1954.

<sup>2</sup> „The Second World War“ by Winston S. Churchill, vol. VI, p. 400.

союзника — такова была программа англо-американской реакции. Естественно, что в создании такого фронта немцам милитаристам отводилось весьма важное место.

Таким образом, мемуары ещё раз подтверждают, что тактика Черчилля, выраженная им в его телеграмме Монтгомери, заключалась в том, чтобы в конце войны вступить в открытый союз со смертельным врагом Англии — германским милитаризмом против собственного же союзника — Советского Союза.

Но, может быть, для такого серьёзного вывода недостаточно признаний самого Черчилля. На случай такого сомнения историки располагают фактами, которые убеждают в том, что эти признания являются лишь собственноручной подписью одного из вожаков мировой реакции под всем списком упорных сепаратных переговоров английской и американской реакции с германскими милитаристами на протяжении войны. Эти переговоры имели своей целью спасти германский империализм от разгрома, вступить в преступный союз с германским фашизмом и нанести удар в спину Советскому Союзу, вынесшему на своих плечах основную тяжесть войны с гитлеровской Германией.

### *Английские миротворцы и их друзья.*

За месяц и двенадцать дней до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз и ровно через десять дней после того, как Гитлер на совещании генералитета и фашистской верхушки определил точную дату и время нападения — 22 июня 1941 года в пять ноль ноль утра, — произошла неожиданная встреча английского фермера Дэвида Макклина с заместителем фашистского фюрера Рудольфом Гессом. Макклин увидел фашистский самолёт «Мессершмитт-110», круживший около его родного села Пейзли в Шотландии, а затем наблюдал, как из самолёта выпрыгнул на парашюте человек, по всей видимости, гитлеровский лётчик. Макклин подбежал к спустившемуся парашютисту, чтобы не дать скрыться врагу. Но не успел Макклин проконвоировать незнакомца в свой дом, как туда же прибыли уполномоченные английского правительства. На двух «Харрикейнах» они сопровождали самолёт Гесса, после того как он пересек английскую границу, и приземлились почти одновременно с ним на частном аэродроме герцога Гамильтонского. Потом Макклин узнал уже из газет, что он встретился с заместителем Гитлера Гессом, прибывшим в Англию с особой миссией.

Это сенсационное событие, вызвавшее бурю в общественном мнении всего мира, произошло 10 мая 1941 года. Но затем в течение всей войны о Гессе ничего не было слышно. Только через пять лет после его прибытия в Англию мировая печать снова заговорила о Рудольфе Гессе. Репортёров, журналистов и обозревателей ждала новая сенсация — Рудольф Гесс сошёл с ума. Согласно официальной версии английских врачей он полностью лишился памяти и проявлял все признаки умопомешательства: на суде, во время Нюрнбергского процесса главных немецких преступников, Гесс ничего не рассказал ни о своих преступлениях на посту заместителя фюрера, ни о своей миссии в Англии, ни о своих беседах с английскими государственными деятелями на тему о заключении сепаратного мира между Англией и Германией накануне нападения гитлеровских полчищ на Советский Союз. Это умопомешательство спасло английскую дипломатию от чрезвычайно неприятных для неё разоблачений, а Гесса — от виселицы. Вопреки требованиям народов, английские, американские и французские судьи в Нюрнберге отказались приговорить Гесса к смертной казни, он был осуждён на пожизненное тюремное заключение.

«Тайна Гесса» хранится в самых секретных архивах английского «форин оффиса». Но политический смысл его миссии ясен уже давно. Это была очередная попытка германской и английской реакции договориться между собой за спиной народов.

Полёт Гесса в Шотландию — исходная точка целой серии тайных переговоров между английскими, американскими и немецкими представителями, которые велись на всём протяжении войны.

Ещё в сентябре 1941 года доверенное лицо Черчилля установило контакт с гитлеровскими правителями. Как явствует из захваченных советскими войсками документов, в это время в Лиссабоне состоялась встреча между сыном лорда Бивербрука Эйткеном

и уполномоченным Риббентропа Густавом фон Кевером. Во время этой встречи прямо обсуждались возможности заключения сепаратного мира.

В течение всей войны не прекращался контакт между представителями американской и английской реакции, с одной стороны, и гитлеровской Германии—с другой. Весной 1942 года состоялась встреча между епископом Чичестерским доктором Бэллом и двумя немецкими священниками — Бонхефером и Шенфельдом, представителями так называемой «оппозиции Шахта»<sup>1</sup>. После войны в гестаповских архивах были обнаружены подробные отчёты об этой встрече. Из них видно, что речь шла о выработке условий сепаратного мира между Англией и Германией. Об этих условиях были хорошо информированы английские государственные деятели. 30 июня 1942 года епископ Чичестерский направил подробный отчёт о своих переговорах тогдашнему министру иностранных дел Англии Идену<sup>2</sup>.

После этого Иден неоднократно на протяжении 1943 и 1944 годов получал сведения о новых предложениях германских представителей относительно условий заключения сепаратного мира с Англией. Об этих предложениях был также хорошо информирован и тогдашний британский премьер Черчилль. Характеризуя надежды, которые возлагал на Черчилля Штауффенберг—один из руководителей заговора 20 июля против Гитлера<sup>3</sup>,— немецкий историк Вальтер Гёрлиц пишет в своей книге «Германский генеральный штаб»: «Основа всякой будущей внешней политики должна была, по мнению Штауффенберга, заключаться в том, чтобы попытаться завязать переговоры с западными державами... При этом он больше всего рассчитывал на разум и опыт Черчилля, которого он лично почитал. Таким путём удалось бы высвободить все хорошие дивизии Западного фронта, в первую очередь танковые части, и использовать их для обороны на Востоке». Сам Гёрлиц, характеризуя позицию Черчилля в тот период, заявляет, что он «боялся слишком большого продвижения русских в Центральную Европу не меньше, чем победы гитлеровской доктрины»<sup>4</sup>, и поэтому весьма склонен был прислушаться к предложениям о сепаратном соглашении между Германией и Англией.

Об этом же свидетельствует американский публицист Ральф Ингерсолл. Характеризуя тактику английского командования к концу войны, Ральф Ингерсолл пишет в своей книжке «Совершенно секретно»: «Действия британских войск... всегда напоминали мне крикет. Это была нескончаемая игра... с перерывами для чаепитий. Англичане играли в войну так же, как в крикет,— в отличных костюмах, соблюдая хороший тон и — бесконечно долго». Сам Черчилль, по словам Ингерсолла, придерживался тогда следующей, весьма оригинальной точки зрения: «...на чёрта нам нужна быстрая победа над Германией, когда Британской империи важно, чтобы английские войска попали в Берлин раньше русских»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> О своих переговорах с Бонхефером и Шенфельдом впервые сообщил сам епископ Чичестерский в «Contemporary Review», № 10, October 1945.

<sup>2</sup> „Das Parlament“. Sonderausgabe, v. 20, Juli 1952, S. 17.

Rothfels. „Die deutsche Opposition gegen Hitler“. Krefeld, 1949, S. 168.

<sup>3</sup> 20 июля 1944 года группа заговорщиков совершила неудачное покушение на Гитлера в его главной ставке около Растенбурга в Восточной Пруссии. Руководителями заговора были бывший обер-бургомистр города Лейпцига Карл Герделер, начальник генерального штаба Бек, заместитель начальника штаба резервной армии Штауффенберг и другие. Заговор представлял собой попытку части правящих кругов Германии накануне неминуемого поражения гитлеровской армии совершить «дворцовый переворот», устранить Гитлера и договориться с англо-американскими реакционными кругами о сепаратном мире на Западе. Таким образом, речь шла о спасении германского империализма путём сепаратного антисоветского сговора между империалистами Германии, Англии и США.

<sup>4</sup> Walter Goerlitz. „Der deutsche Generalstab“. Frankfurt am Main, 1950. Глава „Die Götterdämmerung“.

<sup>5</sup> Ральф Ингерсолл. «Совершенно секретно». Издательство иностранной литературы, 1947, стр. 418, 425.



Для того чтобы достигнуть этой цели, Черчилль не гнушался никакими средствами и готов был вступить в союз «хоть с самим дьяволом». Но беда его заключалась в том, что советское военное искусство и советская дипломатия опрокидывали один за другим все его планы. Проекты господина Черчилля так и не могли быть осуществлены.

Было бы, однако, неправильно полагать, что один лишь Черчилль носился с подобного рода планами и проектами. И в данном случае он выступал лишь как самый откровенный представитель тех англо-американских кругов, которые пытались с помощью немецких милитаристов организовать крестовый поход против Советского Союза наподобие пресловутого «похода четырнадцати государств» против молодой Советской республики.

Чем ближе к концу войны, тем более сильными становились две встречные тенденции, исходившие от правящих классов как гитлеровской Германии, так и её англо-саксонских противников. С одной стороны, на закате фашистской империи «комплекс Гесса» (так в учёном мире гитлеровской Германии принято было называть умопомешательство бывшего заместителя Гитлера) стал болезнью всей правящей верхушки рейха. Эта идея овладела умами самых различных кругов — от фашистских генералов, напобеждавших до полной потери своих дивизий, до фашистских фюреров, перед которыми всё явственнее начал обрисовываться неизбежный конец их кровавого и позорного пути — виселица.

С другой стороны, все тёмные силы в Англии и США ринулись навстречу разбитым гитлеровским милитаристам, чтобы спасти их от окончательного разгрома и скотлить с их помощью новую антисоветскую коалицию. Эти «встречные» тенденции и определили упорные поиски соглашения между англо-американской реакцией и немецкими милитаристами на всём протяжении войны.

### *Поверх границ.*

Для того чтобы понять общие установки английской дипломатии во время войны, следует иметь в виду военные планы мировой реакции во главе с Черчиллем. Эти планы были далеки от стремления разгромить гитлеровские вооружённые силы и обеспечить подлинный мир в Европе. Напротив, американский и английский империализм был заинтересован в том, чтобы затянуть войну, обескровить Советский Союз в войне один на один с гитлеровской Германией, а на последнем этапе вступить в прямой союз с немецкими фашистами для того, чтобы лишить Советский Союз плодов победы и обеспечить господство Англии в Европе. Указанным целям служил пресловутый «Балканский план» Черчилля, который был рассчитан на затяжку войны и подавление демократического движения в балканских странах<sup>1</sup>.

Характеризуя этот план, упомянутый выше американский публицист Ральф Ингерсолл, занимавший во время войны видный пост в штабе Эйзенхауэра, пишет: «Британский кварталбек мчался со всех ног, чтобы забить мяч в Балканские ворота». Установки английского командования к концу войны Ингерсолл описывает следующим образом: «...к концу 1943 года... тяга англичан на Балканы была для нас всех очевидна. Балканы были тем магнитом, на который, как бы вы ни встряхивали компас, неизменно указывала стрелка британской стратегии»<sup>2</sup>.

На конференции в Каире в ноябре 1943 года, в которой принимали участие Черчилль, Рузвельт и Чан Кай-ши, Черчилль официально поставил «Балканский план» на обсуждение участников конференции. Обосновывая свой план, он откровенно заявил, что рассчитывает «создать клин союзных армий между Европой и Советской Россией» и «опору для дружественных сил в Греции, Румынии и Венгрии»<sup>3</sup>. Иными словами,

<sup>1</sup> Обоснование своего «Балканского плана» Черчилль даёт в своей книге „The Second World War“, vol. V.

<sup>2</sup> Ральф Ингерсолл. «Совершенно секретно», стр. 93, 94.

<sup>3</sup> „The Second World War“ by Winston S. Churchill, vol. V.

речь шла о том, чтобы на Балканах образовать реакционный фронт против СССР, облегчив вместе с тем положение гитлеровских армий на советско-германском фронте.

В политическом плане этот «балканский вариант» ведения войны дополнялся проектом образования широкой антисоветской коалиции западноевропейских стран против СССР. Английский консервативный деятель Макмиллан огласил в 1949 году на так называемой Евролейской Консультативной Ассамблее в Страсбурге секретный меморандум Черчилля, составленный ещё в октябре 1942 года, в котором Черчилль выдвигал предложение организовать Соединённые Штаты Европы в качестве «барьера против русского варварства»<sup>1</sup>. Эти слова были написаны в те дни, когда советские и английские народы совместно сражались против гитлеровской Германии. Опубликование меморандума показало подлинные мотивы английской политики во время войны.

Исходя именно из этих мотивов, англо-американская реакция всегда рассматривала гитлеровскую Германию как своего потенциального союзника в борьбе против Советского Союза.

Контакт между английскими и американскими представителями, с одной стороны, и правящими кругами гитлеровской Германии — с другой, осуществлялся через различных «доверенных лиц», известных как гитлеровским правителям, так и английским руководителям. Местами встреч этих английских, американских и немецких эмиссаров служили столицы так называемых нейтральных стран — Берн, Мадрид, Анкара. Базой для контакта между ними служила старая идея антисоветского похода капиталистических стран, идея, за которую ратовали как Гитлер и Гесс, так и Черчилль и Чемберлен, Гувер и Трумэн. Исходя из такой «общности идей», правящие круги США и Англии вели переговоры с гитлеровскими уполномоченными в нарушение элементарных норм союзнических обязательств и союзнического долга.

Одним из эмиссаров, игравших крупную роль в переговорах о сепаратном мире между гитлеровской Германией и западными странами, был князь Макс Гогенлоэ<sup>2</sup>.

Макс Гогенлоэ был отпрыском такого дворянского рода, самое имя которого внушало священный трепет германским буржуа. Все буржуазные революции, когда-либо бывшие в Германии, пощадил громадные земельные угодья семьи Гогенлоэ. Эти земельные угодья Бисмарк почтительно называл «обширнейшим земельным комплексом в Европе».

Род Гогенлоэ давал германским империалистам ведущих политиков и дипломатов. Хлодвиг Гогенлоэ, князь Шиллингсфюрст, был даже канцлером германской империи в 1894—1900 годах.

В 1906 году были изданы дневники Хлодвига Гогенлоэ, которые вызвали небывалую сенсацию. Дело в том, что в этих дневниках содержались факты, не на шутку компрометировавшие политику Бисмарка и всю вообще германскую политику того периода.

Макс Гогенлоэ, владелец 11 тысяч гектаров земли, пока что ещё не издавал своих мемуаров. Но если бы он решился на такой шаг, его «слава» затмила бы славу старого канцлера. В дневниках Макса Гогенлоэ наверняка содержалось бы гораздо больше сенсаций.

На протяжении всей войны Макс Гогенлоэ был крупным внешнеполитическим разведчиком гитлеровцев. В то время как миллионы людей истекали кровью на фронтах, в то время как война бушевала во всей Европе, прусский юнкер Гогенлоэ садился в комфортабельный спальный вагон и переезжал из одной страны в другую...

После аудиенции у Риббентропа Гогенлоэ отправлялся в Мадрид, где всегда вертелись агенты различных западных держав, или в нейтральные Берн и Стокгольм, куда приезжали подышать европейским воздухом американские дипломаты.

В Лондоне, Мадриде, Берне, Стокгольме были всегда рады испанской маркизе Бельвиз де лас Навас, которая владела громадными поместьями в Англии и в Испании. Маркизу принимали даже в Букингемском дворце. А мужем этой маркизы

<sup>1</sup> «Правда» от 10 сентября 1949 года.

<sup>2</sup> Приводимые ниже сведения взяты из „Führerlexikon“, 1935, „Münzinger Biographisches Archiv“, „Current Biography“ и „Archiv der Gegenwart“.

был не кто иной, как князь Гогенлоэ — доверенное лицо гитлеровцев! Да и сам князь Гогенлоэ был издавна связан с английской аристократией, с американскими дипломатами и с высочайшим «поверенным в делах» Гитлера — Франко.

Гогенлоэ прямо выступал как агент гитлеровского правительства. В переговорах, которые он вёл с Алленом Даллесом в Швейцарии — об этом свидетельствует ряд документов, — Гогенлоэ ратовал не только за сохранение «Великой Германии» как «важнейшего фактора созидания порядка в Центральной и Восточной Европе», но и за сохранение эсэсовских отрядов Гимmlера с целью, как он выразился, «поддержания порядка внутри страны и организации сопротивления большевизму». В Мадриде Гогенлоэ также был связан с американскими дипломатами и с английскими представителями. Он играл активную роль в выполнении посреднической миссии, которую взял на себя Франко по просьбе Гитлера. В беседе с английским послом в Мадриде сэром Сэмюэлем Хором, как это стало известно из захваченных Советской Армией документов, «каудильо» в это время предложил свои услуги посредника в переговорах о сепаратном мире между Германией и Англией. Соответствующие инструкции Франко дал и испанскому посольству в Лондоне. В ответ на это посольство сообщило, что в Англии имеются ответственные лица и даже члены кабинета, защищающие «идею мирного посредничества и создания всеобщего европейского фронта против большевизма».

Среди «политических коммивояжёров», которые действовали «поверх границ», особую роль играл Яльмар Шахт<sup>1</sup>. Яльмар Шахт являлся не только крупнейшим фашистским финансистом, но и политическим разведчиком, так же как и Гогенлоэ. Разница между ними заключалась только в том, что Шахт был связан не с титулованными европейскими аристократами, а с некоронованными промышленными королями в Европе и в США. Но как бы то ни было, и для Шахта не существовало ни войны, ни государственных границ, ни расстояний, ни законов о шпионаже.

Связи с английскими правящими кругами Шахт поддерживал через своего личного друга, известного английского деятеля Монтегью Нормана. Помимо этого, он тесно общался с английскими и американскими банковскими деятелями, заседавшими в правлении Базельского банка международных расчётов. Сам Шахт был одно время представителем Германии в этом банке, а затем входил в число членов наблюдательного совета. Председатель Базельского банка международных расчётов американский банкир Леон Фрезер и сменивший его на этом посту банкир Маккитрик также были его личными друзьями. Таким образом, Шахт был чрезвычайно удобной фигурой для тех американских и английских реакционных кругов, которые настаивали на сепаратном мире с гитлеровской Германией.

В Швейцарии Шахт встречался со своими английскими и американскими друзьями. В 1944 году Шахт через Базельский банк международных расчётов передал представителям США и Англии «новый план заключения компромиссного мира». Основой такого мира Шахт считал «совместную борьбу против большевизма». По этому же поводу Шахт вёл переговоры со своим другом, американским посланником в Египте Кирком. Одновременно Шахт поддерживал также связь с Алленом Даллесом в Швейцарии. Через своего эмиссара он вёл с ним переговоры о распродаже американским банкирам и промышленникам акций рурских заводов и фабрик в обмен на их согласие заключить сепаратный мир с фашистской Германией.

Наконец, крупнейшую роль в качестве посредников между английскими правящими кругами и правителями гитлеровской Германии играли шведские банкиры Якоб и Маркус Валленберги. Братья Валленберги были директорами крупнейшего шведского банка «Эншильда-банк». Якоб Валленберг был членом шведско-немецкой торговой комиссии, а его брат Маркус — членом соответствующей шведско-английской комиссии. Маркус Валленберг поддерживал личный контакт с Черчиллем на всём протяжении войны, информировал его о планах гитлеровцев и передавал его поручения немецким контрагентам. Особые тесные отношения связывали Маркуса Валленберга с секретарём Черчилля Норттоном.

<sup>1</sup> См. показания Шахта на Нюрнбергском процессе и его книжку „Abrechnung mit Hitler“. Hamburg, 1948, S. 3, 17, 73.

Во время войны Валленберг неоднократно выполнял «посреднические функции», о которых говорилось выше. Он регулярно ездил то в Лондон, то в Берлин, встречался с различными представителями немецких правящих кругов и представителями английского правительства. Такие встречи происходили в апреле 1942 года, в мае 1943 года, а также на протяжении 1944 года<sup>1</sup>. Осенью 1943 года Валленберг передал немецким представителям, что английское правительство выразило своё согласие с намерением остановить продвижение советских армий «восточнее старых польских границ» и предотвратить освобождение прибалтийских советских республик советскими войсками. В октябре 1944 года Якоб Валленберг получил официальное приглашение через шведское посольство прибыть в Берлин, с тем чтобы взять на себя посредническую роль в переговорах между гитлеровской Германией и Англией<sup>2</sup>. Однако оказалось, что уже было слишком поздно. Советские войска к этому времени углубились на территорию рейха. Дни гитлеровской Германии были сочтены.

### *Посланцы „сепаратного мира“ в сутанах.*

В своей книге «По ту сторону холма» капитан Лиддль-Гарт, старый английский штабист, выражая мнение англо-американских реакционеров, писал, что ещё во время войны ему было ясно, что «надо было продолжать Мюнхен, не ввязываться в борьбу...» и «не отталкивать от себя Гитлера»<sup>3</sup>.

Можно с полным правом утверждать, что гром пушек и кровь, проливаемая сотнями тысяч людей на фронтах, не заставили смириться мюнхенцев. И во время войны они отнюдь не желали «отталкивать» от себя гитлеровцев. Наоборот, их единственной целью являлось продолжение мюнхенской политики в военных условиях.

Слов нет, это было значительно труднее, чем в 1938—1939 годах. Приходилось находить тёмные закоулки для встреч с гитлеровцами, приходилось действовать через третьих лиц, маскироваться, прятаться.

Англо-американские реакционеры, с одной стороны, и гитлеровские генералы и крупные чиновники — с другой, нередко обращали свои взоры к Ватикану. Ватикан с его громадным числом агентов в чёрных сутанах, с его широкой шпионской и разведывательной сетью, с его гигантскими связями и опытом политических интриг был одним из наиболее подходящих центров для налаживания контакта между англо-американскими и германскими милитаристами. Не мудрено, что на протяжении войны аппарат Ватикана неоднократно использовался для устройства сепаратных англо-американских переговоров.

В гитлеровской Германии были постоянные агенты, которые держали связь с Ватиканом, а через него и с английскими империалистами — мюнхенцами. Такими агентами являлись начальник берлинского отделения фашистского «абвера» (разведки) Остер, его ближайший сотрудник Донани и друг Донани — Иозеф Мюллер.

Уже в 1940 году представители германских милитаристов Остер, Донани и Мюллер установили связи с английской реакцией. Переговоры велись через двух папских чиновников, через личного секретаря папы патера Лейбера и патера Цейгера. Непосредственно переговоры были организованы Иозефом Мюллером и настоятелем монастыря патером Меттеном, с которым были связаны Лейбер и Цейгер. Политической базой для этих переговоров послужил «меморандум икс», составленный Мюллером. В записке, которая была найдена гестапо в личных бумагах Донани и впервые опубликована западногерманским писателем Вайзенборном в его книге «Немое сопротивление», об этих переговорах было сказано нижеследующее: «Остер и Донани зимой 1939—40 года через известного Мюллера вели переговоры с Англией и Францией

<sup>1</sup> Составлено по показаниям Герделера в гестапо, опубликованным в книге: Gerhard Ritter. „Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung“. Stuttgart, 1954, S. 516—517.

<sup>2</sup> Там же, стр. 428.

<sup>3</sup> Liddel-Hart. „On the other Side of the Hills“. London, 1950, p. 17.

через служащих из Ватикана и, в частности, господина Лейбера и господина Цейгера, с согласия узкого круга высших генералов в ОКВ, чтобы англо-французские армии приостановили войну на востоке (т. е. против гитлеровской Германии.— Д. М. и Л. Ч.)...»<sup>1</sup>

Как явствует из других документов, «меморандум икс» Мюллера выдвигал вполне определённую программу — мир на Западе и признание «немецких границ 1938 года», которые, как известно, были созданы гитлеровцами в итоге их захватнической грабительской политики<sup>2</sup>.

Нетрудно догадаться, что рассчитывать на удовлетворение этих своих appetites со стороны западных держав германские милитаристы могли только в одном случае — в случае «канализации» германской агрессии на Восток.

Таким образом, вся сложная сеть, сотканная агентами Ватикана, должна была служить только тому, чтобы двинуть гитлеровских солдат против Советского Союза, предварительно получив на это благословение западных держав.

Несмотря на небольшое количество опубликованных данных о деятельности Донани — Остера, можно с уверенностью утверждать, что связь их с английской реакцией через Ватикан была постоянной.

В 1943 году в Ватикан был назначен опытейший гитлеровский дипломат, барон фон Вейцеккер, бывший заместитель Риббентропа. Вейцеккер был католиком и пользовался влиянием в международных католических кругах. Его назначение на такой маловажный в обычное время пост, не соответствовавший его прежней дипломатической карьере, отнюдь не свидетельствовало о его опале. Оно было связано с намерением использовать этого дипломата для переговоров с реакционными англо-саксонскими католическими кругами. Такая связь действительно вскоре осуществилась. В Ватикан прибыл американский кардинал Спеллман, известный своими профашистскими взглядами. Он имел ряд встреч с Вейцеккером, результатом которых явился неожиданный визит в Ватикан самого фашистского министра иностранных дел Риббентропа. Переговоры продолжались уже «на высшей основе». Темой их была опять-таки возможность заключения сепаратного мира между гитлеровской Германией, с одной стороны, и Англией и США — с другой<sup>3</sup>.

### ***Проект генеральского мира.***

Это были тяжёлые, мрачные времена в истории Европы. Землю Франции, Бельгии, Голландии, Дании топтали кованые сапоги фашистских оккупантов... Самолёты со свастикой разрушали английские города и селения...

А в это самое время английский генерал Монтгомери и гитлеровский генерал Роммель вели в Северной Африке свою «уор-парти» — «военную игру», на манер «крикет-парти»...

В английских штабах считалось хорошим тоном вслух хвалить Роммеля, так же как в штабе Роммеля считалось хорошим тоном со снисходительным одобрением говорить о Монтгомери и уснащать свою речь боксёрскими терминами из американского спортивного «слэнга». Когда Роммель наступал, он заявлял, что намерен «пробоксироваться вперёд»; когда наступать собирались английские генералы, они говорили, что желают «двинуть по-роммелевски».

У военной дружбы гитлеровских и англо-американских генералов были свои традиции... В середине мая 1940 года генерал Клейст спокойно наблюдал в свой бинокль за тем, как наголову разбитые английские войска грузились на транспортные суда. Клейст видел, как его танки, уже отрезавшие англичан от моря, поворачивали обратно, следуя его генеральскому приказу. Фашистские полководцы во главе с самим Гитле-

<sup>1</sup> Günther Weisenborn. „Der lautlose Aufstand“. Hamburg, 1954, S. 89.

<sup>2</sup> Подробности см. в „Das Parlament“, Beilage „Aus Politik und Weltgeschehen“, 16 März, 1955.

<sup>3</sup> Составлено по E. Kordt. „Wahn und Wirklichkeit“. Stuttgart, 1947, S. 265, 305. G. Ritter. „Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung“, S. 490, 535. U. v. Hassel. „Vom anderen Deutschland“. Freiburg, 1947, S. 307, 328.

ром были готовы пожертвовать даже такой своей победой, как уничтожение английской армии при Дюнкерке, чтобы, как писали впоследствии гитлеровцы, «сохранить Британскую империю как фактор, противостоящий Советскому Союзу»<sup>1</sup>.

Таков был «старт» англо-американской и гитлеровской генеральской дружбы. О нём подробно рассказал генерал Гальдер в своей книге «Гитлер как полководец»... О «финише» этой дружбы написал фашистский полковник авиации Рудель... «Американцы и англичане,— писал Рудель,— не атакуют нас на своих истребителях, если они видят, что мы летим на Восточный фронт, чтобы биться там с русскими». И далее: «Седьмого мая нам отдают последний приказ: по этапам весь Западный фронт должен отходить всё дальше и дальше, пока не сомкнется с Восточным фронтом... И тогда Запад получит свой последний шанс начать воевать вместе с нами против большевиков...»<sup>2</sup>

В промежутках между «стартом» и «финишем» американо-английские реакционеры и гитлеровская генеральская верхушка не раз демонстрировали друг другу свои политические симпатии. А после того, как советские армии нанесли сокрушительные удары фашистской военной машине, гитлеровские генералы во главе с упоминаемым выше Роммелем решили изменить ход войны, вступив в контакт с английским командованием.

Роммель заявил в конце июня 1944 года двум своим командармам — Дольманну и Зальмуту, что, возможно, вскоре настанет момент для «самостоятельного выступления Западного фронта». Это «самостоятельное выступление», по замыслу Роммеля, который являлся в то время командующим основным участком Западного фронта, должно было заключаться в капитуляции на Западе при условии полной свободы действий для германской армии на Востоке.

Как видим, Роммель не проявил в этом отношении никакой оригинальности. Это был старый план сговора гитлеровцев с англо-американскими империалистами. «Оригинальным» в этом плане был лишь метод: по мысли Роммеля, это должен был быть мир между генералами... В итоге этого мира гитлеровцы рассчитывали покончить с войной на Западе, перебросить все свободные войска на Восток для дальнейшей совместной борьбы Германии, Англии и США против СССР. На Востоке, согласно плану Роммеля, фронт должен был быть стабилизирован на «сокращённой линии» — от Мемеля через Вислу и Карпаты до устья Дуная. Иными словами, фашистские генералы не только не думали ограничиться на Востоке собственно германской территорией, а даже накануне катастрофы продолжали цепляться за свои планы колонизации восточноевропейских стран. Сговор на Западе, по их планам, должен был быть заключён взамен предоставления германским милитаристам полной свободы действий на Востоке.

Заодно с Роммелем на Западном фронте были почти все гитлеровские военачальники. Об основных сторонниках этой идеи среди генералитета, действовавшего на Западном фронте, может дать представление состав намеченной Роммелем комиссии по ведению переговоров о перемирии с союзным командованием. В комиссии должны были войти: генерал фон Штюльпнагель, генерал-лейтенант Шпейдель (начальник штаба Роммеля), генерал Гейр фон Швеппенбург (бывший военный атташе Германии в Лондоне), генерал-лейтенант граф фон Шверин, вице-адмирал Руге (советник Роммеля по вопросам флота)<sup>3</sup>.

Эта комиссия должна была обратиться к англо-американскому командованию с предложением о немедленном заключении сепаратного мира. Условия перемирия включали незамедлительное очищение оккупированных на Западе территорий, отвод германских войск за «Западный вал» (то есть за западные германские границы), немедленное прекращение воздушной войны. Вслед за тем должны были начаться мирные переговоры «в духе реорганизации Европы», то есть образования пресловутой «объединённой Европы» под руководством немецких милитаристов. Последние мысли

<sup>1</sup> См. Franz Halder. „Hitler als Feldherr“. München, 1949, S. 15.

<sup>2</sup> Hans Ulrich Rudel. „Trotzdem“. Bad Yschl, S. 321.

<sup>3</sup> A. W. Dulles. „Germany Underground“. 1947, p. 142.

были подсказаны Роммелю известным фашистским литератором Эрнстом Юнгером, играющим сейчас крупную роль в Западной Германии в качестве признанного главы неофашистской литературы. Фашистский писатель и гитлеровский фельдмаршал очень быстро нашли общий язык. Эрнст Юнгер, который служил в тот период в чине капитана в фашистской армии в Париже, передал Роммелю докладную записку, в которой подробно «обосновывал» идею отказа от суверенитета всех европейских стран и объединение их под эгидой Германии<sup>1</sup>.

Характерно, что генералы из «комиссии Роммеля» играют сейчас руководящую роль среди военщины Западной Германии. Все они намечены на высокие посты в будущем западногерманском вермахте. Поэтому можно без преувеличения сказать, что военное окружение Аденауэра в основном состоит из бывших приверженцев Роммеля. Самому фельдмаршалу, обязанному всей своей карьерой «фюреру», просто не повезло — он не дожид до послевоенных времён. Однако и мёртвый Роммель является в настоящее время кумиром не только аденауэровской, но и реакционной англо-американской пропаганды.

Дело дошло до того, что на английских экранах появился фильм, открыто прославлявший Роммеля. А в ответ на возмущённые протесты английских зрителей, выступавших против циничного рекламирования фашистского генерала, Уинстон Черчилль заявил, что Роммель являлся «достойным военным противником».

Совершенно ясно, почему английские и американские реакционеры поднимают на щит клику генералов из окружения Роммеля. Эта клика показала во время войны свою готовность служить правящим кругам западных стран в качестве ландскнехтов для любого нового антисоветского похода. Планы Роммеля и К<sup>о</sup> не удались только потому, что в обстановке ожесточённых боёв на фронтах, в обстановке безостановочного движения советских армий тайные пособники фашистских генералов в США и Англии не могли осуществить свои преступные замыслы...

### ***Англо-американская реакция и фашистская верхушка.***

Чем больше лет проходит со времени окончания второй мировой войны, тем яснее становится, что невидимые нити связывали англо-американскую реакцию с самой верхушкой гитлеровского государства.

В 1943 году Гиммлер стал министром внутренних дел, фактическим диктатором фашистской Германии. После заговора 20 июля Гитлер стал считать его своим спасителем. В это время стало известно, что заговорщики хотели убить Гитлера обязательно вместе с Гиммлером. Чтобы осуществить этот свой план, они даже несколько раз переносили время покушения.

Ныне стало документально известно, что на протяжении нескольких лет тот же Гиммлер нащупывал почву для сепаратного сговора с английской реакцией. Первую такую попытку Гиммлер совершил ещё в 1943 году. В это время ближайший друг и помощник Гиммлера, Лангбейн, дал секретную телеграмму в Швейцарию, где говорилось о желании Гиммлера вести мирные переговоры с Англией. Эта телеграмма попала в руки адмирала Канариса, начальника гитлеровской разведки — «абвера». К тому времени Канарис имел уже хорошо налаженную постоянную связь с английскими милитаристами, заинтересованными в спасении фашистского строя для дальнейших крестовых походов против Советского Союза, однако Канарис вовсе не желал оказаться в одном лагере со своим заклятым врагом Гиммлером. Поэтому он передал телеграмму Гиммлера Гитлеру. Тогда Гиммлер нанёс контрудар — часть разведчиков, группировавшихся вокруг Канариса, была арестована. В тюрьму был посажен и Лангбейн. Все они были в конце концов казнены Гиммлером<sup>2</sup>.

Но провал этой попытки связаться с англо-американскими империалистами отнюдь не обескуражил шефа гестапо... Совсем недавно в Западной Германии вышла книга историка и публициста Г. Риттера. В этой книге опубликованы документы, которые

<sup>1</sup> W. Goerlitz. „Der deutsche Generalstab“, глава „Die Götterdämmerung“.

<sup>2</sup> См. Harald Poelchau, „Die letzten Stunden“. Berlin, Verlag «Volk und Welt».

показывают, что у фашистского обер-палача Гиммлера, с чудовищной жестокостью расправившегося с заговорщиками 20 июля, и у заговорщиков, которые мечтали расправиться с Гиммлером, был один общий пункт — центральный пункт их политической платформы — сговор с английской и американской реакцией.

По ночам после раскрытия заговора Гиммлер тайно ездил в одну из берлинских тюрем для переговоров с заключёнными там заговорщиками. В этих переговорах участвовали также начальник СД (так называемой «службы безопасности»), фашистский палач Кальтенбруннер и гитлеровский министр юстиции Тирак. Гиммлер, Тирак и Кальтенбруннер разработали в конце войны план переговоров с Англией через Швецию. Для того чтобы осуществить этот план, они вступили в сношения со штатскими главарями заговора — бывшим обер-бургомистром Лейпцига Герделером и Попицем, бывшим прусским министром финансов, которые уже давно сговаривались через шведских «нейтральных лиц» с английскими реакционерами<sup>1</sup>.

Предложение Гиммлера включиться в переговоры с англо-американскими кругами, поддерживавшими заговорщиков, отнюдь не отпугнуло Герделера. Герделер, которого участники заговора 20 июля и их иностранные покровители прочили на пост канцлера, считал Гиммлера вполне приемлемой фигурой для нового правительства, которое должно было возникнуть в результате устранения Гитлера. В течение нескольких месяцев Гиммлер торговался с Герделером и Попицем. Казнь этих заговорщиков откладывалась с недели на неделю. В камере смертников Герделер по приказу Гиммлера разрабатывал и решал всяческие проблемы послевоенного устройства Германии. И всё же дружба Герделера и Попица с шефом гестапо кончилась тем, что Гиммлер повесил их обоих. Он боялся, что его дальнейшие посещения камеры смертников станут известны Гитлеру...

Этот парадоксальный трагикомический факт сговора приговорённого к смерти путчиста с главой гестапо мог объясняться только одним: стремлением заговорщиков установить мир на Западе для совместного похода всех реакционных сил против СССР. А американско-английские резиденты, поддерживавшие заговорщиков, готовы были помириться и с таким партнёром, как Генрих Гиммлер.

Впрочем, Гиммлер договаривался не только с Герделером. На последнем этапе войны он вступил в прямые переговоры с представителями шведского Красного Креста и через них добился свидания с заместителем председателя шведского Красного Креста графом Бернадоттом. Ему он изложил в апреле 1945 года свои планы сепаратного сговора с Англией и США. Эти планы были довольно просты. Гиммлер заявил Бернадотту: «Чтобы уберечь наивозможно большие части Германии от русского вторжения, я согласен капитулировать на Западном фронте, чтобы дать возможность войскам западных держав продвигаться насколько только возможно на Восток»<sup>2</sup>. Однако, несмотря на усердие графа Бернадотта, планам Гиммлера не суждено было сбыться... Советская Армия стремительно наступала. Её успехи воодушевляли народы Европы, стонавшие под игом гитлеровцев. В этой обстановке грязными махинациями врагов мира могли совершаться только в глубокой тайне. Ни один политический деятель на Западе не рискнул бы открыто сесть за стол переговоров вместе с гестаповским палачом Гиммлером...

Заклучить сепаратный мир с американско-английским командованием мечтал и Иозеф Геббельс. Однако в руках Геббельса не было той реальной власти, которой обладал Гиммлер. Поэтому Геббельсу приходилось лишь строить фантастические планы сближения с американскими и английскими опекунами немецких милитаристов...

Войдя как-то в кабинет Геббельса, референт его Земмлер остановился в изумлении: Геббельс вскочил ему навстречу и, широко улыбаясь, заявил: «Хелло, бойс. Я всегда восхищался вами. Моей мечтой всегда являлась поездка за океан...»<sup>3</sup> Как затем выяснилось, Геббельс репетировал перед Земмлером свою предполагаемую встречу с американцами...

<sup>1</sup> См. G. Ritter. „Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung“, S. 421—423.

<sup>2</sup> Graf Folke Bernadotte. „Das Ende“. Zürich, 1945, S. 15.

<sup>3</sup> Curt Riess. „Joseph Goebbels. Eine Biographie“. Zürich, 1949, S. 408.



Руководитель гитлеровской печати Ганс Фриче вспоминает о том, что Геббельс часто мечтал вслух о своём будущем сотрудничестве с американцами. «Такой гений пропаганды, как я,— говорил он Фриче,— именно у американцев получит признание»<sup>1</sup>. Перед самым концом аппетита Геббельса стали скромнее. Он уже мечтал только о том, чтобы стать в США хотя бы мелким газетным «жучком». Берлинская гадалка, к которой Геббельс ходил по рекомендации Гитлера, пыталась прочесть по звёздам, согласны ли американские газетные гангстеры взять к себе на службу Иозефа Геббельса...

### *Без семи двенадцать.*

Четвёртого мая 1945 года Черчилль направил телеграмму Идену, находившемуся в тот момент в Сан-Франциско. В телеграмме в панических выражениях говорилось о том, что русские армии с боями продвигаются вглубь германской территории и что, если так будет продолжаться, то «это будет одним из самых печальных событий в истории». В связи с этим Черчилль призывал в своей телеграмме к «скорому и спешному раскрытию карт»<sup>2</sup>.

Что мыслил себе Черчилль под термином «раскрытие карт»? Из истории последних дней гитлеровского режима становится ясно, что речь шла о политике открытого союза с разгромленными фашистскими правителями. Такая политика должна была проводиться по отношению к пресловутому «правительству Деница» во Фленсбурге. Дениц был командующим подводным флотом, а затем главнокомандующим всеми военно-морскими силами гитлеровской Германии. Именно его Гитлер избрал своим преемником на пост канцлера. Радиogramму о своём назначении он получил 30 апреля в 18 часов 15 минут, через три часа после того, как Гитлер принял яд. На следующий день радиogramма была подтверждена заместителем фюрера Мартином Борманом, сменившим Гесса на этом посту.

Таким образом, гитлеровцы хотели добиться «преемственности власти» — один фашист должен был сменить другого. Они знали, что Дениц — верный слуга нацизма, готовый претворить в жизнь все заветы «первой когорты» гитлеровской партии. Действительно, после того как Дениц стал рейхсканцлером, он образовал «кабинет», состоявший сплошь из бывших гитлеровских министров: Шверина фон Крозигка (бывшего министра финансов), Шпеера (бывшего министра промышленности), Бакке (бывшего министра сельского хозяйства), Зельдте (бывшего министра труда), Дорпмюллера (бывшего министра почты).

Естественно, что такое «правительство» ничем не отличалось от предшествовавших ему фашистских кабинетов. Лишь самая верхушка гитлеровской Германии была отстранена, чтобы расчистить дорогу к открытому сговору с западными державами, к сохранению фашистских кадров и кадров вермахта. 7 мая, правда, произошла встреча между Гиммлером и Деницем, во время которой Гиммлер настаивал на включении его в правительство. «Позвольте мне,— сказал он Деницу,— быть вторым человеком в государстве»<sup>3</sup>. Расчёты Гиммлера были довольно просты. «Я и мои войска СС,— сказал он,— незаменимы как фактор порядка в среднеазиатском пространстве... Противоречия между Востоком и Западом обостряются так быстро, что через три месяца чаша весов будет зависеть от меня и от СС». В воспалённом мозгу Гиммлера уже рисовалась картина общего антисоветского похода фашистской Германии и западных держав, и, разумеется, он считал, что в таком походе без разбойничьих войск СС уж никак нельзя будет обойтись. Туда же, к Деницу, прибыл и Риббентроп, предлагая свои услуги в правительстве фашистских заправил, поставивших свою последнюю ставку на сепаратную капитуляцию на Западе. Но после ряда совещаний участие Гиммлера и Риббентропа в правительстве было сочтено неудобным. Временно они должны были отступить на задний план.

<sup>1</sup> Curt Riess. „Joseph Goebbels. Eine Biographie“, S. 408.

<sup>2</sup> „The Second World War“ by Winston S. Churchill, vol. VI, p. 439.

<sup>3</sup> См. Walter Lüdde-Neurath. „Regierung Dönitz“. Göttingen, 1950, S. 62, 81, 114.

Создание правительства Деница было наивным трюком. Смешно было предположить, что демократические народы захотят иметь дело с «законными наследниками» Гитлера, поставленными у власти самим фюрером для того, чтобы продолжить его же политику в изменившихся условиях. Признать правительство Деница означало бы признать фашизм, простить гитлеровским людоедам все их преступления, вновь отдать немецкий народ во власть кровавых гитлеровских палачей, предоставить возможность германскому фашизму быстро оправиться от поражения и вновь заняться подготовкой агрессии против миролюбивых народов Европы.

Тем большее удивление народов вызвал тот факт, что английский кабинет поспешил установить отношения с кликой фашистских министров во Фленсбурге, а английские командующие начали с его представителями более чем подозрительные переговоры. По свидетельству Вальтера Людде-Нейрата, адъютанта Деница, выпустившего книгу «Семь дней призрачного правительства Деница», события развивались следующим образом.

В самом начале мая генерал-адмирал Фридебург получил от Деница поручение начать с английским главнокомандующим Монтгомери переговоры о сепаратной капитуляции на Западе. Дословно инструкция гласила: «Чисто военная капитуляция во всей Северо-Западной Германии, но по возможности не в ущерб сухопутным и морским операциям по отрыву от противника на Востоке». Иными словами, в то время как военные действия на Западе должны были быть приостановлены, операции на Востоке должны были продолжаться.

Утром 4 мая Фридебург сообщил, что Монтгомери согласен при условии, что капитуляция гитлеровских войск будет распространена на все вооружённые силы, расположенные в Голландии и Дании, а также на военно-морской флот.

Далее, Людде-Нейрат пишет буквально следующее: «Фридебургу дали понять, что отвод войск с Востока сможет продолжаться и что отдельные солдаты, которые хотят сдать на демаркационной линии, будут взяты в плен английскими войсками». Таким образом, фактически английский главнокомандующий совершил акт явного вероломства — он согласился на то, что на советско-германском фронте гитлеровские войска не капитулируют, а с боями будут отходить на Запад, к англичанам.

После успешного выполнения своей миссии в штабе Монтгомери Фридебург получил предписание отправиться к Эйзенхауэру, чтобы заключить перемирие с американскими войсками на тех же условиях. Однако тут произошла заминка — твёрдая позиция Советского Союза, поддержанная народами всех стран, вынудила западные державы отказаться от нарушения принятой союзниками формулы о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии на всех фронтах. Поездка Фридебурга не состоялась. Не помогла и посылка в штаб Эйзенхауэра генерала Иодля (одного из самых приближённых к Гитлеру генералов) с поручением добиться соглашения о капитуляции на Западе, но не на Востоке.

Правда, Иодль сообщал, что начальник штаба Эйзенхауэра, Беделл Смит, активно выступил в защиту предложенного им плана, но принять его было невозможно — дипломатия западных стран побоялась последствий такого шага ввиду непреклонной позиции Советского Союза и общей решимости народов покончить с гитлеровской кликой и добиться мира. Гитлеровские генералы 8 мая вынуждены были подписать общую безоговорочную капитуляцию всех фашистских вооружённых сил. Фленсбургское представление — этот жалкий исторический фарс — закончилось арестом всего кабинета Деница. Сам Дениц предстал перед Нюрнбергским военным трибуналом как один из главных немецких военных преступников.

Фленсбургское правительство просуществовало семь дней — с 5 по 12 мая. Поэтому немецкие историки говорят, что Дениц попытался спасти гитлеровский рейх ещё «без семи двенадцать».

Но эти попытки оказались тщетными, несмотря на поддержку их со стороны Черчилля и Монтгомери и всей англо-американской реакции. Планам сепаратной капитуляции не суждено было сбыться — они были сорваны могучими ударами Советской Армии. Эти удары не дали опомниться ни германским милитаристам, ни их друзьям в Англии и США. В недавно вышедшей в США публикации документов Ялтинской

конференции, носящей явно клеветнический характер, содержится вместе с тем один весьма характерный документ — отчёт о заседании Объединённой группы начальников штабов (куда входили представители штабов Англии и США) о сроках окончания войны. Заседание группы по этому поводу происходило 8 февраля 1945 года. В качестве самого оптимального срока, который, по расчётам английских и американских генералов, имел лишь «теоретическое значение», была установлена дата 1 июля 1945 года. Генералы считали, что вероятнее всего война закончится к ноябрю 1945 года.

Известно, что Советская Армия на целых два месяца опередила даже самые оптимальные «теоретические» расчёты английских и американских штабистов. Советские войска безостановочно гнали фашистские полчища на Запад, не давая им передышки. Гитлеровская империя затрещала по всем швам. К началу мая дни Гитлера были сочтены — его кровавая империя рухнула, и вместе с ней рухнули и надежды германских империалистов на антисоветский сговор в ходе второй мировой войны.

Прошло десять лет со дня безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. И вновь на Западе слышатся знакомые мотивы. Всё назойливее раздаются голоса защитников германской агрессии, стремящихся вновь сколотить старый альянс англо-американской реакции с германским милитаризмом с целью развязывания войны против миролюбивых народов Европы. Бывший американский президент Герберт Гувер во время поездки в Западную Германию заявил: «Германия должна вновь сыграть роль бастиона западной цивилизации против угрозы со стороны азиатских орд». Черчилль в речи в Вудфорде хвастал: «Я был первым из известных деятелей, открыто заявившим о том, что мы должны иметь Германию на своей стороне против русской коммунистической агрессии»<sup>1</sup>. В США публикуется обширный сборник документов о Ялтинской конференции глав трёх великих держав с целью скомпрометировать принятые там решения о сотрудничестве США, Англии и Советского Союза в борьбе против гитлеровской Германии и в послевоенное время. Вся английская и американская пропаганда переключена на возвеличивание германских милитаристов как «защитников европейской цивилизации» и самых надёжных союзников западных стран в борьбе против Советского Союза и демократических государств Европы.

Но миллионы людей во всём мире хорошо помнят события второй мировой войны. Поучительная история отдельных переговоров между гитлеровской Германией и англо-американскими реакционерами, история, в конце концов так откровенно, мы бы сказали, завизированная самим господином Черчиллем в Вудфорде, говорит о многом. Народы не дадут себя обмануть или застигнуть врасплох. Таковы уроки истории.

<sup>1</sup> „The Times”. 24.XI. 1954.



# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

## ХВАТИТ ЛИ ОПТИМИЗМА?

...Время над нами, как ночь,  
распростёрлось.  
Закричим. Но кто же услышит наш голос?  
Стыдно дрожать.  
Отважны, только отважны должны быть мысли.  
Гордость поверженных — оптимизм.  
Но хватит ли оптимизма?  
Время тяжкое. Кнут жесток.  
Но вечна и бесконечна  
в нашей иссечённой, кровоточащей душе  
жажда жизни...

### Турция

«Варлык» («Бытие»), еже-  
месячный журнал лите-  
ратуры, искусства и мы-  
сли. № 413. Декабрь.  
1954. Год издания 21-й.  
Издатель Яшар Наби.  
Стамбул. Главный редак-  
тор Яшар Наби.

★

Эти стихи из последнего полученного нами номера турецкого журнала «Варлык» поэт Кямран Юдже назвал «Вопрос». Что же вызывает такую боль в душе поэта?

Чёрное, как ночь, время переживает ныне турецкая интеллигенция, турецкая культура. Закрыты все без исключения газеты и журналы, выступавшие в защиту мира. Запрещено Общество сторонников мира. Его руководители во главе с доцентом Анкарского университета госпожой Бехидже Боран брошены в тюрьму. Многие журналисты, редакторы, писатели и поэты преданы суду военного трибунала. Не так давно стамбульский военный трибунал приговорил к каторжным работам восьмидесятипятилетнего врача за то, что он подписал Воззвание в защиту мира и призывал бороться за независимость страны. По приговору военного трибунала осуждён на тюремное заключение больной туберкулёзом студент за то, что он представлял прогрессивную турецкую молодёжь на Всемирном фестивале в Берлине.

Принят закон о смертной казни для коммунистов, по которому может быть брошен в тюрьму и повешен любой патриот, выступающий против закабаления Турции американцами.

Вернёмся, однако, к журналу «Варлык». Он издаётся более двух десятков лет. Это один из старейших литературно-общественных журналов современной Турции. В нём не увидишь фотографий полуголых голливудских «звёзд», в нём не печатают гангстерской и порнографической «литературы». Журнал посвящён серьёзным вопросам культуры и искусства и знакомит читателя с творчеством иностранных и турецких писателей.

Больше всего в «Варлыке» стихов и рассказов. Это и понятно. Короткий рассказ-зарисовка и лирическое стихотворение — жанры, наиболее распространённые в турецкой литературе. Они занимали большое место в творчестве таких выдающихся литераторов, как Сабахаттин Али, Садр Эртем, Орхан Вели. В этих же жанрах продолжают работать лучшие писатели страны — Бекир Сыткы, Решад Нури, Орхан Кемаль, Октай Рифат, Мелих Джевет, причём многие из них одновременно пишут и стихи и рассказы. Это объясняется не только национальными традициями литературы, но и ограниченными материальными возможностями — литературный гонорар в Турции, как правило, ничтожен, работа же над произведениями эпического жанра требует много времени и сил.

Предупредим читателя сразу: поэт Юдже, автор процитированных нами в начале сборника стихов, так же как и журнал «Варлык» вовсе не могут быть заподозрены в со-

чувствии к коммунизму. На страницах журнала мы можем встретить и «коммунистическую опасность», и «железные занавес», и прочие «страшные слова», которыми продолжает пугать обывателей американская пропаганда.

Тем не менее всякий раз, когда речь заходит о так называемых «внутренних» темах, журнал не может скрыть того смятения, какое испытывают широкие круги турецкой интеллигенции. Знаменательный факт! Тревога за судьбу страны, за судьбу национальной культуры выражена, хотя подчас и противоречиво, на многих страницах журнала — в критических статьях, театральных обзорах, хронике культурной жизни или очерках, в постоянном разделе «Голоса деревни».

Как-то редакцию «Варлыка» посетил молодой финский журналист и попросил познакомить его с культурной жизнью страны. «И мы вынуждены были признать, — пишет сотрудник журнала, — что в таком культурном центре, как Стамбул, нет организации, которая представляла бы литераторов». Во многих стамбульских библиотеках, уютящихся в сырых и затхлых зданиях бывших медресе, нельзя получить последних изданий. А что сказать о провинции? Во всей Турции лишь в двух городах есть симфонические оркестры. Кроме Стамбула и Анкары, театров нет ни в одном из городов страны. «Всё это горько! — восклицает автор заметки. — Но что поделать — это правда!»

Стамбул — город с миллионным населением. Но в нём всего три профессиональных театра. Какие же спектакли они ставят? Талантливого режиссёра Эртугрула Мухсина называют «отцом турецкого театра». Когда-то созданная им труппа ставила не только западноевропейскую классику, но и пьесы Горького, Чехова, а также произведения прогрессивных турецких драматургов. Эти постановки были расценены критикой как важнейшие культурные события и восторженно принимались зрителем. Но это было лет двадцать назад. Теперь Эртугрул Мухсин руководит театром «Кючюк сахне» («Малая сцена»). Здесь идёт бродвейский боевик «Холостяк на лето». Как сообщает обозреватель журнала, содержание пьесы составляет пошлая интрижка между мужем, жена которого уехала на дачу, и его соседкой. Чтобы составить представление о пьесе и её авторе, достаточно сказать, что за последние десять лет им написано пятьсот (!) пьес для американского радио и телевидения.

Разочарование рецензента вызвали и работы муниципального «Городского театра». На основной сцене здесь также была поставлена переводная пьеса. Правда, на второй сцене театр показал произведение турецкого автора, и это одно уже кажется критику примечательным событием. Но что это за пьеса? «В течение двух с половиной часов, — пишет он, — мы слушали только жалобы и философствования человека, у которого нет детей. Если подобные мелодрамы были возможны на нашей сцене лет тридцать назад, то теперь вряд ли можно сказать, что такая пьеса вообще годится для постановки».

Заглянем в отдел хроники журнала. В Стамбул приехала группа югославских танцоров. Их выступления, пользовавшиеся большим успехом, наводят автора заметки на невесёлые размышления: хорошо было бы и нам создать подобный ансамбль, но, к сожалению, среди наших народных танцоров почти нет женщин. Несомненно, причина этому — пережитки средневековых нравов, отсталость турецкой деревни.

Невежество, неграмотность, забитость, нищета царят в турецкой деревне, то есть среди восьмидесяти процентов населения страны.

«Неужели европеизация Турции столь поверхностна и беспочвенна? Действительно ли путь, по которому мы идём, ведёт к спасению, а не к катастрофе? Разве можно сказать, что в нашей стране установлена подлинная демократия?» — такими вопросами задаётся публицист Селяхаттин Бату в статье, которая посвящена судьбам турецкой культуры и открывает номер журнала.

По существу это не вопросы, а лишь стыдливая форма признания широко известных истин. Какая уж тут демократия, если за твои убеждения тебя могут «повесить! Но самый факт, что такие вопросы ставятся, достаточно показателен.

Не менее показательны и те выводы, к которым приходит автор статьи. «Я не сомневаюсь, — пишет Бату, — что весь ход нашей научной и культурной жизни, равно как и всё наше политическое развитие, находится под давлением извне. Если политические режимы в Турции носят искусственный, насильственный характер, то разве

наша наука — это настоящая наука? Разве наше искусство не подражательно?.. Индия, страна древнейшей и, казалось, забытой культуры, ныне занимает в мировой науке куда более значительное место. В то же время Турция, расположенная на территории, где закладывались основы европейской цивилизации, Турция, которая сто пятьдесят лет пытается европеизироваться, не сделала в науке и первых шагов.

Губительное «давление извне» на турецкую политику и национальную культуру глубоко беспокоит всё большие слои интеллигенции. Глазам турецкой интеллигенции предстают перемены, происшедшие за послевоенные годы в жизни других народов Азии, пример Индонезии, Индии, Бирмы, народы которых берут в свои руки заботу о судьбе своей национальной культуры.

Вот почему в последнее время так часто и оживлённо обсуждаются на страницах турецких литературно-художественных журналов и газет вопросы о том, какова роль писателя в становлении и развитии национальной культуры, какова его ответственность перед обществом. Откликом на такие обсуждения служит помещённая в рецензируемом номере редакционная заметка под заголовком «Вопросы, набившие оскомину». Действительно, журнал на протяжении последних полутора лет уделял этим вопросам много внимания. Однако единственным положительным результатом полемики было выявление двух точек зрения на искусство и его общественную роль.

Такие литераторы, как Октай Рифат, Мехмед Фуад, Хюсаметтин Бозок, и многие другие считают, что «искусство для искусства — это труп, который, несмотря на все старания, не удастся оживить ни в Турции, ни за её пределами». И если писатель хочет выполнить свой долг перед искусством, он должен служить правде и народу. В справедливости этих суждений, высказанных на страницах литературной газеты «Еди тепе», литературного приложения к газете «Акшам» и в других изданиях, передовых писателей страны убеждает вся история развития искусства, так же как и состояние современного общества.

Иную позицию занимает журнал «Варлык». Его постоянный сотрудник Тахсин Юджель утверждает: «Как не может считаться недостатком обращение писателя только к общественным вопросам, так художнику двадцатого века не может быть поставлено в вину то обстоятельство, что он общественными вопросами не занимается». «Мы не призываем писателя удалиться в башню из слоновой кости,— пишет редактор журнала Яшар Наби.— Но мы и не с теми, кто пытается вытащить писателя за шиворот из слоновой или кирпичной башни в уличную толпу и превратить его в зазывалу». Художник не может связывать себя определённой общественной целью. Он должен быть свободен — таков итог его рассуждений.

Но о какой свободе говорит редактор «Варлыка»?

Если о свободе писать правду, то как не вспомнить тут историю первой книги одного молодого сельского учителя. Стоило ему запечатлеть на бумаге правду о жизни своей деревни, как он был брошен в тюрьму по обвинению в коммунистической пропаганде. Между тем этот юноша едва ли имел даже смутное представление о коммунизме, ибо, как писал автор предисловия к его книге, «он получил лишь поверхностное образование, никогда не видел города и из-за отсутствия средств прочёл не более пяти-шести книг». Тем не менее его принудили выступить с антикоммунистическим заявлением, и тогда ему была дарована свобода.

Как мог забыть об этой истории редактор журнала «Варлык» Наби, если учителя звали Махмуд Макал, книга его называлась «Наша деревня», а её издателем и автором предисловия был сам Наби?<sup>1</sup> О какой, наконец, свободе может идти речь, если недавно даже такой известный враг коммунизма, как Ялчин, был посажен в тюрьму за то, что выступил со статьёй, содержавшей критику властей?

Но даже если мы попробуем, как это делает Наби, забыть о политической обстановке и обратимся лишь к материальным условиям жизни честного литератора современной Турции, то и здесь мы увидим, что его свобода и независимость не более, как мираж в пустыне.

<sup>1</sup> Кстати, Махмуд Макал, с которым советский читатель знаком по его книге «Наша деревня», переведённой на многие языки народов СССР, является ныне постоянным сотрудником «Варлыка» и даже в рецензируемом номере помещён его очерк.

В последнем номере журнала «Варлык» помещено много материалов, посвящённых недавно скончавшемуся новеллисту Саиду Фанку. Вот что говорил о себе этот популярный турецкий писатель:

«Так как я считал литературу настоящим делом, я решил больше ничем не заниматься. Я писал рассказы в газету по полторы лиры за штуку, репортажи из зала суда. Теперь моё перо приносит мне две лиры в неделю... Но когда я подсчитал, что вчерашний ужин обошёлся мне в четыре лиры семьдесят курушей, то пришёл в ужас».

Романист, новеллист и поэт Орхан Кемаль, с которым советский читатель знаком по книге рассказов «Борьба за хлеб», уже будучи известным писателем, вынужден был служить гардеробщиком в театре. Издатели наживали на его книгах тысячи лир, а семья Кемалья голодала.

Критики журнала «Варлык» единодушно считают Орхана Вели выдающимся поэтом. Но когда он умер, на нём был старый, истрёпанный до дыр костюм.

«У нас нет ещё ни одного писателя, который мог бы прожить только на литературный заработок, — говорит бывший депутат меджлиса, новеллист Бекир Сыткы, — я имею в виду жить по-человечески, не побираясь».

Поистине печальная свобода!

Противоречивость позиции журнала в вопросах места и роли художника очевидна. Редактору журнала и некоторым его сотрудникам кажется, что писатель может жить в обществе и быть свободным от общества. Журнал «Варлык» выступает против всякого вмешательства общественности в дела художника. Обороняясь от нападок турецких маккартистов, иные писатели пытаются спрятаться за обветшавшим лозунгом «Искусство для искусства». Но не потому ли со страниц журнала так часто веет отчаянием и безысходностью? Не потому ли из двадцати двух стихотворений, помещённых в последнем номере «Варлыка», десять посвящены смерти и мертвецам?

«Хватит ли оптимизма? — спрашивает поэт Кямран Юдже. — И кто услышит наш голос?»

Хватит ли у турецких писателей оптимизма, веры в творческие силы своего народа, сумеют ли они возвысить свой голос в защиту национальных интересов страны — от этого зависит их собственная судьба и в значительной мере судьба турецкой национальной культуры.

Р. ФИШ.

## ПЕРВАЯ ТРИБУНА

Журнал «Творчость» — одна из первых литературных трибун в Польской Народной Республике. Он начал своё существование одновременно со становлением народной власти. Ещё шла война и большая часть страны находилась под властью врага, но творческая жизнь писателей искала выхода, требовала того, чего они были лишены в годы оккупации: контакта с читателем.

И вот журнал уже вступил во второе десятилетие. Он сильно изменился. Перед нами том в двадцать с лишним печатных листов. Как не похож он на тонкую тетрадь сороковых годов! Иным стал не только внешний вид, но и содержание журнала. В процессе борьбы польской литературы за социалистический реализм определились его цели, задачи, идейная направленность. Исчезло так сказывавшееся в журнале эстетство, увлечение декадентской литературой Запада. В последние годы журнал первым знакомил читателя с лучшими произведениями польской прозы — стоит только вспомнить «Дневник с фабрики целлюлозы» Игоря Нсверли, «Граждан» Казимежа Брандыса, «Семью Яворов» В. Маха.

### Польша

«Творчость» («Творчество»), ежемесячный литературно-художественный журнал. №№ 1 и 2. 1955. Орган Союза польских писателей. Год издания 11-й. Варшава. Главный редактор Ярослав Ивашкевич.

★

В нынешнем году весь культурный мир отмечает столетнюю годовщину со дня смерти Адама Мицкевича. «Творчество» открывает мицкевичевский год двумя произведениями, посвящёнными жизни и творчеству великого поэта-революционера. Одно из них — пьеса А. Малишевского «Баллады и романсы». Это попытка раскрыть в художественных образах один из наиболее драматических моментов в жизни молодого Мицкевича. «Баллады и романсы» — не только название первого томика поэзии Мицкевича, но и своеобразное определение того периода его жизни, когда поэту казалось, что «трещина страдающего сердца проходит через вселенную» (Гейне).

Двадцатидвухлетний Мицкевич полюбил сестру своего университетского товарища Марылю Верещак. Но в расчёты её родителей — зажиточных помещиков — не входило выдавать дочь за безвестного Седняка-поэта. Марыля была помолвлена с графом Путткамером и, подчиняясь родительской воле, обвенчалась с ним, хотя и любила Мицкевича. Вначале она страдала, потом превратилась в обыкновенную помещицу — графиню Путткамер. Страдания поэта породили десятки великолепных стихов, вторую и четвёртую части драматической поэмы «Дядя».

Молодой поэт и его возлюбленная стали жертвой сословных предрассудков и материального расчёта — так освещалось это событие всеми биографами Мицкевича.

Что нового внёс в эту версию драматург Малишевский?

Прежде всего он отошёл от традиционной трактовки образа Марыли. У Малишевского Марыля — экспансивная панна, скорее сентиментальная, чем романтическая, больше любующая собой в роли трагической героини, чем страстно любящая Мицкевича. В её отношении к поэту много навеянного модным тогда байронизмом. Увлечение романтической литературой не мешало ей вполне трезво и даже рассудочно решать жизненные вопросы. В одной из сцен Марыля, только что вернувшись к себе после любовного свидания с Мицкевичем, хладнокровно назначает день своей свадьбы с Путткамером.

И всё же чувство любви к поэту не покидает её и после свадьбы; она готова уйти от мужа и уехать с Мицкевичем за границу, ведя жизнь праздной путешественницы. Но Мицкевич не соглашается быть в роли спутника богатой чужой жены, ему претит тот образ жизни, к которому стремится любимая им женщина. Он требует, чтобы Марыля решительно порвала с мужем и тут же связала навсегда свою судьбу с его судьбой. Но на такой шаг пани Марыля не способна, и между возлюбленными наступает окончательный разрыв.

Автор смело вводит в пьесу другой женский образ — Каролины Ковальской, красавицы жены ковенского доктора. Биографы Мицкевича обычно либо стыдливо замалчивают, либо говорят о ней скороговоркой. Дело в том, что в самый разгар личной трагедии поэта, вызванной замужеством Марыли, Мицкевич встречается с Ковальской. Пренебрежительное отношение к ней литературоведов было понятным, поскольку на творчестве Мицкевича роман с ней не оставил следа, в то время как к Марыле обращены многие стихи поэта. Но в пьесе Мицкевич — не объект научного исследования; он сам литературный герой, и поэтому вполне законно то, что драматург привлёк биографические факты, помогающие глубже раскрыть характеры действующих лиц.

Каролина в пьесе довольно смело противопоставлена Марыле. Если Марылю сравнивали с дантовой Беатриче — музой и вдохновительницей поэта, то Каролина напоминает Лауру Петрарки, женщину из плоти и крови. Умная ирония сквозит в последней сцене пьесы, когда Мицкевич находит на столе подарки от обеих женщин. Марыля оставила ему томик Байрона с надписью: «Будь сильным! Будь великим!» В свёртке Каролины — тёплое бельё и записка: «Береги себя. Помни, что ты подвержен насморкам»... В дверь стучат. Это жандармы пришли арестовать поэта. Он на пороге нового этапа жизни, в которой и Каролине и Марыле суждено остаться лишь воспоминанием.

Развенчание Марыли и место Каролины в жизни поэта — одна сюжетная линия пьесы. В другой автор показал виленских «филаретов» — участников полулегальных патриотических кружков студенческой молодёжи, ту среду, из которой вышел Мицкевич-революционер, борец за освобождение народа. Мы узнаём о связи филаретов с декабристами, о приезде Бестужева в Вильно, о начавшемся наступлении царского



правительства против свободолобивой польской молодёжи. В последней беседе с Марылей Мицкевич говорит, что человек сотворён не только для любви и счастья, но и для исканий и бурь. Эти слова логически связаны с скружавшей его атмосферой, но они не вытекают из психологического образа поэта, нарисованного автором нбесы. Момент духовного перелома Мицкевича показан недостаточно глубоко. Менее удачными нам кажутся также образы родных Марыли, которых автор не сумел наделить чертами живых людей.

В первом же номере журнала печатается продолжение интересной критической работы Романа Зиманда «Разрушитель памятников».

«Разрушителем памятников» автор называет известного критика, театроведа, эссеиста и переводчика профессора Бой-Желенского. В 1929 году Бой-Желенский опубликовал в варшавских «Литературных известиях» ряд статей о Мицкевиче, которые произвели в тогдашней Польше впечатление взрыва бомбы.

Бой-Желенский утверждал, что официальные биографы Мицкевича, в том числе и его сын Владислав, исказили в своих работах образ поэта, что для этого они прибегали к таким методам, как уничтожение неудобных для них документов. Всё это делалось в интересах реакционных и клерикальных кругов, которые стремились использовать имя и творчество великого поэта—борца за национальное освобождение — в своей борьбе против прогрессивных сил.

Он указывал на то, что мистик Товианский, под влиянием которого некоторое время находился Мицкевич, был не только невеждой и обманщиком, но, по всей вероятности, и агентом царской охранки, направленным в Париж, чтобы препятствовать сближению наиболее выдающихся представителей польской эмиграции с национально-освободительным движением.

Выступление Бой-Желенского вызвало яростные нападки со стороны реакции. Полемика, разгоревшаяся вокруг его статей, носила острый политический характер. Он выступил со своими разоблачениями в момент обострения классовых противоречий в стране и нарастания революционного движения масс. Правящей клике был нужен «свой», «приглаженный» Мицкевич. Он мог быть немаловажным политическим козырем в её борьбе, и отказаться от него ей было нелегко.

Р. Зиманд указывает на сильные и слабые стороны выступления Бой-Желенского. Уличая казённых исследователей в уничтожении и фальсификации документов, Бой-Желенский поколебал доверие общественности к официальной науке. Важное значение имело разоблачение Товианского, которого Бой-Желенский назвал «знахарем», а атмосферу, царившую в его кружке,— «мрачной достоевщиной». Эти меткие определения попадали в цель, заставляли критически относиться к признанным авторитетам. Р. Зиманд убедительно показал, что лишь в 1940 году в советском Львове Бой-Желенский обрёл условия, которые позволили ему завершить борьбу за правдивое изображение общественной роли и творчества великого поэта, и только здесь он понял до конца политическую подоплёку этой борьбы.

Для первых номеров журнала этого года характерна, как нам кажется, новая черта — в них широко представлено творчество польских писателей старшего поколения. Мы видим здесь имена Яна Парандовского, выступившего с большим биографическим повествованием о Петрарке (правда, пока ещё не оконченным в полученных нами номерах), Марии Домбровской и других.

Привлекает внимание повесть Марии Домбровской «Свадьба в деревне». Домбровская — известная писательница. В начале тридцатых годов появился цикл её романов под общим заглавием «Ночи и дни». По своему эпическому размаху, да и по силе авторского таланта они напоминают «Сагу о Форсайтах» Дж. Голсуорси или «Будденброков» Томаса Манна. В них на фоне социальных перемен показана история дворянской семьи с 1863 года до первой мировой войны, разорение дворянства, пополнившего ряды городской интеллигенции.

Читая повесть Домбровской, нельзя не вспомнить и одного из первых сборников её рассказов — «Люди оттуда», кстати, переведённого на русский язык. Описывая жизнь деревенского пролетариата, рисуя правдивые картины нищеты батраков, писательница

окончательное решение вопроса видела тогда в аграрной реформе в том искажённом, компромиссном виде, в котором она была принята польским сеймом в 1920 году.

Действие «Свадьбы в деревне» происходит в наши дни. В деревне существует сельскохозяйственный кооператив, возникший на землях помещичьей усадьбы, но туда вступили лишь батраки. Те же, у кого была своя земля, цепляются за собственность. Родители молодой пары, их соседи и родственники — единоличники. Их никто не заставляет вступать в кооператив, они хозяйничают, как и раньше, но уже не испытывают прежней радости от сознания того, что они владеют землёй. Их что-то тревожит и гнетёт.

С большим художественным тактом писательница показала трещины в быту и сознании единоличников, то, что лишает их спокойствия, уверенности в себе и своём будущем. Малгожата Яснота хочет часть земли отдать дочке, но она не уверена, что молодые не вступят потом в кооператив. Её беспокоит решение старшего брата, каменщика, который работал в Варшаве, жил там хорошо и вдруг переехал в родное село строить дома для сельскохозяйственного кооператива. Смятение вносит и младший брат, электромонтёр из Вроцлава, в словах которого Малгожата усматривает упрёк по своему адресу. Почти сто человек гостей приехало на свадьбу, и всё проходит по старому обычаю, но Малгожату всё время гложет непонятное беспокойство. Она идёт на рассвете к брату, чтобы перед его отъездом с глазу на глаз спросить, как же быть с этим кооперативом.

У писателя менее взыскательного Михал мог бы ответить агиткой, сказать напрямик что-то очень правильное и в той же мере неубедительное. В повести Домбровской брат говорит сестре:

«Видишь ли, дорогая, жизнь наша, сдаётся мне, похожа на дорогу. Вот ты прошла какую-то часть её, и это уже твоё. Ты уж ничего здесь не потеряешь, не о чем тебе беспокоиться. А вот что впереди тебя — то ты можешь потерять. Заблудиться можно, отстать, не заметить поворота. А куда ведёт дорога жизни? В будущее ведёт. Так нужно за дорогой в будущее и следить, чтобы своего завтрашнего дня не проворонить, не потерять».

Этим философским раздумьем, выраженным в иносказательной форме, и кончается повесть Домбровской. В ней ни один вопрос не решается прямолинейно, в лоб, но и не остаётся нерешённых вопросов.

В журнале богато представлена поэзия. В двух номерах — около пятнадцати имён. Но как ни странно, у читателя создаётся впечатление, будто большинство этих стихов написано одним почерком и почти все они объединены общей минорной тональностью и расплывчатой символикой. Кажется непонятным, почему поэт Тадеуш Ружевиц хочет портрет своего поколения писать не с живых людей, а с «посмертной маски». И хотя Юлиус Жулавский отмежевывается от поэтического эпигонства, его «Октавы за вином» сильно напоминают стихи Казимежа Вежинского и других «виталистов» двадцатых годов. Правда, поэзия — тонкий жанр литературы. Судя о ней, трудно быть безапелляционным. Однако так же трудно не высказать своего искреннего мнения о прочитанных стихах.

Свежо и убедительно звучит стихотворение В. Слободника, посвящённое памяти Юлиана Тувима. На улицах Лодзи, где прошла молодость Тувима, автор встречает его музу. У неё лицо лодзинской прядильщицы. Это хороший, точный образ, и всё стихотворение — тёплое, эмоциональное.

В журнале много внимания уделено Второму съезду советских писателей. В подробном отчёте освещены главные вопросы, обсуждённые на съезде.

Немало интересного, самобытного есть в двух последних номерах «Творчости». Хотелось бы отметить воспоминания Я. Ивашкевича о Тувиме, Т. Брезы о Софье Налковской, рецензии на вышедшие недавно переводы Ю. Тувима из русской классической поэзии и герценовских «Былого и дум», а также другие издания, только обо всём не расскажешь в кратком обозрении. И, закончив чтение журнала, ощущаешь, что и через десять лет своего существования «Творчество» попрежнему первая — теперь уже по значению — литературная трибуна страны.

А ДИРИНГЕРОВА.

## ДЕ ФОКСА И ДРУГИЕ...

Английский путешественник и фольклорист прошлого века Ричард Форд в своих «Испанских сборниках» приводит такой народный анекдот:

«Когда Фердинанд III занял Севилью и умер, то, будучи святым, он избежал чистилища, и святой Иаков повёл его к богородице, которая тут же предложила ему испросить любые милости для дорогой его сердцу Испании. Монарх попросил масла, вина и хлеба — это было разрешено; солнечного неба, храбрых мужчин и красивых женщин — это было позволено; сигар, мощей, чесноку, быков — пожалуйста; хорошего правительства — вот тут последовал отказ. «Нет, нет, нельзя, — сказала богородица. — Если бы оно было даровано Испании, то ни один ангел не пожелал бы дольше оставаться на небесах».

Эта горькая шутка теперь, как никогда, отвечает действительности: таких правителей, как Франко и его камарилья, ещё не знала Испания за всю свою многовековую историю. Ещё во время мятежа в интервью, данном специальному корреспонденту Юнайтед Пресс, будущий диктатор заявил, что правительство, которое он создаст, «будет следовать структуре тоталитарных государств, вроде Италии и Германии... и покончит со всеми либеральными институтами, отравлявшими народ». Это было едва ли не единственное обещание, которое Франко неукоснительно выполнил.

К «либеральным институтам», с которыми прежде всего покончил франкистский режим, относится, разумеется, и демократическая печать. За немногими исключениями, все издания, вышедшие до 1939 года, были закрыты. И если «АБЦ», основанная ещё в 1905 году, попрежнему издаётся наряду с центральным органом фаланги «Арриба», то только потому, что и во времена республики она была азбукой самой чёрной реакции.

«АБЦ» — нечто среднее между «periodico» (газетой) и «revista» (журналом): она выходит ежедневно, но в каждом её номере не меньше шестидесяти страниц формата нашего «Огонька»; она печатается на газетной бумаге, но со множеством цветных иллюстраций и фотографий на обложке и в тексте; она помещает депеши телеграфных агентств, таблицы розыгрышей лотереи, рекламные объявления, но также и довольно пространственные статьи по вопросам философии и эстетики, художественные репортажи, небольшие рассказы, и мы решительно не знали бы, как её назвать, если бы на её обложке не стояло «diario», то есть «ежедневник» — термин, применимый ко всякому ежедневному периодическому изданию.

Оставим в стороне передовицу, посвящённую 14-й годовщине смерти «Его Величества короля Альфонса XIII, в течение многих лет занимавшего испанский престол вместе со своей августейшей супругой доньей Эухенией-Викторией», интервью «Его Сиятельства Главы Государства» корреспонденту газеты «Арриба», известие о посещении контр-адмиралом Юэном, командующим американскими военно-морскими и воздушными силами в восточноатлантическом и средиземноморском районе, испанского эскадренного миноносца «Адмирал Антекере» и т. д. и т. п. Ознакомим читателя лишь с литературным отделом «АБЦ».

Почётное место в нём занимают сочинения некоего Хосе Мария Пеман. В прежние времена был он мелким журналистом, выступавшим на страницах клерикальных газет, науськивая католиков на республику. Ныне он маститый академик и придворный поэт каудильо, достигший этих высоких степеней благодаря покровительству своих духовных отцов и влиятельных кумовьёв жены — владелицы винного погреба.

По случаю смерти известного французского писателя Поля Клоделя Хосе Мария Пеман опубликовал в «АБЦ» большую статью «Клодель и католический театр», в которой ославил его мистиком и обскурантом. «В литературе — и в особенности в католической литературе, проникнутой чувством вечности, — пишет Пеман, — можно парадоксальным образом регрессировать, двигаясь вперёд. Так Фома Аквинский имел смелость вернуться назад к Аристотелю; так и Клодель благодаря своему живительному и отвечающему духу современности творческому порыву достиг того, что оказался в мире

### *Испания*

«АБЦ» («Азбука»), ежедневный орган общей информации. Январь — март. 1955. Издательство «Маньяна». Год издания 50-й. Мадрид.

★

кафедральных соборов и мистерий, позади Декарта и Французской академии. Так далеко позади, что академия довольно долго медлила, прежде чем принять его в свои стены, ибо понимала, что вместе с ним в неё проникнет всё средневековое, доренессансное, весь возвышенный творческий хаос, предшествовавший «ясным идеям» Декарта».

В этом, оказывается, и состоит величие Клоделя. И если Клодель любил Испанию и был знатоком испанской литературы и искусства, то Пеман находит этому весьма характерное объяснение: «В своём мучительном стремлении вернуться назад к подлинно христианской поэзии он понимал, что XV век уже безнадежно далеко, зато Испания — близко... Многие из того, что он искал по ту сторону Декарта и Возрождения, он нашёл просто-напросто по эту сторону Пиренеев».

Хвалы франкистского пиита — не почесть, а надругательство над памятью Клоделя. Конечно, Клодель не принадлежал к передовым писателям Франции, и для всякого, кто знаком с его творчеством, очевидны реакционные стороны его мировоззрения. Но не случайно Французская академия, которая выглядит у Пемана защитницей ненавистных ему идеалов просвещения и гуманизма, забаллотировав Клоделя в 1935 году, выбрала вместо него апологета империалистической агрессии Клода Фаррера, а вчерашние коллаборационистыравили Клоделя в последний год его жизни, противопоставляя ему предателя Морраса. И давно уже сказано, что перо большого художника нередко умнее его самого. Клодель завоевал себе прочное место в истории французской литературы не как сын своего класса и не как верующий католик, а как национальный поэт. Пытаясь найти, а на худой конец измыслить идейных союзников, Пеман оболгал Клоделя. Но ещё более, чем эта ложь, примечательна правда, которую он выболтал: XV век далеко, но Испания близко. Назад к средневековью, ко временам инквизиции и охоты на ведьм, к схоластике и мистериям, к Игнатию Лойоле и Фоме Аквинскому — вот «культурная» программа франкистских «просветителей». Недаром фалангистскую эмблему — ярмо и пять стрел — в народе называют «Эль кангрехо» — раком — не столько потому, что в горизонтальном положении она действительно напоминает рака, сколько потому, что рак символизирует попятное движение, регресс.

Восхваляя Клоделя, Пеман оговаривается, что этому писателю всегда «угрожала опасность» предаться оргии чувств, уступить своей бьющей через край, но недостойной аскета и псалмопевца любви к краскам, формам, музыке, словом, красоте реального мира.

Зато другой французский писатель, известный, впрочем, лишь как предатель, уже без всяких оговорок объявляется на страницах «АБЦ» бессмертным и несомненно сподобившимся мученического венца. В своей статье «От Андрэ Шенье до Робера Бразийяка» (каково сравнение!) Мариано Даранас проливает неподдельные слёзы скорби по платному немецкому агенту, «служившему своим пером делу коллаборационизма», видевшему в сотрудничестве между гитлеровской Германией и романскими странами «краеугольный камень антибольшевистского возрождения Европы», но, увы, расстрелянному после освобождения Франции. Горячее сочувствие Мариано Даранаса Бразийяку вполне понятно: испанские и французские фашисты связаны узами крови — пролитой ими крови патриотов и демократов. Первым «подвигом» франкистов в области культуры было убийство вскоре после начала мятежа великого народного поэта Испании Федерико Гарсиа Лорка, павшего в своей родной гранадской провинции от руки тех самых «гражданских гвардейцев», о которых он писал:

Они проезжают всюду,  
И рвётся из них наружу  
Астрономический бред —  
Призраки сабель и ружей.

Долгое время франкисты не решались коснуться тлеющих углей этого страшного воспоминания. Но популярность поэта в Испании так велика, завоёванное им международное признание столь несомненно, что они вынуждены были всё же заговорить о Лорке, приписывая его гибель «несчастному случаю, ответственность за который отнюдь не несут власти», и разрешить переиздание его стихотворений, разумеется, далеко не всех.

Франкисты пытаются теперь во второй раз убить поэта, задушив его в своих объятиях. Автор статьи Антонио Гальего Морель превращает Лорка буквально в сладень-

кую конфетку, уверяя, что его произведения «принесут с собой в домашние очаги испанцев запах марципана и халвы» и что книга его стихов — «чудесный подарок новобрачным». Но он ни словом не обмолвился о социальном содержании творчества народного и революционного поэта Испании, вокруг которого сплачивалось молодое поколение испанских прогрессивных писателей, называвшее его своим знаменосцем.

Подменяя крамольного Лорка «конфетным» Лорка, Морель лишь следует примеру своих наставников. Всё тот же академик Пеман года три назад имел бесстыдство написать об авторе «Марианны Пинедо» и романа о жандармах: «Гарсна Лорка никогда и ни в какой мере не был идейным поэтом с гражданскими и социальными мотивами. Он воспевал с бесконечной тоской страдания и луну». Пеман остерегся пояснить, чьи страдания воспевал и оплакивал Лорка и кто виновник этих страданий. Не назвал он и его последнюю поэму о луне. А она такова: когда Лорка привели на расстрел, он промолвил, обращаясь к жандармам: «И в такую лунную ночь вы убьёте меня?»

Но фалангистским борзописцам не умертвить Лорка. Его знает и помнит народ. Хесус Искарай, известный советскому читателю по рассказам об испанских партизанах, прекрасно сказал: «Настанет час, мы отыщем его могилу... Мы раскроем её. Она окажется пустой. Ибо он жив».

Что касается нынешней, официально признанной испанской поэзии, то, судя по всему, она представляет безрадостное зрелище. В рецензии на антологию «Современная женская испанская поэзия» (во франкистской Испании и поэзия, как монастыри, делится на женскую и мужскую) Фернандес Альмагро пишет: «Какую же панораму являет нам современная женская поэзия?.. Прежде всего её характеризует тематическое богатство, причём обширное место занимают религиозные размышления, и как в этом плане, так и в том, что касается светских мотивов (природа, любовь), обнаруживается ярко выраженная тенденция к психологическому самоанализу. Правда, это относится не только к поэтессам, но и к поэтам. Однако у женщин, быть может, особенно острым оказывается отшлифованный стилет, с помощью которого поэт проникает вглубь воспоминаний, скорбей и тоски. Последнее слово — один из ключей этой поэзии, лучше всего раскрывающих её суть: она, как никогда, проникнута тоской и наводит тоску».

Ценное признание! Мы не нуждаемся в указаниях Фернандеса Альмагро, чтобы найти ключ к этому плачевному состоянию испанской поэзии. Какой же и быть поэзии в стране, превращённой в монастырь и застенок?

В «Открытом письме молодому поэту» Хосе Мария Сувирон выражает даже свою озабоченность по тому поводу, что творчество молодёжи отнюдь не отличается оптимизмом. «Надо петь больше и веселее, — поучает Сувирон своего молодого собрата по перу. — Ты скажешь, что это невозможно, потому что наше время не располагает к веселью? Юноша, молодой поэт, никакое время не «располагает» к веселью. Это песня, которую мы поём, делает время лучезарным...» Старая песня! Мир — юдоль слёз, так было от века, так есть и будет, и наше время (то, бишь, безвременье) тут ни при чём. Забудем же о безобразной действительности и воспоем лучезарный мираж. Это одна из самых избитых басен, которой можно обмануть лишь тех, кто хочет быть обманутым.

Проза представлена в «АБЦ» главным образом рассказами Хулио Камба. В одном из них, пожалуй наиболее характерном, повествуется о весьма своеобразном развлечении, которому, по словам автора, предаётся мадридская «золотая молодёжь», в частности герой рассказа Антунес. Любитель сильных ощущений вставляет патрон в семизарядный револьвер и несколько раз наудачу поворачивает барабан, затем приставляет револьвер к виску или к сердцу и нажимает гашетку. «Происходит выстрел? Прощайте, всего наилучшего! Выстрел не происходит? Значит, ничего не случилось, и впереди завтрашний день. Да, господа, впереди завтрашний день, но пока что игрок испытывает такое чувство, будто он снова родился на свет, и этот мир, который ему так опротивел, — потому что, если бы он ему не опротивел, юноша вряд ли пристрастился бы к этой игре, — обретает вдруг для него свежесть красок и прелесть новизны. Женщины кажутся ему красивее, чем когда бы то ни было, друзья — сердечнее, пища — вкуснее, газеты — более оптимистичными, зрелища — более занимательными, словом, всё в его глазах приобретает интерес, тогда как прежде всё было совершенно лишено интереса».

Ради этого рассуждения, собственно, и написан рассказ. Оно как нельзя более напоминает популярную интерпретацию пресловутого лозунга «жить среди опасностей», провозглашённого в своё время немецким экзистенциалистом Хайдеггером, тем самым Хайдеггером, который видел в Гитлере «подлинное воплощение немецкой судьбы» и во время плебисцита 1933 года, будучи ректором Фрейбургского университета, заставил своих студентов маршировать сомкнутым строем в помещение для голосования, чтобы выразить своё согласие с политикой фюрера. Это лозунг авантюриста или головореза, для которого жизнь — копейка. Нетрудно сформулировать то, что недоговаривает Хулио Камба: разве война это не жизнь среди опасностей, не массовая игра со смертью, такая мужественная, такая увлекательная, такая обновляющая? В рассказе Камба, как будто случайном, написанном в тоне полушутливой болтовни, отчётливо звучит отголосок излюбленного клича бандитов из испанского иностранного легиона, которым когда-то командовал Франко: «Да здравствует смерть!»

Наконец, остановимся на «Гидрах и чудовищах» — философско-эстетическом этюде графа Аугустино де Фокса. С необыкновенным проворством граф делает обзор всемирной истории и искусства, религии и мифологии и приходит к выводу, что все великие цивилизации, а в особенности античная Греция и Рим, равно как и христианский мир, не любили чудовищ, предпочитали уродству красоту и отождествляли безобразие со злом. Примеры: Аполлон и сатиры, ангелы и черти и т. д. Единственное исключение — китайцы, которые «симпатизировали драконам» (так и сказано: симпатизировали), и москвиты, то есть русские, о которых графу всё доподлинно известно, так сказать, из первых рук.

Мы не можем себе отказать в удовольствии привести его «разоблачения»: «Москва только что объявила, что советские врачи и инженеры-биологи создали двухголового пса, который, вселяя ужас и изумление, лакает двумя языками — при наличии одного туловища — молоко из двух мисок... Несколько лет назад я видел в одном русском журнале ужасающую фотографию головы пса, приделанной к большой трубке, через которую нагнеталась при помощи металлического сердца его собственная кровь, собранная в сосуд, когда была отрезана голова. Эта отрезанная голова обнаруживала все признаки жизни: прыдала ушами при малейшем шуме, глядела, выделяла слюну при виде мяса. То был фантом пса, материализованная эманация, спиритический пёс Смерти».

Если бы смех, в данном случае смех читателей «АБЦ», убивал в буквальном смысле слова, граф Аугустино де Фокса не пережил бы своего этюда. Впрочем, смеяться над фашиствующим графом в Испании небезопасно.

К чему же клонит граф Аугустино де Фокса? Каким целям служит «научный этюд» титулованного мистика? Всё очень просто.

«Это предвестие ужасного мира, который нам угрожает, — в полном иступлении продолжает граф из «АБЦ», — это мрачный триумф чудовищ, драконов, сатаны, торжествующего над Архангелом; победа асимметричного, хаотического, тёмного, возведённого в эстетическую норму; освобождение безобразного; реванш материи над формой, рептилий над голубями... Будем же уповать, что Святой Георгий, который грядет с запада (поскольку Зигфрид десять лет назад вышел из строя), чистым и сверкающим мечом отрежет разом все семь ужасных голов змея, не оставив ни единой, дабы из неё не выросли остальные шесть, и что, омывшись в его зелёной крови, он станет навеки неуязвимым».

Кажется, ясно.

Генерал Муньос Гранде, военный министр Франко, командовавший на Восточном фронте не раз битой испанской «голубой дивизией», может быть доволен: «АБЦ» его поддерживает. В своё время Муньос Гранде получил из рук Гитлера железный крест. Недавно он побывал в США, где генерал Риджуэй церемонно вручил ему американский военный орден. Польщённый Муньос Гранде при этом, кажется, и себя самого вообразил святым Георгием. Он заявил, что Испания готова даже один на один воевать с Советским Союзом, вознамерившись, по совету известного нам графа, «отрезать все семь ужасных голов змея». Как видим, писания де Фокса о «красивом и безобразном» имеют вполне определённый смысл.

Изо дня в день франкистские борзописцы, которых ничему не научил пример гитлеровского «Зигфрида», изливая потоки жёлчи и чернил, пытаются оглушить и развратить испанский народ, подготовить его к новой гибельной авантюре под стягом «святого Георгия» из Пентагона, чьё изображение, надо думать, висит теперь в кабинете Франко, — с перепугу он приказал убрать в 1944 году портреты Гитлера и Муссолини с их дружескими автографами.

Но пусть ни на каких картах не обозначена, как шестнадцать лет назад, линия фронта по ту сторону Пиренеев, — борьба в Испании продолжается. Франкистам не вдолбить азы фашизма народу, который дал миру Сервантеса и Лопе де Вега, Веласкеса и Гойю, Переса Гальдеса и Федерико Гарсиа Лорка, какими бы тиражами ни издавались буквари вроде «АБЦ».

К. НАУМОВ.

## ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ

Первый номер «Мэссес энд мэйнстрим» за этот год пришёл к нам с необычным запозданием. В этом, пожалуй, нет ничего удивительного: баццилла «маккартистского бешенства» завладела даже почтовым ведомством США, и оно всячески старается задержать своевременную рассылку журнала его зарубежным подписчикам.

Но есть ещё одна немаловажная причина такого запоздания. В специальном обращении «Ваша помощь необходима», адресованном читателям, редакция пишет: «Многие из наших читателей интересуются, по какой причине журнал в последнее время запаздывает. Ответ простой и вместе с тем внушающий тревогу. Мы испытываем недостаток в денежных средствах».

Не ограничиваясь одними лишь политическими репрессиями против прогрессивной печати, правящие круги США теперь всё чаще прибегают к средствам экономического давления. Ни одно значительное издательское или коммерческое предприятие не окажет ни малейшей деловой поддержки прогрессивному органу, не возьмётся за его издание или финансирование.

И, несмотря на все трудности, журнал «Мэссес энд мэйнстрим» вступил в восьмой год существования под развёрнутым знаменем борьбы за мир и демократию. «На протяжении прошедших семи лет, — подчёркивается в редакционной статье, — наш журнал упорно отказывался склонить своё знамя под давлением «холодной войны». Он отказывался признать, что во всей культурной жизни нашего народа должны господствовать идеалы крупного бизнеса и взгляды о неизбежности войны... Мы и сейчас не считаем, что наша страна удовлетворена всем ходом культурного развития за последние годы. Мы не считаем, что народ и, в частности, интеллигенция могут извлечь какую-либо пользу из литературного мистицизма, «реалистической» порнографии или культа индивидуализма и жестокости, пришедших на смену Великим Традициям реалистической литературы и искусства».

И мы можем сказать, что всё содержание рецензируемого номера как раз и состоит в последовательном отстаивании «Великих Традиций» американской культуры, в очищении её от шлака и накипи, в разоблачении тех, кто пытается осквернить эту народную сокровищницу, исказить эти традиции.

Номер открывается памфлетной статьёй известного публициста Герберта Аптэкера, посвящённой одному из наиболее модных сейчас в США буржуазных «психосоциологов» — Дэвиду Райзмену и проповедуемым им взглядам.

Дэвид Райзмен начал свой путь в качестве юриста — помощника у члена верховного суда США Брандейса. Затем он стал профессором в Колумбийском университете, а ещё позднее — помощником прокурора округа Нью-Йорк. Сейчас он занимает профессорскую кафедру в Чикагском университете, является автором четырёх нашумевших книг и сотрудничает в наиболее влиятельных буржуазных журналах. О месте, зани-

## США

«Мэссес энд мэйнстрим» («Массы и главное течение»), ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 1. 1955. Год издания 8-й. Нью-Йорк. Ответственные редакторы Сэмюэл Силлен, Милтон Говард.

★

маемом Райзменом в системе американской пропаганды, лучше всего говорит то, что реакционный еженедельник «Тайм» восхваляет «блистательные труды» Райзмана, его «молниеносное воображение», его книги, в которых есть, по мнению журнала, ни более и ни менее, как «нечто от классических образцов».

Что же представляют собой философские «открытия» и литературно-политические «проповеди» мистера Райзмана?

Разумеется, мистер Райзмен в своих трудах прежде всего и изо всех сил старается «уничтожить» марксизм. Но, как это убедительно показано на страницах «Мэссес энд мэйнстрим», он очень облегчает своё положение тем, что искажает сущность марксизма до полной неузнаваемости, после чего с храбростью отчаяния начинает наносить по этой карикатуре свои «удары».

В то же время мистер Райзмен всячески приукрашивает сегодняшнюю капиталистическую Америку, превращая её — по остроумному замечанию автора статьи — в некую фантастическую «Райзмению». Однако сколько бы раз он ни повгорял, что сегодняшняя Америка — «страна без правящих классов», от этого его утверждения не станут ни более достоверными, ни более убедительными, ни сколько-нибудь оригинальными. Напомним, что в вышедшем недавно «юбилейном» номере журнала «Форчун» — органа крупного капитала США, — отмечающего своё двадцатипятилетие, — имеются такие же рассуждения. Более того, в опубликованной несколько лет назад книге Генри Люса «США — перманентная революция» также упоминаются и «народный капитализм», и «демократизация Уолл-стрита», и в качестве конечного вывода делается сногшибательное заявление: «Не капиталисты эксплуатируют народ в США, а народ эксплуатирует капиталистов». Так что мистер Райзмен в своих социологических откровениях, как видим, действительно не слишком оригинален..

Таким образом, не эти рассуждения составляют главный козырь мистера Райзмана. Тогда какие же? А вот какие. В основном он апеллирует к представителям буржуазной интеллигенции, к писателям, учёным, художникам, то есть ко всем тем, кто призван плодами своего интеллектуального труда укреплять фундамент и украшать фасад капиталистического общества. Их он и старается всячески вдохновить и утешить, проливая в их смятенные души, терзаемые колебаниями и страхом, свой философский бальзам.

Мистер Райзмен догадывается, конечно, о том, что безрассудная и опасная политика правящих кругов США способна посеять сомнения и вызвать смятение даже в рядах буржуазной интеллигенции и может толкнуть отдельных её представителей на опасный путь переоценки ценностей. Поэтому он, с одной стороны, зовёт работников умственного труда к тому, чтобы «не слишком отдаваться непосредственному увлечению сегодняшней действительностью», а с другой — он внушает им, что обуревающие их страх, тревога, озабоченность — всё это «ноша избранных», признак их духовного «превосходства», их принадлежности к «элите». «Я склонен думать, — пишет Райзмен, — что мы обязаны организовать братство встревоженных, чтобы защитить наше право на эту тревогу, наше право на нервную возбудённость...» Само собой понятно, что существование такого «братства», по мысли Райзмана, должно идти только на пользу монополиям, ибо, как он деликатно подчёркивает, «очень трудно не разделять надежды и опасения тех, кто так хорошо с нами обращается».

Мистер Райзмен предполагает также, что представители буржуазной интеллигенции США под прямым влиянием действительности могут испытывать гнетущее чувство «одиночества», иначе говоря, оторванности от народа и всего того, чем он живёт, отчуждённости от всего, что поистине волнует страну и мир. Отсюда возможны всякие поиски выхода, в том числе и на путях, которые никак не устраивают сейчас ни его, ни его покровителей. Поэтому мистер Райзмен спешит убедить тех, к кому он обращается, в том, что чувство «одиночества», якобы внутренне присущее природе человека, также является одним из признаков «превосходства», и потому нет никаких оснований стремиться от него избавиться.

Так из смеси модернизированного нищезанятия и американизированного фрейдизма Дэвид Райзмен и создаёт свои философские «коктейли». Раскрывая их откровенно реакционную сущность, журнал «Мэссес энд мэйнстрим» вместе с тем напоминает, что в США существуют ныне и такие круги, которым даже Райзмен кажется «подозритель-



ным». Они косятся на его «светскость», на его недостаточную, по их мнению, приверженность к религии. Они считают, что выдвигаемая им идея «союза избранных» сама по себе хоть и заслуживает одобрения, но всё же мало способствует усилению религиозных настроений в стране. Те же круги не забывают о робком несогласии с «крайностями» маккартизма, время от времени высказываемом Райзменом. Вот почему, убедительно раскрывая реакционную сущность модных «теорий» Райзмана, журнал «Мэссес энд мэйнстрим» окончательно не предпринимает вопроса о том, куда, в каком направлении будут в дальнейшем двигаться различные представители буржуазной интеллигенции США и, в частности, сам Райзмен.

Чехов в своё время иронически утверждал, что люди разных профессий бывают подвержены некоей «морбус притворялиис» — «болезни притворства». А не заражены ли этой болезнью и те американские философы, социологи, литераторы, которые, подобно Райзмену, проповедуют свои новоявленные «истины»? Похоже, что они и сами не слишком верят в то, что проповедуют.

Подобное предположение, естественно, никак нельзя считать за комплимент. Но даже и его не сделаешь, скажем, в отношении такого литератора, как Джордж Оруэлл, воинствующая реакционность которого во всей своей отвратительности особенно проявилась в двух его последних книгах — «Зооферма» и «1984 год».

Уничтожающему критическому разбору этих книг посвящена статья Милтона Говарда, одного из редакторов «Мэссес энд мэйнстрим».

Последние книги Оруэлла носят вызывающе антидемократический и антисоветский характер. Именно поэтому реакционная печать и подняла вокруг них такой шум. «Зооферму» экранизировали в США и в этом виде её заново расхвалили. На основе книги «1984 год» в Лондоне организовали сенсационную радиопередачу, которую прогрессивная пресса назвала «садистской оргией».

Известный ирландский писатель и драматург Шон О'Кейси в последней книге своей шеститомной эпопеи «Закат и вечерняя звезда» писал об Оруэлле: «Оруэлл весьма чувствителен к самому себе; настолько, что он хотел бы заставить весь мир умереть в тот самый момент, когда он умрёт. Так как он почувствовал и понял, что мир не умрёт вместе с ним, он попытался обратить всё человечество в скот (таков главный сюжетный мотив «Зоофермы». — Б. Р.). Но поскольку и это не утолило обуревающей его жажды мести, он предсказал гибель мира и человечества в 1984 году».

Журнал «Сатердей ревью» ринулся на защиту Оруэлла и атаковал О'Кейси. Передовому художнику-гуманисту вдруг припомнили то, что в его ответном письме простой американской женщине, до глубины души встревоженной атомной истерией в США, есть такие успокоительные строки: «Советские бомбы никогда не упадут на Нью-Йорк, если только никто не попытается сначала сбросить американские бомбы на Москву». Этим словам Шона О'Кейси было вполне достаточно для того, чтобы «Сатердей ревью» назвал его «митинговым драматургом из Гайд-парка», обвинил в «приверженности к коммунизму» и прочее и прочее, а заодно демонстративно превознёс чудовищные «творения» Оруэлла.

В статье «Оруэлл или О'Кейси?» «Мэссес энд мэйнстрим» ясно и недвусмысленно показал, какие силы стоят на стороне фашиста Оруэлла и какие — на стороне гуманиста О'Кейси. Журнал выявляет политические корни «антикоммунизма» Оруэлла, осмеливающегося изображать революцию как «восстание свиней», корни его порнографической вакханалии, отражённой во множестве эпизодов такой непристойности, «равную которой нельзя найти во всей современной литературе, если не считать разве антикоммунистической порнографии Юлиуса Штрейхера и ведомства Геббельса».

Подчёркивая, что обе книги Оруэлла принадлежат к числу «самых растленных во всей современной литературе», а позиция, занятая в данном случае «Сатердей ревью», заимствована из арсенала маккартизма, автор статьи делает обобщающий вывод: «Гуманизм и борьба за мир, против атомной войны и проповедуемой Оруэллом философии человеческого гниения — вот где проходит в наше время линия интеллектуального фронта... Взгляды Оруэлла смертельно подрывают наше умственное здоровье, нашу культуру, наше искусство».

Вполне обоснованный вывод!

Защите «Великих Традиций» американской культуры посвящены в очередном номере «Мэссес энд мэйнстрим» не только литературно-публицистические статьи, но и напечатанные в нём беллетристические произведения. Здесь следует в первую очередь упомянуть небольшой очерк Говарда Фаста «Мой отец», представляющий собой как бы главу из автобиографии писателя.

Всё в этом очерке, написанном то острым пером графика, то нежнейшими акварельными красками, полно высокого человеческого обаяния и привлекательности. Фаст рисует свою семью в реалистических тонах, с лёгким оттенком грустного юмора, местами чуть-чуть приправленного крупинками иронии.

Над всем доминирует образ отца. Отличаясь своей художественной законченностью, этот типически обобщённый образ выходит за рамки личной биографии. Автор даёт нам возможность увидеть в его герое весь трудовой народ Америки. В самом деле, сколько в США людей, которые, подобно отцу Фаста, владеют всего лишь парой рабочих рук и при всём своём природном уме и высоком трудовом мастерстве не только не в силах добиться благополучия, но и, стыдясь своей неудачливости, склонны относить её порой за свой счёт и даже нередко мирятся с таким положением.

Вот почему стало понятно красноречивое признание Фаста в том, что из всех бесчисленных аргументов, направленных против капиталистического строя, самым убедительным для него был его собственный отец, жизнь его, труд его, вся судьба его. Прочтя очерк Фаста<sup>1</sup>, написанный поистине в горьковской манере, по-новому постигаешь смысл посвящения, открывающего роман «Последняя граница»: «Моему отцу, научившему меня любить не только Америку прошлого, но и Америку будущего».

«Пешка двинулась» — так называется небольшой рассказ известного публициста и романиста Джерома, помещённый в том же номере. По содержанию он примыкает к жанру «тюремных рассказов», появление которых журнал «Мэссес энд мэйнстрим» особо отметил в своём прошлогоднем декабрьском номере. Главный герой рассказа — совсем почти мальчик, приговорённый к пяти годам заключения за участие в вооружённом грабеже. Американская буржуазная печать много и с большой охотой пишет о росте юношеской преступности в США, о «потерянном поколении», о «малолетних зверях» и т. п. Во всех этих описаниях, изобилующих былыми на эффект подробностями, намеренно обходится коренной вопрос: какова основная причина роста преступности в США?

Автор рассказа «Пешка двинулась» рисует встречу с таким заключённым в тюремной библиотеке. Это своего рода американский Гаврош, безжалостно испорченный средой и воспитанием, но по природе своей отнюдь не преступник. Быстрый ум, живая, бойкая речь, пылкий взгляд, легко преодолеваемая замкнутость, — попасть бы этому «гангстеру поневоле» в хорошие, по-настоящему дружеские руки, стать полноценным человеком! Случится ли это? Сумеет ли он выскользнуть из стальных наручников судьбы и выбиться в люди? Сегодняшняя Америка даёт очень мало шансов на такой исход дела.

Тем не менее «тюремный Гаврош» хоть и с трудом, но всё же пишет жалобу на имя судьи, спотыкаясь уже на первой строчке. «Как пишется слово «судья»?» — с этого недоуменного вопроса как раз и начинается рассказ. Из дальнейшего хода повествования выясняется, что господин судья с бесчеловечной холодностью отвергает жалобу маленького арестанта и даже называет его «безмозглым». Это слово более всего оскорбило подростка. Живое чувство протеста овладело им. Но куда, на что, как излить свои переживания? Для доказательства своей умственной полноценности он тут же в тюрьме и начинает обучаться игре в шахматы. Безмозглый? Как бы не так! Безмозглые в шахматы не играют. «Пешка двинулась» — называет автор свой короткий рассказ; в нём заложен большой политический и человеческий смысл: пешка двинулась в люди. Двинулась вопреки и наперекор тому жестокому приговору, какой вынесен ей буржуазным обществом и обрекает её на «безмозглость», на неподвижность и покорность.

<sup>1</sup> Перевод очерка помещён в «Литературной газете» № 34 с. 6.

Мы не исчерпали бы основного содержания номера, если бы хоть коротко не упомянули о статье Энджуса Кемерона, посвящённой тридцатилетию издательства «Интернэшнл публишерз», и о рецензии Сэмюэля Силлена на новый, известный уже нашему читателю роман Фаста «Сайлас Тимбермен».

Энджус Кемерон — один из руководителей издательства «Кемерон энд Кан», выпустившего в свет, вопреки всем угрозам властей, книгу бывшего осведомителя ФБР лже-свидетеля Матусоу, — с понятной и законной гордостью отмечает в своей статье тридцатилетие существования такой цитадели прогрессивной книги в США, как «Интернэшнл публишерз». Руководитель издательства — Александр Трахтенберг — приговорён к тюремному заключению. Трудности, которые приходится ныне преодолевать при издании прогрессивных книг в США, огромны. Тем не менее издательство существует. Чем это объясняется? — спрашивает Кемерон. И отвечает: «Я полагаю, объясняется это тем, что силы политической и экономической реакции и мракобесие наталкиваются на молчаливое, но стойкое сопротивление. И сопротивление это столь значительно, что, хотя личности вроде Браунелла (министр юстиции США. — *Б. Р.*) считают своим излюбленным делом закрывать все вольнодумные газеты и приводить в состояние безмолвия каждого непокорного человека, пишущего на машинке, в данном случае сделать это они попросту не могут. Не осмеливаются. Молчаливое, упорное, настойчивое сопротивление американского народа, оказываемое им политике войны, маккартизму, колониальным авантюрам, даллесиизму, служит защитой свободной печати».

Это заявление авторитетного прогрессивного общественного деятеля, которого никак нельзя считать излишне оптимистичным, во многом разъясняет современную обстановку в США, даёт масштаб для правильной оценки сил реакции. В свете объяснения, данного Кемероном, становится понятным также, почему оказалось возможным не только опубликовать новый роман Говарда Фаста, но и широко его распространять.

Силлен в своей рецензии справедливо подчёркивает, что роман этот, посвящённый «обычным американцам, живущим в необычное время», откровенно и смело, с большой художественной убедительностью изображает всё то, что происходит в Америке и с Америкой.

Высоко оценивая роман, Силлен напоминает, что именно Фаст во всеоружии таланта и мастерства вторгся в самую гущу проблем сегодняшнего дня, то есть «смело взялся за выполнение большой задачи, опередив других прогрессивных писателей» и тем самым выполнив то, чего от него ждали все, кто ценит и любит его как художника-борца.

Подчёркивая огромную впечатляющую силу романа, Силлен в то же время отмечает, что не все характеры в нём обрисованы одинаково чётко, не все внутренние связи и мотивировки поступков выявлены с полной убедительностью. Так, например, в конце романа Сайлас и жена его Майра в результате всего пережитого ещё более тесно сближаются друг с другом; мы встречаем этот финал с удовлетворением, но принимаем его как бы на веру, ибо необходимого художественного подтверждения такого хода событий не получаем.

Силлен считает, тем не менее, роман Фаста неоспоримо выдающимся произведением, смело и по-своему продолжающим великие традиции национальной американской литературы.

Таково многогранное, разнообразное, поистине боевое содержание очередного номера журнала «Мэссес энд мэйнстрим».

В резолюции, принятой на годичном собрании Американской библиотечной ассоциации, объединяющей свыше двадцати тысяч библиотек, есть такие слова: «Сейчас, как и всегда в нашей истории, книга входит в число самых могущественных орудий борьбы за свободу». В истинности такого утверждения нас убеждает и номер «Мэссес энд мэйнстрим» — тонкая книжечка его на весах истории в известном смысле окажется «томов премногих тяжелей»!

**Б. РОЗАНОВ.**

## НАРОД НЕ ЗАБЫВАЕТ

«Военного министерства не будет, Картофель — даровой!» — появился однажды на страницах американских газет изумивший всех заголовок». Так начинаются события, о которых рассказывается в отрывке из сатирико-фантастического романа Франтишка Пиларжа «Остров тётушки Каролины», напечатанном в февральском номере «Новы жывот».

Потрясающее американскую публику сообщение было почерпнуто представителем американского газетного концерна из правительственной программы тётушки Каролины, которая, унаследовав волей судеб власть над островком на Тихом океане, решила править им по-своему. Эта чешская женщина, воплощающая в себе здравый смысл и человечность, свойственные простым людям, становится серьёзной помехой на пути «нормального политического развития» капиталистических держав и своими действиями едва не приводит к катастрофе европейской цивилизации.

Не привыкшие особенно вникать в содержание газетных сообщений, некоторые из американских читателей решили, что сногшибательная весть о даровом картофеле и ликвидации военного министерства относится к Соединённым Штатам.

Правда, вначале последствия опубликования политической программы тётушки Каролины были сравнительно невинны. Только в одном американском городишке некий безработный Джо пожелал приобрести брюки на те деньги, которые он обычно тратит на картофель, а жена негра Джошуа в том же городе усомнилась в целесообразности штопать военную форму мужа, поскольку сообщение говорило о ликвидации военного министерства. Но затем в ход был пущен аппарат американской пропаганды, и на страницах газет невинная попытка безработного Джо приобрести штаны превратилась в вооружённое восстание, а нежелание жены Джошуа штопать мундир — в дезертирство. На этом основании демократическая партия обвинила республиканскую в измене родине, а республиканская демократическую — в разложении армии.

Далее события сыпались, как из рога изобилия. Какой-то фермер повесился, узнав о перспективе дарового приобретения картофеля, а патристически настроенная девица из штата Индиана расторгла свою помолвку на том основании, что жених теперь явно не сможет выполнить своё обещание — стать героем в следующей войне.

Конечно, американский сенат не мог остаться в стороне, и вокруг мирного островка тётушки Каролины разыгрались события поистине драматические. Выяснилось, что американский сенат, предвидевший все виды современной войны, был совершенно неподготовлен к войне картофельной. Тем не менее сенаторы быстро пришли к единодушному мнению, что идея дарового картофеля задевает национальное достоинство народа. Образцом той «железной» логики, которая обычно украшает выступления воинственно настроенных американских политиков, была краткая речь военного министра. «Господа, родина в опасности, — заявил он. — Говорят, что больше не должно быть войн. Войны должны быть, иначе как же мы будем защищать свою страну?!»

Не менее характерным было и предложение председателя Объединённых трестов образовать «Взаимно поддерживающее друг друга сообщество по охране человеческой цивилизации», ставящее своей целью: 1) сохранить существующие цены на картофель, 2) использовать военное министерство в мирных целях. Такое решение было принято. Цены на картофель были подняты, а к тётушке Каролине направилась миссия доброй воли в составе нескольких броненосцев и крейсеров.

Но картофельный конфликт всё расширялся. Во Франции он вызвал в течение трёх дней смену четырёх премьеров. Четвёртый премьер, находчивый человек, нашёл выход — он предложил начать военные действия против тётушки Каролины, объявив её при этом агрессором. Англия также немедленно декларировала, что она выступит «на стороне права и человечности», против тётушки Каролины. К острову тётушки Каролины одновременно двинулись два мощных флота: английский и американский.

### Чехословакия

«Новы жывот» («Новая жизнь»), литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 2. 1955. Орган Союза чехословацких писателей. Год издания 3-й. Прага. Главный редактор Франтишек Бранислав.

★

Мы начали наш обзор последних номеров журнала «Новый живот» с отрывка из романа Пиларжа, потому что этот острый гротеск на поджигателей войны хорошо выражает основное идейное направление журнала. Содержание же его лучше всего определяется его названием — «Новая жизнь». Им журнал заявляет о своём стремлении охватить многие вопросы современности.

В фантастической истории тётушки Каролины явственно звучит современная тема борьбы народов против идеологов напряжённости в международных отношениях.

Насколько можно судить по опубликованному отрывку, роман Пиларжа перекликается с другим произведением чешской литературы, написанным в том же жанре. Острая гротескность, умение автора спокойным, деловым тоном излагать события, потрясающие своей нелепостью и, тем не менее, точно передающие суть изображаемой политической ситуации, тонкое мастерство в воспроизведении чудовишной лжи буржуазной прессы и демагогии «демократических политиков» — всё это сближает роман Пиларжа с всемирно известной «Войной с саламандрами» Карела Чапека. От военной паники, вызванной безобидной тётушкой Каролиной у Пиларжа, так же как и от политики великих держав по «саламандровому вопросу» у Чапека, страдают интересы народа, а кроме того, и здравый смысл. В этом отношении события, разыгрывающиеся с обычными людьми, участвующими в «картофельном конфликте», не менее потрясают своей нелепостью, чем события, в которых фигурируют фантастические существа — саламандры.

Сравнивая оба произведения, отделённые друг от друга промежутком в двадцать лет, невольно думаешь о том, что современные проповедники политики «с позиции силы» в своих античеловеческих стремлениях оставили далеко позади саламандр, в образе которых замечательный чешский сатирик воплотил тупую, разрушительную силу фашизма. Чапек, смело поднявший свой гневный голос против фашистских агрессоров и поддерживавших их «демократических» полигиков, не видел силы, способной противостоять разрушительной воле саламандр. Слишком тесно была связана в его представлении идея прогресса с существованием западных демократий и слишком горьким было его разочарование в дни чёрного предательства Чехословакии её западными союзниками. Писатель умер, так и не увидев тех сил в родном народе, которые выступили на борьбу с фашизмом. Эти силы вдохновили творчество других чешских писателей и прежде всего героического участника возглавляемого коммунистами антифашистского сопротивления — Юлиуса Фучика.

Современные писатели Чехословакии продолжают сильную и яркую традицию родной литературы, боровшейся против фашистского варварства, за национальную независимость и мир.

Народ страны, преданной своими западными союзниками, не может не относиться с особой настороженностью ко всем попыткам воскресить в том или ином виде фашизм, развязать новую войну. Слишком живы воспоминания о неисчислимых народных страданиях в годы оккупации.

Напоминанием об этом времени звучит глава из нового романа Войтеха Мартинека, озаглавленная «Милосердный сон». В ней воскрешаются события незабываемой для чешского народа трагической «гейдрихиады», когда в 1942 году в ответ на убийство фашистского палача Гейдриха в Чехословакии было объявлено военное положение и гестапо хватало и расстреливало сотни и тысячи мирных, ни в чём неповинных граждан. Об этом народ не забывает, как не забывает он имени героев, давших отпор кровавому террору оккупантов.

Облик одного из таких героев встаёт и со страниц очерка о жизни и творчестве участника подпольного сопротивления, писателя Ярослава Паулика. Паулик был замучен в фашистском лагере уничтожения. Отрывки из его лагерных записок снова напоминают о страшных годах владычества фашизма и о светлом героизме тех, кто отважился на борьбу с ним.

В одной из публицистических статей Фучика, написанных в период оккупации, есть слова, которые приходят на память при чтении лежащего перед нами чешского журнала: «У отдельного человека короткая память — народ ничего не забывает. Отдельные люди могут поносить наше доброе прошлое — народ этого не делает. Отдельные люди

могут не видеть или не хотеть видеть лучшего будущего — народ всегда будет стремиться к нему».

Народ Чехословакии всегда с глубоким уважением и любовью обращался к своим великим историческим традициям, помогавшим ему в борьбе за национальную независимость. Две рецензии на новые романы, воскрешающие историческое прошлое: многоотомную эпопею известного писателя Франтишка Кубки, посвящённую истории одной чешской семьи на широком фоне общественной жизни от революции 1848 года до великих событий 1945 года, и роман В. Каплицкого «Железная корона», рассказывающий о мощном крестьянском восстании XVII века, свидетельствуют не только об успехах этого жанра в современной чехословацкой литературе, но и о пристальном внимании к нему критики.

В обеих рецензиях обсуждается проблема развития и продолжения традиций такого крупного мастера исторического жанра в чешской литературе, как Алоис Ирасек. В годы, когда чешский народ боролся за своё национальное освобождение, Ирасек писал: «Я не действовал, как мечтатель, который, обратившись к прошлому, не заботится о тяжёлой борьбе своего народа в настоящее время. Именно потому, что я всей душой переживал эту борьбу, я чувствовал, что необходимо обратиться к нашей истории, ибо кто не знает вчерашний день, тот не понимает сегодняшний. В жизненной цепи звенья настоящего времени связаны со звеньями прошлого. И не всё, что было, является мёртвым прошлым».

О том, что живое прошлое помогает народу в его сегодняшней борьбе, говорят опубликованные в данном номере стихи одного из зачинателей чешской пролетарской поэзии, выдающегося поэта Ярослава Сейферта. Этот цикл стихов объединён одной темой — темой Праги. Кто из чехословацких поэтов не воспевал красоту стопащенной Златой Праги? В стихах Сейферта встаёт монументальный образ древнего города. Поэт вспоминает о крови чехов — борцов за свободу, которая в течение веков обаграла пражские камни. Но основной тон стихов — радостное, весеннее ощущение мира, который прочно воцарился на старинных улицах чешской столицы, радость, что на Карловом мосту, где были баррикады, —

Сегодня может пуститься в пляс всякий,  
Кто хочет танцевать.

Мирная, созидательная жизнь особенно дорога столице, испытавшей на своём веку немало превратностей истории.

К счастью, она вынесла все удары,  
Ведь Прага никогда не была фарфоровой.  
Прага — мать городов.

Стихи Сейферта перекликаются с одним из стихотворений Марии Пуймановой, передающим чувство писательницы, которая бродит в предвечерний час по Праге и, опьянённая красотой родного города, радостным ощущением его свободы, повторяет, как рефрен:

Как прекрасен мир!

Счастье мирной жизни — это лирическая тема не только стихов Сейферта о Праге, но и напечатанных в этом же номере журнала стихов словацкого поэта Милана Лайчака и молодого чешского поэта Иво Флейшмана. Лирика самых разных оттенков, легко переходящая от изображения интимных душевных движений к патетическим образам и широким обобщениям у Сейферта, не похожа на близкие к разговорной речи простые и в то же время мелодичные стихи Лайчака.

И стихи, и проза, и статьи, напечатанные в рецензируемом номере, говорят о богатстве и разнообразии бурно развивающейся социалистической культуры Чехословакии. На страницах журнала рассказывается о творчестве чешской писательницы-сказительницы (статья Оты Дуб), поднимается вопрос о путях развития чехословацкой лирики, о борьбе со схематизмом в поэзии, о широте и многообразии направлений литературы социалистического реализма (в рецензии на новый поэтический сборник Сейферта, в откликах на выступления участников Второго съезда советских писателей). Кстати,

в своих творческих спорах чехословацкие писатели широко привлекают опыт литературной жизни Советского Союза, а журнал часто публикует различные материалы на эти темы. Так, во втором номере перепечатана статья Ольги Берггольц «Против ликвидации лирики», вызвавшая интерес чехословацких поэтов в свете той дискуссии о поэзии, которая ведётся на страницах чехословацкой печати. И в статье по поводу вышедшей на чешском языке книги М. Исаковского «О поэтическом мастерстве» отмечается то большое значение, которое имеют творческие завоевания мастеров советской поэзии в области теории и художественной практики для развития поэзии Чехословакии. Ряд проблем, касающихся литературы Чехословакии, затрагивается в статье критика Иржи Тауфера, подводившей итоги работы Второго съезда советских писателей; продолжение этой статьи будет напечатано в следующем номере журнала. Читая «Новый живот», чувствуешь, как интенсивна литературная жизнь страны.

В литературе Чехословакии живёт память народа о его великом прошлом и его непреклонная воля к мирной, свободной жизни.

И. БЕРНШТЕЙН.

## ПРИГОВОР БЕССИЛИЯ

Девятого мая всё культурное человечество отмечает столетие со дня смерти великого немецкого поэта и драматурга Фридриха Шиллера.

Готовятся к шиллеровскому юбилею и в Западной Германии. Готовятся уже давно. Ещё несколько лет назад боннские власти запретили постановку в одном из западногерманских театров драмы Шиллера «Вильгельм Телль». Историческая пьеса оказалась слишком актуальной. Разве можно было допустить, чтобы в вотчине американских колонизаторов со сцены театра раздавались призывы к свободе и национальному единению, звучали гневные слова в адрес иноземных захватчиков:

Наш этот край, мы им века владели —  
И чтоб чужой слуга посмел явиться  
Сюда, и нагло цепи нам ковать,  
И нас позорить на родной земле!  
Да разве нет защиты против гнёта?  
Нет, есть предел насилию тиранов!

Приближение памятной даты вызвало ещё большее беспокойство западногерманских правителей. Их пугало то, что празднование юбилея великого немецкого писателя выльется в широкую демонстрацию единства демократической немецкой культуры и всех патриотических сил германского народа. Не случайна поэтому неприличная возня, поднятая реакционной немецкой печатью вокруг подготовки к юбилею. В последние месяцы реакционные газеты вели отвратительную кампанию клеветы и запугивания деятелей немецкой культуры, видящих в творчестве Шиллера выражение общенациональных интересов германского народа, который стремится к миру, единству и независимости.

Одним из первых подвергся травле крупнейший современный немецкий писатель Томас Манн. Он навлёк на себя немилость тем, что выразил желание выступить с докладами о Шиллере в Германской Демократической Республике и Западной Германии. Стремление писателя подчеркнуть своими выступлениями общегерманский характер празднования шиллеровского юбилея вызвало озлобление боннских реакционеров. Аденауэровский официоз, газета «Рейнишер Меркур», потребовал принять все меры, чтобы «ни в коем случае не допустить Томаса Манна на западногерманскую трибуну». Патриотизм писателя, его любовь к великим традициям немецкой классической литературы «Рейнишер Меркур» выдаёт за «готовность служить коммунистической пропаганде».

## Западная Германия

«Дейче рундschau» («Немецкое обозрение»), ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал. № 1. 1955. Год издания 80-й. Издатель Рудольф Пехель. Баден-Баден. Ответственный редактор Клаус Хохе.

★

Дело дошло до того, что под давлением боннских властей западногерманские кинофирмы отказались принимать участие в готовившейся постановке фильма по роману Томаса Манна «Будденброки».

Ещё более разнужданными были выступления западноберлинской газеты «Тагесшпигель». Она заранее объявила «прислужниками Кремля»(!) всех немецких писателей, артистов, художников и учёных, которые будут отмечать шиллеровские дни вместе с деятелями культуры Германской Демократической Республики.

Не остался в стороне и знакомый уже нашему читателю журнал «Дейче рундschau»<sup>1</sup>. В его январском номере шиллеровскому юбилею посвящена статья Рейнхарда Бухвальда. Озаглавлена она весьма достойно и даже многообещающе: «1955 год — год Шиллера». В отличие от других своих коллег по перу, Бухвальд не прибегает к погромному жаргону, но тем не менее, по сути дела, его статья мало чем отличается от писаний других «ниспровергателей» Шиллера

«Было бы недоразумением. — пишет Бухвальд, — видеть в Шиллере поэта-мыслителя, поэта-воспитателя, поэта тенденциозного». Можно подумать, что автор статьи никогда в жизни не читал Шиллера, что он даже понаслышке не знает о таких произведениях гениального писателя, как проникнутая антидеспотическими, свободололюбивыми идеями драма «Разбойники», как пьеса «Козарство и любовь», которую Энгельс назвал «первой немецкой политически-тенденциозной драмой», как трилогия о Валленштейне, утверждающая необходимость борьбы за национальное объединение Германии.

Но нет, такое предположение неуместно — ведь Рейнхард Бухвальд считается в Западной Германии одним из крупных литературоведов. Не так давно в Висбадене вышли два объёмистых тома его трудов, посвящённые творчеству Шиллера. Бухвальду превосходно известны произведения великого немецкого классика, ярко тенденциозные, отмеченные взлётом свободной творческой мысли, воспитывающие в читателе чувства гуманизма и любви к своему народу. Но ещё лучше ему известно, чего хотят ныне господа, возомнившие себя не только повелителями Западной Германии, но и вершителями судеб всей национальной литературы.

Исказить и принизить непреходящее значение творений Шиллера — вот нелёгкая и малопочтенная задача, которую взял на себя «учёный специалист» Бухвальд. Нигилистическую направленность его статьи ничуть не меняет обилие звучных эпитетов, лицемерно расточаемых им по адресу Шиллера. Это только лишний раз доказывает, что прямые атаки на великого немецкого писателя не могут увенчаться успехом даже в нынешних западногерманских условиях.

Отдельные слабые стороны некоторых произведений Шиллера, его исторически обусловленные ошибки и заблуждения Бухвальд стремится представить как достоинство, как подлинную сущность творчества писателя. Так, например, гуманизм Шиллера он усматривает в его увлечении идеалистической философией Канта, в уходе в вымышленный мир несбыточных грёз и фантазии.

Утверждения Бухвальда не новы. Реакционная критика всегда старалась превратить Шиллера в пылкого последователя Канта, «забывая» при этом о серьёзных идейных расхождениях, существовавших между ними. «В нём... есть нечто, — писал Шиллер о Канте, — напоминающее... монаха, который хотя и вырвался из монастыря, но не смог окончательно уничтожить его следы».

Бухвальд не только искажает идейные и художественные взгляды Шиллера, но и пытается принизить значение самого шиллеровского юбилея. «Разве так уж важно, как будет проведён этот юбилей», — с напускным пренебрежением бросает он. Действительно, ему очень хочется внушить эту мысль западногерманским читателям. Он не жалеет слов, расписывая то «чувство отчуждения» и «безразличия», с которым якобы современные немцы относятся к произведениям Шиллера. Он утверждает, что весь германский народ не уважает «живых традиций прошлого».

Но как ни тшятся западногерманские клеветники выносить свои приговоры славному сыну германского народа, величие его не померкнет. «Пусть не вводит вас в заблуждение, — сказал однажды великий писатель, — несносное жужжание рецензентов:

<sup>1</sup> См. статью «Присяга Пехеля», «Новый мир» № 3 с. г.



существуют в Германии такие письменные столы, за которыми бессилие произносит свои самые лютые приговоры».

Передовые люди Германии глубоко чтут и будут чтить память замечательного художника-гуманиста, обогатившего национальную и мировую литературу непреходящими художественными ценностями. Центральный Комитет Социалистической единой партии Германии в своём обращении в связи с шиллеровским юбилеем писал, что произведения великого писателя «вдохновляют всех немецких патриотов на борьбу за преодоление раскола, за объединение нашего отечества на демократической основе».

Но «Дейче рундшау» вдохновляют отнюдь не гуманные и демократические идеи Шиллера, а вполне определённые человеконенавистнические, агрессивные идеи западногерманских и заокеанских монополистов. Поэтому журнал и стремится принизить значение творчества корифея немецкой классической литературы, а взамен предлагает читателю произведения литературы «нового времени». Это рассказ западноберлинского писателя Аугуста Шолтиса «Из одного берлинского романа».

Кто такой Аугуст Шолтис? В годы гитлеровского господства он приобрёл печальную известность своими рассказами, воспевавшими шовинизм и военщину. После разгрома фашистской Германии Шолтис опубликовал мистический роман «Волшебный костыль», который даже буржуазная западногерманская пресса признала одним из скучнейших произведений.

В новом рассказе Шолтис описывает жизнь одной немецкой семьи, проживающей в Восточном Берлине. Автор не жалеет красок, чтобы «попугашнее» расписать все ужасы, которые якобы испытывают жители демократического сектора Берлина. Фантазия у Шолтиса небогатая, не выходящая за пределы стандартного набора клеветы на Германскую Демократическую Республику. Оригинальным можно признать, пожалуй, лишь одно сногшибательное «открытие»: в центральных районах Восточного Берлина после окончания войны построено, оказывается, одно-единственное здание, да и то оно принадлежит советскому посольству. Тут уж остаётся только руками развести! Что же это такое, г-н Шолтис? Кто же поверит таким измышлениям? Слишком уж много немцев, приезжавших в Берлин из Западной Германии, своими глазами видели новые жилые кварталы Аллеи Сталина, новое здание Государственной оперы на Унтер-ден-Линден, десятки жилых блоков, построенных в демократическом секторе Берлина.

Содержание рассказа «Из одного берлинского романа» передать невозможно: оно отсутствует. Весь рассказ состоит из отдельных, не связанных между собой сцен и эпизодов, перемежающихся воспоминаниями персонажей о своём прошлом. Чистейшее эпигонство немецкого экспрессионизма, без сюжета, без каких бы то ни было намёков на образы и характеры.

В разделе «Литературное обозрение» журнал публикует статью критика Карла Шведхельма, посвящённую современной западногерманской поэзии. Автор знакомит читателей с творчеством нескольких молодых поэтов, которые представляются ему наиболее значительными.

Один из них — Хельмут Хейсенбюттель. «Его произведения,— пишет Шведхельм,— часто кажутся математическими. Он оставляет от стихотворения один скелет, превращает его иногда в формулу, чтобы показать, что уравнение не нарушится, что останется нечто потустороннее, расшифровать которое мы ещё не умеем... Удары потока действительных определяют его синтаксис. Глагол как элемент действия становится рудиментарным. В его стихотворениях завтра всегда превращается уже в сегодня».

Шведхельм призывает поэта «отважиться» идти дальше по этому пути, «к самому краю, в непознанное», и безудержно хвалит его за то, что «он спилил дерево под самый корень, ибо цвести — это смертельное занятие».

Всю эту заумь можно было бы воспринять как злую пародию, если бы за нею не стояла расчётливо продуманная программа духовного отравления западногерманской литературной молодёжи, среди которой немало действительно талантливых и одарённых людей.

Показательна в этом отношении творческая судьба молодого поэта Карла Кролова, которого Шведхельм также относит к числу восходящих звёзд на западногерманском литературном небосклоне. Первые годы после войны Кролов действительно был

одним из популярных в Западной Германии поэтов. В его талантливой книге стихов «Испытание» чувствовалось живое биение человеческого сердца, звучали ноты глубокого раздумья о будущем его родины. Но впоследствии поэт решительно свернул в сторону. О последних произведениях Кролова декадентствующий немецкий литератор Ганс Эгон Холтхузен с нескрываемым восторгом писал, что поэту удалось «ворваться» в те области жизни, «которые не поддаются контролю разума». А сам Кролов в одной из своих недавних статей утверждал, что «писать стихи о своей жизни и о жизни своих современников — самое абсурдное занятие». Реакционная западногерманская критика сумела подчинить своему влиянию талантливого поэта. А сколько ещё молодых литераторов могут оказаться духовно искалеченными благодаря стараниям шведхельмов и холтхузенов, толкающих писательскую молодёжь Западной Германии на путь «математических скелетов» и «потусторонних формул», на путь беспредметной игры слов и ухода от реальной действительности.

Так «Дейче рундшау», стремясь ниспровергнуть великие творения немецкой классики, одновременно расчищает дорогу реакционным, декадентским течениям в современной западногерманской литературе.

В. СТЕЖЕНСКИЙ.

## НА РАСПУТЬЕ...

Этот журнал совершил длинное путешествие: он пришёл из далёкой страны в Западном полушарии, расположенной на самом экваторе, именем которого она и названа. Густые тропические леса на побережье Тихого океана... Вершины Анд, покрытые вечными снегами... Трёхмиллионный народ — талантливые и трудолюбивые потомки создателей одной из древнейших американских цивилизаций, со времени испанского завоевания и до наших дней испытывающие феодальное бремя... Редкие города с карликовой промышленностью... Три университета и восемьдесят процентов неграмотных... Таков Эквадор, одно из самых отсталых и угнетённых государств Южной Америки.

Маленький Эквадор дал немало писателей, поэтов и художников. Долгое время творчество их питалось соками чужой земли — Испании, а потом Франции — и было таким же холодным и заоблачным, как снежные шапки потухших вулканов их родины. Но вот в тридцатых годах в Эквадоре рождается новая литература, обратившаяся к окружающей действительности, к жизни родного народа. Романы Хорхе Икаса, переведённые на многие языки, поведали миру о трагедии обезземеленных индейцев Эквадора. Имена деятелей эквадорской культуры стали известны за пределами Латинской Америки, однако у себя на родине им приходилось нелегко: в стране не было книгоиздательства, журналы и газеты выходили от случая к случаю, книги и картины оставались недоступными для народа, живущего в нищете и невежестве. Поэты и писатели распределяли между друзьями произведения, напечатанные за свой счёт; художники месяцами ожидали заезжих меценатов.

В мае 1944 года восставший народ Эквадора свергнул реакционную диктатуру Арройо дель Рио. К власти пришло демократическое правительство Национального альянса. Одним из первых постановлений нового правительства был декрет об основании Дома эквадорской культуры — финансируемого государством учреждения, объединившего интеллигенцию Эквадора. При Доме эквадорской культуры стал выходить литературно-художественный журнал «Летрас дель Эквадор»

Многое изменилось за десять лет, прошедших со дня выхода первого номера этого журнала. Реакционная правящая верхушка вскоре восстановила свои позиции, изгнала из правительства демократические элементы и перешла в наступление против прогрессивных сил Эквадора. Американцы добивались предоставления концессий, стратегических баз, заключения кабальных соглашений — правительство шло на новые и новые уступки империалистам. Но в то же время росла и развивалась национально-освободительная борьба эквадорского народа.

### Эквадор

«Летрас дель Эквадор» («Литература Эквадора»), трёхмесячный журнал литературы и искусства. №№ 96—99. 1954. Год издания 10-й. Кито. Редактор-учредитель Бенхамин Каррион.

★

Перед нами последний пришедший в Москву номер журнала «Летрас дель Эквадор». В числе его редакторов и авторов мы видим людей, которыми заслуженно гордится эквадорская культура, таких, как видный литературный критик Бенхамин Каррион, писатель и историк Альфредо Пареха Диескансеко, известный во всём мире романист Хорхе Икаса, поэт Адальберто Ортис и другие.

Отрадно отметить, что этот журнал, посвящённый проблемам литературы и искусства, свободен от разлагающего влияния космополитической идеологии, которую американские империалисты так настойчиво навязывают странам Латинской Америки. Искренний патриотизм, раздумье о судьбах национальной культуры, стремление сделать эту культуру достоянием народа мы находим во многих материалах, публикуемых журналом.

Горячей любовью к индейцам Эквадора, гордостью за их многообразные таланты проникнута статья Умберто Переса Эстрелья «Послание народа». Она говорит о выставке народного художественного ремесла, организованной Домом эквадорской культуры. Взволнованный рассказ об искусных ткачах и ковроделках, о влюблённых в своё ремесло краснодеревщиках и прославленных ювелирах Кито звучит, как подлинный гимн творческому воображению и неутомимым рукам народных мастеров Эквадора.

В статье, посвящённой своеобразному и во многом спорному творчеству эквадорского художника Освалдо Гуайясамина, подчёркивается главное — его связь с родной почвой, с народом, «с его скорбью и радостью... Эквадорский художник уже не обращает взоров к Европе в поисках темы для своих композиций, эквадорский художник открыл Америку и прежде всего обнаружил Эквадор, неиссякаемый источник вдохновения...»

Нельзя не согласиться с автором рецензии на сборник стихотворений Адальберто Ортиса «Непогребённый страж», упрекающим поэта за то, что он включил в свою книгу стихотворения, которые представляют собой просто «акробатику слов и понятий». «В самом деле, — замечает рецензент, — в условиях, когда мы боремся за реалистическую поэзию, которая не боится называть вещи своими именами и не искажает действительность в угоду метафоре, жаль, что эта поэтическая деятельность была посвящена не представляющим важности темам и событиям...»

Трогает своей безыскусственностью рассказ Педро Хорхе Вера «Новенькая», изображающий первое столкновение детских сердец с неприглядной изнанкой жизни взрослых людей. Интересна фундаментальная статья Альфредо Пареха Диескансеко о творчестве большого писателя Венесуэлы Ромуло Гальегоса.

Журнал отметил пятидесятилетний юбилей Пабло Неруды публикацией нескольких стихотворений из его последнего сборника «Оды простым вещам» — книги, являющейся важным этапом в творчестве замечательного чилийского поэта, новым шагом его поэзии к доступности и простоте.

И всё же многое в этом номере «Летрас дель Эквадор», как и в других, вызывает серьёзные возражения. Читая его, невольно испытываешь чувство разочарования, ибо неспоримые достоинства журнала подчас обесцениваются «позицией умолчания», которую занимает журнал по отношению ко всем жгучим проблемам современности. Слова «народ» и «культура» предстают на его страницах лишь в абстрактном виде, лишённом всякого социального содержания. Разговор о судьбах национальной культуры ведётся при полном игнорировании борьбы эквадорского народа за землю, свободу, национальную независимость и мир. Мы не найдём на страницах журнала ни единого упоминания об условиях жизни и борьбы простых людей Эквадора. не найдём здесь ни слова о великой битве народов за мир — битве, от исхода которой всецело зависит будущее каждой и в том числе эквадорской культуры.

«Принцип умолчания» тщательно соблюдается редакцией. Вот, например, статья о книге Аугусто Ариаса «Вечная Испания». Как явствует из этой рецензии, автор книги, рассказывая о своём путешествии по Испании и восхищаясь бессмертными творениями испанских мастеров, ухитрился ни словом не обмолвиться о сегодняшнем дне страны, о положении испанского народа, ставшего жертвой франкистского режима. Это обстоятельство не вызывает упрека рецензента. Напротив, Аугусто Ариас удостоивается особой похвалы за своё умение «приподняться над современностью». Удиви-

тельно, но и в строках, посвящённых Пабло Неруде, не говорится ни слова об общественной деятельности этого выдающегося борца за мир.

Вольно или невольно журнал в целом создаёт неверное представление о развитии эквадорской культуры, как о мирном процессе, безмятежно протекающем где-то в заоблачных высях, куда не долетают порывы бурь, свирепствующих на земле.

Тем больший интерес вызывает единственная в журнале статья, где делается попытка поставить вопрос о судьбе эквадорской культуры в связи с общеполитическими проблемами Эквадора. Это статья президента Дома эквадорской культуры и главного редактора «Летрас дель Эквадор» Бенхамин Карриона «Народ земледельцев и ремесленников», представляющая собой текст речи, произнесённой на открытии Национальной выставки народного художественного ремесла. Ей следует уделить особое внимание и потому, что она, без сомнения, является программной не только для журнала «Летрас дель Эквадор», но и для той части эквадорской интеллигенции, которая объединилась вокруг него.

Говоря о судьбе культуры малых народов, стремящихся к миру, Каррион не обходит вопроса об опасности, грозящей этим народам со стороны империализма. «...Когда в игру вступает международный капитал со своими ловушками. — заявляет он, — ...когда именем демократии и её защиты попираются справедливые права малых народов, чтобы удовлетворить богачей, когда малые государства земледельцев и ремесленников хотят превратить в государства батраков, поставляющие сырьё, которое покупается по нищенским ценам... тогда маленькие трудолюбивые народы чувствуют горечь от навязывания иностранной воли, не позволяющей им даже защищать свою территорию или выбирать правительство, способное защитить хозяйство и свободу своей страны».

И хотя здесь не названы по именам палачи и жертвы, конкретные факты и события, в словах Карриона звучит мучительное опасение за судьбу своей страны. Тень экспансии США пала на весь американский континент.

В чём же Бенхамин Каррион видит выход? А вот в чём:

«Только ручной труд, в который вкладывается собственная душа, и земля, воздух и дух родины способны сохранить народам их независимость. Маленькое чудо ручного народного производства питает здоровую гордость народов и защищает их от посягательств и алчности финансовых империалистов, откуда бы они ни пришли. Политическая автономия, международная независимость ещё возможны для народов, жизнь которых развивается вокруг возделывания земли и ремесленного труда»

Так обветшавшая, реакционная идея возвращения к «добрым старым временам», к ручному труду, как панацее от всех зол запутавшегося в противоречиях капиталистического общества, имевшая хождение в Европе в годы кризиса и тогда же названная А. М. Горьким «воплем агонии капитализма», вновь воскресает в устах эквадорского писателя. В слепом отчаянии он готов предать проклятию природные богатства родной земли, притягивающие алчных захватчиков:

«Далёкие от того, чтобы завидовать владельцам «крови дьявола» — международной нефти — или хозяевам урана и плутония — дьявольских сил, способных разрушить мир, — мы рады, что являемся страной, в которой под чудесными небесами, в великольном климате развивается мирная промышленность — возделывание земли и народное художественное ремесло, — которая не притягивает огромных капиталов монополистов, развязывающих войну и ведущих к колониализму и рабству. Только благодаря труду своих рук мы можем питать гордую уверенность в том, что останемся свободными...»

Так вот он, способ спасения Эквадора от империалистической опасности! Ручной ткацкий станок и примитивная мотыга — вот что должно защитить страну от натиска вооружённых передовой индустриальной техникой монополий США.

Надо ли говорить о том, кому на руку проповедь подобных идей, обрекающих народ Эквадора на пассивность и беспомощность! Бенхамину Карриону следовало бы призадуматься над тем, почему орган империалистического панамериканского союза — журнал «Америка» — расточает такие щедрые похвалы деятельности руководимого им Дома эквадорской культуры.

Утопическая теория Бенхамин Карриона, объясняющая, в частности, и причину пресловутой позиции умолчания редактируемого им журнала, свидетельствует о растерянности и духовном кризисе, который переживает известная часть честной эквадорской интеллигенции, искренне любящая свою страну, но оторванная от передовых сил народа и находящаяся на распутье. Будем надеяться, что кризис разрешится переходом этой интеллигенции на единственно правильный путь — путь активного участия в борьбе за национальное освобождение Эквадора. На этот путь её властно толкает сама жизнь.

Произнося свою речь в августе 1954 года, Бенхамин Каррион не упоминал о только что разыгравшейся трагедии Гватемалы. Очевидно, он серьёзно верил в то, что ручной труд предохранит Эквадор от судьбы, постигшей маленькую центральноамериканскую республику. Однако действительность не замедлила напомнить о себе. В ноябре того же года специальная подкомиссия палаты представителей Соединённых Штатов опубликовала доклад, вновь повторяющий избитую сказку о якобы нависшей над странами Латинской Америки «коммунистической угрозе». Так же, как это было перед вторжением в Гватемалу, авторы доклада истерически кричали об «опасности со стороны коммунистов». На этот раз в число районов «коммунистической опасности» попал и Эквадор. Американские дельцы торопятся окончательно прибрать к рукам его сырьевые ресурсы и использовать его территорию для стратегических баз.

Что скажут теперь Бенхамин Каррион и разделявшие его утопические мечты деятели эквадорской культуры? Останутся ли они верными страусовой политике или найдут в себе мужество взглянуть в лицо суровой правде? Решатся ли они расстаться с иллюзиями и обратить свой взор к реальным силам национального освобождения, к народу, борющемуся за независимость Эквадора, за его счастливое будущее?

На страницах «Летрае дель Эквадор» мы нашли упоминание о состоявшемся в 1953 году в Эквадоре чествовании памяти Хосе Марти, выдающегося поэта-демократа, национального героя Кубы. Хосе Марти замечательно сказал: «Свобода стоит дорого: либо надо смириться и жить без неё, либо надо решиться и платить за неё полную цену».

Вещие слова!

Л. ОСТАПОВ.

## ПОЗНАВАТЬ НОВОЕ!

Недавно мы получили один за другим январский и февральский номера журнала «Септември», названного так в честь Девятого сентября 1944 года — дня освобождения Болгарии. Вокруг этого, пока ещё единственного «толстого» литературного журнала Болгарии с первых же дней его существования объединились и старшее и младшее поколения литераторов.

Большая и лучшая часть болгарских писателей всегда шла в ногу с передовым отрядом своего народа, непосредственно участвовала в его борьбе за счастливое будущее. В этой борьбе погиб Христо Ботев, сгорел Христо Смирненский, сожжён был в топке фашистского застенка Гео Милев, расстрелян Никола Вапцаров. Недаром болгарскую литературу называют «литература-войн». И в наши дни — дни осуществления народных чаяний — болгарские писатели снова находятся в первых рядах.

На страницах «Септември» в прошлом году мы познакомились с новыми стихами старшей поэтессы Елизаветы Багряны, с пьесой Орлина Василёва «Счастье», которая рассказывает о великих традициях освободительной борьбы, с очерками мастера исторического романа Стояна Загорчинова. «Септември» печатал стихотворные повести Людмила Стоянова о погибших героях коммунистического подполья и пьесу Георгия Караславова о возрождении болгарского села после освобождения. Читая стихи

### *Болгария*

«Септември» («Сентябрь»), ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. №№ 1, 2. 1955. Орган Союза болгарских писателей. Год издания 8-й. София. Главный редактор Георгий Караславов.

★

Благи Димитровой, мы радовались рождению нового города, «который взбирается в гору», и вместе с поэтом Ламаром приветствовали появление строителей там, где «недавно ещё по тропам брели караваны тяжело нагруженных мулов и песнями, тоской по старине скорбели струны народных кынтелей...»

Интерес к разносторонней и напряжённой жизни страны заставил нас с ещё большим нетерпением ждать то новое, чем должен был порадовать читателей «Септември» в 1955 году.

Открыв светлые, почти белые, мягкие обложки первых двух номеров журнала, мы с любопытством заглянули в оглавление. Новый роман А. Гуляшки, поэма Д. Методиева, стихи Орлина Орлинова и других, а затем приветствие ЦК КПСС Второму съезду советских писателей, доклады А. Суркова, К. Симонова, С. Вургуня, А. Корнейчука, обильная подборка стихов советских поэтов в переводах на болгарский язык. Конечно, столь щедрое гостеприимство, которым всегда пользуются на страницах журнала произведения советских, китайских, чешских, польских и других иностранных писателей, на этот раз несколько стеснило обычно обширные отделы теории, публицистики и критики. Но всё же ведущее место в журнале, больше трети и первого и второго номеров, занял новый роман А. Гуляшки «Любовь».

Это — большое полотно, и события в нём развёртываются ещё в довоенной Болгарии.

Образ главного героя романа — юного поэта Евлоги Камберова — захватывает с того момента, когда Гуляшки заставляет читателя остановиться на окраинном переулочке перед глубокой, никогда не просыхающей грязной ямой, где только что остывшую лошадь избивает разъярённый возчик. Он видит ребёнка, пытающегося сдержать ярость возчика, спасти лошадь, принимая на себя удары, предназначенные ей. Картина нарисована так скульптурно чётко и так трогательно, что сразу веришь в то, что Евлоги добр, отзывчив, порывист. Читателя начинает тревожить будущее человека с таким характером. И когда спасшая мальчика сердобольная продащица фисташек озабоченно предупреждает его: «Если ты захочешь помочь каждому, кого будут бить, останешься без головы!» — то хочешь всё-таки верить, что, кем бы ни стал Евлоги, такое предостережение его не остановит на полпути.

Автор знакомит нас с семьёй бывшего учителя, участника первой мировой войны Панайота Камберова. Панайот Камберов бунтовал против царских офицеров в 1918 году, участвовал в восстании 1923 года, но разгром и репрессии напугали его. Он потерял веру, ушёл в сторонку и, подавленный, загнанный, стал музыкантом в ресторанном оркестре. Его любимую жену, тоже участницу восстания, арестовали и в полиции надругались над ней. Суровый Панайот никогда не смог простить этого ни жене, ни властям.

В столь печальной семье, где каждый несёт в себе груз неизжитой трагедии, где о прошлом предпочитают не вспоминать, в нужде, среди нищеты и жестокости грязной окраины Софии растёт талантливый мальчик-поэт Евлоги.

Гуляшки рисует его отзывчивым, чутким. И жизнь семьи, жизнь этой окраины накладывает отпечаток на первые его творения. Редакция юношеского журнала помещает его стихи, но исключает при этом строфы, придающие им социальную окраску. Официальная общественность приветствует написанную им сказку, где талантливый юноша воспекает «красивую» смерть, которая кажется ему единственным выходом. Власть имущие пытаются приручить одарённого юношу, прельстить его внешней видностью культуры.

Однако от умирающего отца Евлоги узнаёт, кто духовный убийца его матери. Затем жизнь сталкивает его с теми, кому дорога судьба народа. На глазах у него происходит расправа полиции с его друзьями — забастовщиками Гимназистка Лиляна, в которую он влюблён, — революционерка, подпольщица. Женщина, с которой его свёл случай, глубоко унижена, раздавлена безжалостной действительностью довоенной Болгарии. Руководителя литературного кружка гимназии, прямодушного Эмила Венкова, арестовывают. Теперь Евлоги уже понимает, что говорить надо не о «красивой» смерти, а о борьбе за жизнь. Со свойственной ему порывистостью он хочет так же

публично опровергнуть то, к чему он недавно ещё сам призывал. Доклад его о литературе Запада становится исповедью — призывом к сверстникам и находит горячий отклик в сердцах молодёжи. Это переломный момент в жизни юноши. К нему с опаской приглядываются полиция и высшее начальство и с растущей симпатией относятся те, чьё доверие ему становится всё дороже и необходимее.

Таким приводит Гуляшки своего героя к началу второй мировой войны. Германо-фашистские войска вступают в Чехословакию. Евлоги — на площади среди протестующей молодёжи. В полиции он получает боевое крещение. И снова автор останавливает внимание читателя на его порывистой отзывчивости, на его человечности. На этот раз Евлоги спасает своего друга Александра, принимая на себя удары полицейских

От поступка к поступку Гуляшки прослеживает проявления складывающегося характера юноши, и читатель всё больше верит тому, что, с какими бы трудностями жизнь его ни столкнула, Евлоги всегда со свойственной ему прямоотой и настойчивостью будет среди тех, кто борется за счастье народа. Однако об этом, видимо, будет рассказано в следующих частях романа.

О композиции романа, о разнообразии жизненного материала и наблюдений трудно ещё судить. К концу первой части Гуляшки ввёл новые линии, значительно расширяющие рамки произведения. Здесь намечены неясные ещё взаимоотношения и самые характеры Александра и Лиляны, и усложняющийся конфликт в семье приёмного отца Александра, Георгия Динкова, крупного чиновника, представляющего немецкие капиталы в Болгарии, и сложные отношения мечтающего любой ценой стать академиком карьериста от науки Баяна Златева, и ещё не совсем понятно, с какой сюжетной нагрузкой введён образ трусливо озлобленного деятеля болгарской социал-демократии, и многое другое, что, возможно, впоследствии займёт в романе значительное место.

Но уже сейчас можно сказать, что, по сравнению с «МТ-станцией» и «Селом Ведрово», в романе «Любовь» Гуляшки значительно больше интересовала внутренняя жизнь героев, их чувства и мысли. Поэтому намного сдержаннее, но вместе с тем выразительнее звучит в романе диалог, а пейзаж, описания занимают в нём всё более служебное место.

Надо надеяться, что в дальнейшем развитии повествования Гуляшки найдёт и для остальных образов романа, особенно друзей Евлоги — рабочих-революционеров, гимназистов Кыню и Александра, самой Лиляны, Георгия Динкова, такие же запоминающиеся черты, какие он нашёл для Евлоги; найдёт те социально осмысленные причины, которые заставляют каждого из них действовать в том или ином направлении.

Напечатанная в первом номере большая лирическая поэма Димитра Методиева также обращена ко вчерашнему дню Болгарии. Называется она «Страна мечты». В ней поэт рассказывает о том, как крестьянский мальчик, услышав как-то ночью из уст бунтаря-батрака Стояна о далёкой стране, в которой нет ни слуг, ни хозяев, где богат только тот, кто работает, мечтает и свою страну сделать такой же. Свою мечту он пронесит через годы военных бедствий, постигших болгарский народ, сквозь годы партизанской борьбы до самого освобождения. В своей стране мечты он видит прообраз будущей Болгарии и скреплённое кровью братство наших народов. Быть может, нам это кажется, но некоторая риторичность, а иногда переход в почти прозаическую повествовательность несколько ослабляют впечатление от этой интересно задуманной поэмы

Об одной из самых популярных теперь в Болгарии книг, о романе Димитра Ангелова «На жизнь и смерть», посвящённом движению Спротивления болгарского народа, рассказывает статья Александра Пешева. Об этом романе уже много писали в болгарской прессе. Одни его безудержно хвалили, другие находили в нём много недостатков. Но, как говорит Пешев, критика и читатели всё же «справедливо увидели в нём достижение болгарской литературы». Однако автор рецензии далеко не во всём согласен с тем, что было сказано до него. Слабостью романа он считает недостаточное раскрытие социальных конфликтов, социальных корней народного, особенно крестьянского движения. Пожалуй, в этом отношении с ним можно согласиться.

Если не считать небольшого очерка Ив. Василёва о кооперативном хозяйстве села Узунджоково, то всего две рецензии, помещённые в первом номере журнала и посвящённые пьесе Камена Зидарова «Трудные годы», хоть отражённым светом касаются сегодняшнего дня страны. Следует отметить, что в них сказывается настоятельное стремление болгарской критики преодолеть схематизм, помочь писателю в процессе создания живых образов наших современников и вместе с тем резкое осуждение попыток превратить героев произведений, в данном случае крестьян новой болгарской деревни, в одни лишь «рупоры идей». «Характер — это основное в любом литературном произведении, — пишет критик Атанас Натев. — Самыми важными в «литературном» характере являются те существенные и своеобразные черты личности, которые толкают его на тот или иной поступок...»

В последнее время болгарские трудящиеся всё чаще стали предъявлять к своей литературе законное требование создавать произведения о строительстве новой жизни. Почётный железнодорожник Болгарии Христо Тонев. Герой социалистического труда Руси Гудов, ударницы комбината «Сталин» и другие высказывали в минувшем году на страницах газеты «Литературен фронт» свою неудовлетворённость тем, что так мало встречаются среди героев болгарской литературы образы людей, меняющих облик страны, строящих новую жизнь.

Критик Васев, лауреат Димитровской премии, автор известных у нас романов А. Гуляшки и другие говорили на писательских собраниях в Софии о том, как растёт рабочий класс Болгарии, какое ведущее место занимает он в жизни страны, и вместе с читателями сетовали на то, что пока болгарскому рабочему это ведущее место в литературе не обеспечено. Рабочий почти не появлялся ни в публиковавшихся в журнале «Септември» романах, ни в рассказах, ни в статьях, ни даже в очерках. Кстати, самый очерк, такой оперативный жанр, так хорошо помогающий и читателю и самому писателю приблизиться и разобраться в новых для него явлениях жизни, журнал, как нам кажется, ещё недостаточно оценил, хотя по опыту советской и всей мировой литературы известно, как часто репортаж, очерк становились зачинателями освоения больших и важных тем.

В заключение нашего обзора хочется привести слова известной болгарской писательницы Анны Кеменовой, которая на страницах «Литературен фронт» недавно писала: «Мне кажется, что я поняла самое важное для писателя: чтобы познать новое в жизни, надо ближе присмотреться к новым людям, которые её создают. А видеть их можно, только если пойдём к ним на стройки, туда, где есть истинный энтузиазм, истинное творчество».

Вместе с болгарскими читателями и писателями мы верим, что об этом истинном энтузиазме и истинном творчестве расскажут нам новые произведения, которые мы в скором времени увидим на страницах «Септември».

И. ЛИТВАКОВА.

## ВОПРОСЫ ГРУССАРУ

Внимательно просматривая последние полученные в Москве номера парижского еженедельника «Каррфур» и стбирая те материалы, которые, на наш взгляд, следовало бы подвергнуть разбору, мы не смогли ответить себе на ряд вопросов, возникших после чтения статьи Сержа Грассара<sup>1</sup> «Коллективная ответственность — ложь», опубликованной в номере от 23 февраля. Между тем обойти молчанием эту статью, затрагивающую весьма важные проблемы, нам не представ-

### Франция

«Каррфур» («Перекрёсток»), общественно-политический и литературно-критический еженедельник. № 545. 23 февраля. 1955. Париж. Год издания 12-й. Главный редактор Феликс-Жан Гара.

★

<sup>1</sup> Серж Грассар — французский писатель, входивший до 1953 года в организацию литераторов Франции — Национальный комитет писателей (НКП), возникший в годы Сопротивления. В 1948 году Серж Грассар выпустил книгу «Испанское одиночество», содержащую выпады против Советского Союза. В 1953 году Грассар пытался добиться того, чтобы НКП поддержал его клеветнические обвинения против СССР и стран народной



лялось возможным. И тогда мы решили, не давая подробного обзора еженедельника, обратиться к Сержу Груссару с несколькими вопросами.

1. Осенью прошлого года в парижском издательстве «Галлимар» вышла Ваша книга «Офицер, верный традиции». Вскоре после её выхода «Каррфур» опубликовал беседу между Вами и литератором Бернаром Симио по поводу этой книги. Редакция еженедельника напечатала беседу под заголовком «Серж Груссар оправдывает героя своего последнего романа, немецкого полковника, военного преступника». Согласны ли Вы с тем, что заголовок верно отражает содержание беседы?

2. Бернар Симио обратил Ваше внимание на то, что герой Вашего романа, немецкий полковник Брюкен, выполнял преступные приказы и, следовательно, сам является преступником в глазах каждого честного человека. Вы ответили на это словами Брюкена: «Приказ священен, даже если он делает из вас военного преступника». Вместе с тем во время беседы Вы настойчиво подчёркивали, что органически слились со своим героем и не отделяете его от себя. Выражают ли в таком случае слова Брюкена и Ваше собственное мнение?

3. Если Вы дадите положительный ответ на последний вопрос, то как увязать его с высказанным Вами же в статье в «Каррфур» от 23 февраля утверждением: «...Человек священен в свободе своей души и должен отвечать только за себя и давать отчёт только за свои поступки. Думать иначе — значит низводить человека до уровня автомата». Что же священно — преступный приказ или человек?

4. Герой Вашего романа совершил тяжкие военные преступления. Вы оправдываете его, ссылаясь на то, что он выполнял данные ему распоряжения. По приказу полковника Брюкена были расстреляны десятки польских партизан и партизанок. Продолжали бы Вы оправдывать своего героя с такой же настойчивостью и при помощи той же тройственной формулы «Долг. Германия. Война», если бы его руки были обогреты не польской, а французской кровью?

5. Вы утверждаете, что написали свой роман потому, что Вас глубоко заинтересовала личная судьба Вашего героя. Вы уточняете, что Ваша книга — не защита «какого-либо определённого тезиса, а художественное произведение». Однако в беседе Вы безоговорочно высказали следующее положение: «Вермахт не нуждается ни в какой реабилитации... Он всегда сражался по законам чести, следуя самой чистой военной традиции». Не кажется ли Вам, что будут правы те Ваши читатели, которые сочтут это высказывание именно за «определённый тезис», защищаемый в Вашей книге? Или Вы полагаете, что Ваш роман и Ваши выступления в его защиту находятся, как говорят французы, «над схваткой», иными словами, за пределами той борьбы, которая идёт между французским народом и сторонниками ремилитаризации Западной Германии, сторонниками возрождения гитлеровского вермахта?

6. Будучи реабилитирован немецкими судьями в Западной Германии, Карл Брюкен вскоре назначается полковником пограничных полицейских войск. Эти войска, как известно, представляют собой одну из первых форм возрождения вермахта. Какие вытекающие из Вашего романа доводы позволяют судить о том, что войска, находящиеся под командованием таких людей, как Брюкен, будут охранять, а не нарушать границы, если им это будет приказано? Вы пишете: «Недоверие к виновному, искупившему свою вину, постыдно». Как можно искупить свою вину, не признавая себя виновным? Какую вину признал за собой Брюкен, в руки которого Вы возвращаете оружие?

7. В том же номере «Каррфур», где напечатана Ваша статья, опубликованы две рецензии: одна на книгу Жоржа Кастелляна «Подпольное вооружение Рейха», другая на книгу немецкого генерала Гейнца Гудериана «Воспоминания солдата». Автор пер-

---

демократии. Получив решительный отпор со стороны большинства членов НКП, Серж Груссар вышел из этой организации. Эти факты в достаточной мере характеризуют позицию Груссара в ряде политических вопросов. Но в наши дни, когда патриотизм каждого гражданина Французской республики проверяется тем, как он относится к парижским соглашениям, к возрождению германского вермахта, когда люди самых различных политических убеждений выступают против ремилитаризации Западной Германии, окончательное выяснение позиции некоторых французов в этом жизненном для их родины вопросе, в том числе и Груссара, представляется немаловажным.

вой рецензии, Жан Шово, утверждает, что Франция была «бессильна» активно противодействовать возрождению военного потенциала Германии после первой мировой войны. «Мораль», которую Шово навязывает читателям, сводится к тому, что и ныне нельзя ничего сделать, чтобы предотвратить возрождение вермахта. Автор второй рецензии, Андрэ Бриссо, пишет о воспоминаниях Гудериана: «Это книга великого солдата, который был нашим врагом, но всегда честным противником... Она чудеснейшим образом раскрывает душу народа, нашего соседа». Находите ли Вы случайным появление этих рецензий и Вашей статьи в одном и том же номере «Каррфур»?

8. В Вашей статье и в беседе Вы неоднократно, мы сказали бы — даже слишком часто, подчёркиваете, что право на написание романа «Офицер, верный традиции» Вам даёт Ваше личное участие в движении Сопротивления. Не кажется ли Вам, что определённые круги во Франции и за её пределами поднимают на щит Ваше произведение именно в связи с этим последним обстоятельством? Не является ли в их глазах Ваше участие в Сопротивлении дополнительной возможностью использовать Вашу книгу в целях пропаганды возрождения вермахта?

9. В Вашей статье, отстаивая своё право выступать в качестве адвоката Карла Брюкена, Вы пишете: «...В меру своих слабых возможностей я достаточно причинил зла Германии». Имеете ли Вы в данном случае в виду Ваше участие в движении Сопротивления, в борьбе против немецкого фашизма, в борьбе, которую французский народ вместе с другими народами, вместе с лучшими сынами немецкого народа вёл против гитлеровской тирании? Не следует ли отнести эти Ваши слова к той позиции, которую Вы занимаете сейчас и которая может способствовать реабилитации и возрождению вермахта, германского милитаризма — худшего из всех возможных зол для Германии, как об этом свидетельствует вся её история?

10. В номере «Каррфур», где опубликована Ваша статья, на соседней странице, по традиции целиком отводящейся под сатирические рисунки, среди прочих карикатур напечатан рисунок художника Мориса Анри. На нём изображены обутые в сапоги ноги великана. Они видны только до колен. Сверху спускается телефонный провод. Маленький человечек, ростом чуть повыше каблука великана, кричит в телефонную трубку: «Алло, людоед! Нагнись немного, если ты человек!» В рисунке нет, конечно, никакого политического содержания. Просто читателю предлагается позабавиться над тем, какая «беседа» произойдёт между человечком и людоедом, если последний соблаговолит нагнуться. Не думаете ли Вы, Серж Грессар, что их «разговор» будет чем-то напоминать возможный в будущем разговор между Вами и вермахтом — Брюкеном, чью «человеческую природу» Вы так старательно доказываете и на чьи ноги Вы так поспешно натягиваете военные сапоги, уже не раз топтавшие землю Франции?

---

Таковы вопросы, которые нам хотелось бы задать автору романа «Офицер, верный традиции». Мы думаем, что они возникли не только у нас, но и у многих читателей «Каррфур». Не случайно французский писатель Бернар Лекаш, участник движения Сопротивления, ознакомившись со статьёй Сержа Грессара «Коллективная ответственность — ложь», писал ему: «...Форма статьи, некоторые выражения, некоторые места приведут непосредственные умы в ужас. Автора могут принять за человека, противоположного тому, каким он является. Возникнет чудовищное недоразумение».

Мы не знаем, что именно имел в виду Бернар Лекаш, говоря о «чудовищном недоразумении», мы не станем строить догадок, не станем продолжать разговор о Серже Грессаре и его романе, не имея ответов на наши вопросы. Скажем только, что, читая его статью, его книгу (в том сокращённом виде, в каком она была напечатана в парижском еженедельнике «Фигаро литерер» ещё осенью 1953 года), мы думали о многих произведениях, написанных французскими писателями за последние годы, мы думали о тех литераторах, которые остались верны «Манифесту французских писателей», написанному в феврале 1942 года Жаком Декуром, основателем «Леттр франсез», расстрелянным нацистами. «Мы спасём нашим творчеством,— говорилось в манифесте,— честь французской литературы. Мы будем бичевать писателей, продавшихся врагу. Мы сделаем воздух нашей Франции невыносимым для этих нацистских писак...» В январе 1954 года, отмечая выход своего пятисотого номера, «Леттр франсез» вновь

напечатал этот страстный призыв к борьбе против фашистского варварства. «Мы гордимся тем,— писал еженедельник,— что почти двенадцать лет спустя вновь можем воспроизвести на своих страницах этот текст». Законная гордость людей, свято хранящих верность делу, за которое отдали жизнь лучшие из лучших.

Мы думали о книге Робера Мерля «Смерть — моя профессия» (1953), каждая строка которой бичует нацистских палачей. И мы вспоминали заявление писателя, сделанное в связи с чествованием памяти двадцати пяти рабочих-коммунистов, расстрелянных фашистами в Ла Мальтер за участие в движении Сопротивления: «Борьба, которую вели умершие, стала снова борьбой живых... Не надо бояться заклеить отвратительных лицемеров, которых стесняет воспоминание об этих жертвах».

Мы вспоминали прочитанный нами недавно в книге французского писателя Веркора «Следы на песке» (1954) рассказ «Пучина молчания», продолжение его новеллы «Молчание моря», вышедшей в подполье в октябре 1941 года. Центральный персонаж обоих этих произведений, Вернер фон Эбреннак, так же как и герой романа Грассара,— немецкий офицер. Немецкий офицер в оккупированной Франции.

В отличие от Карла Брюкена, он наделён способностью понимать. И он понял многое. Он понял, что является жертвой и соучастником преступления. Преступления против Франции. Против Германии. Против человечества. Он не понял одного — того, что с этим нельзя примириться. И, не понимая этого, продолжал подчиняться («приказ священен!») — он хотел говорить с французами. Он хорошо знал французский язык, и он много говорил о своей любви к Франции. В ответ он услышал только одно французское слово, единственное за долгие месяцы, — слово «Прощайте».

На этом заканчивалось «Молчание моря». В новом рассказе Веркора мы видим Вернера фон Эбреннака в качестве подсудимого немецкого военного трибунала за отказ быть солдатом «преступной войны», за попытку пробудить в других сознание преступности гитлеровских военных авантюр.

— Вас осудят. И, вероятно, на смерть, — говорит Вернеру фон Эбреннаку ведущий допрос полковник.

И обвиняемый отвечает со спокойной улыбкой:

— По крайней мере у Германии будет хоть один свидетель.

«...Я чувствовал, — рассказывает Веркор о мотивах, побудивших его написать «Молчание моря», — что многие из тех, с кем мне приходилось сталкиваться, были в большом замешательстве и колебались, не зная, как им вести себя по отношению к оккупантам. Я знал также, что очень многие французы в то же самое время без всякого замешательства и колебания избрали единственно возможный прямой путь — путь сопротивления врагу. Но, тем не менее, перед иными «сотрудничество» являлось, как некий мираж, во всей жестокой ложности которого они не отдавали себе отчёта... Я должен был сказать всем колеблющимся, что Франции не о чем говорить с врагом, что разговор невозможен... Нужно было убеждать как можно большее число людей...»

В дни, когда Веркор писал «Молчание моря», Франция боролась против гитлеровских захватчиков. В дни, когда «Каррфур» печатает выступления Грассара, французский народ борется против возрождения гитлеровского вермахта, против жестокого «миража» парижских соглашений. В этой борьбе без замешательства, без колебаний большинство французов избрало единственно возможный путь — путь решительного сопротивления ремилитаризации Западной Германии. Но реакционная пресса, прибегая ко всяким уловкам и изощрениям, пытается сбить французов с этого пути, расставляя на нём ложные указатели. «На перекрёстке,— читаем мы в «Молчании моря»,— вам говорят: «Идите этой дорогой...» Но она — это становится потом видно — не ведёт к светлым горным вершинам; эта дорога спускается в зловещую лошину, углубляется в зловонный сумрак мрачных дебрей...» Такие перекрёстки с указателями ложных путей есть во Франции и сейчас. «Перекрёсток» по-французски — «каррфур».

**Н. РАЗГОВОРОВ.**



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

П. ВИКТОРОВ

★

## НОВЫЕ ГЛАВЫ „ПОДНЯТОЙ ЦЕЛИНЫ“

**В** мае нынешнего года Михаилу Александровичу Шолохову исполняется пятьдесят лет. Многомиллионные читатели с глубоким уважением к замечательному мастеру литературы отмечают эту годовщину. Его эпические произведения «Тихий Дон» и «Поднятая целина» — живое, прекрасное воплощение новаторских завоеваний литературы социалистического реализма.

Особое внимание художника привлекают этапы исторических революционных переворотов — гражданская война в «Тихом Доне», преобразование деревни на началах коллективизма в «Поднятой целине». Каждый образ интересует писателя прежде всего в связях и взаимоотношениях с социально-политическими явлениями эпохи. Шолохов изображает острые конфликты, трудные судьбы, переломные моменты с глубоким психологическим проникновением в характеры. Фигуры самых простых, рядовых людей он умеет показать так, что они становятся типами.

Радостно видеть, что шолоховское дарование с большой силой проявляется и в новых главах второй книги «Поднятой целины». Опубликованные в пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом, двадцать первом и двадцать третьем номерах журнала «Огонёк» за минувший год и 28, 30 марта, 1, 3 и 5 апреля текущего года в «Правде», эти главы вызывают живой интерес.

Через двадцать с лишним лет мы узнаём дальнейшую судьбу героев любимой книги. Не простое дело представить их читателю после такого большого перерыва. Страна изменилась. Люди выросли. Новые поколения вступили в жизнь и стали её активными строителями. Среди нынешних читателей немало уже таких, которые не помнят тридцатых годов и были детьми в период Великой Отечественной войны.

И в литературе очень многое изменилось. Она стала неизмеримо богаче, разнообразнее. Были жаркие схватки и творческие споры по принципиальным вопросам развития метода социалистического реализма. Выдвинулись новые таланты. Искусство не живёт повторением пройденного. Всякий новый его успех достигается на основе предыдущего художественного опыта.

И встают вопросы: что открывают нам новые главы шолоховского романа? Будут ли так же остро волновать нас судьбы героев?

Наши заметки, разумеется, не претендуют на исчерпывающий анализ, поскольку речь идёт об отдельных отрывках, значение которых по-настоящему можно уяснить лишь в общей композиции книги.

Первое, что хочется отметить: многие страницы части второй книги актуальны, звучны нашим дням. Рассказ о двадцатипятилетнем Семёне Давыдове помогает лучше понять, оценить и благородный патристический труд нынешних посланцев партии в деревню. Понятно, что мы не должны искать здесь прямых совпадений. Сейчас колхозная деревня переживает новый, более высокий этап своего развития. Иные задачи приходится решать в современных условиях. Но история — хороший учитель. И потому многое в романе злободневно и теперь, ибо ведь не сняты жизнью проблемы борьбы за упрочение колхозного строя, роста социалистического сознания тружеников деревни.

По объёму новые главы занимают не так уж много страниц, но они богаты содержанием.

Снова тайно пробрались в Гремячий Лог белогвардейцы Половцев и Лятевский, прячутся они у кулака Островнова, по но-

чам принимают гонцов, расставляют своих людей в хуторах и станицах.

Правда, изрядно полиняли эти главари контрреволюционного подполья; отсиживаясь в островновской горенке, они начинают драться, как пауки в банке; страх не покидает их ни на минуту; но от этого они не менее опасны и стали ещё более коварными. Половец так настаивает своего приверженца Атаманчукова, когда над последним нависла угроза исключения из колхоза:

«Ты что делаешь, шалава? Ты мне нужен примерным колхозником, а не таким ретивым дураком, который может завалиться на пустяках сам, а на допросах в ГПУ завалить всех остальных и всё дело. Ты мне на общем колхозном собрании на колени стань, сукин сын, но добейся, чтобы собрание не утвердило решения бригады. Пока мы не начали,—ни тени подозрения не должно падать на наших людей».

Яков Лукич живёт всё такой же лисой. Но контрреволюционный омут засасывает его так глубоко, что он за одно неосторожное слово старухи-матери, проболтавшей о спрятанных офицерах, подвергает её жестокой казни голодом. С потрясающей художественной силой написан этот эпизод. Автор скупо говорит о физических страданиях старухи. Зато упор сделан на её материнских переживаниях. Она вспоминает, как растила своего сына-первенца, единственного и ненаглядного Яшеньку, как всегда чутким материнским слухом умела распознавать поступь сына: когда-то он неуверенно, с перерывами шлёпал по полу босыми ножонками; затем, школьником, вприпрыжку, с пристуком топотал по крыльцу; легка и стремительна была его юношеская поступь; позже его походка приобрела тяжеловесную уверенность.

«Уже давно звучат по дому шаги хозяйина, зрелого мужа, почти старика, а для неё он попрежнему Яшенька, и она часто видит его во сне маленьким, белобрысым и шустрым мальчуганом...» И теперь, страдая без воды и хлеба, старуха-мать слышала шаги сына за дверью, но он «крадучись» проходил по сенцам.

Художник оставил в стороне всё, что могло бы затемнить трагический смысл сцены, сконцентрировал внимание на одной детали, и в Якове Лукиче обнажилась до предела холодная, беспощадная жестокость.

В новом повествовании мы видим старых знакомых — Давыдова, Нагульнова, Размётнова, деда Шукаря, Лушку, Кондрата Майданникова...

Как и следовало ожидать, фигура Семёна Давыдова попрежнему стоит в центре повествования. В первой книге он преодолел трудности создания колхоза. Теперь он показан в не менее острой и сложной обстановке борьбы с замаскированными врагами. Колхоз вступил в новый этап развития. Председатель сознаёт, что ныне от него требуются особые качества организатора. Давыдов не сразу находит верный путь. Оказывается, мало самому поработать в кузнице или на пахоте. Отлучки председателя только на руку Островнову. Давыдов должен учиться искусству руководства, расчётливого и мудрого хозяйствования в колхозе.

Но если бы только это! С трудностями борьбы, работы нераздельно переплетаются испытания и несчастья личной жизни. Лушка — этот «змий», как говорит о ней Макар Нагульнов, женщина из тех, по замечанию кузнеца Шалого, которые «мужчин не на работу толкают, а от работы таскают», — завладела его сердцем. Между тем Давыдов узнаёт о любви к нему семнадцатилетней девушки Вари Харламовой. Мы видим Давыдова, можно сказать, в круговороте конфликтов. На какое-то время ему недостаёт внутренней собранности, боевой подтянутости.

«Он стал плохо спать по ночам, утром просыпался с неизменной головной болью, питался кое-как и когда придётся, и до вечера не покидало его ощущение незнакомого прежде, непонятного недомогания. Как-то незаметно для самого себя Давыдов чутьчку опустился, в характере его появилась ни когда ранее не свойственная ему раздражительность, да и внешне выглядел он далеко не таким молодцеватым и упитанным, как в первые дни после приезда в Гремячий Лог. А тут ещё эта Лушка Нагульнова и постоянные мысли о ней, всякие мысли... Не в добрый час перешла ему окаянняя бабёнка дорогу!»

Не будем спешить возводить эти понятные человеческие слабости Давыдова в степень отрицательных черт. Автор вовсе не думает расчленять героя на светлую и тёмную пловинки. Не для искусственного «оживления» рассказывается об этих трудностях, слабостях, недостатках Давыдова.

Он был и остаётся положительным героем, но не тем благополучным удачником, которому всё даётся легко и просто. Шолохов психологически правдиво, с яркой художественной убедительностью показывает рост героя через преодоление трудностей.

Давыдов изображается преимущественно в такие моменты, когда он делает новые, неожиданные для себя открытия, потому что всё глубже вникает в жизнь деревни. Он сам сознаёт, что плохо знает людей в колхозе. В беседе у костра о бригадных делах активнее всех выступал Атаманчуков, говорил с жаром, выдвигал толковые предложения. Но почему вдруг в неожиданно перехваченном взгляде его Давыдов увидел «леденящую ненависть»?

Глава об Иване Аржанове стоит пока обособленно. Кажется, зачем так подробно рассказано об убийстве отца Аржанова и о его мести, о событии, случившемся в далёкие-далёкие годы? Между тем беседа с этим человеком также на многое открывает глаза Давыдову. В замысловатых побасёнках Аржанова Давыдов услышал правду о себе, Нагульнове, Размётнове. Аржанов твердит о том, что Яков Лукич «свернулся в клубок, как гадюка перед прыжком», что в колхозе «гадюку за пазухой пригрели...»

И естественно признание Давыдова: «Не знаю я людей в колхозе, не знаю, чем они дышат, — сокрушённо думал он. — Сначала раскулачивание, потом организация колхоза, потом хозяйственные дела, а присмотреться к людям, узнать их поближе — времени не хватило... Вон каким боком повернулся Аржанов. Все его считают простоватым, но он не прост, ох, не прост!.. И Яков Лукич — тоже замок с секретом... И Атаманчуков непонятен, смотрит на меня, как палач на приговорённого, а в чём дело?»

Нелегко даётся Давыдову ответ на этот вопрос. Многие скрыты от него, как и от других.

Шолохов искусно, жизненно правдиво показывает, что, несмотря на трудное положение, Давыдов неизмеримо сильнее прячущихся в подполье Половцева и Лятевского, коварного Островнова, притаившегося Атаманчукова... Давыдов сильнее их народной поддержкой, доверием колхозников. Он стал своим человеком в деревне, он дорог и необходим гремяченцам, словно с ними вырос, с ними всю жизнь был хлеборобом.

Глубокий смысл заключён в описании встречи Давыдова с колхозниками на поле-вом стане:

«У Давыдова по-хорошему дрогнуло сердце, когда он увидел, как дружно все встали из-за стола, приветствуя его. Он шёл широкими шагами, а навстречу ему уже тянулись руки и светились улыбками дочерна сожжённые солнцем лица мужчин и матово смуглые, тронутые лёгким загаром лица девушек и женщин... С ним успели крепко сжиться, его приезду были искренне рады, встречали его, как родного. За какой-то миг всё это дошло до сознания Давыдова, острой радостью коснулось его сердца...»

Но любовь народа требовательна. Она вдохновляет и в то же время накладывает большую ответственность на руководителя. Взаимное влияние руководителя на массу и массы на руководителя — не новая тема для советской литературы. В повествовании Шолохова она засверкала свежими, оригинальными красками.

На наш взгляд, к лучшим страницам новых глав относится разговор Давыдова с Ипполитом Сидоровичем Шалым.

С общим сюжетом книги этот разговор связан прежде всего тем, что Шалый даёт Давыдову нить для понимания тайны убийства Хопровых и разоблачения глубоко затаившегося кулака Островнова. В то же время на страницах книги во весь рост, во всей жизненной правдивости поднимается образ сельского пролетария, сбывательного простого человека, который любит труд, приголубливает «сиротков», зорко следит за борьбой в хуторе и активно вступает в неё на стороне новых людей.

В неторопливой беседе с отступлениями, припоминаниями разных случаев из жизни Шалый преподаёт председателю колхоза надолго памятный урок.

«Испытующе, как бы взвешивая силу Давыдова, Шалый осмотрел его с ног до головы, медленно заговорил:

— Держись, парень! Обидных слов я тебе наговорю... И не хотелось бы, а надо Боюсь, что другие тебе таких слов не насмеются сказать».

Что же высказывает Шалый? Он говорит о беспорядках в колхозе, разъясняет, почему островниковская компания оградила Атаманчукова от исключения из колхоза, делится своими догадками об участии Якова Лукича в убийстве Хопровых. От кузнеца узнаёт Давыдов, как старики «маракуют промеж

себя», чтобы его «от этой Лушки, лихоманка её затряси, отлучить». Шалый просто-душно выражает свою любовь к Давыдову, но говорит с ним требовательно, и чувствуется в нём большой, настоящий хозяин колхоза.

Слова Шалого дали Давыдову возможность увидеть свои недостатки, ещё раз почувствовать, насколько накалена обстановка в хуторе. Надо полагать, в последующих главах образ Давыдова обретёт ещё большую яркость. По страницам, известным сейчас, он уже значительно обогащён, развит, а между тем впереди, как видно, назревают такие события, в которых откроются новые стороны характера этого незаурядного человека.

Встреча со старыми знакомыми из «Поднятой целины» не явилась для читателей повторением известного.

Галерея образов романа пополнилась выступившими теперь на первый план типами Шалого и Вари Харламовой. Яркое изображение этих лиц придало ещё большую полноту народной массе «Поднятой целины».

С Варей Харламовой страницы романа озарились ещё более лучистым светом юности, красоты трудовой жизни, народной поэзии. «Вон она какая вся чистая, как зоренька в погожий день, и какими чистыми глазами на меня смотрит...» — думает Давыдов.

Рассказ о Варюхе-горюхе, как в шутку называет её Давыдов, только начат, ещё, как видно, не развернулся в полную силу, но уже чувствуется, что художник идёт здесь к созданию нового прекрасного женского образа.

И он очень важен в романе, где среди женских образов первенствовала пока красивая, разгульная Лушка. Она ни разу не сталкивается с Варей Харламовой, однако ясно, что здесь мы видим резко противопоставленные типы.

Трудно превзойти те страницы, которые посвятил автор Лушке, выписав её с удивительной реалистической яркостью. Но и образ Вари начат сильно, красочно, он увлекает своим душевным богатством, нравственной цельностью.

Тон рассказа о первой, чистой девичьей любви лиричен. Образ Вари как бы вписан в картины донской природы и неотделим от них. «...Вся она пахла полуденным солнцем, нагретой зноем травой и тем неповторимым, свежим и очаровательным запахом юности,

который никто ещё не смог, не сумел передать словами...» В размышлениях о ней Давыдову приходят на память фольклорные образы: зоренька, ланюшка быстроногая...

Интересно отметить: когда Шолохов рисует Лушку, рисует чрезвычайно живо, колоритно, он всё же редко и скупко даёт пейзажные штрихи. Вокруг Лушки иная атмосфера — играша, схватки с гремяченскими бабами, ловкое кокетство. Да не очень-то она и отзывчива на лирические признания, эта самоуверенная и самовлюблённая Лушка.

Трудно предсказать, как Шолохов развернёт действие дальше. Что произойдёт с Варей, встретит ли она ответное чувство у Давыдова? Не будем забегать вперёд. Заметим только — огонёк чистой девичьей любви уже и сейчас хорошо осветил Давыдова, по-новому подчеркнув его честность и искренность, цельность его характера.

Вероятно, писатель в дальнейшем сосредоточит ещё большее внимание на образе Вари Харламовой, раскроет её характер не только в отношении к Давыдову, но и в труде и в общественной деятельности и тем самым полнее, красочнее покажет рост молодых сил колхозной деревни.

А. М. Горький не раз напоминал писателям о необходимости создавать на материале текущей действительности мону-менты текущему дню. Шолоховские произведения убедительно показывают, как нужно достигать таких вершин искусства.

Технология мастерства не лежит у Шолохова на поверхности. Он не любит козырять каким-либо одним, счастливо найденным приёмом. Он крепко строит сюжет и щедро воспроизводит прямую речь, целые рассказы различных персонажей; он любит живописать природу и передавать внутренние монологи; у него часто по-новому употребляются и раскрываются многие слова и устойчивые речевые обороты.

В композиции шолоховских произведений особенно выделяется сочетание, чередование драматических эпизодов с комическими. Юмор нередко пронизывает самые напряжённые сцены.

Шолохов — большой мастер сцен высокого драматизма. Подчас по объёму они не велики, но каждое слово в них, простое, обычное слово, насыщено большим смыслом. Автор постепенно готовит читателя к восприятию напряжённого действия; на

дальних подступах к кульминационному моменту он даёт расстановку фигур, мотивы их постуков и многие другие детали. В самой же кульминации он концентрирует внимание на главном, в особенности на психологии действующих лиц.

Из новых глав сильное впечатление производит рассказ о поединке Макара Нагульнова с Тимофеем Рваным.

Ещё с того часа, как раздался ночной выстрел, рождается обострённое ощущение напряжённости действия. Но пока дело дойдёт до решительного столкновения, писатель рассказывает и о чудачествах деда Шукаря, и о жарком смешном споре Нагульнова с фельдшером о причинах насморка, и о предположениях, догадках, кто мог быть покушавшимся. Подробно описывается также, как Нагульнов и Размётнов в тайне от Давыдова устраивают засаду. И здесь в повествовании вновь появится комическое происшествие с неожиданно чихнувшим Макаром, когда он по пятам шёл за Лушкой, направлявшейся на свидание с Тимофеем. Детально выписан со всеми сочными бытовыми штрихами арест Лушки и Алексеевны. Заранее дан и пейзаж, красочно нарисовано место, где произойдёт поединок:

«Возле перелазы горделиво высились пунцовые и фиолетовые шапки татарника, густо росла дикая конопля; по плетню, между кольев, извивались плети тыков, узоря его колокольчиками жёлтых цветов; по утрам плетень сверкал синими брызгами распускающихся вьюнков и издали походил на причудливо сотканный ковёр. Место было глухое. Его-то и облюбовал Нагульнов, на другой день рано утром проходя мимо двора Алексеевны по берегу речки».

И вот ночью, в немотной тишине, наступили минуты схватки.

Здесь художник лаконичен. Мотивы борьбы, настроение персонажей, место действия — всё это известно. Как теперь развернётся само событие?

Писатель избегает излишних и тем более натуралистических подробностей. Фразы короткие, очень простые. Вот говорится о переживаниях Нагульнова: «На секунду сдвинуло у него сердце, а потом снова забилося ровно, но во рту стало горько и сухо». Тимофей дан только внешне, в настороженной позе: он «стоял, удобно подставив левый бок, слегка повернувшись корпусом вправо, всё ещё настороженно к чему-то прислуши-

ваясь». Коротко о ночных звуках — крике коростеля, гремячей дробы перепела, мычании коровы.

Незаметной деталью автор скажет об обостренности чувств Макара: «Рукав стёганки был влажен от росы». О характере Макара напомним одной, но выделенной восклицанием фразой: «Нет, он, Нагульнов, не какая-нибудь кулацкая сволочь, чтобы стрелять во врага исподтишка!» и одной, в духе Макара, репликой: «— Повернись лицом к смерти, гад!»

Тимофей убит. И тут автор неожиданно, но психологически глубоко верно придаёт уже другой тон рассказу, раскрывая чувства персонажа через пейзаж:

«Стремительно приближался рассвет. Росла, ширилась багряная полоска на восточной окраине темносинего неба. Уже заметно вырисовывались купы заречных верб. Макар встал, подошёл к Тимофею. Тот лежал на спине, далеко откинув правую руку. Застывшие, но ещё не потерявшие живого блеска глаза его были широко раскрыты. Они, эти мёртвые глаза, словно в восхищённом и безмолвном изумлении любовались и гаснущими неясными звёздами, и тающим в зените опаловым облачком, лишь слегка посеребрённым снизу, и всем безбрежным небесным простором, закрытым прозрачной, легчайшей дымкой тумана.

Макар носком сапога коснулся убитого, тихо спросил:

— Ну, что, отгулялся. вражина?

Он и мёртвый был красив, этот бабий баблень и любимец».

Писатель лаконичен в описании самого трагического события, но тонко, проникновенно изображает психологические перемены.

Сцена поединка и — дальше — прощания Нагульнова с Лушкой, говоря горьковскими словами, акцентирует внимание не на самих фактах, а на «психологии фактов» и сразу производит давно назревший переворот в судьбах и характерах героев. С неожиданной стороны открывается вдруг Нагульнов, казалось, люто ненавидевший раньше свою бывшую жену и вообще прозносивший громовые речи против «баб».

Совсем недавно он говорил: «Я, когда от неё избавился, так вроде заново на свет народился...» Но это он, Макар, носил в кармане лушкин кружевной платочек, и он признаётся: «Я её всё-таки люблю, подлюку». Уважая и её чувства, Нагульнов даёт



ей возможность проститься с Тимофеем. И Лушка, постаревшая от горя, по-другому взглянула теперь на Макара: «остановила на нём долгий взгляд, низко склонила в поклоне свою гордую голову».

Очевидно, вся эта история скажется на дальнейшем развитии образа Нагульнова, судьба которого становится всё сложнее и противоречивее.

Сюжет у Шолохова, порой развивающийся замедленно, с отступлениями, вставными эпизодами, порой переходящий на стремительный темп, полон внутреннего движения, прежде всего движения характеров. Беседа Давыдова с Шалым увлекает не только узнаванием новых подробностей, а именно постепенным проявлением характера кузнеца. Рассказ Шалого о квартиранте, «районном управляющем заготовивсырьём», на первый взгляд может показаться вставным, необязательным эпизодом. Внешне он не связан с тем главным, о чём рассказывает Шалый. Но именно эта смешная сценка столкновения кузнеца с зазнавшимся, чванливым чинушей резко оттеняет честность и искренность Шалого и подчёркивает кровную близость Давыдова к колхозникам.

Шолоховские произведения отличаются проникновенным изображением природы. Он открыл читателям своеобразную красоту донских степей с их безграничными просторами и молчаливыми курганами.

Первый из опубликованных писателем отрывков начинается красочным пейзажем плодородной степи, обещающей большой урожай. Из отдельных, точно и свежо описанных деталей возникает яркая картина. В ней органически сливаются краски, звуки, запахи, передаётся движение. Ритм повествования настраивает на эпический лад. Сила пейзажа возрастает от необычного заключительного сравнения степи с кормящей матерью:

«Земля набухла от дождевой влаги и, когда ветер раздвигал облака, млея под ярким солнцем и курилась голубоватым паром. По утрам из речки, из топких, болотистых низин вставали туманы. Они клубящимися волнами перекачивались через Гремячий Лог, устремляясь к степным буграм, и там таяли, невидимо растворялись в нежнейшей, бирюзовой дымке, а на листьях деревьев, на камышовых крышах домов и сараев, всюду, как рассыпанная калёная дробь, приминяя траву, до полудня лежала свинцово-тяжёлая, обильная роса.

В степи пырей поднялся выше колена. За выгоном зацвёл донник. Медвяный запах его к вечеру растекался по всему хутору, волнуя томлением сердца девушек. Озимые хлеба стояли до горизонта сплошной темно-зелёной стенкой, яровые радовали глаз на редкость дружными всходами. На склонах бугров и суходолов проклюнулось недавно посеянное просо. Серопески густо ошетинились стрелками молодых побегов кукурузы.

К концу первой половины июня погода прочно установилась, ни единой тучки не появлялось на небе, и дивно закружилась под солнцем цветущая, омытая дождями степь! Была она теперь, как молодая, кормящая грудью мать, — необычно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства».

Природа у Шолохова — неизменный участник действия. Давыдов идёт с полевого стана в хутор и размышляет «о своей не очень-то нарядно сложившейся в Гремячем Логу жизни». Его размышления чередуются с картинами степи. Сначала — изображение вспаханного поля. И тут же, в том же абзаце, читатель вместе с героем переносится к другой поро, к осени, когда закустятся зеленым озимой пшеницы. Отступление обрывается, и снова даётся картина пахоты, окружённой зеленью трав.

Картина вспаханного поля сразу оживляется, когда Давыдов замечает Варю: «словно одинокий подснежник, на чёрной пахоте виднелось голубое пятно: Варя Харламова бросила теперь утратившую для неё всякий интерес работу и, понурив голову, медленно брела к стану». Но вот она увидела любимого человека, «проворно сняла с головы платок, тихонько взмахнула им. Этот молчаливый и несмелый призыв заставил Давыдова улыбнуться».

Пейзаж у Шолохова порой гармонирует с настроением человека, порой резко контрастирует. Описания природы подчинены главной цели — раскрытию внутреннего мира героев. Чаще всего природа у Шолохова говорит нам о неумирающей жизни, захватывает многокрасочностью, многозвучностью, возбуждает чистые, светлые чувства.

Недаром даже «на скудной почве» солончаков, в «унылой степи», которую пересекает Давыдов, ему всё-таки открывается многоликое богатство жизни. В этой картине дан прямой переход от наблюдений природы к настроению Давыдова:

«Всякая мелкая пташка, и та гнездо вьёт, потомство выводит, а я ковыляю бо-былём почти сорок лет, и ещё неизвестно, придётся ли мне посмотреть на своих маленьких... Жениться, что ли, на старости лет?»

Такой, казалось бы, прямой переход здесь вполне оправдан и состоянием героя в данную минуту и строем его размышлений.

В природе Шолохов не стремится выхватывать какие-то необычные явления. Наоборот, в поле его зрения то, что окружает человека повседневно, что кажется порой примелькавшимся. Пахота, грачи на ней, солончаковые рытвины, ямки, выбитые копытами коров и овец, ковыль, кузнечики, жаворонки... Сколько раз описано всё это! Но Шолохов обладает такой свежестью взгляда, такой наблюдательностью, которая придаёт новые, необычные оттенки привычному. Писатель так определяет предмет, живое существо или явление, что всё это врезается в память. Для жаворонка он находит эпитет — «доверчивый». Вы не забудете птичьего гнезда, если сказано о нём: «гнездышко, искусно свитое в чаше следа, некогда оставленного конским копытом...»

Стремясь к большей выразительности, художник даёт необычные сочетания слов: «вдоль борозд тускло блистали отвалы чернозёма, выбеленные лемехами плугов...»; «по утрам плетень сверкал синими брызгами и распускающихся вьюнков...»

В шолоховских описаниях всегда живо ощутимы не только разнообразнейшие оттенки природных красок, но и звуковые, музыкальные вариации. «...Из-под ног Да-

выдова то и дело с треском выпархивали краснокрылые кузнечики; бесшумно скользили серые, под цвет земли, ящерицы; тревожно пересвистывались суслики...» Жаворонки «тонули в молочно-голубой дымке безоблачного неба, и оттуда приглушённое, но приятнее звучали их нескончаемые трели».

Часто подмечает Шолохов разнообразный по оттенкам запах донских трав. Но вот он описывает кузницу и, кроме характерных для неё звуков, замечает: «тянуло из настежь распахнутой двери горьким запахом горелого угля и чудесным, незабываемым душком неостывшей окалины». Не случайно Шалый мельком снова вспомнит о запахе окалины в кузнице: «я ещё хочу понюхать, как окалина в кузне пахнет...»

Многосторонность и тонкость ощущений, богатство простых на первый взгляд, но очень свежих по оттенкам, по смысловой ёмкости деталей среды, обстановки воссоздают полноту и красочность жизни.

Новые главы «Поднятой целины» глубоко содержательны, интересны, художественно полноценны. Они правдиво отражают эпоху революционного переворота в деревне, каким была коллективизация сельского хозяйства.

Разумеется, полное и окончательное суждение об этих главах можно будет составить лишь после выхода в свет всей второй книги. Тогда станет ясно, что больше или меньше удалось писателю, как части относиться к целому. Несомненно одно — опубликованные отрывки вызывают желание скорее увидеть завершённую «Поднятую целину».



И. ЛЕЖНЕВ

★

## КРАТКОСТЬ — СЕСТРА ТАЛАНТА

1

**П**овесть А. Чехова «Степь» имеет подзаголовок: «История одной поездки». История самая заурядная, никаких особенных событий в ней не происходит. Описана именно поездка, а не путешествие; расстояние недалёкое, едут на лошадях; пейзаж обрисован однообразно-степной, действующих лиц выведено мало, обо всём рассказано скупно. Но за этим пейзажем, за этими немногими людьми возникает целая страна, социальные отношения и трудовой народ старой России.

«Едешь час-другой... Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землёю ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полёте ночной птицы — во всём, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа даёт отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознаёт, что она одинока, что богатства её и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь её тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!»

Не удивительно, что именно Чехов отметил эпическую проникновенность рассказов Горького. В письме к А. М. Горькому от 3 февраля 1900 года, хваля его крымские вещи, А. П. Чехов писал: «...кроме фигур,

чувствуется и человеческая масса, из которой они вышли, и воздух, и дальний план, одним словом, всё».

Высшей степенью художественного мастерства Чехов считал умение найти те душевные нити, которые связывают отдельные изображаемые фигуры с почвой, их взрастившей, с народом, с его заветными стремлениями, идеалами, с его бытом, природой и поэзией.

Рассказ Горького «Мой спутник» ещё короче, нежели повесть «Степь»; в нём и действующих лиц меньше: в основном их всего двое — сам рассказчик и его спутник, князь Шахро. Здесь так же, как и в чеховской повести, слышен голос трудовых людей, отзвуки их дум и жизненной морали, а главное — так же, как в «Степи», перед мысленным взором читателя возникают тысячи людей, их побуждения и поступки. В рассказе передано то, что отмечал Чехов: и воздух, и дальний план, и связь с человеческой массой.

Какими средствами это достигнуто в чеховской повести «Степь», в горьковском рассказе «Мой спутник», во многих произведениях лучших наших художников? Предварительно, пока в самой общей форме, на этот вопрос можно ответить так: достигнуто предельной сжатостью изложения при наибольшей плотности художественной мысли — качеством, которое Белинский называл «слогом».

«Слог,— писал он,— отнюдь не есть простое умение писать грамматически правильно, гладко и складно,— умение, которое часто даётся и бесталанности. Под «слогом» мы разумею непосредственное, данное природой умение писателя употреблять слова в их настоящем значении, выражаясь сжато, высказывать много, быть кратким в многословии и плодovитым в краткости, тесно

сливать идею с формой и на всё налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа.

В качестве образца «слога» Белинский приводил предисловие Лермонтова ко второму изданию «Героя нашего времени» и продолжал:

«Какая точность и определённая в каждом слове, как на месте и как незаменимо другим каждое слово! Какая сжатость, краткость и, вместе с тем, многозначительность! Читая строки, читаешь и между строками: понимая ясно всё сказанное автором, понимаешь ещё и то, чего он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым».

Дальнейшую характеристику слога Белинский дал в своём обзоре русской литературы за 1843 год:

«...слог — это сам талант, сама мысль. Слог — это рельефность, осязаемость мысли; в слогѣ весь человек; слог всегда оригинален как личность, как характер. Поэтому у всякого великого писателя свой слог... по слогу узнают великого писателя, как по кисти — картину великого живописца. Тайна слога заключается в умении до того ярко и выпукло изливать мысли, что они кажутся как будто нарисованными, изваянными из мрамора. Если у писателя нет никакого слога, он может писать самым превосходным языком, и всё-таки неопределённость и — её необходимсе следствие — многословие будут придавать его сочинению характер болтовни, которая утомляет при чтении и тотчас забывается по прочтении. Если у писателя есть слог, его эпитет резко определителен, всякое слово стоит на своём месте, и в немногих словах схватывается мысль, по объѣму своему требующая многих слов... Гоголь вполне владеет слогом. Он не пишет, а рисует: его фраза, как живая картина, мечется в глаза читателю, поражая его своею яркою верностью природе и действительности».

Многословие — противоположность того высокого качества литературы, которое Белинский называл «слогом». Понятие «многословие» не следует, разумеется, понимать буквально. Сверху донизу заполнит книжный шкаф одно только юбилейное издание Льва Толстого, — сколько же слов было написано величайшим писателем мира! Но у него избыток слов соответствует неисчерпаемое богатство мысли и поэзии, познание человеческой души, русской жизни, социального быта. А читаешь иное стихо-

творение всего только в 12 строчек, и оно многословно потому, что пусто. Вот что значит отсутствие слога!

Глубокая внутренняя связь слова и слога очевидна.

Первым предварительным и обязательным условием литературного слога (хоть и не единственным его признаком) Белинский считал «определённость в каждом слове», резко определённую эпитета: «всякое слово стоит на своём месте».

Яркость, меткость, певучесть и богатство присущи народному слову. Тысячи доказательств этому дают народные песни, эпос, поговорки и пословицы, многочисленные памятники образной русской народной речи, начиная с самых ранних.

Хорошо сказал о живом народном слове Гоголь: «Произнесённое метко, всё равно что писанное, не вырубивается топором. А уж куда бывает метко всё то, что вышло из глубины Руси, где... всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как насадка цыплят, а вклеивает сразу, как паспорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, — одной чертой обрисован ты с ног до головы!»

Образность народного слова была воспринята нашими писателями-классиками. Слово это звучит в поэзии Пушкина, Некрасова, в драматургии Островского. Всеми цветами радуги оно сверкает в сатире Гоголя и Щедрина, в богатырски-моцном, «ухватистом» языке Льва Толстого, в сценках крестьянской жизни Глеба Успенского, в рассказах и повестях Чехова. Размахом народной поэзии, любовью к человеку и его труду овевана горьковская галерея образов людей из народа. Духом народной жизни веет от романов-эпопей Шолохова; богатыми оттенками мысли и чувств красочно переливается в них народное слово.

В чём таятся прелесть, обаяние, эмоциональная заразительность художественного слова?

О языке, которым говорит народ, Лев Толстой писал, что это «лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели — всё похоже на литературу...»

Против «набалованного» языка Толстой вёл последовательную борьбу. Вёл её и по-

ложительными примерами, печатая в общелитературном журнале «Заря» рассказ, предназначенный для «Азбуки», — «Кавказский пленник», этот непревзойдённый образец народности, ясности, точности и выразительности языка, а вместе с тем и краткости повествования. Вёл Толстой свою литературную борьбу и посредством полемики.

Критикуя хрестоматию «Детский мир», Толстой высмеивал «ложную манеру языка и декламации» и опять-таки — многословие.

«Как на образец языка, которым поучает «Детский мир», — писал Л. Н. Толстой, — прошу читателя обратить внимание на следующее предложение: «В животном царстве, при всём его огромном разнообразии, ни одно животное не обращает на себя столько нашего внимания, как слон». Вся эта составленная из неясных литературных слов, закрученная фраза значит только: слон чуднее всех животных».

«По величине своей он уступает только одному киту, а понятливостью превосходит обезьяну». Это значит: только один кит больше его, а он умнее обезьяны.

Неужели нужно сказать: «уступает» и «превосходит»? ...Скажешь уступает киту ростом и превосходит обезьяну умом и как будто выходит что-то похожее на мысль, а скажешь: он меньше кита и умнее обезьяны, и очевидно становится, что связаны эти два сравнения решительно ни к чему. Весь язык книги таков. Под напыщенностью и неестественностью фразы скрывается пустота содержания».

О том, что двигателем усердной и безмерно кропотливой работы Л. Н. Толстого над рукописями было ясно осознанное стремление выдержать проверку временем, возможно надёжнее дойти своим словом до наиболее многочисленных масс народа и служить ему, свидетельствует хотя бы такая запись (от 21 января 1890 года):

«Странное дело эта забота о совершенстве формы. Не даром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе. — Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, её бы не читали и одна миллионная тех, [которые] читали её теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать её совершенной художественно — тогда она пройдёт через равнодушные и повторением возьмёт своё».

С полным основанием можно сказать, что в той борьбе за чистоту, смысловую точность и остроту языка, которую развернул в тридцатых годах А. М. Горький, он имел славных предшественников, и ближайшими из них по времени были Л. Н. Толстой и А. П. Чехов.

## 2

Искусство немногими словами добиться такой работы воображения читателя, когда, «кроме фигур, чувствуется и человеческая масса, из которой они вышли, и воздух, и дальний план, одним словом, всё», — высокое и нужное нам искусство.

Речь идёт, разумеется, не о «поэзии намёков», не о «шорохах души», не о «символах иного» и «тайнописи неизречённого» — обо всей этой дребедени и мишуре декадентства. Речь идёт об отборе, о скупости в слове, о воздержании от губительного в искусстве расписывания каждого явления во всех натуралистических подробностях.

Злободневным призывом к писателям звучит сегодня чеховский афоризм: «Краткость — сестра таланта». Что же такое талант в чеховском понимании? На этот вопрос писатель отвечал: «Быть талантливым, то есть уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком».

Действительно, выделяя важные показания и опуская неважные, художник очищает повествование от всего лишнего; внимание читателя не отвлекается на разнообразные случайные явления, но заостряется на истинно-существенном.

На вопрос: «Что такое слово и словесность?» — Н. В. Гоголь отвечал:

«Говорится всё, записывается немного и только то, что нужно. Отсюда значительность литературы».

Горько заблуждается тот литератор, кто описывает море, лес, поле, степь так, как будто читатель никогда в своей жизни не видел всего этого, или описывает переживания и настроения своих героев так, будто читатель не испытывал, не переживал ничего, даже приближённо напоминающего описываемое; излишние подробности воспринимаются читателем как пустословие и навязчивость. Но и в тех случаях, когда автор описывает явления, действительно мало знакомые читателю, он не может игнорировать привычные для читателя представления.

Лев Толстой советовал беллетристам:

«Описывая типы или пейзажи, необыкновенные для большинства читателей, — никогда не выпускать из виду типы и пейзажи обыкновенные — взять их за основание и, сравнивая с ними необ[ыкновенные], описывать их».

Задача писателя состоит в том, чтобы, опираясь на жизненный опыт читателя, посредством наглядных сравнений помочь ему самому разобраться в новом.

Именно такого подхода к читателю требовал В. И. Ленин, устанавливая различие между писателем популярным и вульгарным:

«Популярный писатель подводит читателя к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых простых и общеизвестных данных, указывая при помощи несложных рассуждений или удачно выбранных примеров главные выводы из этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие и дальнейшие вопросы. Популярный писатель не предполагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя, — напротив, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и помогает ему делать эту серьезную и трудную работу, — ведет его, помогая ему делать первые шаги и участвуя дальше самостоятельно. Вульгарный писатель предполагает читателя не думающего и думать не способного, он не наталкивает его на первые начала серьезной науки, а в уродливо-упрощенном, посоленном шуточками и прибауточками виде, преподносит ему «готовыми» все выводы известного учения, так что читателю даже жевать не приходится, а только проглотить эту кашлицу»<sup>1</sup>.

Хоть речь шла здесь непосредственно об авторе политических сочинений, эти прекрасные слова В. И. Ленина, безусловно, относятся к писателю, работающему в любой отрасли литературы, особенно в художественной. Ведь художник не только изредка иллюстрирует свою мысль «удачно выбранными примерами», — сама его мысль возникает преимущественно в форме образов. Он ей и помогает читателю работать головой, то не разжёванную кашлицу предлагает отать, а даёт материал для плодотворных сопоставлений.

Художник в своих книгах не только отражает жизнь и ставит важные вопросы, но и приучает читателей к самостоятельному размышлению. Популярный, а не вульгарный писатель помогает своему читателю мысленно дорисовать то, чего он сам, во избежание многословия и навязчивости, не рисовал во всех подробностях, а лишь обозначил как наиболее характерное, начальное звено длинной ассоциативной цепи. По сути, это-то звено и приводит в движение всю цепь, но возможность и радость развернуть её до конца предоставляются уже читателю.

### 3

Различными путями достигали краткости Пушкин, Лермонтов, Толстой, Горький, Чехов. Различен, индивидуален литературный слог каждого из этих великих мастеров слова. Говорить о краткости «вообще» — явно недостаточно. Сказать обо всём сразу — значит не сказать толком ни о чём в отдельности. В нашей статье мы остановимся на одном классическом образце краткости и значительности повествования: на повести Чехова «Степь».

Выбор этот нам кажется оправданным. Сравнительно небольшая повесть вмещает материал, достаточный для большого романа.

Про свою «Степь» Чехов писал в письме к Григоровичу: «Быть может, она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются ещё нетронутыми и как ещё не тесно русскому художнику».

Действительно, повесть была воспринята как художественное открытие и читателями и писателями — современниками Чехова. Особенно поражала непосредственность, с какой воспринимается эта вещь. Такому впечатлению неоспоримо во многом способствовало то литературное мастерство, с которым автор показал степь и её людей глазами героя. Егорушка впервые в жизни выехал из дому, перед ним раскрываются новые, невиданные, непривычно широкие горизонты. Правдивый, на редкость выразительный образ этого мальчика заражает читателя первичностью впечатлений, получаемых героем повести. Участвуя в его переживаниях, как бы становясь на его место, чувствуя заодно с ним, читатель неприметно для себя начинает видеть природу и людей с особенной свежестью.

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 85—286.

В пути мѣняется погода, и каждую перемену её мы чувствуем так, как чувствует Егорушка. Приведу три примера из разных мест повести:

«Солнце уже выглянуло сзади из-за гора и тихо, без хлопот, принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, где небо сходится с землёю, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая яркожёлтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то тёплое коснулось егорушкиной спины, полоса света, подкрашивая сзади, шмыгнула через бривку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутьму, улыбнулась и засверкала росой».

Наступает жара, Егорушка изнемогает от зноя, но неожиданно в погоде происходит новая перемена:

«По степи, вдоль и поперёк, спотыкаясь и прыгая, побежали перекасти-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в чёрную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекасти-поле столкнулись в голубой вышине и сцепились друг в друга, как на поединке».

Или вот как описано начало дождя:

«Большая холодная капля упала на колесо Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тыку. Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чём-то быстро, весело и препротивно, как две сороки».

Рисую картину степи, автор рассказывает о ней от своего имени, но в авторском повествовании нет-нет да и проскользнет словцо Егорушки, услышится интонация его голоса. Эти словечки, неприметно включённые в язык авторского повествования, лучше, нежели прямая речь Егорушки, передают его физическое и душевное состояние, а также ощущение безбрежности степи.

Однако степь — это не только пространство, насыщенный степными запахами воздух, лиловый «дальний план», — это населяющие её люди, дух жизненных отношений «человеческой массы».

В знойный час, на привале, когда все кругом спят, а бодрствует один Егорушка, он слышит заунывную, похожую на плач песню. Ему кажется: это поёт полумёртвая трава — поёт о том, что ей страшно хочется жить, а солнце выжгло её понапрасну. Но оказалось, тоскливую песню поёт степной человек — голенастая баба около крайней избы, а у ног матери стоит степное дитя: «маленький мальчик в одной рубаше, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках»; зовут его — Тит.

Чехов даёт здесь толчок фантазии читателя, выдвигая начальное звено длинной ассоциативной цепи: песнь выжженной солнцем степной травы сливается с жалобной песней степного жителя, с жалким видом степного ребёнка. Горькая ирония звучит в том, что явно болезненный, истощённый малыш назван Титом. Вспоминается поговорка: «Тит, иди молотить...», имя ассоциируется с представлением о здоровенном дяде.

В повести подчёркнут контраст между широким размахом степи и пропадающими впустую её богатствами, между огромными творческими возможностями населяющего степь умного, талантливого народа и его тяжёлой, подневольной долей. Всё обрисовано так, чтобы возбудить в читателе уже при чтении первых глав догадку о том, что есть нечто общее между могучей русской степью и русским народом-великаном Развёртывая повествование, автор усиливает эту догадку, подсказывает и много другое. Чем дальше читаешь, чем пристальнее присматриваешься к форме построения повести, к приёмам изобразительности писателя, тем становится всё яснее: тончайшая художественная ткань, которую ткёт Чехов, имеет основу стальной крепости, эта основа — поэтическая ассоциация.

Не только каждое обстоятельство, отмеченное в начале повести, но и каждая характерная поэтическая деталь, упомянутая в первых главах, получает дальше своё развитие, раскрытие, а начало и конец повести связаны глубоко смысловой ассоциацией. Так д

стигаются одновременно краткость и значительность.

В четвёртой главе читаем:

«...Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса... в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси ещё не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что ещё не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил шtuk шесть высоких, рядом скачущих колесниц вроде тех, какие он выдвывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестёрки диких, бешеных лошадей и своими высокими колёсами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!»

Мечта о великанах на широкой русской дороге (они были бы ей так «к лицу»!) побуждает поэта повторить этот образ, и он возникает перед нами в грозе и буре, сотрясающих степь.

В главе седьмой читаем:

«Трах! тах! тах!» — пронеслось над его головой, упало под воз и разорвалось: — «Ррра!»

«Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжёлою поступью. Они казались печальными и унылыми, погружёнными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но всё-таки в их близости было что-то ужасное».

Гроза прошла, Егорушка открыл глаза и видит, кто были эти великаны:

«Внизу около воза стояли Пантелеи, треугольник-Емельян<sup>1</sup> и великаны. Последние

<sup>1</sup> Почему «треугольник»? Страницей раньше, во время грозы, когда Егорушка в слуге крикнул: «Дед, великаны!», мальчик видел: «...шёл Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника».

были теперь много ниже ростом и, когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы».

Но есть ли связь между грозой и великанами, между великанами и окружающим Егорушку народом — мужиками? Да, есть, и она глубока так же, как и связь между безбрежной, могучей степью, выжженной травой и измученной бабой, поюшей ту же жалобную песню изнемогшей степи.

Подводчик Дымов описан в повести как озорник и силач. В этом русоголовом, кудрявом, сильном мужчине лет тридцати бродит неуёмная сила. Он видит на дороге большого ужа и, думая, что это змея, набрасывается на него и убивает страшными ударами кнута. Перед самой грозой Дымов от скуки придирается к Емельяну, обижает Егорушку, и мальчик в исступлении кричит: «Бейте его! Бейте его!» Но у Дымова проходит приступ злости, и озорник, с бледным, утомлённым лицом, суёт Егорушке верёвку: «На, бей!» Потом лениво плетётся вдоль обоза и «не то плачушим, не то досадующим голосом» повторяет:

«Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля.. Жизнь наша пропашая, лютая!»

И тут же начинается гроза. Вот как это описано:

«...Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на её краю висели большие чёрные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром...»

— Скушно мне! — донёсся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. — Скушно!»

Большая сила Дымова, закипающий в нём от «пропашей, лютости жизни» гнев ещё не направлены на виновников этой тяжкой жизни и раздражаются пока озорством, но читатель явственно видит истинный источник этого озорства, связывает в одно представление тоску Дымова, стихии грозы, явление великанов, освещённых молниями, тождество великанов с мужиками.



## 4

Каждый из подводчиков — яркая личность, выразитель той или иной особенности народного характера, в то же время — цельный тип. Здесь тоже сказываются особенности слога Чехова: в авторской речи, при большой мягкости и лиризме — изумительная зоркость, точность эпитета, предельная экономность слов; в речи персонажей — характерность речевых оборотов, интонаций.

При всех индивидуальных различиях обрисованных фигур схвачено и передано общее для них: богатство натуры, природная одарённость людей труда. Вместе с тем подчёркнуто: затаённые в народе силы ещё скованы, потенции не выявлены, жизнь растрачивается в подневольном труде на хозяев. Читатель воспринимает одновременно и то общее, что есть между различными людьми труда, и то общее, что роднит степной народ с самой степью.

Так совершенство языка авторского повествования в соединении с выразительными речевыми характеристиками действующих лиц, с поэтической ассоциацией способствуют значительности и краткости повествования.

Емельян — один из тех народных талантов, которые, не получая поддержки, гасли, как искра на ветру. Сперва Егорушка замечает, что этот подводчик всё время в пути помахивает рукой, будто дирижирует невидимым хором. Потом мы слышим жалобу Емельяна: музыкальный мотив сидит у него «в голове и глотке», а голоса нет: пятнадцать лет был он в певчих, потерял голос. «А мне без голоса всё равно, что работнику без руки... Об себе я так понимаю, что я пропащий человек, и больше ничего».

На привале Емельян умоляет подводчиков спеть что-нибудь хором, а когда все отказываются, поёт сам.

«Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только шиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шпшкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из неё хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание...»

Силач-озорник Дымов, тоскуя, рычал: «Жизнь наша пропащая, лютая!» Ему вторит Емельян: «Я пропащий человек, и больше ничего».

Но вот третья фигура — подводчик Вася.

Он обладает таким зорким зрением, что «бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания». Он видел степных животных и птиц — лисиц, зайцев, дроф, стрепетов — в их домашнем обиходе: как они умываются лапками, расправляют крылья, выбивают свои «точки». Благодаря такому поразительному зрению Васе был открыт, кроме мира, который видели все, «ещё другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему».

Счастлив ли Вася? Как используется его редкостная зоркость? Почему он подводчик? Этих вопросов Егорушка ему не задаёт. Он смотрит на повязанное тряпкой лицо Васи и спрашивает, почему у того распух подбородок, а Вася отвечает:

«— Болит... Я, паничок, на спичечной фабрике работал. Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлуть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, ещё у троих ребят черлуть раздуло, а у одного так совсем сгнила».

Жалка и одежда Васи. На нём украинская чумарка, вся усыпанная латками, обут он в лапти.

Ещё больше извёдал горя старший среди подводчиков, дед Пантелей.

«...У меня у самого, — рассказывает он, — были детки, да погорели... И жена сгорела, и детки... Это верно, под крещение ночью загорелась изба... Меня-то дома не было, я в Орёл ездил. В Орёл... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками... Да... На другой день одни только косточки наши».

Ни Чехов, ни его персонажи не говорят о том, что в тогдашней соломенной деревне пожары были бытовым явлением, что на зимние месяцы многие крестьяне уезжали в города на отхожие промыслы, чтобы прокормить свои голодные семьи. Это читатель хорошо знает и без того, а толчок его мысли и фантазии дан, — нетрудно представить себе горе этого одинокого, тощего старика который бредёт у своей подводы большими простуженными ногами босиком (так ему «слободнее») и без усталости бормочет о пережитом, делая, по словам автора, «переключку своим мыслям».

Автор отмечает, что Пантелей «в короткое время успел рассказать об многом», что всё рассказанное им состо-

яло из обрывков, имевших очень мало связи между собой. При этом Чехов вовсе не считает необходимым восполнить пробелы между этими обрывками, развернуть перед читателем биографию Пантелея во всей полноте и последовательности. У писателя другая задача: коротко повествовать о самом важном, «освещать фигуры и говорить их языком».

Вместо того чтобы вдаваться в излишние подробности о жизни Пантелея, Чехов производит речь самого деда:

«— Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— Учиться? Ага... Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум даёт, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это верно... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братушка, хорошо, ежели у котового человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А погрём все как есть».

Никакие биографические сведения, рассказанные на десятках страниц, не скажут читателю больше, чем эти слова. Речевая характеристика глубоко содержательна и поразительно точна. В ней раскрыты и социальная сущность человека и индивидуальная его особенность.

Старик-крестьянин неотрывно думает о близкой своей смерти и вкратце излагает итог всей своей жизни. Только с одним умом, отпущенным природой, пришлось прожить Пантелею. Как и миллионы других тружеников, он не знал ни «второго», ни «третьего» ума, ни от образования, ни от хорошей жизни. Поэтому и жить ему было трудно и умирать нелегко.

Мудрость жизненного опыта старого крестьянина дана здесь в сгустке, афористически заострённо, в духе народных пословиц. Короткая реплика заменяет жизнеописание персонажа.

Речь Пантелея не всегда состоит из одних только обрывков воспоминаний о пережитом: он умеет рассказывать и связно, но лишь когда говорит о том, что не было им пережито, когда в ночной час у костра дед рассказывает страшноватые небылицы о разбойниках в длинных красных рубахах и уверяет, будто всё это было у него на глазах.

Почему же Пантелей, проживший долгую и трудную жизнь, вместо правды о ней выдумывает то, чего не было? Почему подводчики верят этим рассказам?

Автор поясняет:

«Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнёздами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, тёмные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, — всё это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью».

Легенды, бытовавшие в народе в то дореволюционное время, имели и другой источник. Его вскрывает Чехов в рассказе «Счастье», написанном ещё за полгода до повести, после поездки весной 1887 года в те же степные районы Воронежской губернии и Донской области. Рассказ тематически близок к повести — этой первой попытке Чехова «писать длинно». Писатель, руководствуясь правилом Льва Толстого: «Хуже всего подражать самому себе в литературе», не стал повторять в общем уже сказанное им в рассказе, тем более, что «Счастье» было напечатано сравнительно недавно, вызвало восторженные отзывы и было свежо в памяти читателя. Там Чехов дал несколько иной вариант тех же фантастических ночных разговоров у костра. Живя мучительно тяжёлой жизнью, старый пастух и его собеседник — объездчик, как и многие крестьяне в ту пору, мечтали о счастье, что оно где-то рядом, под ногами, да только неизвестно, как его взять: «Кто помоложе, может, и дождётся, а нам уж и думать пора бросить».

В повести «Степь» тема счастья получила иную разработку. К костру, где собрались обездоленные крестьяне-подводчики, является «на огонёк» крестьянин близлежащей деревни, Константин Звоник — само воплощение счастья: «...все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребёнка».

Константин счастлив тем, что девушка, брака с которой он домогался три года, наконец согласилась: пошёл восемнадцатый

день, как женат Константин, а молодая уехала гостить к матери, и он томится:

«...Без году неделя, как оженился, а она уехала... А? У, да бедовая, накажи меня бог! Там такая хорошая да славная, такая хочунья да певунья что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без неё вот словно потерял что, как дурак по степу хожу, с самого обеда хожу, хоть караул кричи».

Встреча с влюблённым и счастливым человеком («счастливый до тоски» — сказано в повести) не обрадовала подводчиков: «всем стало скучно и захотелось тоже счастья». Особенно скучно стало Дымову.

Тут Чехов даёт новый толчок мысли читателя. Почему счастье Константина не обрадовало никого? Не потому ли, что единичное исключение только подчеркнуло безрадостность жизни собравшихся у костра крестьян? Не потому ли, что это было лишь счастье личной жизни одного человека?

## 5

Трудовому народу противостоит в повести хозяин степи, Варламов, владелец нескольких десятков тысяч десятин, сотни тысяч овец и очень больших денег.

Обрисовка этого образа — вершина умения сочетать краткость повествования со значительностью.

Появление Варламова длительно подготавливается. Впервые его имя упоминается в первой главе. Бричка поравнялась с отарой овец, и отара оказалась варламовская. Дядя Егорушки, купец Кузьмичов, везущий продавать шерсть, спрашивает у чабана, не проезжал ли тут Варламов. С тем же вопросом обращается Кузьмичов и к хозяину постоянного двора в четвёртой главе. Встречи с Варламовым ищет и богатая графиня Драницкая, о нём много говорят, его постоянно разыскивают, и хотя Варламов «кружится в этих местах», — он неуловим и для Егорушки таинственен.

Появляется Варламов — и то метеором — в седьмой главе, его описанию уделено очень мало места, а запоминается он сильно.

Варламов возникает как бы на плечах трёх других образов. Каждый из них представляет самостоятельный интерес. Вместе с тем они служат мерилом для оценки Варламова, а он сам — мерилом для их оценки. Соотносительность и взаимодействие обра-

зов (хотя на всём протяжении повести они ни в одной точке лично не соприкасаются) служат наиболее яркому освещению каждого из них в отдельности. Переключка образов в восприятии читателя сообщает всему повествованию одновременно и большую социальную заострённость, и большую живость, и действительную многозначительность.

Первое лицо, участвующее в своеобразной переключке с Варламовым, это Иван Иванович Кузьмичов, дядя Егорушки. Он охарактеризован в повести беглыми штрихами: несколько фраз произносит он сам, несколько фраз сказано о нём, и если бы в седьмой главе не появился Варламов, играющий роль «катализатора» в раскрытии образа купца, то читатель едва ли так сильно запомнил бы Кузьмичова.

Читатель сперва видит Кузьмичова в тот момент, когда путников в степи стал донимать зной:

«С лица дяди мало-помалу сошло благодушие и осталась одна деловая сухость, а бритому тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придаёт неумолимое, инквизиторское выражение».

В следующей главе взрослые в связи с предстоящим поступлением Егорушки в гимназию ведут разговор об учении, и дядя подаёт реплику:

«— Науки науками,— вздохнул Кузьмичов,— а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука».

Вскоре путники, позавтракав, уснули, и Егорушка от нечего делать разглядывает спящих:

«Лицо дяди попрежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов.. Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу».

Нагнав обоз с тюками шерсти, Кузьмичов Иван Иванович оставляет Егорушку на попечение подводчиков, а сам вместе с отцом Христофором надолго исчезает из поля зрения и со страниц повести.

Вот тут-то через некоторое время появляется Варламов.

«Лицо его... выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Ивановича, тот же деловой фанатизм. Но всё-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Ивановичем! У дяди Кузьмичова рядом с деловой сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдёт Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всём, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью».

Эти несколько строк, сказанные о Варламове, осветили и Кузьмичова; сравнение с Кузьмичовым многое обнаружило в Варламове.

Вторая соотносительная с Варламовым фигура — это графиня Драницкая. О ней рассказано в повести ещё меньше, чем о Кузьмичове. Оригинальным способом знакомит нас с нею Чехов. Он описывает сначала тополь, выросший в степи:

«...А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры и зелёной одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один...»

Но промелькнул тополь и скрылся в лиловой дали степи. Одни впечатления сменились другими. После утомительного дня мальчика во время остановки на постоялом дворе клонит ко сну. Сквозь дрему он слышит восклицание: «Ваше сиятельство!», протирает глаза и видит:

«Посреди комнаты стояло, действительно, сиятельство, в образе молодой, очень красивой и полной женщины в чёрном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть её черты, ему почему-то пришёл на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днём на холме».

Для мальчика это ассоциация зрительных образов, явление броской красоты,

праздничной нарядности на однообразно-будничном фоне степных людей. Более глубинная ассоциация, грустная дума об одиночестве «тополя» принадлежит художнику, но он перелагает её на строй детского восприятия. Много чудесного слышал Егорушка о жизни графини, о балах, которые она давала дважды в год, о музыке, играющей день и ночь, о необыкновенных блюдах, подаваемых на серебре. Мальчику чудится гостиная, увешанная портретами «всех польских королей», «большие столовые часы, имевшие форму утёса, на утёсе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево».

И тут же Кузьмичов говорит о том, что молодую графиню обирает сопровождавший её Казимир Михайлович, а ей и горюшка мало.

Сказочные фантастические образы в сонном мозгу мальчика, и сухо-деловые, трезвые замечания Кузьмичова о графине, и тон авторского повествования — всё окружает Драницкую романтической дымкой. В восприятии читателя запечатлевается образ красавицы, чуждой духу торгашества, какая-то драма одиночества...

С этим образом переключается — по резкой контрастности — Варламов, воплощение будничности и фанатически-хозяйской деловитости. В белой фуражке и костюме из дешёвой материи, верхом на казачьем жеребчике, заурядный и серый по всему своему облику, он, не зная покоя, неприкаянно «кружит» по степи. Ещё солнце не восходило, добрые люди видят ещё только второй сон, а он уже обделяет свои дела.

Гнева «сильного человека» боится вся степь, его расположения, встречи с ним ищут не только маленькие и зависимые люди, но и богатая графиня Драницкая.

В образе Варламова, как бегло сн ни обрисован, раскрыта социальная сущность владыки степи; в образе графини Драницкой воплощены некоторые типовые черты дворянского образа жизни. В соотношении этих двух фигур подчеркнута всё различие между уходящей в прошлое романтикой степного «тополя» и пришедшим ему на смену фанатизмом «бессердечного чистогана».

Противостоит Варламову и другой персонаж. Он ратует за личное достоинство чело-

века, подавляемое тем же чистоганом. Примечательно, что это — лакей.

Соломон — невзрачный маленький человек. Его брат, хозяин постоялого двора, Мойсей Мойсеич, рассказывает, что отец, умирая, оставил им наследство — по шести тысяч рублей каждому. Мойсей Мойсеич на эти деньги завёл постоянный двор, а Соломон сжёг свою долю в печке и теперь выполняет в хозяйстве чёрную работу:

«— Не в своём уме... пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеётся, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене... А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?»

Но послушаем самого Соломона. Чтобы рассеять скуку, проезжие спрашивают его, что он подделывает.

«— Что я подделываю? — переспросил Соломон и пожал плечами.— То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел денег десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем». «...Вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!»

Может быть, Соломон и вправду не воплен в своём уме. Форма его протеста против подавления личности капиталом, конечно, уродлива и нелепа. Но по сути ведь это гримаса, порождённая уродливым строем.

В повести образ лакея, восставшего против лакейства, выполняет существенную роль. Подавление людей, затапывание человеческого достоинства — излюбленный хозяином степи способ хозяйствования; степные люди притерпелись к таким порядкам, а случаи протеста пока единичны и бессильны.

Разобранный пример подтверждает на деле: соотносительность образов — одно из наиболее эффективных изобразительных средств, дающих возможность достигнуть действительной краткости и значительности повествования.

И всё же, как ни существенно соотношение фигур, о которых мы только что сказали, графиня Драницкая, Соломон и, тем менее, Кузьмичов — не настоящие антиподы Варламова. Истинная, коренная противоположность существует между Варламовым и степным трудовым народом, представленным в повести подводчиками обоза, крестьянами.

Чехов верил в великие возможности, какие таил родной народ. Давая исход своей страстной патриотической мечте, писатель в фантастических образах, явленных в грозе и буре, показал превращение тогда ещё согнутых бедой мужиков в великанов будущего.

## 6

Богатство и подвижность ассоциаций, вызываемых образом, как мы убедились на примере «Степи», — один из главных источников краткости и значительности повествования. Честь многих открытий в этой области неоспоримо принадлежит Чехову. Его новаторство признавал и высоко ценил Лев Толстой: «Чехов — несравненный художник. Да, да, именно: несравненный художник жизни... Чехов создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы писания, подобных которым я не встречал нигде».

В дневнике Л. Н. Толстого находим такую запись от 3 сентября 1903 года: «О литературе. Толки о Чехове: Разговаривая о Чех[ове] с Лазаревским, уясни[л] себе то, что он, как Пушкин, двинул вперёд форму. И это большая заслуга».

Интересно, поистине поучительно и даже трогательно то, что Толстой, завоевав уже всемирную славу, нисколько не считал для себя зазорным перенимать у Чехова отдельные приёмы художественного мастерства в произведениях малого жанра, поскольку от этого выигрывало дело.

Так, 7 мая 1901 года Л. Н. Толстой написал в своём дневнике:

«Видел во сне тип старика, кот[орый] у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющ[ий] и ругатель. Я в первый раз ясно понял ту силу, к[акую] приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Х[аджи] М[урате] и М[арье] Д[митриевне]».

Читая «Хаджи Мурата», убеждаешься, что своё намерение относительно этих действующих лиц автор осуществил.

В том же произведении, классическом по краткости и значительности повествования, применены также характерно чеховские приёмы описания движения в пространстве. Вот весьма выразительный пример:

«Яркие звёзды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголённых ветвей дерев». Этот соотносительный, ассоциативный образ близок к машущим в степи крыльям ветряка и движению брички по степной дороге.

О сущности этого приёма А. П. Чехов писал своему брату Александру:

«В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина.

Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звёздочкой мелькало стёклышко от разбитой бутылки и покатила шаром чёрная тень собаки или волка и т. д. Природа является одушевлённой, если ты не брезгуешь употреблять сравнения явлений её с человеческими действиями и т. д.»

В числе изобразительных средств Чехов особенно высоко ценил средства ассоциативного порядка, так как справедливо считал, что они более всего достигают цели: расшевеливают читателя, возбуждают его фантазию, делают чутким к восприятию отдельных впечатлений и целостных картин.

Большая заслуга Чехова состоит в том, что он не только значительно расширил круг художественных ассоциаций, вызываемых образом (в большей или меньшей мере это делает каждый художник), но и в том, что он несравненно шире и полнее, чем кто-либо до него, использовал впечатляющую силу изобразительных средств ассоциативного порядка для создания цельных картин. В каждом его произведении резко выражено, остро ощутимо единство поэтического настроения, каким оно проникнуто от начала до конца.

Конкретный разбор художественной формы «Степи» в неразрывной связи с идейным содержанием этого произведения убеждает, что при всех резко индивидуальных особенностях чеховского слога в нём есть отдельные стороны, черты, элементы, присущие и другим истинным мастерам литературы, свойственные и другим русским классикам прошлого века. Иными словами, слог есть категория не целиком, не до конца инди-

видуальная, — она содержит в себе одновременно и признаки преемственно родовые. Белинский признавал это единство противоположностей и хотя говорил отдельно о слоге Лермонтова, о слоге Гоголя, но в своём определении слога отмечал и общие признаки. Это очень важно помнить нам, советским писателям и критикам: метод социалистического реализма требует овладения литературным наследием прошлого в духе ленинского понимания преемственности и наследования. Нельзя не видеть того, что свойственные чеховскому слогу краткость и богатейшая ассоциативность образов присущи таланту вообще и мастерам великого русского реалистического искусства — в частности.

Насыщенность образа идеями, его социальная значимость, отсутствие в нём всего лишнего и отвлекающего, богатство и подвижность ассоциаций, вызываемых образом, это и есть главные источники краткости повествования. Способность отбирать самое существенное и характерное в явлениях бесконечно многообразного потока жизни, отбрасывая всё случайное, мелкое, нетипичное, невыразительное, — важнейшая предпосылка для лепки живых образов, для создания типов.

Литературный тип, как художественное обобщение и раскрытие сущности социально-исторической силы, является особенно сильным возбудителем фантазии читателя.

В художественном образе общее и индивидуальное слиты между собой нерасторжимо. Главное средство, при помощи которого художник достигает того, что созданные им индивидуальные образы кристаллизуют в себе социально значимое, типическое в жизни, есть глубокая психологическая характеристика изображаемых типов.

Углублённо раскрывая душевный мир своих героев, рисуя индивидуальные, чётко обозначенные характеры, сложившиеся в определённой социальной среде, он правдиво, художественно-проникновенно воспроизводит одновременно и самую эту среду и такие психологические черты, которые хотя порождены ею, но могут существовать и в другое время и в другой социальной среде.

Изображение индивидуальности типов, если оно психологически глубоко, не сужает размах обобщения, а расширяет его.

В результате этого происходит следующее. В составе характерных черт, из которых складывается литературный тип, мы сплошь и рядом распознаём отдельные типические черты, наблюдаемые нами в жизни в разнообразнейших сочетаниях. Есть сходство отдельных типовых черт, но нет тождества в их сочетании. Совсем не обязательно, чтобы сами сочетания, в каких мы встретили сегодня в жизни эти сходственные типовые черты, полностью и безраздельно совпадали с теми сочетаниями, которые дал художник в изображённом им лице. Чаще всего такие сочетания, как время и место действия, среда, подробности сюжета и т. д., именно не совпадают. Однако достаточно сходственности отдельных типовых черт. Эта-то сходственность и есть начальное звено ассоциативной цепи, развёртываемой нами самостоятельно. Вот почему мы имеем возможность литературные типы, действовавшие не в наше, а в иное время, в иной среде, в иных обстоятельствах, примерять к нашему времени, к новой среде и новым обстоятельствам. Нетрудно в этом убедиться, продумывая примеры использования литературных образов русской классики прошлого века (скажем, Гоголя) в выступлениях Ленина и Сталина.

Художественные открытия Чехова сохраняют огромное значение и для наших писателей.

Новаторство Чехова возникло, разумеется, не на «пустом месте». В описании взаимосвязанных физических и психических состояний мальчика в повести «Степь» явно сказывается школа Льва Толстого. Известно, как исключительно высоко ценил Чехов лермонтовскую прозу, особенно «Тамань», какое влияние оказал Лермонтов на формирование индивидуального слога Чехова. Движение художественной формы по внутренним законам своего развития в том и состоит, что художник любой эпохи в поисках современной ему и наиболее совершенной формы располагает в качестве предпосылки сокровищницей мыслей и художественных форм, переданных ему прошлым. Из критического усвоения наслед-

ства он исходит для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому истинный художник имеет не только предшественников, но и продолжателей.

«На меня влияют, — говорил Михаил Шолохов, — все хорошие писатели. Вот, например, Чехов. Казалось бы, что общего между мной и Чеховым? Однако и Чехов влияет. И вся беда моя и многих других в том, что ещё влияют на нас мало... Чехов никогда не выпускал полуфабрикатов. И брака, у него не найдёшь».

Своеобразие чеховской формы Горький определял так: «Чехов, как стилист, единственный из художников нашего времени, в высокой степени усвоивший искусство писать так, «чтобы словам было тесно, мыслям — просторно». И если бы я начал последовательно излагать содержание его рассказа, то моё изложение было бы больше по размерам, чем самый рассказ. Это может показаться смешным. Что ж? Правда очень часто кажется смешной».

Далее Горький писал об удивительно красивой и «до наивности» простой форме чеховской речи, утверждал, что, как стилист, Чехов недосыгаем, и называл его имя в числе создателей русского литературного языка вслед за именами Пушкина и Тургенева.

Особенно восторженно отзывался Горький в разное время о повести «Степь». Он говорил, что Чехов её «точно цветным бисером вышил», что это — «рассказ ароматный, лёгкий и такой, по-русски, задумчиво грустный». приводил из «Степи» отрывки описания грозы, на этом примере показывая, как «прославленные авторы... рисуют словами», как здесь «всё — ясно, слова — просты, каждое — на своём месте».

О том, что опыт создания «Степи» может быть полезен писателям-«сверстникам», Чехов писал в письме к Григоровичу шестьдесят пять лет назад, когда огромные «залези красоты» в человеке и в природе оставались «ещё нетронутыми». Освоение всего лучшего, что принёс с собой художественный опыт прошлого, плодотворно и сегодня, когда бывшие возможности нашей Родины всё более превращаются в реальную действительность.



# ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

*В областях и республиках нашей страны выходят десятки литературно-художественных альманахов. Наряду с авторами, чьи имена уже известны читателю, в них печатаются молодые и начинающие литераторы. В разделе «Письма из редакции» будут помещаться открытые письма авторам произведений, появившихся в альманахах, которые поступили на отзыв в редакцию «Нового мира». В отдельных случаях в письмах будут разбираться и оцениваться не только напечатанные произведения, но и рукописи начинающих поэтов, прозаиков, драматургов.*

Брянск,  
ул. Карла Маркса, 3  
Алексею Козину

ПО ПОВОДУ ПЬЕСЫ  
„СИЛЬНЕЕ ЛЮБВИ“

Дорогой товарищ Козин!

Я прочёл Вашу пьесу «Сильнее любви», напечатанную в брянском альманахе «Край родной», и у меня возникло желание откровенно побеседовать о ней с Вами. Побеседовать дружелюбно, объективно, без ненужных для Вас фальшивых комплиментов, о достоинствах и недостатках Вашей работы, тем более, что и достоинства и недостатки эти являются характерными не только для Вашей пьесы, но и для многих других произведений нашей молодой драматургии.

Мне кажется, что Ваша пьеса ещё далека от законченности. Я думаю, что она имеет право на сценическую площадку, но при условии значительной работы над «дожатием» её. Это и облегчит театральную судьбу пьесы и избавит Вас от возможных неприятных, но основательных упреков.

Неотъемлемое достоинство пьесы, как и пьес других драматургов вашего поколения, заключается в безусловном и не поверхностном знании положенного в её основу материала. Опыт семинаров молодых драматургов, проводимых комиссией по драматургии Союза советских писателей, позволяет с удовлетворением отметить, что подавляющее большинство пьес участников семинаров отличается хорошим, конкретным знанием жизни, стремлением к максимально правдивому её изображению. Читая эти зачастую ещё неловкие и художественно несовершенные произведения, радостно ощущаешь, что они написаны не гостролёрами, летающими «галопом по европам» в творческих командировках, а людьми, долго варившимися в гуще жизни, активными её участниками, а не мимобегущими зрительями.

Знание колхозной жизни, ненадуманность и несомненность материала, вложенного в пьесу, к сожалению, в значительной степени перечёркивается дефектами чисто творческого порядка, бросающимися в глаза при её чтении. В руках у Вас был благодарный материал, но по неопытности, по слабому ещё владению законами драматургического мастерства Вы многое ценное из этого материала упустили сквозь пальцы.

Название пьесы «Сильнее любви» должно определять её идейный замысел. Это название заставляет предполагать, что речь должна пойти о каком-то большом чувстве, о какой-то значительной идее, которая владеет всеми помыслами героя пьесы, перед которой отступает всё личное, перед которой должна отступить даже любовь. Таким чувством может быть чувство гражданского долга, патриотизма, сознание своей ответственности за дело того коллектива, в котором живёт и работает герой. В мировой драматургии есть немало замечательных произведений, написанных на тему конфликта между общественным и личным.

В чём же заключается конфликт Вашей пьесы? Её герой, Куприянов, увлекаемый сознанием своего общественного долга, уезжает из города работать председателем колхоза в своём родном селе. Идя на это, он рискует разрывом с любимой женщиной,



которая под влиянием своей мещанки-матери непримиримо враждебно встречает его решение, не желая расставаться с приятной городской жизнью ради «тусклого прозябания в деревенском захолустье».

Конфликт задуман резкий, взятый из жизни, убедительный. Но, декларированный отчётливо во второй картине пьесы, он неожиданно и необъяснимо затухает в дальнейшем, не получая никакого действенного развития. Жена Куприянова больше в пьесе не появляется, и в следующих семи картинах о ней лишь изредка, мельком, упоминают другие персонажи. И как это ни странно, но у Вас получилось с основной линией пьесы то, от чего настойчиво предостерегал драматургов Чехов. Повешенное в начале пьесы на стенку «ружьё» так и осталось лишним предметом, не «выстрелив» в конце пьесы. До такой степени безликой и бездейственной осталась фигура жены Куприянова, что о ней совершенно забываешь. И когда в финале пьесы в ответ на сообщение друга Куприянова, Андрея Лобачёва, о предстоящем приезде к нему жены Куприянов произносит в зрительный зал заключительную тираду о чувствах, которые сильнее любви, и спрашивает в пространство: «Есть ли они (такие чувства)... у тебя, Алла?» — зрителю приходится напрягать память, чтобы вспомнить Аллу, выветрившуюся из его сознания. Если изъять из пьесы целиком вторую картину и вычеркнуть отдельные упоминания об Алле из других сцен, то пьеса не только ничего не потеряет, но и выиграет в цельности и компактности.

Главный идейный узел пьесы, её конфликт, перемещается таким образом в сторону изображения острой борьбы между новаторскими устремлениями Куприянова в его колхозной деятельности и отсталыми элементами колхоза, возглавляемыми интриганом и склочником Сыромятовым, прежним председателем. При таком неожиданном повороте событий название «Сильнее любви» перестаёт соответствовать содержанию пьесы. Композиционный промах — выключение жены Куприянова из активного действия пьесы — привёл к затуханию основной идеи и подмены её совсем иными мотивами. Нужно либо развивать взаимоотношения Куприянова с женой в действии, проводить их через всю пьесу, либо совсем отказаться от этой линии, которая сейчас в пьесе стала незначущей, побочной.

Если обратиться теперь к образам и характерам персонажей пьесы, то наиболее яркими, выпуклыми и убедительными выступают в ней Сыромятов, Ласточкин и Настя. Это живые люди со своими индивидуальными, неповторимыми характерами, активно действующие в пьесе, направляющие её движение. Наиболее удачен Сыромятов. В нём есть та сложность внутреннего облика человека, без которой в драматическом произведении персонаж превращается либо в условную маску, либо в вялую дидактическую фигуру, являющуюся только рупором авторских мыслей, лишённую плоти и крови. Сыромятов с его тонко и хитро рассчитанным интриганством, с подсиживанием Куприянова всеми возможными способами, вплоть до использования с этой целью проходимца Ласточкина, — персонаж безусловно живой, своеобразный, это Ваша авторская удача, так же как и Ласточкин.

Значительно хуже обстоит у Вас с положительными персонажами. Возьмём хотя бы Куприянова. В конце концов он фигура малодейственная. Больше разговаривает, чем делает дело. На всём протяжении пьесы он произносит вполне правильные, скучно правильные тирады и раздражается самоанализом наподобие тургеневского Рудина, анализируя свои поступки, сомневаясь и колеблясь в своих отношениях к жене, к Ефросинье, к Сыромятову. В нём не чувствуешь твёрдой целеустремлённости, волевых качеств руководителя. И очень прав друг Куприянова, Андрей Лобачёв, когда он говорит, что Куприянов превратился из председателя в плохого директора, то есть, как это подразумевает в данном случае Лобачёв, из человека с творческим огоньком — в добросовестного, но вялого чиновника, не умеющего эффективно использовать кадры, подменяющего всё самим собой и терпящего вследствие этого неудачи.

Таковыми же бледными фигурами проходят в пьесе Ефросинья Прохоровна, Кирилл, Глаша. Они не запоминаются потому, что больше разглагольствуют, чем действуют. Действенная нагрузка в пьесе дана в основном персонажам отрицательного плана. Эта бледность и невыразительность положительных персонажей характерна не только для Вашей пьесы, но и для большинства наших пьес.

«Трёхмерность» положительного героя не достигается ни преднамеренной идеализацией героя, ни навешиванием на него груза моральной дряни, что иногда проповедают некоторые критики. Положительный герой нашей классической литературы никогда не носил в себе микробов гнили и моральной порчи.

Ставшие образцами лучших человеческих свойств герои нашей советской литературы — Чапаев, Корчагин, Зоя, Олег Кошевой, Уля Громова, Мересьев — также не совершают никаких несовместимых с моралью и этикой поступков. И, несмотря на такую кажущуюся «идеальность», они настолько живые люди, что читатели не только верят в их реальное существование, но и в своей жизни стремятся жить по их примеру.

В чём же секрет обаяния этих героев, что делает их подлинными положительными героями?

А то, что писатели наделили их глубокими, сложными, неповторимо индивидуальными характерами, ярким, масштабным, передовым мышлением, дающим им право не только идти в первой шеренге современного им общества, но глубиной и силой своих мыслей и чувств увлекать современников, раскрывать перед ними новые горизонты, помогать расцвету духовных возможностей человека. Положительный герой нашего времени — прежде всего выразитель партийности в литературе, пример коммунистического мировоззрения и поведения, выразитель лучших чаяний народа, осуществляемых партией.

Вот этих качеств, к сожалению, не видно в большинстве положительных героев наших пьес. Не видно и в Вашем Куприянове. Выражают наши положительные герои бесспорные мысли, в уклоны не впадают, а зритель мирно засыпает под их речь, потому что она серовата и пустовата, состоит из общих мест.

Много вредит пьесе и неотработанный, не индивидуализированный язык её персонажей. Кроме Сыромятова, Ласточкина, Семёркиной и Лаврентьевны, все остальные говорят тусклым, вялым языком, однообразным, составленным из стандартных газетных фраз. Это особенно резко проявляется в речевом материале Куприянова. Правильные и дельные мысли Куприянов высказывает удивительно серым и бестемперamentным слогом. Вот, например, разговаривает Куприянов с Ефросиньей Прохоровной, дружественно к нему настроенной, поддерживающей его новаторские предложения. Разговор происходит с глазу на глаз, не на заседании, а в романтической обстановке лунной ночи. И Куприянов говорит: «Урок, и большой урок. Без поддержки партийной организации я простой ноль. Ноль. Какие бы благие намерения мной ни руководили, какие бы полезные дела я ни начинал, будь я семи пядей во лбу, всё равно ноль, если не поддержит партийная организация. Этот урок я сегодня получил».

Мысли правильные, бесспорные, но неужели в обстановке интимного, дружеского разговора человек может говорить так невыразительно, без души, без темперамента? И таких примеров из речевого материала Куприянова можно привести немало.

Действие Вашей пьесы происходит в колхозе. За сорок почти лет Советского государства простые советские люди прошли огромный путь, научились мыслить ярко, глубоко, серьёзно. Наш народ всегда был склонен к афористическому мышлению, к меткому, запоминающемуся, выразительному языку. Эта способность ещё более развилась и окрепла в народе в связи с огромным подъёмом культурного уровня. Приятно слышать, как говорит сейчас деревенское население, какой у него образный, живой, наполненный мыслью язык. Он поражает и увлекает своим своеобразием, он запоминается накрепко, как запоминаются поговорки. А в Вашей пьесе язык диалогов вялый и однообразный, в ней мало таких фраз, как, например, фраза Ефросиньи Прохоровны: «Мы из озера в океан вышли, Матвей, а ты всё ещё веслом грести хочешь». В этой фразе есть свежая, ярко выраженная мысль, и если бы таких мыслей было побольше, пьеса значительно выиграла бы. Драматургу нужно твёрдо помнить основной закон драматургии: сценическая речь должна быть точной, краткой, наполненной мыслью. Сцена не терпит, не допускает пустой, бездейственной, «служебной» фразы. Читая пьесы наших драматургов, порой удивляешься количеству таких ненужных, не играющих никакой роли фраз, не имеющих отношения ни к содержанию пьесы, ни к обрисовке характера персонажа, ни к развитию действия. Люди говорят только

ради того, чтобы заполнить пустое место страницы. И закономерно, что такие лишённые мысли и действительности слова не доходят до сознания зрителя, не запоминаются. И нужно учиться внимательно у наших классиков драматургии, в совершенстве владевших искусством сценической речи.

Почему многие реплики действующих лиц в наших классических пьесах перешли в поговорки, которые мы приводим даже в обычных беседах? Потому, что эти реплики наполнены мыслью настолько яркой и точной, что она врезается в память зрителя на всю жизнь. Вот к такому строению сценической речи и должен стремиться каждый драматург. Сцена, как и природа, не выносит пустоты. И Вам стоит усиленно поработать над речью Ваших персонажей, беспощадно устранив из неё всё лишнее, всё пустое, всё не «играющее» на основную тему.

Московские товарищи, вернувшиеся из Брянска, где они проводили семинары начинающих писателей, говорили, что Ваша пьеса будет ставиться в местном драматическом театре. Я должен ещё раз сказать, что она имеет основания быть показанной зрителю потому, что в основе своей она правдива, она отражает реальные процессы колхозной жизни, реальные характеры колхозников. Но для того, чтобы она прозвучала в полную силу, по-настоящему, как художественное драматическое произведение, Вам необходимо будет серьёзно над ней потрудиться в процессе совместной работы с театром. Люди театра могут дать Вам много ценных практических советов для укрепления композиционной стройности пьесы, большей детализации образов и характеров, по отработке языка. Такая совместная работа с театром вообще полезна для драматурга, особенно когда у него ещё нет за плечами большого драматургического опыта. Работа ряда периферийных театров — воронежского, тамбовского, новосибирского и других — с молодыми драматургами уже дала плодотворные результаты создания полноценных спектаклей на далеко не совершенном материале, который приносили авторы в театр. Мне думается, что и Ваша пьеса, доработанная в хорошем контакте с театром, может стать полнокровной и послужить к созданию ценного и нужного спектакля о людях колхозной деревни.

Я искренне желаю Вам успеха в этой работе, ибо считаю, что при всём несовершенстве пьесы в её теперешнем состоянии у Вас есть главное — умение видеть жизнь глазами её активного участника.

**Борис ЛАВРЕНЕВ.**

Саратов,  
Советская ул., 29, кв. 30  
Борису Озёрному

**ПО ПОВОДУ ЦИКЛА  
СТИХОВ „ЗЕМЛЯ И НЕБО“**

Дорогой Борис Фёдорович!

Довелось мне недавно прочитать в рукописи Вашу книгу «Волга, песня моя», а затем редакция «Нового мира» прислала мне альманах «Новая Волга», в котором напечатан цикл стихотворений из этой книги, объединённый общим названием «Земля и небо». Редакция журнала просила меня написать Вам несколько слов. Хочу это сделать не в порядке наставлений и консультаций, что у нас распространено до излишества, а в порядке товарищеского обмена мыслями, на каковой, по моему мнению, наша литературная жизнь скуповата. Между тем именно таким образом проще всего можно было бы выяснить и устранить многие литературные недоразумения, а главное — сообща подняться на какую-то новую ступень творчества, более соответствующую духу и запросам времени.

Чтение Ваших стихов порождает широкий круг мыслей, выходящих за рамки цикла, поэтому оговорюсь сразу: у меня нет никакой охоты цепляться за отдельные неудачные строки и строфы и на этом основании снабжать Вас привычными советами учиться и повышать мастерство. Копить знания и шифовать искусство художественного письма литератор должен всю жизнь, иначе он очень скоро окажется литератором бывшим, литератором в прошлом времени. Однако же ещё быстрее попадёт он в эту категорию, если, совершенствуя мастерство, будет прилагать его, по образному выражению Маяковского, к выделке поэтических зажигалок. По моему мнению, если гово-

рить вполне откровенно, поэтическая техника в наше время, даже у очень молодых, только входящих в литературу поэтов, стоит на довольно высоком уровне. Презрительный же общий грех наш состоит не только в том, что мы берём для стихотворений первый попавшийся материал и сюжет, уподобляясь нерадивому работнику, который тащит в общий закром непровеянный хлеб, но и в том, что мы иногда сравнительно мало задумываемся над тем, для чего и для кого мы это делаем. Хлеб с мякиной, инвентарная опись фактов и явлений — что может быть парадоксальнее применительно к поэзии, которая по самой своей сути является высшей концентрацией мысли и чувства в художественном образе!

Попутно не могу не заметить, что наряду с этим недостатком — поверхностностью, мелкомыслием — у нас в поэзии (возможно, даже отчасти в порядке протеста против поверхностности) всё явственнее ощущается ещё одна тенденция, не менее опасная по своим последствиям как для поэзии в целом, так и для самих поэтов. Заключается она в стремлении к мелкому душеустройству, в ложном глубокомыслии и утомительно длинных декларациях, которые хотя и произносятся важным тоном и с наморщенным челом, но из которых ни больших чувств, ни серьёзных выводов не вытекает. Так называемый «лирический герой» такого рода произведений — это некто, подобно поручику Кижэ, «вида не имеющий», но при всём том иногда всплескивающий ладошками в изумлении перед глубинами и извивами своего «Я», а чаще уныло и скучно переживающий свои собственные огорчения. У него нет ни ярости, ни гнева, ни буйного порыва, он только рефлектирует и умничает. Самое же главное в том, что он зачастую изолирован от реальных деяний и существует в своём обособленном от общей жизни мирке.

Я не буду называть произведений, в которых это положение зафиксировано с предельной ясностью, — Вы, товарищ Озёрный, без труда найдёте их сами. Сознаю даже, что я, возможно, несколько полемически заострил свою мысль, но, тем не менее, могу поручиться, что она небезосновательна. А чем же тогда объяснить недостатки нашей поэзии, которые признаются всеми? Если мы действительно реалисты, да ещё социалистические реалисты, нам незачем закрывать глаза на правду, а правда такова, что при очень большом числе способных и талантливых поэтов мы имеем очень мало произведений, которые приходятся по душе читателю.

Хорошо было бы, если бы наша критика бесстрашно и ясно поставила эти вопросы, но кажется, что это всё ещё остаётся делом будущего. И с литературными спорами у нас получается плохо — поначалу всё выглядит многообещающе, а потом мы на самых серьёзных вопросах увязаем, как мухи на липкой бумаге, бьём крыльями и жужжим каждый там, где прилип, а дела сдвинуть не можем. И всё-таки мужественное осознание реальных трудностей в нашей поэзии должно прийти — поверх наших голов, если мы будем топтаться на месте, замороженные мелкой игрой самолюбий, поверх голов наших критиков, если взгляд их будет обрываться куце на сведениях каждодневного поэтического баланса.

В одном из своих писем М. Горький писал: «...люди честные, люди, верующие в свои силы, переделывают и победу переделают всё, отягощающее жизнь человеческую, — в красивое, яркое, простое; так это было и будет всегда...» Нам нужно не только победно переделать то, что отягощает литературную жизнь, но и показать в поэзии людей, переделывающих победно самую жизнь, нам нужно своей поэтической работой помочь людям в этом великом деле. Мало лишь показать, как человек мучится, страдает, борется, радуется, — нужно это сделать так, чтобы помочь человеку преодолеть страдания во имя радости и победы. Прежде человека, несущего свет знания, сравнивали с пахарем, взрыхляющим и засевающим поле человеческой души. Нам нужно пахать по возможности без огрехов и засеивать отборным, золотым зерном максимально высокой всхожести!..

Всеми этими раздумьями я не мог не поделиться с Вами: бессмысленной была бы работа — ставить Вам за стихи отметки по пятибалльной системе, не стоило бы садиться за письмо, если бы не возникло более серьёзных соображений. Человек Вы способный, накопивший немало опыта, и если читатель иногда не получает от Вас того, чего в полном праве ожидать, то вина за это лежит не только на Вас, хотя каждый из нас отвечает за свою работу в первую очередь и в полной мере, — на Вашей

работе, мне думается, сказались и некоторые общие трудности, существующие в советской поэзии. Они явственно прослеживаются и в стихах цикла «Земля и небо».

Стихи этого цикла очень интересны по замыслу — показать власть человека над природой, его гордое стремление в небо. И в какой-то части каждое из них выполнено в хорошей манере. Но только — в части. В качестве примера можно привести хотя бы следующие строки.

Над крыльями, в ясные ночи,  
Горит золотая звезда...  
Ты знаешь, любимая, очень,  
Я очень скучаю всегда,  
Когда тебя нету со мною  
По месяцу и по пяти...  
Не ты ль это стала звездой,  
Что ярко мне светит в пути?..

Эти стихи просты по языку, ясны по мысли, радуют чистотой человеческого чувства и ощущения. Если бы Вы окончили стихотворение восьмой строкой, это была бы неплохая миниатюра. Правда, у читателя осталось бы некоторое ощущение недосказанности, с одной стороны, и привычности уподобления любимой — звезде, но это не самая большая беда в данном случае. Вы решили расширить и рамки зримого мира в стихотворении и рамки эмоциональные. Вот тут-то и вступила в действие широко распространённая у нас склонность к скороговорке и к поверхностному перечислению фактов и явлений. Вы пишете далее:

Я, в возрасте зрелом и мудром,  
Люблю тебя только одну,  
Но если вдруг скажут, что утром  
Мне надо лететь на Луну,  
Что делать? Характер упрямый,  
А почта — надёжная связь,—  
Тебя извещу телеграммой,  
Быть может, на годы простясь...

И целостность ощущения уже разбита, одна за другой возникают головоломки: почему вдруг — лететь на Луну, да ещё внезапно? Наверное, тот, кто первым полетит на Луну, будет знать об этом не только с вечера, а, пожалуй, и за год. И уж, конечно же, будет иметь возможность проститься с любимой не по телеграфу. Зачем же навречены тут эти ужасы? В них не веришь как в нечто реальное, а стало быть, убывает и доверие к истинности чувства, всё начинает выглядеть наигранным... И при чём тут упрямый характер? Упрям и мул, но из этого ещё ничего не следует. В данном случае нужен человек дерзкой, смелый, готовый к подвигу. Значит, фраза об упрямом характере поставлена впопыхах, непродуманна. Далее, для чего затесалась почта, если речь идёт о телеграмме? Всё-таки мы привыкли письма получать по почте, а телеграммы — по телеграфу. И вообще строка о почте и надёжной связи — лишняя, она не работает на стихотворение, а скорее торчит, как гвоздь из забора...

После всего этого никакого доверия и волнения не вызывает уже и концовка стихотворения:

Но даже в пути по вселенной,  
Где мир не охватишь мечтой,  
Ты будешь всегда неизменной  
Моею звездой золотой!

Сказано красиво, но настолько отвлечённо, декларативно и общо, что это уже не вызывает ни серьёзных размышлений, ни эмоций. Правильно начатое стихотворение в силу нашего пристрастия к поверхностному осмыслению явлений и лирическому суесловию оказалось сведённым на нет...

Энергичные, многообещающие строфы есть в первом стихотворении цикла:

Нашла гроза. Не знаю, всем ли  
Пришлось изведать крыльев дрожь,  
Когда в окно видать не землю,

А только ветер... только дождь...  
И чувствуешь — дыханья мало  
И пульса явственной каприз,  
А тут бросает вновь в провалы —  
То вниз, то вверх, то снова вниз.

Борьба лётчика, особенно на современном самолёте, со стихией могла бы породить мужественную и грозную поэтическую картину. Этой борьбы Вы не показали — ни борьбы с её трудностями, ни победы с её торжеством. Получился, так сказать, некий статистически средний вылет. Порочного в этом стихотворении ничего нет, но читателя оно захватить и взволновать не может. Это обычно и случается там, где нет яркого характера, который вызывает или желание подражать или ненависть, смелой мысли, рождающей благодарный отклик, мужественного деяния, которому хочется позавидовать, сильного чувства, на которое откликается душа. Можно сказать безошибочно: если нет ничего этого, нет и поэзии, хотя бы налицо были строки, строфы, рифмы, метафоры, эпитеты и т. д.

В хорошей повествовательной форме написано стихотворение «От моторов полыхало жаром». Здесь всё реалистично, правдиво, точно и убедительно. А концовка скомкана, невнятна: приятель торопился лететь, потому что в Орле был приглашён на свадьбу; непогода задержала самолёт в пути — на свадьбу он не попал и выпил в Краснодаре, послав телеграмму... И вдруг — неожиданная и странная сентенция:

Если вы узнаете о свадьбе,  
Пожелайте счастья молодым!  
Отойдёт тревога прочь. И — скука прочь!  
В золотом сиянье станет ночи..

Реальность, которой было убедительно и привлекательно стихотворение, исчезла, полился елей. И не потому, очевидно, что Вам самому хотелось этого, а потому, что Вас, товарищ Озёрный, захватила и в данном случае стихия декларативности.

Лучшими стихами в Вашем цикле мне кажутся стихи «Плывёт под крыльями Саратов» и «Не ждал, что это будет скоро». И в первом и во втором стихотворении живёт мысль, полная энергии, любовь к жизни, готовность бороться, трудиться, итти. И в композиционном отношении эти два стихотворения являются наиболее цельными и завершёнными, как бы в подтверждение того ясного правила, что глубокая мысль не мирится с поверхностными фактами и проходными строками, а сама принуждает поэта к экономии слова и внутренней законченности произведения.

Каков же итог?

Вы, товарищ Озёрный, поэт, который может писать хорошо. Цикл Ваших стихотворений говорит об этом убедительно. И в то же время Вам, как и любому из нас, для того, чтобы сделать следующий шаг, нужно отказаться от чересчур лёгкого подхода к фактам и явлениям, отказаться от описаний всего, что попадает в поле зрения, отбирая только то, что действительно многозначительно и характерно. А пуще всего нужно бояться так называемого лирического словолейства, то есть таких стихов, в которых без конца рифмуются всякие рассуждения по поводу и без повода, стандартные истины, лозунги, общие фразы. Мы уже достаточно грешили этим, подавая дурной пример молодым. Пора, как говорят, остепениться. Горький сказал, что литература есть живопись словом — нужно, значит, живописать.

Как я уже сказал, я не собирался ставить стихам Вашего цикла отметки — я хотел поделиться с Вами некоторыми соображениями более общего порядка, возникшими при чтении стихов. Если эти соображения хоть в какой-то мере пригодятся Вам в дальнейшей работе, буду искренне рад.

Примите мой привет и пожелание творческих успехов.

**Н. ГРИБАЧЕВ.**



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**С. Смирнов.** Герой и автор.— **М. Карпович.** Военское мужество.— **О. Грудцова.** «Мирный город».— **Ал. Исбах.** Живые страницы.— **К. Лапин.** «Служили два товарища...».— Подполковник **Н. Немиров.** Только первый шаг.— **В. Тельпугов.** Разведка продолжается.— **Б. Шиперович.** Необходимый справочник.— **В. Кутейщикова, Л. Осповат.** Рождение эпопей.— **Ю. Манн.** Интересный критический очерк.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Дворцов.** Американский империализм и германский вопрос.— **Б. Шведов.** «Чёрная книга» о парижских соглашениях.— **А. Козлов.** Голос честного художника.— Доктор медицинских наук **Г. Пицхелаури.** Медицина в жизни Чехова.— **Л. Архангельский.** Увлекательные книги.— **Ю. Давыдов.** Русский флотоводец адмирал Бутаков.— Кандидат экономических наук **Д. Валентей.** «Да будет хлеб!»

## Литература и искусство

### Герой и автор

**О**дин из персонажей повести Евгения Дырина—комиссар Ларичев—говорит о характере, который вырабатывает в лётчике его профессия: «...Побывав в холодном небе, всё-таки не приспособленном, несмотря на неописуемую красоту свою, для существования человеческого, лётчик приходит на землю и каждый раз заново видит её чистой и прекрасной, тёплой и ласковой. И в людях он находит только лучшее, только душевное и доброё».

Было бы неправильно сводить к этому определению характер героя повести — Ивана Полбина, замечательного советского лётчика-бомбардировщика, павшего смертью храбрых в последний год Великой Отечественной войны. И всё же, пожалуй, эти слова Ларичева являются в известной степени ключом к образу Полбина. И эти же слова об умении находить в людях «только лучшее, только душевное и доброе» можно в полной мере отнести к образу самого автора, безвременно умершего молодого военного журналиста и писателя Евгения Дырина, человека, страстно любившего авиацию и превосходно знавшего жизнь и

быт военных лётчиков, их славу и нелёгкую профессию.

В повести Е. Дырина отсутствуют отрицательные персонажи. Лишь в первой части книги сравнительно ненадолго появляется начальник учебно-лётного отделения школы Рубин, командир, не понимающий задач развития советской авиации, закосневший в устарелом убеждении, что лётчиками могут стать лишь немногие, избранные. Впрочем, Рубин тоже вполне честный человек, он только отстал от требований жизни. Все же остальные герои — и главные и эпизодические — все без единого исключения это хорошие, славные советские люди, прямо и открыто идущие по своей жизненной дорожке.

И вместе с тем книга вовсе не оставляет впечатления лакировки. Удивительно светлый, оптимистический колорит повести, сохраняющийся до конца, несмотря на то, что многие из её действующих лиц, и в том числе главный герой, гибнут в бою с врагом, воспринимается, как точка зрения автора, выражение его взгляда на жизнь и на людей. И никто из героев повести не выглядит искусственно приглаженной, ходульной фигурой, для каждого из них

Евгений Дырин. «Дело, которому служишь». Повесть. «Молодая гвардия», М.

автор сумел найти живые, характерные чёрточки, делающие их людьми во плоти и крови. Читатель полюбит и запомнит и горячего, самолюбивого «лихача» Михаила Звонарёва, и хозяйственного, хитроватого Кривоноса, и юношески наивного, но уже проявляющего крепкий характер Шурика Пашкова, и Панина, и Белаша — скромных, простых юношей и смелых, талантливых лётчиков, и многих других боевых товарищей Полбина.

Резко выдвинутый на передний план повести, встаёт перед нами образ самого Полбина.

Лишь в прологе да в нескольких отступлениях автор говорит о тяжёлом детстве крестьянского сына и деревенского пастушонка Вани Полбина и его комсомольской юности. Непосредственно же мы встречаемся с главным героем в 1931 году, в тот момент, когда Полбин становится лётчиком. Вместе с ним мы проходим до самого конца его жизненного пути. Мы видим Полбина за штурвалом самолёта и дома, в семье, на совещаниях в штабе и в дружеском кругу товарищей, в мирные дни и на войне. Мы видим его рядовым пилотом, командиром звена, отряда, полка и, наконец, генерал-майором авиации, командиром крупного авиационного соединения.

Меняются не только знаки различия на петлицах или звёздочки на погонах, как это порой бывает с иными героями военных повестей и романов. Нет, мы ясно видим, как от главы к главе, от одной части повести к другой растёт профессиональное мастерство лётчика, умножается боевой опыт воина и вместе с тем созревает, закаляется и мужает в испытаниях характер человека. Ощущение значительности образа Полбина приходит не сразу, исподволь автор заставляет нас почувствовать, что перед нами — замечательный лётчик и человек недюжинных качеств, цельная, богатая натура. Эта книга по справедливости ставит Полбина в один ряд с такими прославленными лётчиками нашей страны, как Чкалов, Гастелло, Покрышкин. Заметим, кстати, что описанные в книге мимолётные встречи Полбина с каждым из этих трёх лётчиков остаются в памяти читателя. Несколькими скупыми штрихами автор ощутимо показал нам и сильного, уверенного в себе, весёлого и дружелюбного Чкалова, скромного и молчаливого Гастелло, сдержанного Покрышкина.

Большая внутренняя теплота Полбина, умение находить в людях «задушевное и доброе» отнюдь не делают его прекрасным человеком, не приносят в образ никаких черт умиленности или слащавости. Наоборот, есть в Полбине какая-то жёсткая и непримиримая требовательность к себе и к другим, идущая от сознания большой ответственности перед жизнью, людьми, перед делом, которому он служит, и принимающая к концу книги характер известной суровости. Но и тогда в командире авиационного корпуса, гвардии генерал-майоре авиации, уверенно и властно управляющем крупным воинским соединением, мы не перестаём ощущать того обаятельного и сильного, кристально чистого, искреннего и прямого, любящего жизнь и людей молодого лётчика Ивана Полбина, которого успели узнать и полюбить ещё в начале повести.

То, что главным героем повести является не вымышленный, а реально существовавший и к тому же широко известный нашим современникам человек, несомненно, создавало серьёзные трудности для писателя. Необходимость как можно строже придерживаться действительной биографии исторического лица ставила пределы фантазии автора.

Подлинное знание материала помогло Е. Дырину победить эту трудность. И не только её. Писать об авиации, о лётчиках — это значит писать и о сложных машинах, о трудной и малопонятной для непосвящённых технике лётного дела или тактике воздушного боя. Хорошее знание предмета, свободное владение материалом позволили автору просто и ясно, без излишней детализации рассказать о ряде проблем техники или тактики бомбардировочной авиации. И пусть, скажем, неискущённый читатель неточно представляет себе, как выглядят струбины, которые забыли снять со своего самолёта лётчик Пресняк и техник Файзуллин, зато он прекрасно понимает сущность аварии, случившейся с машиной при взлёте.

Даже такую чисто специальную проблему, как разработка Полбиным и его товарищами нового боевого порядка при пикировании со всеми последовательными сложными перестроениями, автор сумел сделать для читателя вполне понятной, и мы с интересом следим, как постепенно возникает этот замысел, как шлифуют и совершенствуют его лётчики-новаторы.



Есть в книге разговор Полбина с генералом Крагиным, где Полбин справедливо сетует на то, что у нас очень мало книг о лётчиках. Он говорит:

«— А надо. Вот у моряков какая литература: Станюкович, Новиков-Прибой, десятки других книг. Интересные книги о романтике трудной профессии. А ведь мы им сродни, наша работа в голубом океане разве не интересна? У меня сын растёт, в авиацию

пойдёт, возможно. Кто ему в юности хорошую книгу о лётной профессии даст?»

Можно с уверенностью сказать, что повесть Евгения Дырина является именно такой интересной книгой «о романтике трудной профессии» авиатора. Это хороший вклад в пока ещё молодую литературу о нашей мощной авиации, о наших замечательных лётчиках.

С. СМИРНОВ.

★

## Воинское мужество

На обложке этой книги изображены могучие советские танки. Одолевая снежную целину, в зареве грозных пожаров победоносно идут они по дороге войны. Короткое посвящение: «Войсковым врачам, моим боевым товарищам» — уточняет авторский замысел. Раскрывая книгу, читатель уже подготовлен к тому, что среди героев её видное место займут «люди в белых халатах» — военные врачи, фельдшеры, санитары.

С первых страниц книги замечаешь, что писал её «человек бывалый», вложивший в неё живые чувства и наблюдения — пережитое на войне. Кажется, что он рисует только то, что прошло перед его глазами. Всё очень просто и потому жизненно, достоверно.

Книга начинается с прихода в гвардейскую танковую бригаду нового начсанбрига — капитана медицинской службы Филиппова. Это было в январе, а к марту, когда на полях ещё не успел стаять снег, все события, составляющие сюжетную канву повествования, уже произошли. К тому же они вполне обычны для военных лет. Бригада готовится к наступлению, наступает, потом насмерть стоит в круговой обороне возле польской железнодорожной станции Сянно, не выпуская из «котла» немецко-фашистские войска.

Автор не старается каким-нибудь хитрым сюжетным ходом осложнить ясное течение повести. Ему важнее другое. Показать тяжкий, будничны́й труд войны, заглянуть в души людей, не жалеющих для Отчизны ни крови своей, ни жизни, — такова, повидимому, главная цель писателя. Недаром всё ярко героическое в книге (спасение фельдшером Чащиной раненого из горящего танка,

доблестная гибель замполита Загрекова, подвиг сержанта Соболева, заслонившего своим телом офицера) описано сдержанно и сильно. В большинстве случаев автору удаётся убедительно мотивировать подвиг своего героя, сделать этот подвиг естественным проявлением характера. Когда замполит Загреков в решающую минуту боя за переправу командует: «Коммунисты, за мной!» — и гибнет, проложив путь победе, это воспринимается не только как символ бесстрашия партийного руководителя. Большую душу умного, волевого и скромного человека, верного солдата партии, автор сумел раскрыть в его поступках и мыслях. Он заставил поверить в реальность именно такого Загрекова и полюбить его.

Удался в общем и центральный персонаж повести — Филиппов. Ему посвящено не только наибольшее число страниц, но отдалено, несомненно, и сердце самого автора. Правда, автор не скрывает лёгкой иронии, изображая ошибки и неудачи капитана на первых порах, его мальчишескую порывистость и преувеличенную склонность к самоанализу. Но, мягко осуждая отдельные слабости Филиппова, он показывает и сильные его стороны, ту чудесную боевую закалку, которую молодой врач получает в дружной семье танкистов. Тонко написаны эпизоды, в которых Филиппов получает предметные уроки «гвардейской хватки» и у комбрига Бударина, и у замполита Загрекова, и у рядовых танкистов. Главного своего героя В. Дягилев стремится показать в развитии, в становлении и тем отличает его от довольно статичного образа войскового врача в ряде послевоенных романов и повестей.

Тепло и душевно обрисованы в «Гвардейцах» скромные, безотказные помощники Филиппова — санитар Сатункин и шофёр

Годованец. Привлекателен образ командира медсанвзвода Рыбина, застенчивого и мужественного человека, который под видом «трофеев» возит чемодан, наполненный записями научных наблюдений.

Однако рядом с удачами — образы шаблонные, положения надуманные. Недалеко ушёл от стандартных образцов «несгибаемых командиров» комбриг полковник Бударин. И, даже заставляя его играть на скрипке, автор не добивается большего. Бесшабашная удаль и грубоватость начальника разведки Цырубина тоже из разряда штампов.

Писатель справедливо держится высокого мнения о духовных и воинских качествах своих главных героев. Он повествует о самом важном — о беспримерном патриотическом горении, которое дало советским воинам непобедимую силу.

Но плохо то, что большие идеи В. Дягилев иногда обедняет, сбиваясь порой на сусальность, впадая в ложный патетический тон.

Вот как неправдоподобно изображено, например, состояние танкиста Соболева после того, как его, обожжённого, контуженного, вынесли из подбитого танка: «Известный всей бригаде гвардии сержант Соболев сидел на снегу и улыбался широкой улыбкой». На предложение лечь в медсанбат Соболев отвечает:

«— Мне самое лучшее лекарство — в танке сидеть, за рычагами».

Другой пример. Замполит Загреков приходит навестить раненых.

«Раненые перестали стонать, — читаем мы. — Те из них, что могли встать, поднялись на ноги, остальные сели, опершись руками об пол. Обожжённый перестал метаться!» (!)

Разумеется, Загреков — отличный человек, его уважают, любят танкисты. Но зачем же наделять замполита сверхъестественными свойствами?

Таких «украшательств» в повести, к сожалению, немало. К тому же автор часто небрежен в языке, портретные характеристики ряда его героев выполнены по трафарету. Фельдшер Чашина — «хрупкая на вид женщина», зато её жених, майор Цырубин, по привычному контрасту «высокий, крутоплечий... с огромными, увесистыми, как кувалды, руками». Из повести мы почти ничего не узнаём о подруге Филиппова, Наташе, но о том, что она «голубоглазая, с длинными русыми косами, уложенными в тугую веноч», автор всё-таки успевает сообщить.

«Гвардейцы» — первая повесть В. Дягилева. То настоящее, полноценное, что содержится в книге начинающего писателя, зовёт его к более взыскательному и более плодотворному труду.

М. КАРПОВИЧ.

★

## „Мирный город“

Больше трёх лет прошло после появления в журнале «Знамя» первой книги романа Г. Берёзко «Мирный город». За это время, естественно, в памяти несколько стёрлись образы героев, подробности содержания этого произведения. Но недавно Воениздат выпустил вторую книгу романа, и как только начинаешь читать её, возникает такое чувство, будто встретился с давним знакомым.

«Мирный город» — это роман о первом этапе Великой Отечественной войны: о разгроме фашистов под Москвой и о начале нашего контрнаступления.

В публицистических отступлениях автор широко излагает стратегические планы Верховного Главнокомандования, рассказывает

о положении на всех фронтах. И хотя в книге показаны события на одном из участков боёв, в представлении читателя возникает обширная картина всего хода войны с гитлеровской Германией в то незабываемое время.

Действие романа развивается в городе Т. (очевидно, Туле), охраняющем подступы к Москве.

В центре книги — семья Громовых. Молодой инженер-конструктор Павел Громов уходит в рабочий полк, сформированный на заводе. Отец Павла, старый токарь Алексей Васильевич, не в силах выносить своего бездействия в критический момент жизни Родины; с трудом передвигая больные ноги, он бредёт на завод и становится к станку. Приехавшая из Москвы и не заставшая мужа жена Павла, Наташа, также идёт работать на завод. Сестра Алексея Васильевича

Г. Берёзко. «Мирный город». Военное издательство Министерства Обороны СССР, М. 1954.

возглавляет уличный комитет, организованный домохозяйками. Автор вводит в повествование множество героев. Это кадровые военные, заводские инженеры, рабочие, шахтёры, партизаны, домохозяйки, школьники — люди самых различных возрастов и профессий. Все они с одинаковым воодушевлением, без всякой позы и громких слов борются за счастье Родины. С особой рельефностью в романе проведена мысль о сплочённости советского народа, о единстве фронта и тыла.

Уже в первой книге начала вырисовываться тема могущества любви, побеждающей страх, опасность, смерть. Во второй книге эта мысль звучит ещё отчётливее и убедительнее. В любви черпают герои силу и стойкость, любовь вдохновляет их на подвиги. Книга пронизана гуманизмом, чувством ответственности, тревоги героев за судьбы, казалось бы, вовсе посторонних людей. По всему роману рассыпаны детали, отражающие человеколюбие действующих лиц, способность печалиться горем или радоваться счастью других людей. Стоит вспомнить хотя бы, как командир рабочего полка майор Чашкин решил послать Павла Громова на завод для ремонта оружия именно потому, что у Павла там отец и жена, и как доволен был майор «тем, что в его власти оказалось осчастливить человека». С каким душевным тактом начальник разведки скрыл от Володи Тихонова, что важное донесение, которое он принёс, испытывал жестокие мучательства, было уже доставлено ранее партизанским отрядом.

Для романа «Мирный город» характерна обстоятельность, точность, чувствуется стремление автора не опустить важной для раскрытия душевного состояния героя подробности обстановки. Иной раз один-два выразительных штриха помогают автору перенести читателя в изображаемый мир. Разве не возникает в нашем сознании представление о быте солдат, стоявших в ближнем тылу, когда мы читаем о таких деталях, как «...дымок баньки, истопленной бойцами... солдатское, развешанное на плетне бельё, стучавшее под морозным ветром, как фанера...»

Рассматривая композицию романа, нельзя не заметить, что некоторые сюжетные линии оказались не связанными между собой, не все судьбы героев переплетены. В первой книге, например, завязывается случайное знакомство Наташи Громовой с подполковником Богдановым. Естественным было для читателя ждать развития их взаимоотношений, но эта линия обрывается и так и не возобновляется на протяжении всей книги. Только в конце, после освобождения города, Богданов пытается разыскать Наташу, чей образ оставил след в его душе. Несколькими оторванно от остальных героев изображена группа юных разведчиков. По сути дела, история Володи Тихонова и его товарищей могла бы быть выделена в самостоятельную повесть или рассказ — сюжетная структура произведения от этого не пострадала бы.

Нам представляется также, что книга могла бы иметь большую ценность, если бы в ней было меньше риторики, пояснений, если бы не так медлителен был темп повествования и в романе было бы больше движения.

Язык романа оставляет сложное впечатление. С одной стороны, внимание привлекает поэтичность, свежесть образа, точность определения, например: «...летала острая, как толчёное стекло, поэмка...» Иногда бросается в глаза и производит яркое впечатление неожиданное сочетание эпитетов: «...Подростку со страдальческим жёстким блеском в глазах... закованному, как в броню, в свою суровость, в своё поразительное, беспощадное к себе и к другим мужество...» Но в то же время в целом создаётся ощущение однотонности языка романа, чрезмерной ровности повествования. Один и тот же ритм, одинаковая интонация, намеренная сдержанность писателя придают временами произведению некоторую одноцветность.

При всём том «Мирный город» можно смело отнести к интересным произведениям о Великой Отечественной войне. В романе есть главное — глубокая мысль о неодолимой силе патриотизма, гуманизма, благородства советского народа; в книге есть поэзия, правда жизни.

О. ГРУДЦОВА.



## Живые страницы

**В** повести «Здравствуй, товарищ!» Ю. Стрехнин рассказывает об одном из последних этапов войны. Наши войска прорвали оборону под Яссами. Румынский народ переживает радостные дни освобождения от фашистского ига. Победоносно движется вперёд Советская Армия—армия-освободительница...

Мы не найдём в повести широкого отражения боевых операций. Почти всё описанное в ней происходит в течение одних суток. Действие развёртывается в румынском селении Мэркулешти, уже в тылу далеко ушедших вперёд главных сил армии. Три советских бойца — однополчане офицер Гурьев, младший сержант Федьков и солдат Опанасенко — догоняют свой полк. Гурьев и Федьков возвращаются из госпиталей, Опанасенко — из командировки в армейский тыл. С большим волнением вглядываются они в то новое, необычное, значительное, с чем беспрестанно встречаются в пути.

В центре повести — образы этих воинов. Старший лейтенант Гурьев — человек мужественный, волевой, решительный. В прошлом он учитель. Всё происходящее на его глазах он воспринимает активно, глубоко анализируя события и обобщая их. «Вот ещё одна главка истории завершается, — думает Гурьев. — Когда-нибудь о сегодняшнем дне ребятам на уроке рассказывать буду». Младший сержант Федьков — бывший рабочий, весельчак, балагур, никогда не унывающий лихой солдат, что называется рубаха-парень. Трофим Сидорович Опанасенко — старый солдат, любитель пофилософствовать, рассудительный, хозяйственный, степенный. Всех их захватывает то, что они видят на дорогах войны.

Глазами советских воинов писатель показывает распад старой, боярской Румынии. При этом он успешно использует яркую, острую деталь.

Вот воины видят на дороге отступления старой румынской армии целую аллею чугунных, бронзовых, мраморных монументов. Генералы в боевых шлемах, кони с развевающимися гривами, короны, орлы, щиты, кресты, знамёна, лавры, высокопарные надписи — всё олицетворяет здесь призрач-

ную пышность «Romania mare» — «Великой Румынии», находившейся в кабале у Гитлера. Гурьев подошёл поближе рассмотреть один из монументов, «изображавший мощных форм женщину в латах и с мечом. Прочёл витиеватую надпись. Чуть ниже её стояла марка фирмы «Ганс Хартнер. Берлин». И как раз у монумента «Romania mare» отбит осколком нос, отчего чугунное лицо воинственной дамы приобрело растерянное выражение. На пьедестале белеют крупные буквы: «Петренко — прямо!»

Не раз автор вводит в повествование лаконичную новеллу. Сын крестьянина Сырбу, солдат Стефан, не хотел воевать за немцев. Он решил перебежать к русским. Под Одессой, при осуществлении этого замысла, он был ранен немецкой пулей: немцы стреляли по румынским солдатам, перебежавшим на сторону русских. Стефана подобрали на поле боя сами же румыны и отправили в госпиталь. Никто не знал, как и почему он ранен. Рана была тяжёлой. При обходе госпиталя немецким генералом на грудь Стефана, лежащего без сознания, кладут бронзовую немецкую медаль на полосатой ленте. Совершенно неожиданно для себя Стефан оказывается «героем». Весь эпизод рассказан автором со сдержанным и неотразимым сарказмом.

В этой же сатирической манере нарисованы всевозможные предприниматели, спекулянты, мастера чёрной биржи — обломки старой Румынии. Автор убедительно изобразил чувство превосходства советского человека над всем этим миром мелкого стяжательства, уходящего в прошлое «живого капитализма». Удачно дана в повести знаменательная встреча отступающей, разбитой армии Антонеску идвигающейся на запад части румынской дивизии «Тудор Владимиреску», которая принимала участие в боях Советской Армии с гитлеровцами.

Ю. Стрехнин прибегает и к лирическим отступлениям. Хорошо, тепло сказано им о могилах старых русских солдат, боровшихся на румынской земле против турок в давние времена. Проникновенно написан сон Трофима Опанасенко: картина родного полтавского колхоза, осенняя степь, мольба, образы далёких земляков...

Автор лаконичен. В небольшой повести он рассказал о многих человеческих судь-

Ю. Стрехнин. «Здравствуй, товарищ!»  
Военное издательство Министерства Обороны СССР, М. 1954.

бах. Но иногда этот лаконизм переходит в крайность: описание становится чересчур беглым, поверхностным, остаётся много недоговорённого. Хотелось бы больше узнать о судьбе Стефана и Флорики, слишком пунктирно намечена личная линия Гурьева и его жены Лены, о которой не раз упоминается в повести, но только проходя. Отдельные эпизоды, помогающие психологическому раскрытию образа Гурьева, — например, рассказ о его детстве — даются в самом конце повести, скороговоркой. Точно так же «недочерчена» и личная линия Федькова. Совсем скорописью дан рассказ о судьбе Наташи, девушки, угнанной фашистами. В то же время писатель иногда тормозит развитие основного действия повести разными «ненужностями»,

отступлениями, описаниями событий, органически никак не связанных с сюжетом.

Писатель должен был основательнее поработать и над языком своей повести. В ней следовало выполоть оставшиеся, к сожалению, словесные сорняки. Нельзя было, например, оставлять такие штампы: «песня расправляет крылья», «восторг полнил душу», «по сердцу поцарапывала тревога», «Флорика крепко держала в руках его сердце», «глаза блеснули металлом» и т. п.

В заключение хочется сказать, что повесть «Здравствуй, товарищ!», несомненно, добавляет несколько интересных и живых страниц к общей эпопее, отражающей незабываемые дни Великой Отечественной войны.

Ал. ИСБАХ.

★

### «Служили два товарища...»

**Х**ороший замысел у этой книжки: показать силу настоящей дружбы на войне. Дружбы, не нуждающейся в снисхождении, не терпящей скидок. Дружбы, помогающей выполнять воинский долг.

Молодой штурман морской авиации Борисов, от лица которого ведёт своё повествование А. Кучеров в повести «Служили два товарища...», многим обязан командиру самолёта Калугину. С первых же дней войны они вместе успешно бомбят тылы врага. А когда однажды их подбитый самолёт не «дотягивает» до линии фронта, лётчик с воздушным стрелком двое суток несут тяжело раненного штурмана. Дружба, скреплённая кровью, — свята. Но и самым лучшим дружеским отношениям приходит конец, если один из друзей думает только о себе.

Бомбардировочный полк базируется под осаждённым Ленинградом, третий день льёт дождь и погода нелётная — грех не провести в такой ситуации любимую девушку, оставшуюся в городе, размышляет Борисов. И он добивается, а вернее сказать, попросту «выклянчивает» себе двухдневный отпуск.

А за то время, пока герой бродит по Ленинграду, тщетно разыскивая свою любимую (он не знает, что она тоже ушла в армию), происходит следующее. Дождь внезапно кончился, экипаж Калугина получил боевое задание: произвести фотосъёмку

важной железнодорожной станции во вражеском тылу. Лётчик вынужден лететь на задание с неопытным штурманом. Потеряв ориентировку, до времени израсходовав запас горючего, Калугин сажает машину на первой попавшейся полянке: новенький, только что полученный полком самолёт серьёзно повреждён.

Штурман Борисов, вернувшийся в часть за два часа до положенного срока, понятно, непричастен к аварии. «С точки зрения уставной Борисов ни в чём не провинился и ни в чём не погрешил, — говорит командир полка, разбирая причины аварии. — А по совести... По совести — пусть подумает сам Борисов». Ведь воюют не только по уставу — воюют и по велению сердца, по чувству долга!

Герой клянёт себя, что не во-время просил отпуск, он переживает из-за того, что его любимый друг разбил машину. Борисов начинает понимать, что и у Калугина, и у командира полка, и у многих лётчиков остались в блокированном Ленинграде близкие люди, которых хотелось бы провести. Но разве бросишь свой полк, своих боевых товарищей в такое тяжёлое время? А он бросил...

Автор сумел показать лётчиков полка, как один сплочённый коллектив, нацеленный на выполнение главной задачи: разгром врага. Хорошо передаёт он переживания своего героя, впервые отстранённого от полётов. Вот молодой лётчик,

вернувшийся с боевого задания, рассказы-вают о полёте. Борисов не только слышит рассказ — он как бы воочию видит, как шёл полёт, он явственно ощущает, что сделал не так новичок-штурман и что нужно было бы сделать.

Но у Борисова (и у автора) есть в запасе «козырная туза», с которого можно теперь зайти. Штурман давно мечтал о бомбометании с малых высот. Не совсем понятно, правда, почему герой приберёт осуществление этой идеи к концу книжки: ведь о таком бомбовом ударе он думал ещё в самом начале войны. Похоже, что это приберегалось автором для обострения сюжета. Но в результате, когда Борисов, вновь допущенный к полётам, осуществляет свою идею на практике, оказывается, что «эта идея появилась у многих».

Таков весьма беглый пересказ содержания книги. Моральная чистота советских людей, ставящих выполнение воинского долга превыше всего, показана через живые образы горячего, вспыльчивого, но справедливого воздушного бойца Калугина, душевного замполита Соловьёва, молодых лётчиков Матвеева и Закиева, штурмановичка Ярошенко. Но почему же не вызывает симпатии читателя фигура главного героя? Да потому, пожалуй, что он позёр и себялюб от начала до конца.

Поначалу думаешь, что автор задался целью показать становление характера этого зелёного, необстрелянного юнца, который уже с первых страниц книги хвастает: «двадцать четвёртого июня я наносил свой первый бомбоудар в порту Мемель. Так началась для меня воздушная война»; который, не так уж давно надев офицерскую форму, рисуется подобно лермонтовскому Грушницкому: «это, знаете, не по моей солдатской части», и который после интимной встречи с любимой девушкой такими словами превозносит свои достоинства: «Я шёл счастливый, благодарный, самый хороший, каким я когда-либо был, по затемнённой войной Ленинграду. Огромная, добрая сила поднималась во мне».

Но, может быть, по мере развития действия наш герой изменится? Ничуть не было — всё та же самовлюблённость, всё то

же кокетство юноши, желающего показать себя «настоящим мужчиной». Борисов чертится без конца («Чёрт возьми, вот это ошибка!», «Чёрт знает, как много я передумал за эти минуты, и главным в этих проклятых размышлениях было чувство обиды» и т.д.), он даже «спал в кабине злой, как чёрт». Не выйдя ещё из комсомольского возраста, он говорит о себе не иначе, как «мы, старые лётчики...» А вот он допущен снова к полётам: «Я не спал всю ночь и, счастливый до сумасшествия, занимался районом обороны противника, где мне предстояло нанести удар».

Писать от первого лица всегда трудно. Любая неточность, не говоря уже о нескромности, может привести к нестерпимой фальши, режущей ухо. К сожалению, такие фальшивые фразы можно выписывать буквально с любой страницы повести: «я подумал о второй широкой нашивке, которую с гордостью стал носить», «признался я, мучительно смутившись», «страдаю от проклятой неловкости», «я робко беру слово» и т.д. без конца. Разве можно так говорить о самом себе?

Немаловажное место занимает в произведении история любви героя к ленинградке Вере. Девушка эта нравилась Борисову ещё в школе, он её встретил снова на вокзале, в начале войны, отправляя своих родителей в эвакуацию. Мы охотно поверили бы герою, что «это было настоящее хорошее чувство, захватывающее человека, первое чувство», мы не обратили бы внимания на слова о его первых, полудетских увлечениях, если бы позже, уже в полку, вдали от Веры, связавшей с ним свою судьбу, он не произносил бы молодецкую, а по сути дела весьма компрометирующую его фразу: «Мы были молоды и, так сказать, обстоятельствам назло находили время любить и увлекаться».

Замысел книжки, повторяем, хорош. Настолько хорош и нужен, что автору — а он не новичок в литературе, выпустил уже несколько книг — следовало бы более тщательно поработать над важным для произведения образом главного лирического героя.

**К. ЛАПИН.**

## Только первый шаг

В годы войны фронтовик сержант Николай Алмазов написал письмо Алексею Толстому о его рассказе «Русский характер»: «Я... тысячу раз смотрел смерти в глаза, и, казалось бы, слезы у меня колом не вышибешь. Но это именно «казалось бы». То, что нельзя было сделать колом, Вы сделали пером. Мне стыдно признаться, но я плакал, читая Ваш очерк. Какие у нас замечательные люди!.. Хорош советский народ, народ-богатырь, народ-человеколюбец, народ-художник...»

Лучшие произведения советских писателей воодушевляли воинов на подвиги, закаляли их боевой дух. И сейчас эти и многие другие появившиеся после войны книги пользуются огромной популярностью в армии. Командиры и политработники активно используют их в таком большом и важном деле, как воинское воспитание. К сожалению, пишут об этом мало. До сих пор не изучена даже сама работа писателей над военной темой, особенно в свете тех задач, которые стоят сейчас перед нашими Вооружёнными Силами.

Понятен поэтому интерес, который вызывает работа подполковника Н. Шиманова. Автор её говорит о многом, что связывает художественную литературу с воинским воспитанием. Читателя, несомненно, привлекут страницы, рассказывающие о том благоговейном отношении, которое проявляли солдаты к любимым книгам в боевой обстановке.

Вполне закономерно стремление Н. Шиманова подчеркнуть значение положительного героя, показать огромную воспитательную силу образов Павла Корчагина и Алексея Мересьева, Чапаева и Олега Кошевого. Образам коммунистов в литературе посвящена специальная глава — «Любимый герой советских воинов».

И всё же книга Н. Шиманова вызывает чувство неудовлетворения. Она сравнительно невелика по объёму — в ней 114 страниц. Но рассказано в ней и о многочисленных произведениях на военную тему, и о влиянии литературы на общественную жизнь, и об опыте армейских культурно-просветительных работников и пропаганди-

стов, доносящих книгу до воинов. В результате почти всё поверхностно, не глубоко.

Вот первая глава — «Литература и жизнь». Содержание её никак не оправдывает многообещающего названия. Наскоро пересказав некоторые партийные документы по вопросам литературы, автор приводит затем десяток широко известных высказываний русских классиков и этим ограничивается. По существу же в главе «Литература и жизнь» не нашлось места ни нашей советской жизни, ни литературе.

Несколько однобоко освещается в книге роль партии в развитии советской литературы.

Автор главным образом пишет о том, как партия вскрывала и исправляла ошибки, разоблачала чуждые нам взгляды. И почти ничего не говорит о том огромном постоянном внимании, которое она проявляла и проявляет к советским литераторам, заботясь об их идейном росте, об их воспитании в духе идей коммунизма.

Большую часть книги Н. Шиманова, естественно, составляет обзор произведений советских писателей, посвящённых Армии и Флоту. Особое внимание уделяется книгам, воспитывающим советский патриотизм, мужество и стойкость наших людей, раскрывающим значение дисциплины и организованности в обеспечении победы на поле боя. И это правильно. Но метод, избранный Н. Шимановым для анализа книг, вызывает самые решительные возражения. Анализа, собственно говоря, просто нет. Есть беглый перечень многочисленных романов, повестей, рассказов, поэм, в котором теряется своеобразие каждой книги, её неповторимое лицо. Много общих фраз, и нигде нет развёрнутой характеристики того или иного образа, в то время как именно герой, его поступки и мысли и есть то самое ценное, что должно быть использовано для воспитания у воинов высоких морально-боевых качеств.

О романе М. Шолохова «Тихий Дон» сказано буквально две фразы: «Трудно переоценить роль романа М. Шолохова «Тихий Дон» в деле воспитания наших воинов в годы строительства и укрепления Советских Вооружённых Сил накануне Великой Отечественной войны. Образы романа-эпопеи, сцены, повествующие о боевых действиях и революционных событиях, внимательно

Подполковник Н. А. Шиманов. «Художественная литература и воинское воспитание». Военное издательство Министерства Обороны СССР, М. 1954.

изучались советскими воинами». Не маловажно ли?

Некоторым книгам Н. Шиманов уделяет больше внимания, но их разбор напоминает ещё встречающиеся иногда в печати поверхностные рецензии, в которых бледно пересказывается содержание произведения без попытки обобщить, сделать какой-то вывод, к чему-то призвать читателя. Именно так автор пишет о книгах Н. Михайлова «Над картой Родины», М. Шагинян «Путешествие по Советской Армении», Н. Рыбака «Переяславская Рада».

Н. Шиманов старательно избегает каких-либо критических оценок. Все книги у него одинаково хороши, и все он рекомендует читателю без всяких оговорок. Между тем разве не следовало бы сказать, например, об элементах приукрашивания, лакировки действительности в романах С. Бабаевского? Читателю нужно прививать не только любовь к книгам, но и умение самостоятельно, критически разобраться в их достоинствах и недостатках. Это тем более необходимо, что книга обращена по существу к пропагандистам литературы.

Те главы, в которых рассматриваются формы и методы пропаганды книги, совсем не интересны. В них мало живого, непосредственно наблюденного опыта. Пропаганди-

сты, агитаторы, библиотекари едва ли найдут в этих главах что-либо новое для себя. Многие из них строят свою работу с книгой куда разнообразнее и интереснее, чем это предлагает автор.

Снижают впечатление от книги Н. Шиманова повторения и литературные штампы. Со страницы на страницу переходят такие выражения, как: «великий писатель убедительно рассказал», «ярко и убедительно показал», «автор книги убедительно разоблачает» и т. п.

Советские воины непрерывно совершенствуют своё боевое мастерство. За последние годы Армия и Флот шагнули далеко вперёд. Неизмеримо вырос культурный уровень солдат, матросов и офицеров. Военному издательству следовало бы выпустить ряд книг, а на первых порах, может быть, и брошюр о том, как использовать в воспитательной работе с солдатами и матросами кино, радио, художественную литературу, изобразительное искусство.

Книгу же Н. Шиманова «Художественная литература и воинское воспитание» можно рассматривать только как первый и далеко не совершенный опыт создания такого рода пособий.

*Подполковник Н. НЕМИРОВ.*



## Разведка продолжается

Выступление поэта со второй книгой всегда дело очень ответственное — надо критически оглянуться на пройденный путь, закрепить достигнутое, шагнуть дальше.

В первой книге молодого поэта Евг. Евтушенко мы заметили горячее стремление поэта учиться у Маяковского умению активно вторгаться стихами в жизнь, умению строить самый стих. Мы прочитали в небольшом сборнике страницы бесспорно талантливые, говорившие о творческих возможностях автора. Но с яркими стихами там соседствовали и риторические, умозрительные, свидетельствовавшие о том, что поэт, не слишком пристально вглядываясь в окружающее, различает в нём подчас лишь чисто внешние черты и приметы.

Сборник стихов назывался «Разведчики грядущего», и слово «разведчики» имело

тут как бы два смысла — оно обобщённо говорило о людях, всеми своими помыслами и делами устремлённых в будущее. В то же время в этом слове заключался и самый «земной», конкретный смысл — основные герои стихов были геологами, разведчиками недр нашей земли, людьми большой мечты. Но из-за жизненной и литературной неопытности молодому автору далеко не везде удавалось мечту о будущем поэтично связать с сегодняшним днём, с живыми событиями действительности. Это и порождало умозрительность, риторичность.

В новой книжке повсюду следы борьбы с этими недостатками, слабостями собственной поэзии. Поэт как бы продолжает разведку. Значительно расширился круг волнующих его тем, крепче, сработаннее стали стихи, пристальнее взгляд. Вторгаясь то в область публицистического стиха, то в

Евг. Евтушенко. «Третий снег». Издательство «Советский писатель», М. 1955.



сферу лирики, то затеявая поэтический репортаж, он старается найти сразу несколько точек приложения своих сил.

Нельзя не запомнить и не полюбить тихую, скромную, даже застенчивую девушку из стихотворения «С комсомольской путёвкой» — совсем не героическую на вид, но сильную силой своего убеждения в том, что Родина не может обойтись без неё на целинных землях.

Ей твердили:

— Работа не лёгкая,  
и до поздней весны — холода,  
и неласкова степь далёкая  
под названием Кулунда.—  
Но она не гадала заранее,  
как там будут её дела,—  
значит это и есть призвание,  
если Партия призвала!

Таковы и другие герои лучших стихов этой книжки — молодые, целеустремлённые, общественное всегда ставящие выше личного.

Евг. Евтушенко на этот раз гораздо активнее пробует свои силы в лирике, много и охотно пишет о любви, в его стихах светятся чистые чувства молодого советского человека, сердце которого щедро открыто всем радостям жизни. Поэт настойчиво ищет слова, чтобы рассказать не только о внешних чертах окружающего, но и о богатом внутреннем мире своих героев. В лучших стихах, таких, как «Море», «Родине», «Спутница», «Станция Зима», «В парке», «С комсомольской путёвкой», «Любовь», он эти слова находит.

Но поэтическая разведка, к сожалению, не всегда увенчивается успехом. В новой книжке поэт всё ещё впадает в риторику, бывает подчас декларативен, и, когда это случается, идея стихотворения тонет в общих рассуждениях «на тему», сама же тема никак не решается, а лишь обволакивается весьма расплывчатыми назиданиями или такими общеизвестными формулами:

Не надо говорить неправду детям,  
Не надо их в неправде убеждать (?).  
Не надо уверять их, что на свете  
Лишь тишь, да гладь, да божья благодать.  
Они поймут. Они ведь тоже люди.

Откройте им, что трудностей не счесть.  
Пусть видят же не только то, что будет,  
Пусть видят, ясно видят то, что есть.

Хуже всего, когда риторика забирается на зелёные листы лирических стихов: она сжирает их почти целиком. Мне думается, что так произошло, например, с очень ответственным стихотворением, открывающим цикл стихов о любви:

Мы столько сил в самих себе открыли,  
мы столько чувств нашли в себе, и нам  
любовь нужна, нужна, как небо —  
крыльям,

как труд —  
рукам,

как ветер —  
парусам.

Нельзя ей дать пройти по жизни мимо—  
ведь с каждым годом нам она нужней.  
И как сама любовь необходима,  
необходимы и стихи о ней!

В чём же состоит сила и прелесть чувств, которые рождают любовь, и почему «необходимы стихи о ней»? На этот вопрос не ответишь одними риторическими восклицаниями. Риторика вообще меньше всего терпима в лирике.

В книжке есть немало надуманного, неестественного. О своём детстве поэт пишет: «хотелось любви настоящей, не ложной». Спрашивается: какая же это «ложная любовь» может быть у мальчика, который «нёсся вперёд, задыхаясь от бега, из мокрого снега лепя снежки»? Это уж совсем «от лукавого».

Большое место в книжке занимают отрывки из путевого дневника — «Геологи идут вперёд». Автор не сумел в них раскрыть богатый внутренний мир своих героев. Тут описаны трудности похода, совершённого геологами, но почти совсем нет глубоких жизненных обобщений.

Молодой поэт ведёт творческую разведку. Кое-что ему уже, несомненно, удалось, кое в чём он продолжает пребывать на прежних, исходных позициях. Главный его противник остаётся прежним — это риторика, и надо одолеть её во что бы то ни стало.

Разведка должна продолжаться настойчиво и последовательно. Это должна быть разведка боем.

**В. ТЕЛПУГОВ.**

## Необходимый справочник

Трудно переоценить огромное и всё растущее значение библиографических справочников для современного читателя. Эти пособия и указатели служат как бы картой и компасом в плавании по книжному океану; без них в нём можно и заблудиться.

Вышедшая недавно книга Н. Мацуева «Советская художественная литература и критика 1952—1953» представляет собой один из таких насуточно необходимых справочников.

Рецензируемая книга показывает быстрый духовный рост нашего общества. По сравнению с предшествующими годами увеличилось и количество названий изданных книг и их тиражи, появилось много новых писателей, значительно выросло количество переводов с языков братских народов на русский язык. Всё это говорит о развитии нашей художественной литературы и критики, нашей многонациональной социалистической культуры.

Справочник открывается разделом, в котором указаны выступления партийной печати по вопросам литературы. Здесь перечислены редакционные статьи «Правды» и журнала «Коммунист». Далее идёт раздел художественной литературы, в котором в алфавитном порядке по авторам перечисляются произведения, изданные в СССР на русском языке в годы 1952—1953. Тут же указаны критические статьи и рецензии о произведениях. Особо выделены литературно-художественные сборники, объединяющие нескольких авторов.

В следующем разделе перечислены книги литературоведов и критиков, а также статьи о советской литературе, появившиеся в периодической печати.

Кроме того, в книге даны два вспомогательных указателя: художественная литература народов СССР в переводах на русский язык и алфавитный указатель имён.

До Великой Отечественной войны вышло в свет четыре выпуска труда Н. Мацуева, охватывавших произведения советской художественной литературы с 1917 по 1937 год включительно, а после войны—два выпуска, посвящённых литературе за годы 1938—1951.

**Н. Мацуев. «Советская художественная литература и критика 1952—1953». Библиография. «Советский писатель», М. 1954.**

Рецензируемая книга — третий послевоенный выпуск.

Отличие трёх последних книг от довоенных выпусков состоит, между прочим, в том, что Н. Мацуев стремится теперь охватить в себе вышедшие книги советских писателей, в то время как в довоенных выпусках указывались только те, что были прорецензированы в печати. Отказавшись от этого ограничительного принципа, Н. Мацуев стал с наибольшей полнотой отражать в своих справочниках издание советской художественной литературы на русском языке. При этом выяснилось немаловажное и довольно тревожное обстоятельство: оказывается, очень большое количество книг остаётся вне поля зрения нашей печати, не получает в ней никакой критической оценки. Справочник Н. Мацуева с очевидностью показывает, что на некоторые книги появляется много рецензий, а на другие — ни единой. На этот недостаток нашей критико-библиографической работы следовало бы обратить серьёзнейшее внимание Союзу писателей СССР, «Литературной газете», толстым журналам и нашей печати в целом.

В рецензируемой книге автор сделал ряд улучшений и дополнений. Раньше он учитывал лишь отдельные издания книг. В нынешнем выпуске отмечены и произведения, публиковавшиеся в журналах, альманахах и сборниках.

Обогатился справочник и новым разделом — статей о советской литературе, — куда вошли наиболее значительные критические и литературоведческие работы, опубликованные в периодической печати.

Весьма полезен вспомогательный указатель переводов художественной литературы народов СССР. По нему можно определить, какие авторы, из каких республик, краёв и областей впервые изданы на русском языке и вновь переизданы за последние два года. Самый беглый просмотр этого вспомогательного указателя показывает, какое важное место занимают теперь переводы национальных авторов в общем потоке изданий художественной литературы.

В 1952 и 1953 годах были переведены произведения пятидесяти пяти украинских писателей, тридцати азербайджанских, пятидесяти четырёх армянских, десяти башкирских, тридцати двух белорусских, двадцати одного грузинского, девяти казахских,

восьми киргизских, двадцати двух латышских, двадцати пяти литовских, девяти маорийских, восемнадцати татарских, семнадцати туркменских, четырнадцать узбекских, одиннадцати эстонских, двенадцати якутских и многих писателей других народов СССР.

В связи с выходом новой книги Н. Мацуева возникает вопрос: не пора ли взяться за создание полной библиографии советской художественной литературы и критики с первых дней советской власти до настоящего времени? Довоенные выпуски справочников Н. Мацуева стали библиографической редкостью. К тому же автор значительно обогатил метод своей работы, усовершенствовал принципы, которые лежали в основе этих изданий. В прежних выпусках были погрешности и пропуски, отмечавшиеся критикой; автор мог бы теперь сделать нужные исправления. Потребность в таком сводном библиографическом указателе советской художественной литературы и критики за все годы развития советской литературы весьма велика.

Возвращаясь к рецензируемому выпуску, надо отметить ещё одно его достоинство: он сравнительно быстро вышел в свет. Прежние выпуски крайне запаздывали. Но уже

указатель за 1949—1951 годы вышел в 1953 году, а нынешний выпуск за 1952—1953 годы — в 1954 году. Конечно, желательно, чтобы указатель за предыдущий год выходил в свет к концу первого полугодия нового года.

Справочник не лишён некоторых недочётов. В нём можно обнаружить пропуски отдельных книг. Наиболее заметны пропуски в перечне литературно-художественных сборников. Например, Н. Мацуев указал только один сборник «Сатира и юмор», вышедший в издательстве «Искусство», но пропустил такого же рода сборник, выпущенный Госкультпросветиздатом, и т. п.

Можно только пожалеть о том, что в справочнике нет вспомогательных тематических указателей, например, списка литературы о Великой Отечественной войне, книг, посвящённых борьбе за мир в СССР и за рубежом, и т. п.

Справочник, составленный Н. Мацуевым, следует признать полезным и ценным пособием. Хочется выразить надежду, что многолетний труд Н. Мацуева послужит примером в важном деле развития научной и рекомендательной библиографии.

**Б. ШИПЕРОВИЧ.**

★

## Рождение эпопеи

«Подполье свободы» — первый роман трилогии под общим названием «Каменная стена», в которой автор намерен дать картину борьбы бразильского народа за мир и свободу под руководством рабочего класса за время начиная с государственного переворота 1937 года и до наших дней.

Эти скупые слова Жоржи Амаду предпослал своей новой книге. В них по существу впервые в литературе Латинской Америки ставится задача создания эпического романа, охватывающего жизнь целого народа в течение большого исторического периода.

«Подполье свободы» — не исторический роман в узком смысле этого слова, и в то же время он по-настоящему историчен. Ограничив поле действия в основном двумя смежными штатами — Сан-Пауло и Матогроссо — и лишь изредка выводя повество-

вание за границу Бразилии, автор сумел воссоздать главное — внутреннюю и международную атмосферу этих лет, типические для бразильской действительности ситуации и характеры.

Уже первые страницы романа дают представление о его композиционных особенностях. Действие стремительно и одновременно развивается в разных социальных сферах. При этом действующие лица, принадлежащие к самым различным общественным слоям, находятся в тесной взаимосвязи. Но судьбы их переплетены друг с другом вовсе не хитроумной интригой. Искусно построенный драматический сюжет рождён событиями общественной жизни. В основе его лежит беспощадная схватка двух миров — главный конфликт романа.

Тема национально-освободительной борьбы воплощена в цепи событий, связанных с долиной реки Салгадо. К этому глубинному тропическому району с богатейшими залежами марганцевой руды протягивает свои

Жоржи Амаду. «Подполье свободы». Издательство иностранной литературы, М. 1954.

хищные руки банкир Коста-Вале, один из самых могущественных людей Бразилии. В организованном им акционерном обществе, становящемся постепенно ширмой для проникновения американского капитала в долину Салгадо, участвуют и другие представители правящих классов — плантатор Венансио Флоривал, промышленница да-Торре, депутат, а затем министр юстиции Артур Карнейро-Маседо-да-Роша.

Все эти лица — не абстрактные «социальные типы», а живые люди, каждый со своим запоминающимся обликом. Амаду наделяет Коста-Вале незаурядной энергией, Флоривала — известной цельностью и силой, бывшую проститутку, купившую себе аристократический титул, да-Торре — умом, острым, насмешливым языком. Но тут же писатель открывает нам внутренние пружины, которые управляют помыслами и поступками каждого из них: это откровенный эгоизм, жажда наживы и животная ненависть к народу, ненависть, в основе которой лежит страх.

Зато какое светлое чувство испытывает читатель, переносясь из этой мертвенной атмосферы в суровый, бедный, но красочный, поэтический, бесконечно живой мир подлинных хозяев Бразилии — её простых людей!

На берегах реки Салгадо живут сотни поселенцев — кабокло, отвоевавших у лесной чащи клочки земли и ведущих полуголодное существование. Эти люди — помеха планам Коста-Вале: они должны быть изгнаны. Предвидя неизбежное проникновение империалистов в долину Салгадо, Коммунистическая партия Бразилии заранее посылает туда для организации отпора захватчикам коммуниста Гонсалана.

Гонсалан — большая удача писателя. В образе этого бесстрашного человека, обладающего чудесным даром привлекать к себе сердца людей, много черт, роднящих его с любимыми героями народного творчества — мастерами на все руки, великодушными богатырями, защитниками угнетённых. Недаром с каждым его появлением в роман словно врывается поэтическая стихия народных песен и легенд.

Под влиянием Гонсалана начинает меняться веками неизменная жизнь посёлка Татуассу, рабы Флоривала впервые поднимают голову и заговаривают об аграрной реформе.

Когда американцы приходят в долину, Гонсалан поднимает людей на защиту своей земли. Рассказ об их героической партизанской борьбе принадлежит к числу наиболее драматических и напряжённых страниц романа.

Такой же драматический эпизод — забастовка грузчиков Саитоса. Со всем своим огромным темпераментом Амаду сталкивает здесь два мира: мир мужественных тружеников — негра-грузчика Доротеу с вдохновенной душой поэта, его подруги, пленительной и отважной Инасии, трёх солдат, расстрелянных за то, что отказались убивать своих братьев, — и мир растленных богачей, оскверняющих пьяной оргией окровавленную землю Саитоса.

Писатель не скрывает ни своей ненависти, ни любви. Когда он со скрупулёзной тщательностью разбирается в сложных взаимоотношениях представителей правящей касты, в хитросплетениях их политических комбинаций, то мы как бы видим перед собой работу умелого следователя, озабоченного тем, чтобы ни одна деталь преступления не ускользнула от читательского суда. Когда же автор рассказывает о самоотверженной деятельности коммунистов, мы чувствуем в нём непосредственного участника событий, присутствующего на заседаниях подпольного комитета партии, рисующего на стенах антифашистские лозунги, почти физически переживающего кошмары фашистских застенков...

Одна из основных тем романа, звучащая вначале негромко, но постепенно становящаяся ведущей, — тема партии. Она раскрывается прежде всего через изображение деятельности коммунистов. Но Амаду не только описывает эту деятельность — он ведёт читателя вглубь, к её истокам. И, пожалуй, во всей современной зарубежной литературе, кроме «Коммунистов» Арагона, не найдётся другого произведения, в котором с такой полнотой была бы изображена внутрипартийная жизнь в капиталистической стране.

Амаду создал в «Подполье свободы» портретную галерею лучших сынов и дочерей бразильского народа — коммунистов. Здесь и сильные коллективной мудростью партии руководители районного комитета Руйво, Жоан, Карлос. Здесь и представитель старшего поколения коммунистов Орестес. Здесь и молодые коммунисты, крепнущие и закаляющиеся в борьбе: неутомимая

связная комитета Мариана, работник подпольной типографии Жофре Рамос, рабочий-подросток Рамиро.

В изображение этих людей Амаду вложил всю свою любовь и весь свой жизненный опыт. В каждом из них писатель подчёркивает прежде всего то главное, что отличает коммунистов от окружающих и в то же время объединяет их в одно целое. Это главное — их беспредельная преданность людям, освещённая ясным сознанием великой справедливости коммунистических идей.

Отношение к людям является для Амаду своего рода пробным камнем, на котором проверяется ценность человеческой личности. Внутреннюю опустошённость, нравственное вырождение, низводящее людей до уровня животных, — вот что прежде всего подчёркивает писатель в образах представителей господствующих классов и их всевозможных прилебателей. Высокая человечность отличает подлинных героев романа, простых людей Бразилии.

Так постепенно раскрывается смысл заглавия романа: коммунисты сберегли в подполье свободу Бразилии, все лучшие чувства, мысли и надежды народа.

Художественному методу Амаду присуще стремление к резким контрастам и сопоставлениям, к смелому сочетанию самых разнообразных средств. При помощи этого писатель достигает необычайной выразительности. Однако в некоторых случаях ему изменяет чувство меры. Так, например, почти в одно и то же время у Марианы, которая неудачно спрыгнула с трамвая, спа-

саясь от преследования шпика, происходит выкидыш, Мануэла вынуждена обстоятельством сделать аборт, беременная Инасия раздавлена конными полицейскими. Смысл этого сопоставления трёх непохожих судеб ясен, но это достигнуто ценой слишком явно выступающего авторского произвола.

Самый строгий судья литературы — читатель — принял и полюбил роман Амаду. Об этом говорит тот факт, что только за один год в Бразилии вышло три издания этой книги, весь тираж которых немедленно был распродан.

Художественно-политическое значение романа «Подполье свободы» исключительно велико. Эпопея борьбы бразильского народа за свободу и независимость является большим завоеванием всей прогрессивной мировой литературы, уже давшей такие примеры возрождения эпического романа, как произведения Луи Арагона, Анны Зегерс, Марии Пуймановой.

Не случайно именно пятидесятиmillionная Бразилия с её славными традициями антиимпериалистической борьбы, с её героической компартией стала родиной этого выдающегося произведения. И закономерно, что автором его явился Жоржи Амаду — писатель, с молодых лет связавший свою жизнь с делом освобождения бразильского народа, писатель, творческий путь которого — это путь непрерывной борьбы за овладение методом социалистического реализма.

**В. КУТЕЙЩИКОВА,  
Л. ОСПАТ.**

★

## Интересный критический очерк

**К**ритик Соболев в одной из своих книг высказал верное замечание о том, что фальсификация творчества А. П. Чехова обычно шла в двух направлениях. Были изготовлены две иконы с изображением писателя. На одной Чехов изображался пессимистом, поэтом «лишних людей» и хмурым русской жизни. На другой он выглядел пободрее, был представлен поэтом сладкой мечты о жизни, которая станет невообразимо прекрасной через 200, 300, а то и через все 500 лет. Чехова наделяли оптимизмом, но таким, который едва ли лучше самого мрачного пессимизма...

**З. С. Паперный. «А. П. Чехов». Гослитиздат, 1954.**

За последние годы наши литературоведы многое сделали для того, чтобы рассеять этот псевдочуждый туман и выяснить подлинный смысл произведений великого писателя. Книга З. Паперного «А. П. Чехов» с успехом продолжает эту работу.

Автор её показывает нам Чехова как гениального писателя-патриота, человека огромной нравственной силы, стремящегося найти разрешение коренным вопросам своего времени. «Мировая скорбь» и «пессимизм» Чехова на самом деле были протестом против язва помещичье-капиталистического строя. А чеховский оптимизм, якобы «беспочвенный» и абстрактный, опирался на

твёрдую веру писателя в русский народ, демократическую Россию.

Одна из заслуг З. Паперного заключается в том, что он постоянно заставляет ощущать присутствие в творчестве А. П. Чехова положительного идеала, его сокровенную думу, выразившуюся однажды в известном возгласе: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!»

«Красота обыкновенного человека» — так называется одна из лучших глав книги, в которой разбираются «Попрыгунья» и «Чёрный монах». Нам памятно, как «попрыгунья», Ольга Ивановна, всю жизнь стремившаяся к эффектному и выдающемуся, проглядела настоящего «великого человека», каким был её муж — учёный Дымов. Ошибка Ольги Ивановны, как правильно подчёркивает критик, не только в том, что она считала великим человеком одного — художника Рябовского, а им оказался другой — её собственный муж. Чехов разоблачает само её стремление «найти человека, стоящего «над» людьми, её барское пренебрежение к простым людям».

З. Паперный умело, конкретно, со знанием дела анализирует чеховские произведения. В анализе «Степи», «Дома с мезонином», «Припадка» он сумел «вжиться» в идейное содержание произведений и потому сделал свой анализ доступным для других. Автор помогает нам тем самым понять, какое богатство содержания скрывается подчас в небольших чеховских вещах. «Маленькая трилогия» — так очень точно называет З. Паперный связанные идейно рассказы: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» — эта «трилогия» занимает всего лишь лист-полтора.

В книге нет специального раздела о художественных особенностях произведений А. П. Чехова — о языке, композиции, пейзаже и т. д. Тем не менее внимание З. Паперного постоянно приковано к этим проблемам. Разбирая произведения в единстве их идейных и художественных особенностей, он помогает нам лучше понять чеховскую поэтику с её «художественным целомудрием, немногословием», «тонкими, но уловимыми намёками, мельчайшими, но глубоко оправданными деталями». Для писателя наблюдения З. Паперного над художественной формой будут представлять интерес и потому, что автор чужд догматизма и не пытается объявить чеховскую манеру письма единственно возможной. А. П. Чехов

избегал, например, открытых лирических и публицистических отступлений, и в его поэтике это было внутренне оправданным; но в творчестве другого писателя эти отступления могут быть полезны и даже необходимы. Советская литература, совмещающая в рамках социалистического реализма множество индивидуальных манер, почерков, приёмов, усваивает всё ценное из наследия прошлого.

Но всё ли удачно в рецензируемой книге?

Прежде всего — о построении работы, о подборе материала для исследования. З. Паперный вправе, конечно, не рассматривать все произведения Чехова. «Задача этого очерка, — читаем в предисловии, — отметить главные моменты творческого развития Чехова, отображающие движение русской жизни от победоносцевской реакции к нарастанию революционной бури». Но именно с этой точки зрения в книге есть существенные пробелы. Так, разбор «Скучной истории» свёлся лишь к выписке одной цитаты, в то время как без подробного анализа этого узлового произведения в творчестве А. П. Чехова нельзя понять эволюцию писателя. В «Скучной истории» ярко отразились поиски художником цельного мировоззрения, нарастание темы протеста. Слишком мало внимания уделено также драматургии Чехова.

Хотелось бы, чтобы в книге была большая ясность основных теоретических понятий, из которых исходит автор. Как другие критики при художественном анализе злоупотребляют «пафосом», «интонацией» и т. д., так Паперный злоупотребляет словом «деталь». «Детали» пестрят в книге везде, где заходит речь о художественных особенностях, прикрывая, в сущности, такие различные понятия, как средства языка, элементы характеристики, композиции, сюжета, портрета и многое другое, что требует ясного названия.

Есть в книге и неточности. В повести «В овраге» старик Цыбукин просит Аксинью выбросить фальшивые деньги в колодец, а та раздаёт их косарям. Аксинья «жалко выбрасывать, — поясняет З. Паперный, — хоть и фальшивые, а всё же деньги!» Но мысль Чехова гораздо глубже. Аксинья, замыслившая прибрать в руки всю собственность Цыбукина, нарочно раздаёт фальшивые деньги, чтобы побыстрее разоблачили Анисима. С невиданной же-

стокостью и хитростью добивается она устранения своих соперников. Дело здесь не в простой жадности.

Специально надо остановиться на языке рецензируемой книги. Ощутимо стремление её автора к известной образности, яркости языка.

Приведём такой пример. Как-то в письме к Григоровичу Чехов высказал критические замечания о его рассказе «Сон Карелина». Чехов сравнил характеристики лиц в этом рассказе с «объяснительными надписями, которые в садах прибываются к деревьям учёными садовниками и портят пейзажи». Это сравнение помогает З. Паперному нарисовать выразительную картину метода самого Чехова: «Открывая книги Чехова, читатель... подобен человеку, входящему в сад, где нет никаких объяснений, вывесок, указок, где надо вглядываться, вслушиваться, вдыхать запах и решать самому. При этом автор вовсе не играет роли безучастного хозяина, который пустил гостей в сад и затем предоставил их самим себе. Нет, хоть и не видно надписей на деревьях, но так чудесно разбит этот сад, так рассажены деревья, что чуткий читатель никогда здесь не заблудится».

Читая эти строки, убеждаешься в том, как полезно критику и литературоведу прибегать к образной речи, к метафорам, гиперболам и многим другим художественным средствам. Палитра критика — не только писателя — должна быть богатой!

Но вместе с тем хочется предостеречь З. Паперного против другой опасности — деланности и красоты языка. Где-где, а в книге о Чехове эти пороки недопустимы вовсе. Автор же местами явно злоупотребляет пышными выражениями. Без чувства меры нагнетает он иногда такие слова, как

«любовь», «дружба», «счастье», «красота», так что к ним привыкаешь и перестаёшь ощущать вложенный в них смысл. А имея в виду известную реплику чиновника из «Дамы с собачкой» («осетрина-то с душком!»), З. Паперный пишет: «два человека, за которыми встали два мира... мир дамы с собачкой и мир осетрины с душком», — и не замечает комичности фразы.

В книге З. Паперного чувствуется стремление преодолеть тяжеловесность стиля, которая свойственна многим литературоведческим работам. Автор стремится выработать такой «слог», который отвечал бы задачам научного исследования и вместе с тем был прост и понятен, согрет живым восприятием литературы. Но, отталкиваясь от «научообразности», не должно впадать в выпренность, красоту, приводящую к тем злополучным штампам, которые Антон Павлович советовал объезжать, как глубокие ямы...

Критический очерк З. Паперного — удачная и поучительная работа.

Как и первая его книга — «О мастерстве Маяковского», она привлекает широтой взгляда, остроумием наблюдений, добросовестностью выводов.

З. Паперный говорит: Чехов «писал, что хочет быть так же нужен для людей, посвятивших себя изучению жизни, как для астронома звезда... Сбылась мечта Чехова. Необъятен небосклон русской литературы, и яркие звёзды горят на нём, но никогда не затеряется, не спрячется от нас эта добрая, лучистая звезда».

Прочитав эти строки, которыми заканчивается книга, читатель почувствует, что любимый писатель стал ему ещё ближе, понятнее. Быть может, это и будет лучшей наградой для критика.

Ю. МАНН.

★

### Политика и наука

#### Американский империализм и германский вопрос

Книга Н. Иноземцева «Американский империализм и германский вопрос» привлекает внимание прежде всего потому, что она посвящена теме, которая волнует сегодня миллионы людей во всём мире.

Н. Иноземцев. «Американский империализм и германский вопрос (1945—1954)». Госполитиздат, М. 1954.

Политика правящих кругов Соединённых Штатов Америки привела к тому, что германский милитаризм опять грозит миру и безопасности народов. Встав на путь подготовки новой мировой войны, вашингтонские заправилы в своих агрессивных планах отводят особо важное место реваншистским вооружённым силам немецкого вермахта.

Как указывается в книге Н. Иноземцева, «установление американского господства в Западной Германии и возрождение германского милитаризма явилось главным звеном всей послевоенной политики США в Европе, важной составной частью всего агрессивного внешнеполитического курса американского империализма».

Какие же цели преследуют американские политические деятели? Чем вызвано их стремление восстановить в центре Европы очаг войны и агрессии, ликвидация которого столь дорого обошлась народам в минувшей войне?

Финансовая олигархия США заинтересована в первую очередь в усилении германского военного потенциала, рассчитывая, что немецкая военщина, озлобленная поражением во второй мировой войне, может стать ядром американской наёмной армии в Европе. В первый же послевоенный год нынешний государственный секретарь США Джон Фостер Даллес, нимало не стесняясь, заявил: «Наряду с атомной бомбой Германия с её возможностями является величайшей военной силой». Раскрывая причины особой заинтересованности американских монополистов в ремилитаризации Германии, журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» писал в 1953 году, что в Западной Германии 48 миллионов населения, включая по меньшей мере «четыре миллиона ветеранов войны, способных носить оружие». Известный американский идеолог войны и реакции Д. Бэрнхэм восклицал в порыве откровенности: «Господство над Германией гарантирует эффективное господство над всей Европой».

Вот почему правители США делают ставку на увековечение раскола Германии, на превращение возрождаемого немецкого империализма в своего главного европейского союзника, в ударную силу Северо-атлантического блока.

Наряду с планами использования западногерманских вооружённых сил американские монополисты полагали, что, захватив ключевые позиции в промышленности боннского государства, они смогут экономически подчинить себе все другие европейские страны. Сразу же после войны уолл-стритовские дельцы начали усиленно прибегать к рукам германские предприятия, стремясь закрепить свой контроль над решающими отраслями экономики Западной Германии.

Однако, как показывают материалы, собранные автором книги, хотя американский капитал и достиг известного успеха в этом направлении, но далеко не в такой степени, на которую рассчитывал. Контрольные пакеты акций большинства крупнейших монополистических объединений в основной своей части остались всё же у немецких владельцев.

Совершенно справедливо указывая, что не следует переоценивать те позиции в германской экономике, которые занимают монополии США, Н. Иноземцев подчёркивает, что основой американского господства в западногерманской экономике является прежде всего оккупационный режим, контроль, осуществляемый американской военной администрацией в Западной Германии.

В книге отчётливо показано глубокое внутреннее противоречие послевоенной политики Соединённых Штатов Америки в Германии. Помогая западногерманскому империализму восстановить его экономическую базу, США тем самым неизбежно воссоздают для себя соперника на мировом капиталистическом рынке. В результате уже теперь германские монополии превратились в серьёзного конкурента не только для Англии и Франции, но начинают теснить на рынках даже собственных опекунов — американские промышленные компании, выражая желание вновь переделить сферы влияния в свою пользу. «Вполне очевидно, — пишет Н. Иноземцев, — несовместимость действий, направленных на усиление позиций германских монополий, с расчётами на беспрекословное подчинение этих монополий американскому контролю, — подобное подчинение чуждо самой природе империализма».

Правящие круги США создают реакционную милитаристскую Западную Германию, намереваясь использовать её в своих агрессивных планах. Вместе с тем они хотят, чтобы реваншистская Германия продолжала мириться с гнётом американских империалистов, была всегда им послушна. Ясно, что подобная политика чревата самыми опасными последствиями, в том числе и для её инициаторов.

Анализ фактического материала приводит автора к выводу о существенных просчётах американского империализма. Тщетными оказались надежды правящих кругов США навязать свою политику в германском вопросе Советскому Союзу, странам народной



демократии, народам западноевропейских государств и демократическим силам самой Германии. «...В действительности американская политика возрождения германского милитаризма имеет своим следствием восстановление важнейшего узла противоречий в Европе, углубление и обострение в связи с этим всех противоречий в лагере империализма».

Отдельная глава книги отведена анализу борьбы, которую ведёт Советский Союз и весь социалистический лагерь за разрешение германского вопроса на мирной, демократической основе. Автор убедительно рассказывает о Германской Демократической

Республике, как о важном факторе укрепления мира в Европе.

Книга Н. Иноземцева «Американский империализм и германский вопрос» будет, без сомнения, с интересом прочитана широкими кругами советских людей.

Однако вызывает законное недоумение, почему эта бесспорно нужная и полезная работа, сданная издательством в набор почти год назад, 18 мая 1954 года, поступила в продажу только в марте нынешнего года. Подобные «темпы» издания книг и брошюр, посвящённых актуальным проблемам современности, конечно, недопустимы.

В. ДВОРЦОВ.

★

### «Чёрная книга» о парижских соглашениях

Боннское правительство и реакционная буржуазная пресса прилагают сейчас все усилия к тому, чтобы скрыть кабальный, униженный характер для Западной Германии парижских военных соглашений. Путём сознательной фальсификации фактов делается попытка обмануть и усыпить бдительность немецкого народа разговорами о том, что эти соглашения якобы отменяют оккупационный режим, обеспечивают Западной Германии мирное развитие и предоставляют ей суверенитет.

Истинные цели правительств западных держав разоблачает книга «Заговор против Германии», изданная в Берлине Комитетом по вопросам единства Германии. Собранные в ней многочисленные факты, документы, высказывания официальных деятелей говорят об огромной опасности, которую несут парижские соглашения Германии, представляя собой не что иное, как оформление военного союза американо-английских и французских империалистов с немецкими монополиями и реваншистскими силами. Соглашения предусматривают включение Западной Германии в «западноевропейский союз» и в Северо-атлантический пакт, то есть в систему агрессивных военных группировок, с целью использования территории, материальных и людских ресурсов Западной Германии в интересах американских планов завоевания мирового господства на основе пресловутой политики «с позиции силы».

„Verschwörung gegen Deutschland. Ein Schwarzbuch“. Berlin, 1955 («Заговор против Германии, Чёрная книга». Берлин, 1955).

«Чёрная книга», как назвали её составители, даёт подробную характеристику западногерманским представителям, участвовавшим в разработке текстов парижских соглашений. Все они закоренелые гитлеровские фашисты. В их числе — начальник политического отдела боннского министерства иностранных дел Бланкерхорн, реваншист, подготовивший во время второй мировой войны планы аннексии областей Белорусской ССР и Польши для включения их в «Великий немецкий рейх»; Трютцшлер фон Фалькенштейн, который в своё время был назначен Гитлером секретарём комиссии, занимавшейся «реорганизацией Европы», то есть превращением европейских стран в протекторат рейха; руководитель земельной группы гитлеровской партии Йозеф Мерфельс — ныне государственный советник в боннском министерстве иностранных дел; Глобке — автор нюрнбергских расистских законов; Хассо фон Эндорф, дослужившийся при Гитлере до ранга оберштурмфюрера СС, и другие активные проводники гитлеровской захватнической политики.

«Так выглядят «эксперты» и «советники» боннского канцлера, — говорится в книге. — Они являются пионерами фашизма, нацистскими идеологами времён второй мировой войны». Конечно, замечают авторы «Чёрной книги», все эти лица были подобраны отнюдь не случайно, так как лучше всего подходили для того, чтобы воплотить заветные мечты западногерманских реваншистов в парижских и лондонских соглашениях, а именно: «снова вооружить гер-

манский милитаризм и вовлечь ремилитаризованную Западную Германию в военный лагерь империалистических западных держав».

Книга подчёркивает, что в Западной Германии уже на протяжении ряда лет проводится создание ядра будущей агрессивной армии. Ещё задолго до подписания парижских договоров были подготовлены законопроекты о воинской повинности, о добровольцах, о конфискации земельных участков, проекты дисциплинарного устава и военно-уголовного кодекса. Наряду с этим составляются различные варианты тотальной мобилизации всего западногерманского населения. Это означает, что в случае осуществления парижских соглашений милитаристы в течение двух-трёх лет будут иметь в своём распоряжении миллионы солдат.

В ведомстве Бланка, фактическом боннском военном министерстве, насчитываемом сейчас более тысячи сотрудников, уже заседает верхушка будущего генерального штаба. В последнее время стали известны и имена тех гитлеровских генералов и военных преступников, которым собираются предоставить командные посты в будущей западногерманской армии. Это Хойзингер, Крювель, Кессельринг, Шпейдель, Шверин, Рамке, Лютвиц и другие.

В настоящее время в полицейских соединениях Западной Германии и других подразделений военного характера насчитывается свыше 440 тысяч человек. Почти в ста городах созданы службы воздушной защиты, насчитывающие 230 тысяч человек. К этому ещё надо добавить оккупационные войска общей численностью 579 тысяч солдат и офицеров, причём почти половина из них — американцы. Таким образом, территория боннского государства превращается в огромный военный плацдарм вооружённых сил Северо-атлантического пакта, острière которого направлено против СССР и всех других миролюбивых государств и народов.

Распоясавшиеся реваншисты вновь мечтают о завоеваниях чужих территорий и «походе на Восток». В книге приводится характерное высказывание нацистского ге-

нерала Бодо Циммермана. Матёрый фашист требует быстрейшего развязывания атомной войны. «Война неизбежна,— заявил он,— и сторона, которая первой со всей силой атомного оружия нанесёт удар, одержит победу. Будущее принадлежит тому, кто рискнёт начать первым превентивную войну. Поэтому Запад должен начать её». В Западной Германии всё чаще выступают милитаристы с требованием вернуть силой все области, которые когда-либо принадлежали германской империи.

В следующих главах «Чёрной книги» говорится о том, что парижские соглашения выражают стремление западных держав сохранить и углубить раскол Германии, лишить её возможности проводить самостоятельную политику и тем самым сделать немецкий народ послушным орудием преступных замыслов поджигателей новой войны. «Весь суверенитет, о котором идёт речь в парижских соглашениях, сводится к тому, что западногерманским милитаристам и реваншистским политикам предоставляется право на создание армии, которая должна проливать кровь за американские интересы».

Значительное место в книге отведено экономическим и социальным последствиям ремилитаризации Западной Германии. Перевод экономики на военные рельсы и обязательства по парижским соглашениям означают, что правительство Аденауэра должно будет полностью поставить финансы на службу подготовке войны. Только на ближайшие три года военные расходы по формированию западногерманских вооружённых сил составят сумму в 125 миллиардов марок. Всё это неминуемо ведёт к новому росту цен, падению реальной заработной платы, резкому ухудшению материального положения трудящихся.

На ярких материалах книга показывает борьбу германского народа против парижских соглашений, за воссоединение Германии на справедливых, демократических началах. Решающая роль в этой борьбе принадлежит Германской Демократической Республике, которую поддерживают в её справедливых стремлениях Советский Союз и весь могучий лагерь мира.

**Б. ШВЕДОВ.**

★

## Голос честного художника

**Д**жон Говард Лоусон — автор книги «Кинофильмы в борьбе идей» — крупный мастер американского киноискусства. Талантливый киноматург и публицист, Лоусон активно участвует в общественной жизни прогрессивной Америки. Его выступления на конгрессах и съездах в защиту мира, сотрудничество в демократической печати привлекли в своё время внимание американской охранки. В числе десяти виднейших кинорежиссёров и сценаристов Лоусон был арестован, обвинён в «коммунистической пропаганде» в Голливуде и около года провёл в тюрьме.

Новая работа Лоусона — страстный и мужественный призыв к деятелям кино стать в ряды борцов за передовое искусство, за мир и демократию. Одновременно она показывает, как растёт и закаляется человек, защищающий подлинно народную культуру.

Уже первые страницы книги обнаруживают широту взглядов автора, его умение видеть события сегодняшнего дня в большой исторической перспективе. Уолл-стрит, пишет Лоусон, готовит тотальную войну против большинства населения мира и ради этой безумной затеи стремится сокрушить всякую оппозицию в Соединённых Штатах, обезопасить тыл, насадить в США фашизм. Заправилам Голливуда «поручено подсластить эту программу, отвлечь внимание от многочисленных противоречий, прикрыть кровавые цели Уолл-стрита покровом «моральной необходимости» и «исторической неизбежности».

В книге Лоусона хорошо показана социально-экономическая основа реакционной деятельности Голливуда. У самой колыбели американского кино стояли крупные монополии, превратившие его в выгодный бизнес. В настоящее время это гигантский трест, возглавляемый такими всемогущими компаниями, как «Дженерал электрик», «Дженерал моторс», «Дюпон де Нэмур» и другие.

Голливуд сегодня — важный идеологический оплот империализма. Отсюда во все страны капиталистического мира направляются тысячи километров киноплёнки, отравленной ядом человеконенавистничества.

**Джон Говард Лоусон. «Кинофильмы в борьбе идей». Издательство иностранной литературы, М. 1954.**

«История кино в США, — отмечает Лоусон, — от фильма «Долой испанский флаг!», поставленного в 1898 году, до последнего фильма, посвящённого корейской войне, проникнута пропагандой войны, завоеваний, «превосходства белой расы» и угнетения колониальных народов».

Автор последовательно вскрывает закономерную эволюцию американских кинокартин: «безумный убийца» из гангстерских фильмов находит своё призвание на корейском фронте. Его безумие становится «патриотизмом». Как справедливо говорит Лоусон, показ на экране массового убийства — это активное выступление Голливуда в поддержку гитлеровских методов массового истребления людей.

Кино монополий не отстаёт от американской дипломатии в стремлении «оправдать» и возродить нацистский вермахт. Оно с одинаковым рвением обслуживает как агрессивный внешнеполитический курс США, так и антинародную внутреннюю политику правящих кругов страны. Кинореакция не только восхваляет существующие в капиталистическом мире порядки, но и пытается «доказать» полную бесперспективность попыток изменить их. Народ представлен в голливудских фильмах либо обезумевшей толпой разрушителей, либо пассивной безликой массой. Борцы за народное счастье, за свободу и демократические права превращаются в руках фальсификаторов в безвольных капитулянтов.

Книга Лоусона убедительно разоблачает теорию так называемого «свободного искусства». Как один из вариантов этой теории, в США культивируется представление о якобы «чистой развлекательности» голливудских фильмов. Но разве не ясно, замечает Лоусон, что воспевание «развлекательности» в данном случае означает отказ от борьбы с империалистической пропагандой, и монополиям не остаётся желать большего, так как подобные взгляды служат воротилам Голливуда ширмой для протаскивания удобных им идей.

Каждое новое, прогрессивное явление в американской кинематографии Лоусон рассматривает как результат определённых сдвигов в экономической и политической жизни сегодняшней Америки.

В широчайших кругах американского народа зреет протест против лжи и мрако-

бесия голливудских фильмов. Мощная волна негодования прокатилась по стране в связи с выпуском на экраны профашистской картины «Лиса пустыни», воспевавшей гитлеровского генерала Роммеля, в борьбе против которого погибли тысячи американских и английских солдат. С другой стороны, вопреки проискам реакции, многие фильмы Советского Союза, стран народной демократии и картины прогрессивных мастеров США демонстрировались в американских кинотеатрах по требованию зрителей.

Лоусон призывает массовые организации включиться в активную кампанию за освобождение американских экранов от бесстыдной империалистической пропаганды, поддержать усилия преследуемых реакцией художников кино, которые стремятся создавать фильмы, правдиво изображающие се-

годняшнюю Америку. Такие кинокартины, как «Соль земли» или «Письмо к матери из Джорджии», поставленные на средства рабочих, противостоят продукции Голливуда. Выпуск каждого такого фильма, завоевывающего симпатии зрителей, красноречиво свидетельствует о том, что магнаты Голливуда далеко не всецельны.

С глубокой верой в духовные силы трудящихся масс Лоусон пишет: «На киноэкранах народ Соединённых Штатов видит, как отвергается и извращается наше демократическое наследие. Он видит лицо фашизма, слышит его голос. Если с этого лица будет сорвана маска, а голос опознан, то народ не поддастся больше иллюзии, будто Голливуд лишь старается «развлечь» его».

А. КОЗЛОВ.

★

### Медицина в жизни Чехова

В ряде работ об А. П. Чехове можно встретить утверждения, что, став знаменитым писателем, он лишь между прочим, дилетантски, занимался практической медициной и, больше того, что работа врача тяготила его. Это было не так. И. М. Гейзер в книге «Чехов и медицина», основываясь на документальном материале и воспоминаниях современников, убедительно показывает, что Чехов в течение всей жизни, за исключением разве ялтинского периода, когда тяжёлая болезнь подорвала его здоровье, продолжал оставаться врачом-практиком.

Опираясь на высказывания Чехова и анализируя некоторые его художественные произведения, И. Гейзер задался целью проследить, как медицинские, естественнонаучные знания, полученные писателем, «обогатили его творчество и позволили ему глубже проникнуть в психологию своих героев, вернее изображать её».

А. П. Чехов учился в Московском университете в то время, когда там преподавали выдающиеся деятели русской медицины прошлого века. Юноша слушал лекции крупнейшего клинициста Г. Захарьина и видного терапевта А. Остроумова. Его учителями были хирург Н. Скифосовский, невропатолог А. Кожевников и другие про-

грессивные профессора. Чехов хорошо знал труды И. Сеченова, прославившие на весь мир отечественную медицинскую науку, высоко ценил клинические взгляды С. Боткина. Любопытны некоторые замечания Чехова об учёных-медиках, на которые ссылается И. Гейзер: «Из писателей предпочитаю Толстого, из врачей Захарьина...», или про Боткина: «В русской медицине он то же самое, что Тургенев в литературе... по таланту».

Как правильно указывается в книге, близкое знакомство с философскими и научными идеями этих учёных способствовало формированию у Чехова материалистического мировоззрения. Особенно ярко изложены его взгляды в письме А. Суворину, написанном в 1889 году. «Всё, что живёт на земле, материалистично по необходимости... Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины». Закономерным является то, что и к вопросам медицины Чехов подходил с прогрессивных позиций.

В своих художественных произведениях, пишет И. Гейзер, замечательный русский писатель, гуманист и демократ глубоко вскрывал корни массовых болезней и показал, что пути их преодоления лежат в изменении социальных условий жизни трудящихся масс, в оздоровлении условий их труда и быта. Конечно, Чехов не мог найти политически верного решения всех мучив-

И. М. Гейзер. «Чехов и медицина». Медгиз, М. 1954.

ших его социальных проблем, но он горячо верил в творческие силы народа, в светлое будущее своей страны.

Работа Чехова в качестве врача протекала главным образом в земских больницах Московской губернии — в Чикине, Звенигороде, а затем в Бабкине и Мелихове. По свидетельствам современников, каждое лето, куда бы Чехов ни попадал, к нему «съезжались и сходились больные со всех окрестных деревень, так что у него образовалось нечто вроде амбулатории с целой аптекой»; «он или лечил крестьян, или работал в местных больницах, безвозмездно, не упуская случая пополнить своё медицинское образование». В воспоминаниях В. И. Немировича-Данченко говорится: «И потом, когда Чехов перестал быть земским врачом, он, как и ещё ранее, любил свою первую специальность».

В книге подробно рассказывается о напряжённой врачебной деятельности Чехова в начале девяностых годов, когда на Серпуховский уезд надвигалась эпидемия холеры. В этот трудный для земской медицины момент Чехов немедленно стал «под ружьё», по образному выражению известного врача и статистика П. Куркина. В течение 1892 года он принял около тысячи больных, проявил выдающиеся организаторские способности в борьбе с холерой.

Стремление быть всегда полезным народу побудило Чехова поехать на Сахалин — место царской каторги. Глубокие исследования медико-санитарного, правового, бытового положения ссыльных и каторжан позволили Чехову правдиво, с большой обличительной силой рассказать обо всём виденном в очерках «Остров Сахалин». Книга произвела такое впечатление на русское общество, что царское правительство было вынуждено снарядить особую комиссию для расследования изложенных в ней фактов. Позднее Чехов писал: «Медицина не может теперь упрекать меня в измене: я отдал должную дань учёности... и я рад, что в моём беллетристическом гардеробе будет висеть и сей арестантский халат».

В своей работе И. Гейзер справедливо подчёркивает, что особое значение для Чехова представляла психиатрия и психология.

Обе науки были одинаково нужны ему и как врачу и как писателю.

С интересом читаются приведённые в книге высказывания Чехова о значении санитарно-просветительной пропаганды среди широких масс населения. Он считал, что распространение медицинских знаний должно быть обязательным в деятельности врачей. В письме С. Шаховскому, вместе с которым Чехов строил школы и работал в санитарном совете, есть такие строки: «Мне кажется, пора земским врачам... перестать презирать общую печать и относиться к ней, как к чему-то постороннему, стоящему далеко вне; пора уже им, и прежде всего санитарным врачам, занять в журналистике ту область, которая принадлежит им по праву компетенции». В книге нет комментариев к этой цитате, но, право, очень хочется, чтобы на неё обратили особенное внимание многие наши деятели медицины, всё ещё весьма застенчиво обращающиеся к средствам публицистической литературы...

В ялтинском Доме-музее в кабинете А. П. Чехова на письменном столе стоят стетоскоп и другие медицинские инструменты. И это не случайно, так как они молчаливые свидетели врачебной деятельности великого мастера художественного слова.

Государственное издательство медицинской литературы поступило правильно, выпустив в свет полезную книгу «Чехов и медицина». Хотелось бы только отметить некоторые слабые стороны книги. Представляются вовсе не обязательными многие широко известные детали из жизни писателя, приведённые И. Гейзером и в данной книге только рассеивающие внимание читателя. Но зато очень жаль, что автор лишь вскользь касается деятельности Чехова-врача в так называемый «ялтинский период». Между тем эта страница его жизни нуждается в более ярком освещении. На мой взгляд, напрасно столько места отведено полемике с некоторыми биографами Чехова, в частности с В. М. Фриче, работы которого имеют двадцатипятилетнюю давность.

*Доктор медицинских наук*  
**Г. ПИЦХЕЛАУРИ.**

г. Тбилиси.

★

### Увлекательные книги

Тяжёл и сложен китобойный промысел, проходящий обычно в суровых условиях осенне-зимнего периода. На долгие месяцы уходят суда от родных берегов в открытый океан. Штормы и ураганы, туманы и пурга, дрейфующие льды и айсберги подстерегают их, и нужно обладать большим мужеством, смелостью, умением и настойчивостью, чтобы избежать опасности. И в то же время труд китобоев романтичен и увлекателен, не говоря уже о важном значении самого промысла для народного хозяйства.

Обо всём этом узнаёт читатель, знакомясь с книгами научного работника Б. А. Зенковича «Вокруг света за китами» и А. Н. Соляника «Слава» в Антарктике. Первая из них рассказывает о созданной в 1932 году советской дальневосточной флотилии «Алеут» и её семи плаваниях. Автор второй повествует об одном из рейсов «Славы» в моря, омывающие Южный полюс. Обе книги внутренне связаны между собой и взаимно дополняют друг друга.

Китобойная флотилия состоит из специально оборудованного судна большого водоизмещения — её флагмана и главной базы — и судов меньшего размера — китобойцев, именуемых обычно по флагману с добавлением порядковой цифры. В носовой части китобойцев установлена пушка, выбрасывающая гарпун, на конец которого навинчивается разрывная чугунная граната. Убитый кит доставляется на базу, где и происходит его разделка.

Говоря о работе флотилии, А. Соляник отмечает, что продукция «Славы» идёт на изготовление высококачественного маргарина и лярда, инсулина, холестерина и других медицинских препаратов. Жир, подкожная клетчатка, мясо, перемолотое в муку, всё шире применяются в кожевенной, химической, парфюмерной промышленности, в сельском хозяйстве. Читатель узнаёт из книги, что кашалотовая печень весом в четыреста килограммов содержит столько же витамина «А», сколько сто тонн хорошего сливочного масла или пять миллионов штук куриных яиц.

В книгах просто и доходчиво описаны все

**Б. А. Зенкович.** «Вокруг света за китами». Географгиз, М. 1954.

**А. Н. Соляник.** «Слава» в Антарктике». Профиздат, М. 1954.

стадии китобойного промысла: переход судов в намеченные районы, поиск китов, погоня за ними, транспортировка китовых туш. Одновременно авторы дают представление о героической работе советских китобоев, их выдержке и мастерстве, о тех трудностях, с которыми им приходится встречаться.

Вот один из эпизодов, приведённый А. Соляником: кит «стал уходить на большой скорости. «Слава-б», описывая дугу, пошла ему наперерез. Итти пришлось против ветра. Волны наскакивали на судно, окатывали гарпунёра. Казалось, что человек у пушки вылит из стали; его одежда обледенела. И всё же Зотов загарпунил блювала». Не раз случалось, что раненый кит таскал суда на буксире по нескольку часов или, сделав пять-шесть кругов, путал трос и наматывал его на гребной винт, превращая судно в беспомощный баркас. Тогда «экипажу оставалось лишь запастись терпением. И не только терпением. Жизнь людей могла оборваться каждый миг. Стоило киту нырнуть под ближайший айсберг — и всё было бы кончено. Но моряки не теряли самообладания... на судне не нашлось ни одного человека, который проявил бы в те часы душевную слабость».

Условия плавания и работы флотилии нелегки. В дни штормовых непогод ветер обжигает лица, а палубы покрываются намерзающим льдом, волны и ветер сплошь и рядом разбивают надстройки, сносят антенны, бросают суда с борта на борт и с носа на корму, да так сильно, что подчас главные паровые котлы срываются с фундаментов. Но и в этих условиях советские люди не теряют мужества, выполняют свой долг.

Авторы приводят множество интереснейших сведений о китах — их разновидностях, повадках, величине, весе, скорости плавания, промысловой ценности. В книгах даны «характеристики» и самым умным, весёлым китам — горбачам, и самым сердитым — серым, и самым быстрым — сейвалам, и самым хищным — косаткам.

«Одна голова чего стоит, — пишет Б. Зенкович о кашалоте, страшнейшем животном океана, — огромная, но идеально обтекаемая, несмотря на кажущуюся её неуклюжесть, она равна одной трети всей его длины». Но если кашалот является наиболее

сильным китом, то самым крупным из них является блювал (синий или голубой кит). Он весит до ста пятидесяти тонн, достигая в длину тридцати трёх метров. Переработка блювала даёт обычно от четырнадцати до двадцати трёх тонн жира, а также кормовую муку и другие продукты. Особенно многочисленными по количеству добываемых голов являются финвалы — сельдяные киты, названные так потому, что они питаются планктонными рачками и сельдью.

О косатке Б. Зенкович замечает: «Это самый прожорливый, свирепый и дерзкий хищник из всех морских млекопитающих». Своё название «косатка» он получил от очень высокого спинного плавника, достигающего двух метров высоты и действительно по форме напоминающего косу. Косаток называют китами-убийцами и иногда морскими волками. Известен случай, когда в

желудке одной косатки, в 638 сантиметров длиной, было обнаружено тринадцать дельфинов и четырнадцать котиков. Косатка интересна ещё тем, что в её челюстях есть замечательный жир, идущий на смазку точных механизмов: он не застывает.

Кроме рассказов о жизни и быте советских китобоев, различных сведений о китах, зарисовок дальневосточной и антарктической природы, читатель найдёт в книгах путевые записки и заметки о странах, в которых пришлось побывать авторам.

Живо и интересно написанные, обе книги представляют увлекательный материал для чтения, расширяют кругозор в области зоологии, зоогеографии и биологии и дают яркое представление о сущности и особенностях китобойного промысла, о трудовых подвигах советских людей.

Л. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

★

### Русский флотоводец адмирал Бутаков

Есть семьи, из поколения в поколение занимающиеся одним ремеслом, одной профессией. С петровских времён служба на море была фамильной традицией семьи Бутаковых. В длинной череде прославленных командиров русских кораблей особенно выделяется яркая, самобытная фигура адмирала Григория Ивановича Бутакова.

Работа А. Лурье и А. Маринина — первая монография о Г. И. Бутакове, вышедшая в советское время. Брошюры о нём, написанные до революции, поверхностны и неполны. Авторы рецензируемой книги изобразили жизнь выдающегося моряка на фоне важнейших исторических событий. Они использовали основные архивные источники и привлекли иностранные материалы.

Крымская кампания застала Бутакова на палубе парохода-фрегата «Владимир», который в ноябре 1853 года сразился с турецким судном «Перваз-Бахри» и заставил противника спустить флаг. Это был первый в военной истории бой паровых судов.

Война показала большую отсталость царской России и, в частности, её флота. Парусным судам, говоря словами Станюковича, был подписан приговор. Бутаков одним из первых в России задумался над проблемой создания нового флота. Одним из первых, но вовсе не единственным, как это

представляется по книге А. Лурье и А. Маринина. Задолго до крымской трагедии Лазарев, его ближайшие сподвижники Корнилов и Нахимов, вопреки ретроградом из петербургского адмиралтейства, начали борьбу за паровой флот. Эта интересная и малоизученная сторона деятельности непосредственных учителей Бутакова, к сожалению, не освещена авторами.

Вторая половина рассматриваемой книги — описание большого, трудного и многолетнего «бутаковского дела». Оно, собственно, и заслужило адмиралу почётное место в летописях нашего флота. Мы видим Бутакова начальником первых паровых эскадр, знакомимся с основными положениями его замечательной работы «Новые основания паровой тактики», с горечью узнаём о последних годах жизни моряка, удалённого петербургскими недоброжелателями в отставку.

В книге цитируется извлечённый из архива, очень выразительный отклик на уход Бутакова. «Да когда же, — с болью в сердце писал современник, — наконец, кончится эта подпольная интрига, более двадцати лет в корне подтачивающая наш флот, устраняя от него лучшие силы и опыт!.. Право, мы живём в такое время, что не мешало бы Петрухе (Петру I.— Авт.) восстать из гроба хоть на один день, чтобы разогнать дубиной всю эту сволочь, изуродовавшую

одно из лучших его созданий!» Характерный документ! Авторы книги привели его, чтобы показать огорчение передовых моряков, вызванное отставкой Бутакова. Думается, что по своему значению это свидетельство более важное и более глубокое. Письмо весьма верно определяет ту обстановку, в которой жил и действовал адмирал-новатор, тот воздух, которым ему приходилось дышать. Вот эти-то условия и ускользнули от А. Лурье и А. Маринина.

Вы рассматриваете балтийский период биографии Бутакова в изложении авторов. Флотоводец приезжает на Балтику, получает эскадры, командует ими, учит офицеров, ездит за границу, пишет «Новые основания» и так далее. Всё происходит гладко, без сучка и задоринки, без борьбы и препон. Жизнь, однако, была сложнее, острее, горше.

Паровые и броненосные эскадры создавались в муках. Об этом можно судить, например, по статье нескольких морских офицеров «Нужен ли флот России?», помещённой в журнале «Время» за 1863 год. Они писали о «равнодушии ко всему морскому», о преградах, которые чинятся строительству флота, о тех, кто утверждал, что крупные военно-морские силы якобы не нужны государству. И всё это говорилось именно тогда, когда Бутаков пестовал экипажи паровых судов.

Авторы статьи во «Времени» не могли, конечно, прямо указать виновников «равнодушия ко всему морскому»: ими были высокопоставленные сановники Российской империи. Известная часть их пела с чужого голоса. Ведь идея ненужности для России сильного флота издавна пропагандировалась зарубежными «заклятыми друзьями».

Бутаков и другие передовые офицеры не престанно противились влиятельным кругам бюрократии Александра II. Это была напряжённая борьба. И в ней — суть жизненного подвига Бутакова. Умалчивать об этой борьбе с «подпольной интригой» — значит погрешить против исторических фактов.

В главе «Новые основания паровой тактики» у авторов книги все события опять-таки описаны в очень спокойных тонах. Бутаков пишет — и книга печатается, книгу читают — и Бутакова чествуют. Мы снова должны заметить, что дело обстояло сложнее. Адмиралу, вводившему новшества,

противились даже в самом флоте, в реакционной и тугодумной части «морскогословия». И с выходом в свет «Новых оснований» реакция адресовала Бутакову дружное осуждение. Он и здесь самоотверженно боролся, горячо отстаивал свои идеи и не мог примириться с тем, что его труд станет лишь достоянием архивов.

Деятельность адмирала — учителя моряков новой формации — подробно рассмотрена авторами. Тут им в значительной мере помог сам герой. Приказы Бутакова по эскадре с живостью, редкой для официальных документов, рисуют бутаковскую практику.

Но когда А. Лурье и А. Маринин пытаются подвергнуть критике отдельные воззрения Бутакова, они сбиваются сами и путают читателя. «Бутаков, — пишут они, — несколько переоценивал значение тарана, как оружия в бою на море...» А через несколько страниц сообщают: «Однако, несмотря на большое внимание, уделённое им тарану, Бутаков не переоценивал его боевого значения».

В книге справедливо подчёркивается интерес Бутакова к техническим усовершенствованиям, повышающим боеспособность флота. Но известная история с «системой аппаратов» А. П. Давыдова (это были приборы, позволявшие с невиданной для того времени быстротой производить горизонтальную наводку орудий) почему-то не попала на страницы монографии.

Авторы рассказывают о бутаковских оборонительных работах на Балтийском море в 1878 году, когда России грозила война с Англией. Однако следовало не просто пересказать, что предпринял адмирал, а выявить новое, внесённое им в организацию защиты приморских крепостей, по сравнению с оборонными мерами времён Крымской войны. Архивные и печатные источники позволяли сделать это.

А. Лурье и А. Маринин совершили полезное дело, написав первую советскую книгу об адмирале Г. И. Бутакове. Но, к сожалению, замечательный моряк не предстал перед читателем во всей сложности и остроте борьбы за лучший флот. И от этого книга проиграла. Столь же сильно проиграла она и от того, что язык её — маловыразительный, тусклый.

Ю. ДАВЫДОВ.





## «Да будет хлеб!»

Через двадцать четыре часа после того, как вы прочтёте эту статью, в мире будет уже 70 тысяч новых ртов, которые нужно кормить...» Этим сенсационным заявлением открывается статья «Бум вокруг роста населения: приходится кормить слишком много ртов», опубликованная в сентябре 1954 года в американском журнале «Ньюсуик».

Подсчитав, что в ближайшие двадцать пять — тридцать лет численность населения на Земле возрастёт до четырёх миллиардов человек, авторы задались целью напугать своих читателей тем, что такой рост населения является «ещё большей опасностью, чем водородная бомба». Они тщатся доказать, что «люди с самоубийственной быстротой поглощают все плоды земли» и поэтому «каждый крик новорождённого ребёнка приближает наступление конечного кризиса».

Цитируемая статья — не исключение для буржуазной печати. В капиталистических странах усиленно пропагандируются мальтузианские идеи, объясняющие снижение жизненного уровня трудящихся природным оскудением. Современные неомальтузианцы, вроде Броуна, Кука, Фогта, Пирсона, Харпера, видят выход в уничтожении «излишнего» населения посредством войн с применением атомного и бактериологического оружия, в умерщвлении нетрудоспособных и престарелых и насильственной стерилизации.

Однако такие человеконенавистнические «теории» далеко не всегда встречают поддержку даже в мире капитализма. Об этом свидетельствует вышедшая в Лондоне уже вторым изданием книга «Да будет хлеб!», написанная американским социологом Робертом Бриттеном, «поэтом и учёным», как величают его на Западе. Автор подвергает серьёзной критике и разоблачает истинную подоплёку проповедей «необходимости» сокращения народонаселения. Он разумно доказывает, что человек является не только потребителем, но и создателем материальных благ. Бриттен выступает за увеличение производства продуктов питания, убедительно показывая, что для этого есть все возможности, так как «человеческий гений

созидания, говоря по правде, значительно превосходит обуревающего его демона разрушения».

Основной тезис Бриттена можно выразить кратко его же словами: «На нашей планете может быть достигнуто изобилие, если люди этого захотят». На земном шаре, пишет он, имеются огромные необрабатываемые пространства. «Мы совершенно точно можем сказать, что если человечество голодает, то это происходит отнюдь не из-за отсутствия земли. Мы не обречены на гибель непреодолимыми и стихийными силами природы. Мир достаточно велик для всех людей... мы сами отказываемся использовать ресурсы, которые вполне качественны и находятся полностью под нашим контролем».

В книге указывается на необходимость восстановления так называемых «погибших земель», расширения посевных площадей. Ссылаясь на пример Советского Союза, автор говорит, что надо строить больше водоёмов, создавать лесозащитные полосы. Значительное место отведено в книге рассказу о работах, проводимых в СССР по мелиорации и строительству гидрэлектростанций, позволяющих орошать огромные земельные массивы. Отмечая реальную возможность продвижения посевов на север и указывая, что кое-что в этом отношении предпринято в Канаде и на Аляске, Бриттен подчёркивает, что практические первые шаги в области развития сельского хозяйства в Арктике были сделаны только в Советской стране. Вывод, к которому приходит автор, сводится к тому, что труды советских учёных и новаторские приёмы практиков должны быть объектом глубокого изучения на Западе.

Бриттен далёк от решения социальных проблем, но во многом он трезво смотрит на окружающую его действительность.

Любопытны некоторые расчёты, приведённые в книге. Для серьёзного развития экономики Африки, Латинской Америки, Среднего Востока и всех стран Азии нужно ежегодно затрачивать средства в сумме, равной приблизительно трём процентам национального дохода стран Западной Европы, Австралии, Соединённых Штатов Америки, Канады, вместе взятых. Автор делает интересное сравнение: эта сумма составляет

Robert Britain. „Let Ihre Be Bread“. London, 1954 (Роберт Бриттен. «Да будет хлеб!» Лондон, 1954).

всего лишь одну шестую ежегодных расходов США на вооружение.

Опровергая на фактах мнения нынешних мальтузианцев о «кризисе» мировых ресурсов, Бриттен пишет: «Учёные знают, что наши урожаи могут быть увеличены, и они знают точно, как этого добиться. Человек уже вовсе не является беспомощным созданием, которое должно довольствоваться лишь тем, что природа в своей беззаботности и безразличии бросает на его пути... Он сможет изменить природу, приспособить её к своим нуждам».

Автор с безусловным знанием дела повествует о достижениях современной биологической и агрономической науки, намечает направления, по которым, по его мнению, она пойдёт в будущем. Однако, когда речь заходит о социально-политических вопросах, здесь его выводы оказываются мало убедительными. Никак нельзя, на-

пример, согласиться с Бриттеном в том, что так называемая «помощь» США слаборазвитым районам на основе 4-го пункта программы Трумэна якобы преследовала человеколюбивые цели. Каждому теперь известно, что доктрина Трумэна и «план Маршалла» являлись средством экономического и политического закабаления народов американским империализмом.

Во всяком случае, книга Бриттена примечательна тем, что людоедские теории мальтузианцев всё чаще получают отпор в том же стане, где они и возникли, — в странах капитализма. Простые люди всего мира не боятся роста народонаселения. Хлеб можно вырастить для всех — лишь бы не было войн. Это хорошо понятно всему прогрессивному человечеству.

*Кандидат экономических наук*  
**Д. ВАЛЕНТЕЙ.**



## КАК ГОТОВИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ?

Казалось бы, этот вопрос ясен. У нас существуют факультеты журналистики при университетах, и каждый год выходит в жизнь немалый отряд журналистов. Но на поверку оказывается, что такой выпускник-журналист, попав в газету, не может быть полноценным работником, так как совершенно не знает тех вопросов, о которых должен писать.

Нам известно, что редакции газет стараются, например, на должность заведующего сельскохозяйственным отделом пригласить агронома, на должность заведующего промышленным отделом — инженера и т. д. А инженеру или агроному, становящемуся газетчиком, обычно остро не хватает журналистского образования, а порой и элементарного умения излагать свои мысли на бумаге. Несомненно, всё это отражается на качестве наших газет. В то же время техника и специальные вопросы промышленности, сельского хозяйства с каждым днём настолько усложняются и углубляются, что и журналист должен иметь всё больше знаний, иначе его работа будет мало полезной народному хозяйству.

Всё это выдвигает на повестку дня вопрос о пересмотре принципа подготовки кадров журналистов. Как же надо, на наш взгляд, готовить эти кадры?

Жизнь требует, чтобы при сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, в ряде экономических институтов, некоторых инженерных институтах разных профилей, педагогических и других, список которых должен быть составлен после тщательного изучения, были организованы кафедры журналистики.

Как должна быть построена работа этих кафедр? Вероятно, в первые два года обучения это будут сравнительно небольшие курсы лекций, проводящихся факультативно, и семинарские занятия для студентов, обнаруживших склонность к журналистике. А с третьего, четвёртого курса, когда наряду с усвоением общих дисциплин начинается специализация, такая же специализация ждала бы и группу одарённых студентов, избравших своей профессией журналистику.

Что может принести такая система образования? Она даст газетам и издательствам способных, квалифицированных журналистов, имеющих вместе с тем серьёзные знания в одной из областей практической деятельности народа. Было бы хорошо не медлить с этим делом. Целесообразность его очевидна. Нельзя ли сделать так, чтобы с нового учебного года кафедры журналистики в специальных институтах начали действовать?

Елена УСПЕНСКАЯ,  
Лев ОШАНИН.

★

## ДА, ЭТО РЕАЛИЗМ!

Среди художников всегда много споров, да так оно и должно быть. Хочется и мне поспорить с оценкой одной из последних работ любимого мной художника Пластива «В старой деревне». Картина эта, выставленная на последней Всесоюзной выставке, привлекла внимание критики и получила в большинстве неблагоприятную оценку. Все сходятся на том, что Пластив — талантливый человек, но картину критикуют, находя в ней разнообразные недостатки и сюжетного и живописного характера. Критиковали эту работу и Б. Иогансон и Б. Лавренёв в своих обзорных статьях, посвящённых выставке. Мне же кажется, что картина эта хороша и представляет собой настолько своеобразное и значительное явление, что заставляет возражать её критикам. На меня эта картина произвела сильное впечатление и заставила задуматься по поводу очень сложных и очень важных общих проблем живописного искусства. Я не являюсь специалистом в этой области — я кинорежиссёр, — но думается, что все искусства роднит одна общая черта: народность.

Народность подразумевает глубокую, содержательную идею, живость и образность её воплощения, национальный темперамент и, что очень важно, сердечность как результат любви художника к своему материалу, к самой жизни. Так вот эта сердечность, отличающая большинство работ Пластива, выступает на первый план и в этой картине. Недаром около картины теснятся зрители — она привле-

кает внимание оригинальностью замысла, своеобразием и темпераментом его разрешения.

Картина называется «В старой деревне»; первое её название — «Весна». Можно согласиться и с тем и с другим названием: оба они не противоречат образам картины. А образы эти значительны и глубоки.

Банька «по-чёрному», характерная для любой старой русской деревни, ещё заснеженный мартовский пейзаж, отодвинутый на дальний план, а в центре картины, в предбаннике без кровли, нагая женщина, молодая мать, весело одевает маленькую свою дочку. Умные, трудовые руки делают своё дело быстро и ловко: мать затягивает девочке капор под подбородком, а та важно оттопырила губу. И сколько же смысла в этой оттопыренной губе и прихмуренных бровях! Всем своим видом девочка показывает, что помогает матери делать важное дело, она доверяет матери совершать это дело, не сопротивляется ей, — она хорошая мамина дочка.

Женщина смотрит на неё со святым восторгом материнской любви, и так им хорошо друг с другом после бани, что женщина и не замечает, как на неё сверху, прямо с неба, сыплются крупные хлопья весеннего снега. Она показана в профиль, на корточках. Весь облик её исполнен здоровья, силы и того материнского, гордого юмора, с которым относится она к дочке. Единственное, чего, пожалуй, не хватает для полноты картины, — влажности и теплоты кожи. Невольно хочется ви-

деть тот самый «лёгкий пар», с которым русские люди поздравляют друг друга после бани.

И всё же, если подойти к этой картине без предвзятости, невозможно удержаться от сочувственной и любовной улыбки, с которой, казалось, и сам художник замыслил и выполнил эту вещь.

Пластов любит своих героев и тонко понимает их природу.

Что он увидел в этой женщине? Только ли прекрасную наготу её здорового, энергичного тела? Нет, конечно. Это — вторая, попутная красота произведения. Действительная прелесть его во всей интонации вещи, интонации свежего, юного материнства, в той прекрасной деревенской и такой национальной деловитости, которой исполнен образ молодой матери. Прекрасно передана улыбка, самая складка губ. И так сильна её любовь, её вера в жизнь, в свою неистощимую силу, что никакой снег, холод, никакое неустройство жизни не напугают такую женщину.

И отсюда художник как бы перебрасывает мост от старой деревни к нашей новой деревне, к новому человеку, поднявшемуся и взшедшему на этих старых, крепких дрожжах.

Я не знаю, так ли, как я, воспринимают эту картину другие люди, те же ли мысли приходят им в голову, но та улыбка, которая не сходила у меня с губ, когда я стоял перед картиной, не сходила с лиц десятков других людей — стариков, юношей и девушек, — смотревших на неё с глубоким

интересом и сочувствием.

И, отходя от картины, я был благодарен Пластову за то, что он дал мне новое, сильное впечатление, дал толчок для доброй, деятельной мысли, за которой каждый из нас и обращается к искусству.

И позже, когда я многократно возвращался мыслями к этому произведению, я спрашивал себя: «Реализм ли это?» И тут же отвечал: «Да, бесспорно, это реализм». И не только потому, что образы картины жизнеподобны, — жизнеподобием в конечном счёте отмечены все произведения, поставленные на выставке. Картина выделяется среди других потому, что вся образность её исполнена поэзии и глубокого национального оптимизма. Оптимизм этот достигнут не излишеством и пестротой красок, а своеобразием и цельностью зрения художника, открывающего ему и мир образов и мир красок, открывающего нам человеческие отношения во всей их сложности. Вот это, думалось мне, и есть подлинный реализм.

Сергей ГЕРАСИМОВ.

★

## В СВЯЗИ С ПОСТАНОВКОЙ «ШУРАЛЭ»

Постановку балета «Шуралэ» в Большом театре надо приветствовать с особой, принципиальной точки зрения.

До сего времени москвичи знакомились с замечательными достижениями театрального искусства наших братских республик лишь в дни декад. Показ во время декад литературы и искус-

ства в Москве лучшего из того, что создано театрами республик, стало у нас славной традицией. Но этого сейчас явно недостаточно. Давно назрела необходимость включить лучшие национальные постановки в репертуар столичных театров. Непонятно, почему, например, «Авессалом и Этери» Палиашвили и другие грузинские оперы и балеты можно видеть и слышать только в Тбилиси. Непонятно, почему такие замечательные узбекские музыкальные спектакли, как «Гюльсара», балет «Ақ-Биляк», музыкальные драмы «Тахир и Зухра» и «Муканна», можно видеть только в Ташкенте. Правильно ли, чтобы «Кето и Котэ» был единственным в Москве музыкальным спектаклем, перенесённым из репертуара братских республик? Почему москвичам не показывают, например, прекрасный балет «Семь красавиц» азербайджанского композитора Кара-Караева, вызывающий восхищение Ленинграда?

Несколько лет тому назад я видел в Ташкенте, в театре имени Мукими, музыкальную драму «Тахир и Зухра». Она написана по мотивам старинного народного сказания о несчастной любви храброго воина Тахира и ханской дочери Зухры. Композитор Джалилов ввёл в оркестр народные узбекские инструменты, вплоть до карная, и насытил пьесу мелодиями и плясками народов Востока. Спектакль производил очень сильное впечатление прежде всего неподдельностью, естественным своеобразием красок, звуков и движений. Это был Восток без стилизации. Просто обидно, что такой спек-

такль не пошёл дальше Ташкента.

Хотелось бы, чтобы постановка «Шуралэ» была первым шагом. Будем ждать дальнейших.

**В. ФИНК.**

★

## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТКРЫТКА

В одной колхозной избе мне довелось увидеть некую аллегорическую картину, написанную масляными красками на клеёнке и изображавшую страны света и реки в виде полуобнажённых белотелых женщин и коричневых нагих мужчин.

Нужно изгнать из жилищ трудящихся пошлость и безвкусицу.

Развитию художественного вкуса должны способствовать хорошо исполненные и напечатанные миллионными тиражами репродукции классических и современных произведений живописи и графики. И первое место среди этих репродукций, конечно, принадлежит открытке. «Карманные галереи», составленные из художественных открыток, — неоценимая спора для памяти: кто способен, например, сохранить в памяти хотя бы треть картин Эрмитажа? Нужно, чтобы в каждом музее, в каждой галерее продавали репродукции в с е х картин: купи и унеси с собой, чтобы не забыть, наиболее близкое твоему сердцу!

Запасники наших музеев и галерей переполнены неизвестными миру сокровищами, которые никогда не попадают в экспозиции. Нужно репродуцировать и эти полотна. Известно, что картины лучших наших

художников рассеяны по областным музеям; но у кого же достанет времени и средств объехать страну, чтобы в полном объёме ознакомиться с творчеством даже таких корифеев, как Репин, Крамской, В. Маковский!.. А попробуйте, не выезжая из Москвы и не вторгаясь в запасники, изучить творчество Поленова, Коровина! А разве есть у нас сколько-нибудь полное представление об изобразительном искусстве Украины, Армении, Грузии, Латвии и других республик? Много ли мы знаем об искусстве стран народной демократии? И потому поддержки и благодарности заслуживает Изагиз, который начал последовательное и плановое издание открыток-репродукций, подарил нам комплекты открыток с выставок индийского и финского искусства, а сейчас стал печатать открытки-репродукции с картин областных музеев.

Передо мной лежат великолепный репинский портрет «Мужичок из робких», венециановская «Девочка с гармошкой» из Горьковского музея. Вот кустодиевская «Голова девочки» — одна из самых ранних работ художника, хранящаяся в Астраханской галерее. Глядишь и невольно вспоминаешь другие картины других музеев, которые давно хотелось включить в свою «карманную галерею».

В Ярославском музее есть, например, написанный Брюловым великолепный портрет умницы и остроумца Мусина-Пушкина, созданный Кипренским превосходный портрет неизвестного упряма, «Осень» Жуковского (вот художник, чьи работы «раскрошены» по одной-две по

музеям всей страны!), изумительное «Генисаретское озеро» Поленова, корвинские работы и многое другое.

В Воронеже есть великолепный «Морской вид» Айвазовского, чудесная работа Рачкова «Портрет молодой женщины». Много в Воронеже Крамского: портреты сына, жены с дочерью; есть там отличный лесной пейзаж Поленова, превосходный «Вид Урала с Чусовой» Верещагина, картина Репина «Иуда Искариотский». Помню, я тщетно искал хорошего фотографа, чтобы увезти с собой хотя бы снимки... Будем же надеяться, что начатое дело не ограничится музеями Горького, Астрахани и Саратова. В заключение хочется напомнить Изюгизу, что мы ждём от него хорошей серии открыток-репродукций картин Дрезденской галереи. И, наконец, не пора ли организовать подписку на все эти издания, чтобы люди не зависели от случайностей розничной торговли?

Вадим ЛУКАШЕВИЧ.

★

## ПИСАТЕЛИ У КОЛХОЗНИКОВ

Недавно довелось мне с писателем Львом Кассилем побывать в Ново-Петровском районе Московской области.

Мы приехали на литературный вечер. В помещении старого ново-петровского клуба собрались колхозники, прибывшие из ближних сёл, служащие райцентра, педагоги и учащиеся местной десятилетки, рабочие МТС в комбинезонах, пропахших бензиновым дымком и машинным маслом.

Литературный вечер шёл ничуть не хуже, чем в Колонном зале или в Политехническом музее. Мы испытывали чудесное ощущение, рождаемое живым вниманием и душевным теплом, идущим из зала. Задавали множество вопросов, присылали записки. И в каждом из этих вопросов чувствовалась кровная заинтересованность в дальнейшем росте и развитии советской литературы.

И вот, когда в этом не очень удобном и не так уж ярко освещённом зале шёл литературный вечер, я подумал: сколько ещё есть под Москвой таких аудиторий, колхозных клубов и домов культуры, где наших прозаиков и поэтов встретят как самых дорогих и желанных гостей!

Бюро пропаганды Союза писателей, которое почему-то принято только ругать, начало сейчас регулярно организовывать выступления писателей в колхозах Московской области. Там уже побывали Исаковский, Безыменский, Михалков, Коптяева, Долматовский, Френкель, Воробьёв, Заславский и многие другие. Содержательный вечер, посвящённый борьбе народов за мир, состоялся, например, в Загорске: после чтения стихов и рассказов колхозники тут же подписывали Обращение Всемирного Совета Мира. Положен хороший почин! Но сколько ещё на карте Московской области «белых пятен», где не бывал ни один писатель. В Зарайске и Верее, в Загорске и Серпухове читатели ждут творческих встреч с писателями, и мы обязаны удовлетворить

их желание. Было бы хорошо и правильно, если бы виднейшие московские писатели, которых знает и любит читатель, побывали в гостях у колхозников Подмосковья, побеседовали с ними по душам, почитали бы им свои новые произведения, поделились своими новыми замыслами и планами. Пусть живое писательское слово послужит высокому и благородному делу нового подъёма сельского хозяйства нашей Родины!

Михаил МАТУСОВСКИЙ.

★

## ОДИНОЧЕСТВО «КРОКОДИЛА»

Журнал «Крокодил» популярен в стране. То и дело слышишь — и в учреждениях, и на улице, и в автобусах: «Это материал для «Крокодила», «Об этом надо написать в «Крокодил».

Да, очень хорошо, что выходит в свет «Крокодил». И было бы ещё лучше, если бы «Крокодил» был лучше.

Но, по нашему мнению, главный недостаток журнала — его одиночество.

Согласитесь, что единственного журнала политической сатиры на русском языке в такой стране, как наша, мало.

«Крокодилу» не с кем соперничать, не с кем сравнивать. А читателю не с чем его сравнивать.

Между тем, нечего греха таить, не всегда крокодилские материалы находятся на высоком уровне. Это знают и сами работники журнала и актив писателей и художников, которые сплочены вокруг него, которые любят его, желают ему добра, а потому и говорят:

— Нужен ещё хотя бы один сатирический журнал! Нам будет интереснее работать.

А ведь у нас были, кроме «Крокодила», и «Чудак», и «Смехач», и «Бегемот», и «Лапоть», и другие сатирические журналы.

В последнее время правление Союза советских пи-

сателей постаралось, похлопотало, и вот уже организовано несколько новых литературных журналов.

Это прекрасно. Но обидно то, что о юмористическом и сатирическом жанре в ССП, видимо, всё же плохо думают.

Пора бы организовать ещё один сатирический жур-

нал в Москве и ещё один журнал в Ленинграде.

Верьте слову, для этих журналов найдутся и писатели, и поэты, и художники, и мастера хорошей, остроумной выдумки. Бесспорно, найдётся и читатель.

**Г. РЫКЛИН,**  
**Арк. ВАСИЛЬЕВ,**  
**И. РЯБОВ.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О революции 1905—1907 гг. 736 стр. Цена 10 р. 80 к.

**Об изменении практики планирования сельского хозяйства.** Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 9 марта 1955 года. 16 стр. Цена 15 к.

**А. Алексеев.** Атомная проблема и политика США «с позиции силы». 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Г. Д. Бакулев.** Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. 672 стр. Цена 12 р.

**П. Н. Лепешинский.** На повороте. 232 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Б. Орехов.** В народно-демократической Корее после войны. 72 стр. Цена 65 к.

### ИЗДАНИЕ

#### ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

**Заседания Верховного Совета РСФСР четвертого созыва. Первая сессия (23—26 февраля 1955 г.).** Стенографический отчет. 236 стр. Цена 5 р. 30 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

**Административно-территориальное деление РСФСР.** Справочник. 448 стр. Цена 16 р.

#### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Д. Абилев.** Сердце Алтая. Роман в стихах. Авторизованный перевод с казахского. 180 стр. Цена 3 р. 60 к.

**М. Гусейн.** Пробуждение. Роман. Перевод с азербайджанского. 288 стр. Цена 5 р. 20 к.

**М. Жестев.** Под одной крышей. Рассказы. 344 стр. Цена 4 р. 15 к.

**В. Карбовская.** Сторонние лица. Юмористические рассказы. 192 стр. Цена 3 р. 50 к.

**А. Корнев.** В незнакомом городе. Стихи. 160 стр. Цена 2 р. 70 к.

**А. Недогонов.** Избранное. 348 стр. Цена 7 р. 45 к.

**Ю. Помозов.** Земля родная. Рассказы. 360 стр. Цена 4 р. 20 к.

**А. Чаковский.** Тридцать дней в Париже. 104 стр. Цена 1 р. 50 к.

**А. Шургин.** Начало пути. 176 стр. Цена 2 р. 40 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Ханс Христиан Андерсен.** Сказки и истории. Перевод с датского. 367 стр. Цена 6 р. 90 к.

**Петр Безруч.** Силезские песни. Избранное. Перевод с чешского. 168 стр. Цена 4 р.

**В. М. Гусев.** Сочинения в двух томах. Том I. Стихотворения, песни, поэмы, переводы. 523 стр. Цена 13 р. 75 к. Том II. Пьесы. Киносценарии. 568 стр. Цена 12 р. 75 к.

**Виктор Гюго.** Собрание сочинений в 15 томах. Перевод с французского. Том 8. Отверженные. Часть 5. 348 стр. Цена 12 р.

**Стоян Загорчинов.** День последний. Исторический роман из жизни XIV столетия. Перевод с болгарского. 458 стр. Цена 8 р. 85 к.

**Петер Илемникий.** Поле неспаханное. Роман. Перевод со словацкого. 352 стр. Цена 6 р. 25 к.

**Вилис Лацис.** Собрание сочинений в 6 томах. Перевод с латышского. Том 5. Буря. Часть 3.—Рассказы. 591 стр. Цена 11 р.

**Эгнате Ниношвили.** Повести и рассказы. Перевод с грузинского. 192 стр. Цена 2 р. 45 к.

**П. А. Павленко.** Собрание сочинений в 6 томах. Том 5. Очерки. (1930—1951). 544 стр. Цена 10 р.

**О. Д. Форш.** Исторические романы. 672 стр. Цена 15 р. 35 к.

**Японская поэзия.** Сборник. Перевод с японского. 479 стр. Цена 5 р. 50 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Н. Богословский.** Николай Гаврилович Чернышевский. 1828—1889. 576 стр. Цена 8 р. 65 к.

**Муса Джалиль.** Героическая песня. Стихи. 248 стр. Цена 5 р. 15 к.

**М. Заборский, В. Фоменко.** Рассказы охотника и рыбака. 168 стр. Цена 2 р. 15 к.

**С. Залыгин.** Очерки и рассказы. 192 стр. Цена 4 р. 90 к.

**Александр Казанцев.** Богатыри полей. 224 стр. Цена 5 р. 25 к.

**Юрий Нагибин.** Зимний дуб. Рассказы. 319 стр. Цена 8 р. 10 к.

**О. Писаржевский.** Алексей Евгеньевич Ферсман. 1883—1945. 456 стр. Цена 7 р. 10 к.



**Рытхэу.** Имя человека. Рассказы. Авторизованный перевод с чукотского. 112 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Николай Соколов.** От всего сердца. Стихи и поэма. 144 стр. Цена 3 р. 30 к.

### ДЕТГИЗ

**Г. Гор, В. Петров.** Художник Перов. 152 стр. Цена 3 р.

**Б. Емельянов.** Мечта. Повесть. 192 стр. Цена 4 р. 50 к.

**С. Кадыр-заде.** Юность. Повесть. Перевод с азербайджанского. 128 стр. Цена 3 р.

**А. Ноздрин.** Живое серебро. Повесть. 192 стр. Цена 3 р. 55 к.

**А. К. Толстой.** Стихотворения. 128 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. И. Ульянова.** Детские и школьные годы Ильича. 40 стр. Цена 1 р. 70 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ

#### НАУК СССР

**Александр Фёдорович Можайский** — создатель первого самолёта. Сборник документов. 175 стр. Цена 9 р. 40 к.

**В. Г. Белинский.** Том VI. Статьи и рецензии. 1842—1843. 798 стр. Цена 20 р.

**Ф. Д. Бублейников.** Очерк развития представлений о Земле. 207 стр. Цена 3 р. 10 к.

**А. И. Герцен.** Собрание сочинений. Том IV. Художественные произведения. 1841—1846 гг. 341 стр. Цена 15 р.

**Э. М. Мурзаев.** Северо-Восточный Китай. Физико-географическое описание. 251 стр. Цена 13 р. 20 к.

**А. М. Неярич.** Политика английского империализма в Европе. 475 стр. Цена 20 р. 50 к.

### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В небе Северной Кореи.** Рассказы Героя первой степени китайских народных добровольцев лётчика Чжао Бао-туна. 69 стр. Цена 80 к.

**В. Грусланов, М. Лободин.** Серебряные трубы. Рассказы. 144 стр. Цена 1 р. 95 к.

**Д. Прокофьев.** Весна. Повести. 134 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Н. Чуковский.** Балтийское небо. Роман. 511 стр. Цена 9 р. 95 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**А. Град.** Земля и крестьянин в Японии. Перевод с английского. 359 стр. Цена 16 р. 30 к.

**Чедди Джаган.** Свобода под запретом. Рассказ о британской Гвиане. Перевод с английского. 120 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Стегсон Кеннеди.** Я был в Ку-клукс-клане. Перевод с английского. 319 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Ганс Кирк.** Клитгорд и сыновья. Роман. Перевод с датского. 207 стр. Цена 5 р. 75 к.

**Гершл Мейер.** Последняя иллюзия. Американский план мирового господства. Сокращённый перевод с английского. 451 стр. Цена 10 р. 90 к.

**Э. Терсен, Ж. Дотри, К. Виллар, Ж. Шамбаз.** Европа, мифы и действительность. Перевод с французского. 127 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Ленгстон Хьюз.** Неприятное происшествие с ангелами и другие рассказы. Перевод с английского. 126 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Кришан Чандр.** Избранное. Перевод с урду. 270 стр. Цена 8 р. 90 к.

### КУИБЫШЕВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**М. А. Емельянов.** Самарская лука и Жигули. 292 стр. Цена 4 р. 10 к.

**К. Я. Наякшин.** Очерки из истории Среднего Поволжья. 216 стр. Цена 4 р. 30 к.

**Н. К. Тихонов.** Наташа Незнамова. 200 стр. Цена 4 р. 15 к.

### НОВОСИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**А. Кердода.** Дочь степей. 286 стр. Цена 6 р. 30 к.

**Н. Н. Протопопов.** Новосибирская область. 248 стр. Цена 5 р. 75 к.

**Е. Стюарт.** Путь. Стихи. 260 стр. Цена 3 р. 10 к.

### ЛЕНИЗДАТ

**Л. О. Раковский.** Константин Заслонов. Повесть. Переработанное и дополненное издание. 228 стр. Цена 5 р.

### РАДЯНСКИЙ ПИСЬМЕННИК

**Д. М. Холендро.** Крымские рассказы. 116 стр. Цена 1 р. 90 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

**С. П. Антонов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора),  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**  
**М. К. Луконин, С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 28/III-55 г. Подписано к печати 28/IV-55 г.  
А 01900 Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> бум. л.—23,29 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 757.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.